



Р.С. ЛАНДШАФТЫ: ОПТИКИ ГОРОДСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ВИЛЬНЮС
ЕВРОПЕЙСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
2008

УДК 316.334.56+008]“713”

ББК 60/5+71

P10

Рекомендовано к изданию:
Редакционно-издательским советом ЕГУ
(протокол № 4 от 26.01.2008 г.)

Рецензенты:

Бредникова О., ведущий сотрудник Центра
независимых социологических исследований (ЦНСИ),
Санкт-Петербург, Россия;

Мажейкис Г., профессор, заведующий кафедрой Социальной
и политической теории факультета Политических наук
и дипломатии Университета Витаутаса Великого, Каунас, Литва



Издание осуществлено при финансовой поддержке
Европейского Союза и Совета министров Северных стран

P10 **P.S. Ландшафты: оптики городских исследований.** Сборник научных трудов / отв. ред. Н. Милерюс, Б. Коуп – Вильнюс : ЕГУ, 2008. – 474 с.

ISBN 978-9955-773-22-1

Данный сборник представляет собой уникальную попытку представить разнообразные подходы и концептуализации в исследованиях городского пространства в контексте, который обычно обозначается в качестве постсоциалистического.

Главная цель данного сборника – инициировать дискуссию о различных измерениях городского пространства и способах его координации с социальным целым. Сборник предназначен в первую очередь для университетской аудитории, всех, кто интересуется методологией социальных и культурных исследований, а также для разного рода практиков городского пространства. Идея и реализация книги стали возможными в рамках и благодаря проекту “Visual and Cultural Studies Reconsidered”, финансируемого Н.Е.С.Р.

УДК 316.334.56+008]“713”

ББК 60/5+71

Серия «Визуальные и культурные исследования»
основана в 2003 г.

ISBN 978-9955-773-22-1

© ЕГУ, 2008

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Бенджамин Коуп, Нериус Милерюс</i> ВВЕДЕНИЕ	7
P.S. ГОРОДА: НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВА	
<i>Нериус Милерюс</i> СИНХРОНИЗАЦИЯ И ДЕСИНХРОНИЗАЦИЯ НАСТОЯЩЕГО И ПРОШЛОГО НА СОВЕТСКОМ И ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВАХ.....	37
<i>Габриэла Швитек</i> ЗА ЖЕЛЕЗНЫМИ ВРАТАМИ: ИЗЛИШЕК ПАМЯТИ И ЗАБЫВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ГОРОДЕ.....	63
<i>Оксана Запорожец, Екатерина Лавриненц</i> ДРАМАТУРГИЯ ГОРОДСКОГО СТРАХА: РИТОРИЧЕСКИЕ ТАКТИКИ И «БЕСХОЗНЫЕ ВЕЩИ»	83
<i>Ольга Блекледж</i> «ПУТЕВОДИТЕЛЬ» КАК МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ И КОНСТРУИРОВАНИЯ ГОРОДА	104
P.S. ГОРОДА: ЭКОНОМИКА И/ИЛИ ПОЛИТИКА?	
<i>Сергей Любимов</i> КУЛЬТУРНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ТРАЕКТОРИИ «ОЧИЩЕНИЯ» ВАРШАВЫ	120
<i>Анна Желнина</i> МЕТАМОРФОЗЫ ПРАКТИК РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В РОССИЙСКОМ МЕГАПОЛИСЕ КАК ЗЕРКАЛО ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ	148
<i>Кульшат Медеуова</i> ОТРАЖЕНИЕ ГОРОДА.....	170
P.S. ГОРОДА: УРБАНИЗАЦИЯ ПОД ВОПРОСОМ?	
<i>Артём Космарский</i> ТАШКЕНТ: ОТ ИСЛАМСКОГО К (ПОСТ)СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМУ И (ПОСТ)КОЛОНИАЛЬНОМУ ГОРОДУ.....	194

<i>Сергей Румянцев</i>	НЕФТЬ И ОВЦЫ: ИЗ ИСТОРИИ ТРАНСФОРМАЦИЙ ГОРОДА БАКУ ИЗ СТОЛИЦЫ В СТОЛИЦУ	228
<i>Елена Зимовина</i>	ПРОЦЕССЫ УРБАНИЗАЦИИ В КАЗАХСТАНЕ В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД (демографический аспект).....	267
Р.С. ГОРОДА: ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ВИЗУАЛЬНЫХ МЕДИА		
<i>Ольга Бойцова</i>	ПАМЯТНИКИ В ПОСТСОВЕТСКОМ ГОРОДЕ И ТУРИСТСКАЯ ФОТОГРАФИЯ	296
<i>Екатерина Викулина</i>	ГОРОДСКОЕ ПУГАЛО: ТЕЛО В ЛАТВИЙСКОЙ УЛИЧНОЙ РЕКЛАМЕ	309
<i>Александр Сарна</i>	МИНСК – ГОРОД ПОБЕДИВШЕГО ГЛАМУРА	334
<i>Елена Трубина</i>	«ЧЕЙ ЭТО ГОРОД?» ВИЗУАЛЬНАЯ РИТОРИКА ДЕМОКРАТИИ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ ГОРОЖАН	354
ЗА ПРЕДЕЛАМИ Р.С. ГОРОДА?		
<i>Барбора Вацкова, Луция Галчанова</i>	РЕЗИДЕНТНАЯ СУБУРБАНИЗАЦИЯ В ПОСТКОМУНИСТИЧЕСКОЙ ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ, ЕЕ КОРНИ И ТРАДИЦИИ.....	380
<i>Юнис Блаваскунас</i>	ОТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА К ЭКОЛОГИИ: ДЕРЕВЕНСКИЕ ОТВЕТЫ НОВЫМ ФОРМАМ ПРОИЗВОДСТВА.....	404
<i>Антония Янг</i>	ИЗМЕНЕНИЯ В ПАТРИАРХАЛЬНОМ УКЛАДЕ ЖИЗНИ В СЕВЕРНОЙ АЛБАНИИ	426
<i>Бенджамин Коуп</i>	ПРЕСЛЕДУЕМЫЙ ДЕРЕВНЕЙ: ПЕЙЗАЖИ Р.С. СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО КАПИТАЛИЗМА.....	447
	СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ	470

P.S. LANDSCAPES: OPTICS FOR URBAN STUDIES

CONTENTS

<i>Benjamin Cope, Nerijus Milerius</i> INTRODUCTION	7
P.S. CITIES: DISTURBANCES OF TIME AND SPACE	
<i>Nerijus Milerius</i> THE SYNCHRONISATION AND DESYNCHRONISATION OF THE PRESENT AND THE PAST IN SOVIET AND POST-SOVIET SPACES.....	37
<i>Gabriela Świtek</i> BEHIND THE IRON GATE: A SURPLUS OF MEMORY AND FORGETTING IN A CONTEMPORARY CITY	63
<i>Oxana Zaporozhets, Ekaterina Lavrinec</i> THE DRAMATURGY OF URBAN FEAR: RHETORICAL TACTICS AND “UNATTENDED ARTICLES”	83
<i>Olga Blackledge</i> “THE GUIDEBOOK” AS A METHOD OF EXPLORING AND CONSTRUCTING A CITY.....	104
P.S. CITIES: ECONOMICS AND/OR POLITICS?	
<i>Siarhei Liubimau</i> CULTURAL ENTREPRENEURIALISM AND TRAJECTORIES OF GENTRIFICATION IN WARSAW.....	120
<i>Anna Zbelnina</i> THE METAMORPHOSES OF RETAIL TRADE PRACTICES IN A RUSSIAN MEGALOPOLIS AS A REFLECTION OF POST-SOCIALIST TRANSFORMATIONS.....	148
<i>Kulsbat Medeuova</i> REFLECTING/DEFLECTING THE CITY	170
P.S.CITIES: URBANISATION IN QUESTION?	
<i>Artyom Kosmarski</i> TASHKENT: FROM AN ISLAMIC TO A (POST-)SOCIALIST AND (POST-)COLONIAL CITY.....	194

<i>Sergey Rumyansev</i>	
OIL AND SHEEP: OF THE HISTORY OF THE TRANSFORMATIONS OF THE CITY OF BAKU FROM CAPITAL TO CAPITAL	228
<i>Yelena Zimovina</i>	
PROCESSES OF URBANISATION IN KAZAKHSTAN IN THE POST-SOVIET PERIOD (the demographic aspect).....	267
P.S.CITIES: INFLUENCE OF VISUAL MEDIA	
<i>Olga Boitsova</i>	
MONUMENTS OF THE POST-SOVIET CITY AND TOURIST PHOTOGRAPHY	296
<i>Ekaterina Vikulina</i>	
URBAN SCARECROW: THE BODY IN LATVIAN STREET ADVERTISING	309
<i>Alexander Sarna</i>	
MINSK: A CITY OF ALL-CONQUERING GLAMOUR	334
<i>Elena Trubina</i>	
WHOSE CITY?: THE VISUAL RHETORIC OF DEMOCRACY IN THE IMAGINATIONS OF CITY INHABITANTS	354
OUTSIDE THE P.S.CITY?	
<i>Lucie Galčanová, Barbora Vacková</i>	
RESIDENTIAL SUBURBANISATION IN THE POST-COMMUNIST CZECH REPUBLIC: ITS ROOTS AND TRADITIONS.....	380
<i>Eunice Blavascunas</i>	
FROM AGRICULTURE TO ECOLOGY: RURAL RESPONSES TO NEW MODES OF PRODUCTION.....	404
<i>Antonia Young</i>	
THE CHANGING FORM OF PATRIARCHY IN NORTHERN ALBANIA	426
<i>Benjamin Cope</i>	
HAUNTED BY THE VILLAGE: P.S. LANDSCAPES AND RURAL SPACES IN THE CONTEXT OF CONTEMPORARY CAPITALISM	447
AUTHORS	470

ВВЕДЕНИЕ

Сложное название этой книги отчасти противоречит простой предпосылке, которая послужила импульсом для ее появления на свет: представить некоторые теоретические и практические подходы к анализу городского и сельского пространства постсоциалистических стран. Но как только мы остановились именно на этой концепции, сразу же со всех сторон послышались возражения, и эти возражения оказались убедительными настолько, что вынудили нас изобрести термин «P.S.». В данном предисловии мы постараемся выделить четыре элемента того, что мы понимаем под «P.S.», объяснить, почему мы считаем этот термин необходимым, и таким образом представить некоторые самые важные проблемы городского и сельского пространства, которые рассматривают авторы данного сборника.

P.S. 1. P(OST)-S(Ocialist) П(ост)-С(оциалистическое)

Правомерно ли называть область наших исследований изучением постсоциалистических ландшафтов? Этот вопрос включает и временные, и пространственные параметры. Поскольку представляется очевидным, что единственное, что может оправдать книгу, объединяющую под своей обложкой аналитические исследования окраин города Брно в Чехии и проекта строительства новой столицы Казахстана Астаны, это факт, что указанные территории имеют общее прошлое — принадлежность системе государственного социализма, закономерным будет спросить, достаточно ли этого общего наследия, чтобы отнести их к постсоциалистическим урбанистическим формам? В то время как совершенно понятно,

что социалистическая модернизация оставила неизгладимый след на обликах городов этого региона, не стоит спешить с выводом, что его городские и сельские пространства представляют собой некое монолитное целое, которое можно обозначить термином «постсоциалистическое». Что касается вынужденной модернизации Советского Союза и позже Восточной Европы, она уже сама по себе была ответом на проблему недостаточной урбанизации: если попытаться прояснить термин «Восточная Европа» в том смысле, который это словосочетание имело до Берлинской стены, то есть до появления жестких, символических геополитических границ, то окажется, что он на самом деле означает «недостаточно урбанизированная» или «слишком аграрная» по сравнению с Западной Европой¹. То, что формы организации пространства на данной территории не являются исключительно наследием социалистического периода, а вызваны уходящими гораздо глубже в историю тенденциями урбанистической эволюции, является, пожалуй, ключевым моментом.

Чтобы понять всю сложность городских и сельских форм, существующих в этом регионе, необходимо принять в расчет досоциалистическую историю этих социалистических пространств. Досоциалистическое пространство демонстрировало намного большее разнообразие, чем социалистический ландшафт: в то время как некоторые досоциалистические территории в Центральной Европе (например, в Чехии) уже имели достаточно развитые городские

¹ В книге «Изобретая Восточную Европу: карта цивилизации на карте просвещения» Лэрри Волф описывает процесс, в результате которого в XIX в. Западная Европа изобрела термин «Восточная Европа», чтобы назвать своего менее развитого «другого». См.: *Inventing Eastern Europe: the Map of Civilization on the Map of the Enlightenment* (Stanford, Conn.: Stanford University Press, 1996). Очень интересный и нестандартный подход к решению сложных вопросов, касающихся концептуализации сегодняшней Восточной Европы, можно также обнаружить в предисловии к сборнику *Over the Wall, After the Fall: Post Communist Cultures Through an East-West Gaze*, Sibelan Forrester, Elena Gapova, Magdalena J. Zabrowska ed. (Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press, 2004), с. 1–35.

и сельские формы, в некоторых странах на востоке Европы делались только первые шаги в сторону не то чтобы даже капиталистической урбанистической индустриализации, а просто сельских формаций капиталистического типа. В Российской империи, например, крепостное право было отменено только в 1861 г. Если говорить даже о второй половине XX в., то, изучая условия жизни в некоторых советских деревнях, мы можем обнаружить практически все характерные черты натурального хозяйства. Как сказал один университетский профессор Нериюсу Милерюсу, послевоенное развитие советских аграрных территорий, например Литвы, стало стремительным скачком от жизни дикой, почти нецивилизованной деревни к жизни постиндустриального общества. Это не было постепенным переходом, который происходил шаг за шагом — от досоветского через советское к постсоветскому. Не было это и случаем наполнения «недостаточно» сельских или городских досоветских и советских пространств содержанием постиндустриальной фазы капитализма. В результате мы можем наблюдать очень любопытный феномен, когда на постсоветских территориях элементы постиндустриального общества сосуществуют с почти не претерпевшими изменений, досоциалистическими элементами сельской жизни.

Таким образом, используя термин «постсоциалистический», мы рискуем недооценить влияние досоциалистических форм и в результате подменить полноту истории периодом, который в некоторых частях Советского Союза длился 70 лет, а в других — около 50 лет. Вдобавок ко всему период коммунистического правления проживался людьми по-разному в зависимости от того, в какой именно части «второго мира» человеку довелось жить. Формы, которые принимал режим, тоже варьировались в соответствии с различным культурным и историческим наследием. Государственный социализм был далеко не гомогенным феноменом: различные его этапы проживались по-разному на повседневном уровне. Кроме того, в различные его периоды использовались разные критерии для анализа проблематики сельского и городского. Определяя все это многообразие единым термином «со-

циалистическое», мы рискуем свести всю разнохарактерную сложность среды нашего обитания к карикатуре, представляющей одну или две разновидности той формы модернизма, которая не удалась. В настоящее время подобный подход существует и проявляется в точке зрения, которую можно с большей или меньшей степенью обобщения резюмировать следующим образом: все плохое в обществах этого региона — следствие социалистического строя, и чем скорее мы сможем наверстать упущенное, прийти в соответствие с «правильной», западной моделью социального и урбанистического развития, тем лучше. Звучит, конечно, банально, тем не менее данная парадигма определяет мнение большинства людей по этому вопросу. Это парадигма, которая подразумевает, что политические расхождения (то есть расхождения между левыми и правыми, предполагающие возможность различных путей развития общества) должны смениться расхождениями между управлением и популизмом (то есть между эффективностью и глупостью/коррупцией). Однако, говоря об изменениях городского пространства, исследователю в данной области следует помнить, что такого понятия, как «западный город», не существует: начиная с 1917 г., пройдя 1945-й г., города Западной Европы также подверглись потрясениям и претерпели коренную пространственную реорганизацию.

Термин «постсоциалистический» неизбежно возвращает нас к вопросу о том, чем все-таки был социалистический урбанизм. Являлся он уникальной формой урбанистического проекта или просто вариацией общего модернистского проекта урбанизации, который лежит в основе и капитализма, и коммунизма? Ведь многие идеи и ошибки, которые ассоциируются у нас с коммунистическим урбанизмом (например, преследуемая им цель добиться эгалитаризма в городском пространстве, что привело в монотонности архитектурных форм), — это черты, в той или иной степени присущие любому городскому реформированию и проектированию, в какой бы стране и в какое бы время они ни осуществлялись. В попытке определить специфику коммунистического урбанизма одну из самых убедительных концепций выдвинул Иван Селеньи, который утверждает, что

урбанистические формы в социалистической Европе демонстрировали меньше разнообразия, меньше экономии пространства и меньше маргинальности, чем западные урбанистические модели. Таким образом, по мнению Селеньи, территории, которые были изначально недостаточно урбанистическими, стали еще в меньшей степени таковыми в период коммунистического правления². Бесспорно отдавая должное этой интересной точке зрения, нельзя не отметить, что, следуя ей, мы вынуждены будем подчинить качественную гетерогенность социалистической урбанистической практики нормативному представлению о том, что значит «быть городским», сформированному определенными количественными показателями, заимствованными из модели западного урбанизма. Если «меньше урбанизма» означает больше свободы для детей, которые, будучи совсем маленькими, могут бродить по городу — от магазина к магазину (факт, который поразил меня, когда я впервые приехал в Россию в 1994 г. — Б.К.), то не является ли это в каком-то смысле «более урбанистическим» воспитанием? Если мы перевернем этот оптический прибор вверх тормашками и посмотрим на советское отношение к эксплуатации природных ресурсов или советский коллективизм в сельскохозяйственном производстве, не приведет ли это нас также к противоположному выводу: что социалистические режимы были «недостаточно сельскими»?

Это осторожное отношение к термину «постсоциалистический» не стоит, однако, интерпретировать как попытку с нашей стороны отрицать, что эти города есть продукты истории, и в частности истории социалистического периода; скорее, оно является результатом нашего желания передать всю сложность и противоречивость наследия, с которым мы здесь имеем дело. Поскольку одной из важных характеристик P.S. городов является их ярко выраженная гетерохронность, это, как отмечает в своей

² Ivan Szelenyi, “Cities under Socialism: and After?” in *Cities After Socialism: Urban and Regional Change and Conflict in Post-Socialist Societies* (G. Andrusz, M. Harloe, and I. Szelenyi (eds.)), (UK: Blackwell, 1996), с. 286–318. Многие важные вопросы, имеющие отношение к социалистической урбанизации, обсуждаются в этом сборнике.

статье в данном сборнике Габриэла Швитек, может стать вопросом повседневной и зачастую болезненной практики — наблюдать следы истории. Они могут быть явными, отсутствующими, наложенными друг на друга, непрочитаемыми — то есть не имеющими больше того смысла, который они имели когда-то, или затемненными чем-то другим, — но они не являются указателями, ведущими к прошлому, которое находится где-то в глубине истории, на безопасном расстоянии. Прошлое здесь, скорее, многовалентная сила, все еще требующая у настоящего ответов. В то время как мнения по поводу преемственности между модернизмом и постмодернизмом расходятся (является постмодернизм радикально отличной от модернизма фазой общественного развития или это процессы, начатые модернизмом, только на более высоком уровне?), отношения между социализмом и постсоциализмом представляются одновременно радикально антагонистическими (постсоциализм как демонстративное отрицание социалистического прошлого) и очень тесными (постсоциализм все еще формируется социализмом, который он пытается отвергнуть). В любом случае, очевидно, что те контрасты, которые сформированы как городскими, так и сельскими постсоциалистическими пространствами, отражают преобразования совсем другой природы, нежели те, которые мы можем наблюдать на Западе, где переход от индустриальной экономики к постиндустриальной фазе капитализма был менее драматичным.

Третье сомнение в связи с термином «постсоциализм» (и это также затрагивает наш термин «P.S.») — почему «постсоциализм», а не «посткоммунизм», то есть почему не «P.C.»?³ До определенной степени наш выбор логичен, поскольку сами советские лидеры и предложили это различие, позиционируя строительство коммунистического государства как процесс, который может быть осуществлен только в неопределенном будущем, и предлагая именовать тот уровень развития общественных отношений, которого руководимые ими страны уже достигли, государственным социализмом.

³ Я благодарен Линде Моррис за то, что она обратила на это мое внимание. — Б.К.

стороны, есть определенная опасность в принятии этой подмены терминов, к которой сами власти прибегли в первую очередь для того, чтобы замаскировать несовершенства своих политических проектов. Единственная общая черта, которая несомненно связывает все страны, обсуждаемые в этом сборнике — это власть коммунистической партии в тот или иной период. Стоит ли нам в таком случае соглашаться с диагнозом известных своей ненадежностью лидеров коммунистической партии, что это был не коммунизм, а социализм? Может быть, это просто более политкорректно («Р.С.») — использовать термин «социалистический» в смысле «до конца не проясненный, не-достигнутый коммунизм», чем пытаться упорно искать ответ на вопрос, в чем упомянутые страны были и не были коммунистическими? В нашу неолиберальную эпоху следует с опаской относиться к идеологическому подтексту, который в данном случае выражается в том, что термин «постсоциалистический» очень удобен, чтобы «путать» падение нескольких коррумпированных и неэффективных коммунистических режимов в начале 1990-х гг. с отказом от идеалов социальной справедливости любого рода. Или, если развить эту аналогию, наставляя на «Р.С.», а не на «Р.С.», мы получаем возможность не уделять большого внимания постколониальному элементу империалистического наследия (в частности, российского, но не только), который также является неотъемлемой частью современного ландшафта данного региона. Если мы отнесемся к «Р.С.» (от P(ost)-C(olonial) — «постколониальный») более серьезно, это неизбежно приведет к необходимости мыслить эти территории в терминах, которые применяются по отношению к развивающимся странам, и может выясниться, что это более плодотворный подход для анализа трансформаций городской среды, чем обычные — обреченные на провал — сравнения с Западом. Возможно, мы даже могли бы использовать «Р.С.», чтобы объяснить, почему наше «постсоциалистическое» не включает Китай, и обогатить наш сборник предвидением о потенциальном будущем урбанистических формаций, узловые центры которых находятся в совершенно других местах,

нежели те, где они находятся сейчас, переименовав наш регион в «Почти Китай» (P(re)-C(hina)).

Вот эти размышления и определили наше первое «P.S.» — убежденность в важности наследия социализма, доставшегося нам и связывающего воедино страны нашего региона, и в то же время настроенное отношение к тому, чтобы видеть этот регион как монолитное целое или рассматривать исторический период, на который пришлось коммунистическое правление, как единственный фактор, определяющий особенности наших современных ландшафтов.

P.S. 2. P(ost)-S(oros) П(ост)-С(оросовское)

Прошло уже почти 20 лет с момента падения коммунистических режимов, и даже если согласиться, что то, преемниками чего мы себя здесь называем, было социализмом, немедленно возникает другой вопрос: а как долго этот «постсоциализм» может продолжаться? Будет это состояние длиться вечно, или мы сможем в конце концов «выбраться» из него к чему-то новому. Можно попытаться сформулировать этот вопрос несколько иначе: на самом ли деле потрясения, ставшие следствием разрушения социалистической системы, являются в настоящий момент основной силой, формирующей наши ландшафты?

К примеру, идея этой книги — результат работы, проведенной в рамках исследовательского проекта Н.Е.С.Р. (программа поддержки высшего образования, управляемая институтом «Открытое общество» — структура, являющаяся частью фонда Сороса). То есть в первую очередь нас объединило не то, что мы люди с общим коммунистическим прошлым, а гуманитарные интересы фонда Сороса. Избранная последним стратегия инвестиций своего капитала сформировала облик академии постсоциалистического мира: ученые из различных, часто удаленных, уголков постсоциалистического ареала собираются вместе на международные встречи и семинары, куда в качестве тьюторов приглашаются западные эксперты. Именно доступ к определенным потокам глобального капитала делает возмож-

ным сотрудничеством такого рода. Точно так же, как именно доступ к финансовым потокам такого рода определяет позицию того или иного региона в системе новых экономических реалий, к которым его городские и сельские ландшафты должны тем или иным образом приспособиваться.

Вот почему наше второе «P.S.» («пост-соросовское») использует влияние фонда Сороса на интеллектуальную экономику нашего региона как метафору того способа, с помощью которого местный ландшафт пытается определить свою позицию во все более интенсивном глобальном движении капитала. Это не вопрос из серии «или-или», то есть остаться «прокоммунистическим» или стать «прокапиталистическим», скорее, необходимо изучать локальные социопространственные конфигурации с точки зрения экономического контекста, в который они помещены (и наоборот). Таким образом, размышления о крахе коммунизма с точки зрения трансформации пространства приводят к необходимости осмысления этого процесса в контексте упадка фордистской модели промышленного производства, который повлиял на организацию городского пространства в западных странах, особенно в период экономического кризиса 1970-х. Последствия этого процесса ощущались очень долго и были очень разными, но самым главным из них стала утрата городом статуса в первую очередь центра промышленного производства, существующего в рамках сбалансированного целого национального государства⁴. Принимая во внимание

⁴ Пространственные сдвиги, происходившие в 1970-х годах и позднее, обсуждались и обсуждаются множеством современных географов. См.: Neil Brenner, 1999. "Globalisation as Reterritorialisation: The Re-scaling of Urban Governance in the European Union". *Urban Studies*. 36/3: 431–451; David Harvey, "From Managerialism to Entrepreneurialism: The Transformation in Urban Governance in Late Capitalism". *Human Geography* 71/1: 3–17. Философы также не остались в стороне от этой проблемы, рассматривая ее в более широкой временной перспективе — от Жюлья Делёза и Феликса Гваттари, считавших «детерриториализацию» основной тенденцией капиталистического развития, начиная со времен Древней Греции, до Теодора Адорно и Макса Хоркхаймера, которые полагали, что описанная трансформация произошла сра-

тот факт, что коммунизм был социальной системой, основанной на существовании рабочего класса и серийного производства, крах фордистской модели и — как результат — изменение доминирующего способа производства не могли не повлиять на ситуацию в социалистических странах.

Во многих смыслах утрата городом статуса центра промышленного производства поставила под сомнение саму суть (*raison d'être*) коммунистической урбанизации как попытки гармонизировать в городском пространстве отношения между работой, домом и отдыхом и преодолеть чудовищные социальные разломы, которые констатировал Энгельс, описывая жизнь Манчестера в XIX в.⁵

Как только основной способ производства трансформировался из индустриального в постиндустриальный, а фордистская модель сменилась постфордистской, доминирующей чертой экономики стала глобализация — доминирующей до такой степени, что у польского социолога Ядвиги Станишкис были основания предположить, что изменения в природе мировой экономики в 1980-х стали основополагающим фактором, приведшим к кризису управления, который ощутили на себе коммунистические режимы Восточной Европы еще до их падения⁶. Таким образом, мы можем утверждать, что не только го-

зу после Второй мировой войны, и видели в ней начало эпохи культурного производства: "The Culture Industry: Enlightenment as Mass Deception" *Dialectic of Enlightenment*. London: Verso, 1979, 120–167; не вызывает сомнений и то, что движение ситуационистов, тексты и акции которых ознакомили 1960-е гг., были также ответом на это радикальное изменение доминирующего способа промышленного производства.

⁵ Friedrich Engels, "The Great Towns", *The Condition of the Working Class in England*, доступно на: <http://www.marxists.org/archive/marx/works/1845/condition-working-class/ch04.htm>.

⁶ Jadwiga Staniszkis. *Postkomunizm* (Gdańsk: slowo/obraz terytoria, 2001). Каноническими текстами о влиянии глобализации на городское пространство являются работы Мануэля Кастельса и Саскии Сассен. См.: Manuel Castells, *The Rise of the Network Society* (Oxford, and Malden, MA: Blackwell Publishers, 1996) и Saskia Sassen, *The Global City: New York, London, Tokyo* (Princeton: Princeton University Press, 1991).

рода P.S. пространства к моменту переходного периода являлись недостаточно урбанизированными, но и что сам модус урбанизации, которому они не соответствовали в достаточной степени, был к тому времени более несостоятелен. В эпоху глобальных городов значимым фактором, обеспечивающим благополучие и процветание мегаполиса, оказывается его место в глобальных потоках транспортировки людей, товаров и информации (насколько это хорошо для людей, которые в таких городах живут, это другой вопрос).

Влияние современной капиталистической парадигмы (наше второе «P.S.») в особенности заметно и в особенности неоднозначно с точки зрения пространства. После распада социалистической системы наш регион представлял собой рынок «изголодавшихся», в том числе и в прямом смысле, потребителей, дешевой потенциальной рабочей силы и дешевой земли для инвестиций. Он также вызывал много вопросов, связанных с бюрократией, работой законодательных органов, неформальной торговлей, отсутствием инфраструктуры и протяженностью территорий, которые делали и делают инвестиции проблематичными. Огромные состояния могли быть сделаны в период приватизации земли, ее продуктов и всего, что находилось и было построено на ее поверхности. Пространства нашего региона часто становились предметом так называемого избыточного, дикого капитализма. Так, при совершении сделок с землей учитывались исключительно интересы частного капитала, а не общественное благо. Несовершенное законодательство позволяло осуществлять все это в таких масштабах, которые трудно представить себе в экономических центрах глобального капитализма. Пространства нашего региона также свидетельствуют о сосуществовании совершенно разных, и даже несовместимых, парадигм капиталистического обмена и радикального процесса экономической пространственной дифференциации между быстро растущими и сокращающимися территориями. Таким образом, фундаментальная и очень сложная политическая и академическая задача состоит в отслеживании административных, пространственных и экономических сил, делающих инвестиции возмож-

ными или им препятствующих, а также пространственных и социальных изменений, которые могут произойти вследствие этих инвестиций.

Изменения физических ландшафтов P.S. пространств являются видимыми симптомами трансформации упомянутой выше доминирующей парадигмы: города перестали быть «монтажными» производства (товаров), а сами теперь стремятся стать «аттракционами» в виртуальных потоках, из которых они черпают энергию и богатство⁷. Это двойная трансформация, в которой физические и институциональные ландшафты городов становятся частью культурной и информационной картографии, и картография эта глобальная⁸. Именно в этом конкретном смысле подчинения всех городов картографии кругооборота (и ни в каком другом) я (Б.К.) рискнул бы сделать провокационное предположение, что P.S. ландшафты являются продуктом Запада. Джентрификация, например, является мощным определяющим фактором жизни города, подчеркивая продуктивную и деструктивную ценность культуры в перерождающихся постиндустриальных районах, в то же время она является глобальным течением, актуализирующим культуру и стиль в медийной конфигурации, в которой постсоциалистический мир представляется практически невидимым отдаленным поселением⁹. Опять-таки, это двойной процесс: отношения

⁷ Если теория «монтажа аттракционов» Сергея Эйзенштейна выражала определенные отношения между производством фильма и внутригородским «яремочным» миром, то сейчас, как нам представляется, ситуация изменилась: сами города стремятся стать аттракционами в эклектичном потоке говорящих на разных языках глобальных медиа.

⁸ Как пишет Мина Петрович, «учитывая сложность города как системы, это будет невыполнимой задачей для постсоциалистических городов скопировать западную урбанистическую модель, поскольку в них [в городах] отсутствует не только институциональная, но и культурная инфраструктура, которая, собственно, и составляет основу западного города. См.: “Cities after Socialism as a Research Issue” на сайте: <http://www.lse.ac.uk/Depts/global/Publications/DiscussionPapers/DP34.pdf>.

⁹ Нил Смит описывает интра- и интернациональные уровни неравномерного развития в: 1982. “Gentrification and Uneven Development”. *Economic Geography*, 58/2, 139–155.

с западом — это изначально отношения культурного и экономического дисбаланса, и именно эти отношения дисбаланса становятся важнее отношений с соседними странами. Например, гораздо больше людей учат английский, чем какой-либо другой язык, а дорога от Варшавы до Лондона обойдется вам дешевле, чем дорога от Варшавы до Вильнюса. Почему? Представляют эти вопросы экономический императив для большинства людей, живущих в этих регионах, или они являются примером, иллюстрирующим нашу подчиненную позицию в новой культурной экономике, примером тому, как сама форма наших ландшафтов детерминирована отношениями с Западом? С этой точки зрения исследователям было бы полезно рассмотреть дисбаланс, выражающийся в усилении экономического и культурного влияния Британского совета, осуществляющего культурный экспорт для поддержки экономики Великобритании, которая в настоящий момент не экспортирует практически ничего другого, и отсутствии какой-либо подобной структуры (предназначенной для культурного экспорта неких ценностей на Запад) в Восточной Европе¹⁰.

Однако то внимание, которое «P.S.» от «постсоветское» демонстрирует по отношению к глобальным течениям капитализма, не означает, что нас совсем не интересует повседневная деятельность людей или что те виды работы, которые доступны (или не доступны) в нашем регионе, не представляют собой особой важности. На самом деле и то, что многие виды работы (в том числе работы по ремонту) продолжают существовать в городских и сельских пространствах нашего региона, и несоответствие между определенными видами работы и предусмотренным за нее вознаграждением, и, как замечает здесь Сергей Люби-

¹⁰ См., например, сайт представительства Британского совета в Казахстане: <http://www.britishcouncil.org/kazakhstan.htm>. Эта культурная гегемония высмеивается московским клезмер-квartetом «Наеховичи» в адаптированной ими версии популярной еврейской народной песни «Борщ» (CD “Прощай, корова!”), комический эффект которой достигается за счет соседства романтики с экономическим реализмом: герой обещает своей любимой увезти ее на край света, при этом добавляя, что они смогут выжить там, преподавая английский.

мов, моменты, когда люди готовы работать за копейки, и то, как они определяют, насколько потенциально полезной может быть такая работа, — вероятно ценный материал для понимания экономики территорий, где преобладают новые формы производства. Хотелось бы также заметить, что данное «P.S.» не предназначено для того, чтобы отстаивать точку зрения, что к настоящему моменту никаких следов социалистических структур и практик на этих территориях уже не осталось. Опять-таки, совсем наоборот: многие официальные (библиотеки, дешевые столовые, дома культуры) и неофициальные (неформальная торговля, использование личных связей для достижения целей («блат»), сопротивление официальному дискурсу) структуры и практики социалистического общества существуют на протяжении уже долгого времени в новых ландшафтах, где, казалось бы, им давно нет места, — это главная отличительная особенность новой среды¹¹.

Необходимо отметить, что «P.S.»-1 и «P.S.»-2 («постсоциалистическое» и «постсоросовское») должны рассматриваться вместе, чтобы лучше понять природу гетеротопии. Поскольку наследие социализма представляет собой все еще мало сегментированное городское пространство, это наследие создает приводящее в недоумение множество наслоений и явных противоречий совершенно различных способов использования пространства.

P.S. 3. P(OST)-S(CRIP)TUM

Третье «P.S.» — это традиционная аббревиатура для запоздалых мыслей, которые высказываются уже после прощания в конце письма. И это письмо адресовано Фрэнсису Фукуяме. Ведь когда Фукуяма провозгласил торжество либеральных демократий концом истории, именно крах социалистического эксперимента был тем важнейшим историческим событием, которое он имел в виду. Однако можно предположить, что он ожидал более мягкого пере-

¹¹ С результатами интересного исследования на эту тему, проведенного группой «Что делать?» в Иваново, можно ознакомиться на сайте проекта «Shrinking Cities»: <http://www.shrinkingcities.com>.

хода, чем тот, который ему доводится наблюдать, в особенности что касается парадоксальных по своей природе урбанистических форм в постсоциалистическом регионе — далеко не случайно биеннале, которая проходила в Будапеште в 2005 г., называлась: «Хаос: время путаницы». Наше третье «P.S.», таким образом, — это вопрос, является ли то, свидетелями чему нам приходится быть, просто досадными помехами — ухабами и рытвинами — на дороге, ведущей к счастливой либеральной демократии, или городские практики нашего ареала — это доказательство того, что на дорогах истории есть некие конечные пункты, о существовании которых мы раньше даже не подозревали. Сейчас, во времена экономического кризиса, который начался, когда чрезмерная уверенность в совершенстве методов финансирования покупки домов в США начала рушиться, и который сейчас распространяется по всему миру, суля самые непредсказуемые последствия, наше третье «P.S.» звучит еще громче. Пока неясно, какие конфигурации возникнут в результате, но те эффекты, которые мы можем наблюдать уже сейчас — например, частичная ренационализация банков правительством Великобритании, доказывают, что случиться может самое невероятное. Напряженность и нестабильность отношений между современной финансовой системой и пространством могут оказаться очень существенным «P.S.».

Нестабильность и неопределенность отношений между финансовой системой и пространством особенно заметна на западе P.S. региона. Так же как и в Великобритании, недавно был ренационализирован один из крупнейших банков в Латвии. Значение этого события, однако, может быть проинтерпретировано совсем не так, как интерпретируются подобные факты на Западе. Поскольку финансовая система новых членов Европейского союза не настолько развита и стабильна, как финансовые системы лидирующих западных стран, сторонники самого пессимистичного сценария уже прогнозируют не только банкротство многих банков и финансовых институтов в регионе, но и крах капиталистического производства во всех постсоциалистических странах. Самые радикальные левые партии цитируют

венесуэльского лидера Уго Чавеса, который заявил, что производимые американским правительством постоянные вливания в экономику сделали США страной социалистического типа. И если капитализм демонстрирует свою слабость в США — крепости капитализма, здесь, в постсоциалистическом регионе, он может легко утратить свой статус неизбежной исторической необходимости. В более скромных и менее драматичных прогнозах последствия финансового кризиса рассматриваются конкретно для урбанизации. Капиталистическая модель урбанизации основана на подчинении пространства и времени денежным отношениям. Текущий экономический кризис, таким образом, может привести к реструктуризации городского пространства и времени.

Поскольку капитализм несомненно создает пространственно-временные конфигурации урбанистических формаций, он сам, как замечет Дэвид Харви, в свою очередь сформирован пространственными формациями, которые встречаются на его пути: что из себя представляет та или иная пространственная конфигурация, свободна она или уже застроена, какие практики ее наполняют или опустошают, какие законы регулируют право на владение и управление ею, каковы возможные стратегии, чтобы сопротивляться этим законам или вовсе им не подчиняться¹². В P.S. мире конфигурации пространства и движения очень сложны, представляя собой смесь стабильности, эволюции и мгновенных изменений. Они формируют общую картину того, какие существуют препятствия и какие положительные моменты с точки зрения инвестиций и реконструкции: будут все эти особенности в конечном итоге «сглажены» в процессе развития капитализма или они останутся, формируя новые гибридные формы, делая этот P(ost)S(criptum) началом новой страницы? И то, и другое возможно: ведь именно по отношению к пространству (в его стремительном развитии или, наоборот, заброшенности) избытки капитализма проявляются наиболее наглядно и именно

¹² D. Harvey, "From Managerialism to Entrepreneurialism: The Transformation in Urban Governance in Late Capitalism" *Geografiska Annaler. Series B, Human Geography*. Vol. 71, No. 1, 1989. с. 3–17.

вопросы планирования пространства открывают новые парадигмы административных практик, форумов для публичных дискуссий или движений социального протеста. Многочисленные точки пересечения локального и глобального (процесс, который Нил Бреннер называет «глокализацией» пространственного масштаба) и то, каким образом они функционируют в данном регионе, должны стать предметом безотлагательного анализа¹³.

Еще одним препятствием на пути к концу истории является то, что Станишкис называет «асимметрией рациональности». Поясняя этот термин, Станишкис указывает на тот факт, что решения, которые кажутся логичными и даже справедливыми в центре, в отличных экономических условиях периферии имеют свойство производить чрезвычайно неожиданные эффекты. В качестве примеров для сравнения здесь можно рассмотреть проведение летних Олимпийских игр в 2012 г. в Лондоне и чемпионата Европы по футболу в Польше и Украине (или той же зимней Олимпиады в Сочи в 2014 г.). В то время как, конечно же, существуют некоторые проблемы и недовольства связанные с тем, как проходит подготовка в Олимпийских играх в Лондоне, волнения по поводу чемпионата Европы по футболу в Польше и Украине совершенно другого рода — те отчаянные попытки, которые предпринимают эти страны, чтобы подготовиться к такому глобальному событию, порождают радикальную неуверенность в том, состоится ли оно вообще. В период, последовавший за решением дать право на проведение чемпионата 2012 г. Польше и Украине, были утверждены грандиозные планы реконструкции и развития инфраструктуры: в Варшаве эти планы включали строительство второй линии метро, обновление железнодорожных станций, строительство второго аэропорта и т.д., и т.п. На самом деле, читая польскую прессу, можно было прийти к выводу, что главная цель развития инфраструктуры — это не благо живу-

¹³ Niel Brenner, 'Glocalisation' as a State Spatial Strategy: Urban Entrepreneurialism and the New Politics of Uneven Development in Western Europe' in *Remaking the Global Economy: Economic-Geographical Perspectives*, Jamie Peck and Henry Yeung (eds.), (London: Sage, 2003), с. 197–215.

щих в стране людей, а подготовка к трехнедельному медиа-событию. Воплощение всех вышеупомянутых проектов по благоустройству Варшавы в настоящий момент отложено на неопределенный срок, а панические настроения по поводу того, что чемпионат и вовсе не состоится, распространяемые СМИ, были подогреты сообщением о том, что Украина тоже временно прекращает приготовления к нему в связи с экономическим кризисом. Такого рода проблемы типичны как пример тех эффектов, которые, на первый взгляд универсальные логичные и продуманные в экономическом центре, могут стать искаженными на периферии. Очень важно при этом рассматривать данные события не как результат «некомпетентности на местах» (хотя отслеживание фактов коррупции, нелогичных решений и действий и т.п., которые могут в подобных случаях иметь место, — очень важная задача для исследователя), а скорее как реакцию на структурную перверсию, которая встроена в интернациональный ландшафт, сформированный неравномерным развитием. И если это утверждение верно для городов, то оно вдвойне верно, как пишет в своей статье в этом сборнике Юнис Блаваскунас, для деревень и их жителей, озабоченных тем, чтобы найти свое место в новой экономике, задающей пространственные координаты.

В таком контексте можно допустить, что P.S. история содержит потенциал для того, чтобы стать историей как таковой. Что данное «P.S.» должно сделать как минимум — это не заставлять постоянно оглядываться назад, а указывать вперед, в сторону радикальной неопределенности в будущем, являющейся причиной того состояния ненадежности, шаткости, непрочности, которое является одной из основных характеристик постсоциалистического пространства. В этом свете закономерным вопросом (хотя в нашем регионе, по крайней мере в западной его части, его не очень принято задавать) будет следующий: на самом ли деле постсоциалистический мир так уж отличается от остального развивающегося мира? Я подозреваю, что урбанисты, изучающие P.S. пространства, могут научиться столь же многому у урбанистов, работающих в Африке и Южной Америке, как и у урбанистов, изучающих города

Западной Европы, однако, учитывая специфику научного финансирования, главным партнером по академическому обмену по-прежнему будет Запад.

Дополнительным обстоятельством в этой новой ситуации, возникающим именно из конца истории, является то, что крупные города Запада наполняются иммигрантами разных национальностей, в том числе и из Восточной Европы, так быстро, как никогда ранее. Эти иммигрантские сообщества имеют свои сети поиска работы и стратегии выживания и адаптации, которые несомненно оказывают огромное влияние на общество западных стран. Вероятно, это дает нам право предположить, что в каком-то смысле Дублин и Лондон тоже становятся P.S. городами или, по крайней мере, городами, где P.S. оказывает большое влияние на социальные практики. Польская, латвийская и литовская комьюнити и, вне всяких сомнений, многие другие иммигрантские группы – африканские, азиатские или карибские, которые сейчас становятся частью населения Великобритании, приносят с собой свои собственные истории и легенды. Довольно забавный пример в этом контексте – это вопрос о создании Национального дома Литвы. Старая, почти романтическая идея начала XX в. вдруг возродилась столетие спустя, а именно в начале века XXI в. В ходе развернувшейся дискуссии некоторые литовские комьюнити высказывались за то, чтобы построить Национальный дом не в столице Литвы Вильнюсе, а... в Дублине. В этом случае история этой P.S. страны может начаться заново в другом месте, трансформируя его в новый P.S. ландшафт.

P.S. 4. P(FERD)-S(TÄRKE)

Последнее P.S., самое необычное, появилось благодаря нашему другу и коллеге Вольфгангу Байленхоффу, который подсказал, что «P.S.» – это аббревиатура, используемая в немецком языке в значении «лошадиная сила». Традиционный сценарий урбанистических исследований в регионе рисует переход от трагизма коммунизма к унылости будущего, когда все общественные места и коммунальные предприятия скупают западные компании, а на-

стоящий момент — это только хаотичное «мгновение ока» между ними. Вероятно, наилучшим образом это подытожил Иван Селеньи в своем пессимистичном заключении:

«Грядущие годы, как, впрочем, и десятилетия, оставшиеся у нас за спиной, могут не быть радостными для тех, кто живет в городах Восточной Европы, но они, несомненно, будут очень информативными для исследователей урбанистических процессов»¹⁴.

Вместе с Селеньи мы соглашаемся с ощущением, что симультанное сосуществование на одной территории микронарративов модернизации и архаизма — значительное явление, которое требует к себе внимания. Любые попытки антропологов этого региона непосредственно рассмотреть это ошеломляющее сочетание приводят к выводам о том (как пишут Екатерина Лавринец и Оксана Запорожец в своей статье, включенной в настоящее издание), что переживание потерянности в теоретическом и эмпирическом смыслах, которое очень характерно для P.S. ландшафта, может стать позитивным теоретическим инструментом.

Но хотя я (Б.К.) не хочу недооценивать те проблемы, с которыми сталкиваются городские пространства в нашем регионе, и наша коллекция включает множество нарративов, критически описывающих происходящие здесь процессы, я не согласен с Селеньи, что поводов для радости немного, или, скорее, я протестую против логики, которая позволяет ему так легко делать подобное заключение. Статистические таблицы, ранжирующие крупные города в порядке их благоустроенности, безопасности и т.п. на сайтах в Интернете — это тотальное искажение, в мире нет ни одного города, который функционировал бы должным образом¹⁵. Па-

¹⁴ Ivan Szelenyi, там же, с. 316.

¹⁵ Абдумалик Симоне начинает свою книгу *For the City Yet to Come: Changing African Life in Four Cities* (Durham, NC: Duke University Press, 2006) с общепринятой предпосылки, которую можно легко применить и к P.S. городам: «африканские города не работают». Его книга — это вдохновляющее исследование, в котором тщательно разбираются нарушения функций городских фор-

риж тоже не очень-то веселое и комфортное место для огромного количества живущих в нем людей, однако потребовалось бы гораздо больше усилий и аргументов, чтобы доказать это в академическом тексте. Мы должны изучить логику, согласно которой происходят нарушения функционирования городов в нашем регионе. Мы должны исследовать эти пространства как для лучшего понимания городов и деревень и тех, кто в них живет (а многие из них сами уже очень хорошо понимают, что происходит — нам нужно навестывать), так и для возможности внедриться в эти пространства; их также необходимо исследовать для лучшего понимания самого понимания. Построение различных конфигураций взаимодействий в пространстве (между законами, экономикой, социологией, архитектурой, планированием, рынками, искусством, поэтами, танцорами, комедиантами, преступниками, полицейскими и пьяницами) — это способ преодоления унылого парадокса семиотической революции психоанализа: мы знаем только то, что мы не можем знать, что это значит. То, что важно, — это встречи разнородных элементов, порождающие взаимодействия. Это то, как сегодня функционируют мировые рынки и как нарушается их функционирование (ведь именно то, что они работают таким образом, послужило причиной конца предшествовавшей P.S. эры объема выпуска и производственных планов, пятилетних и других), это вызов и обещание урбанистических P.S. исследований: какого рода инструменты мышления и интеллектуальной практики необходимы нам, чтобы мы могли анализировать это пространство, и может ли этот анализ произвести своего рода революцию в мышлении?

Наше последнее «P.S.», Pferd-Stärke, — это не воспоминание о лошадях и не констатация их реального присутствия в некоторых городах и деревнях региона; это и не констатация присутствия других животных (таких как овца, которую Сергей Румян-

маций и практик в приложении к беднейшим слоям населения четырех африканских городов и которое использует именно эти элементы как основу для создания современной африканской урбанистической теории не по готовым заимствованным моделям, а «изнутри».

цев описывает, бродя по Баку), хотя и то и другое очень интересно. С помощью этого «P.S.» мы хотим обозначить становление урбанистического без привязки к месту или модели, процесс изменения и эволюции во множестве мест, который не знает, куда он движется. Это позволило бы оправдать некоторые очевидные слабости социалистической урбанизации и подумать о них как о плюсах, подсказывающих альтернативные решения для пространственных переконфигураций. Можно смело утверждать, что исследования в области создания пространства в нашем регионе, размышления о пространстве как о конечном продукте изменений, происходящих на этой территории, — это трудоемкие упражнения, которые тем не менее необходимо делать¹⁶. Таким образом, *Pferd-Stärke* региона — это сила «слабейшего». Во-первых, это сила недостаточно городского, недостаточно сельского, недостаточно структурированного, недостаточно развитого, недостаточно идентичного и связного и недостаточно разного. Во-вторых, это сила четко не определенных методологий исследования, отсутствия центральных и привилегированных точек интерпретаций, разнообразия различных, зачастую несовместимых подходов.

Эта книга отражает наше желание положить начало рефлексии подобного рода. Она стремится в некотором смысле отдать должное разнообразию пространств нашего региона и изменениям, которым они подвергаются (именно поэтому наш заголовок гласит, что мы исследуем P.S. ландшафты — во множественном числе), однако мы не можем надеяться, что этот сборник даст читателям некое целостное и законченное представление о происходящих процессах. В то время как для некоторых городских пространств заветная цель — стать культурной столицей Европы, для других более насущной проблемой является этническая война, после которой нужно восстановиться, или кропотливая работа над тем, чтобы ее избежать. В то время как в одних городах мы наблюдаем буйство природы, что позволяет прогнози-

¹⁶ Большую пользу может принести рассмотрение книги Анри Лефевра «Производство пространства» (*The Production of Space* (Oxford: Blackwell Publishers, 1991)) в контексте P.S. пространств.

ровать для них будущее городской деревни, в других реликты тяжелой промышленности или стремительное современное освоение земель заставляют говорить о гиперурбанизации. В то время как некоторым сельским территориям фонды реконструкции ЕС предлагают финансирование на условиях перехода к экологии или туризму, фермам или деревням приходится бороться, чтобы приспособиться к капитализму, который не обеспечивает им место на рынке сбыта, и конструировать собственную альтернативную социальную логику. Фактически ландшафты в настоящее время представляют собой не только физическое пространство и статичные архитектурные формы, они включают разнообразные «вкрапления» визуальных медиа, как пишет Екатерина Викулина в своей статье о социальной рекламе в Риге. Все эти изменения, безусловно, нельзя отразить в одной книге. То, что мы предлагаем, это просто несколько звуков из шума бушующих вод P.S ландшафтов, некая оптика, подходящая для изучения этих богатых и до сих пор недостаточно описанных территорий.

Наша книга структурирована и тематически, и географически. С точки зрения географии она включает тексты из различных городов Восточной Европы (расположенных по обеим сторонам новой, Шенгенской стены), прибалтийских государств, Кавказа, России и Средней Азии. Таким образом, она дает возможность узнать о важных проблемах, с которыми сталкиваются города в этих регионах. На теоретическом уровне сборник предлагает диапазон теоретических подходов для обсуждения актуальных для всего этого региона вопросов. Мы надеемся, что более эмпирические тексты будут восприняты не просто как описание лежащего в их основе исследования конкретного случая, а позволят читателям сделать какие-то обобщения и что читатели смогут связать более теоретические тексты, опубликованные в сборнике, с конкретными, близкими им примерами. Цель состоит не в том, чтобы представить исчерпывающий обзор географии или истории этого региона, а в том, чтобы посредством различных подходов дать читателям представление о масштабе и потенциале этой молодой сферы исследований, фокусирующейся на пространстве.

Первый раздел — «P.S. города: нарушение порядка времени и пространства» — содержит тексты, исследующие разрушение пространственных и временных осей, которое представляется характерным для P.S. городов. Это, без сомнения, черта развивающихся ландшафтов всех городов, однако в P.S. пространствах она проявляется в специфических формах и «бьет по нам» с особой силой. Сборник открывается текстом Нериуса Милерюса, в котором он исследует идею единства пространства в советскую и социалистическую эпоху и последующего разрушения этого единства. Габриэла Швитек исследует жилой район Варшавы, называемый «За железными воротами»: послевоенный модернистский микрорайон, построенный на территории бывшего Варшавского гетто, который сейчас представляет собой живое свидетельство архитектурного стиля, ушедшего в прошлое. Швитек раскрывает слои истории этого конкретного пространства, чтобы понять разницу между тем, как памятники соотносятся с историей, и тем, как они соотносятся с жизнью в пространстве, где травмы прошлого вплетены в саму ткань этого пространства и, таким образом, становятся частью повседневного опыта. Оксану Запорожец и Екатерину Лавринец между тем интересуют способы, которыми порядок и атмосфера страха внедряются в меняющиеся пространства, особенно те, которые находятся в переходном состоянии. Каковы политические следствия контроля над объектами и людьми применительно к разным пространствам и временам: разве не верно, что город может достичь состояния открытости, только будучи «затерянным», — условие, соблюсти которое в настоящее время становится все труднее из-за страха, окружающего потерянные предметы. Последний текст в этом разделе, автор которого Ольга Блекледж, посвящен украинскому фильму «Путеводитель», где делается попытка найти адекватный кинематографический язык, чтобы передать специфику пространства современного Киева. Путеводитель, который получился в итоге, не поможет вам найти дорогу в городе или посетить достопримечательности: то, что мы видим на экране, — это пестрое полотно, сотканное из мест, которые в разное время служили

для совершенно разных целей, внезапных монтажей и повторов, покупок квартир и ночной жизни, что создает яркое впечатление о городе как о многоуровневом, дезориентирующем и энергетическом пространстве.

Второй раздел книги называется «P.S. города: экономика и/или политика?», поскольку отношения между двумя этими силами, вызывающими изменения городского ландшафта, в P.S. пространствах довольно специфичны. В целом изменение облика городов — это непрерывный процесс взаимодействия, конфликтов и договоров между политическими и экономическими интересами различных действующих сил. Тем не менее в P.S. пространствах иногда может показаться, что речь идет, скорее, не о взаимодействии, а о выборе: будут определять облик города политические силы или экономические. Этот раздел открывает статья Сергея Любимова о развитии «ночной» экономики в бывшем рабочем районе Варшавы. Он разбирает доминирующий дискурс о роли культуры в возрождении этого района, чтобы поставить вопрос о том, каким образом экономические и культурные интересы могут сочетаться, создавая новые социальные и политические границы. Анна Желнина, в свою очередь, анализирует эволюцию рынка на Сенной площади в Санкт-Петербурге, особенно в течение 1990-х. Этот анализ демонстрирует, каким образом экономическое пространство этого неформального рынка отражало политические изменения, происходившие в России. Закрывает раздел исследование Кульшат Медеуовой, посвященное строительству новой столицы Казахстана Астаны. Этот спланированный город демонстрирует, что политическая воля способна создать городское пространство из ничего: может ли такой проект быть успешным и какого рода городское пространство получится в результате?

Если социалистический урбанизм предстает недостаточно урбанистическим по сравнению с урбанизмом капиталистическим, то одним из ожидаемых признаков изменений системы может быть то, что P.S. города станут более урбанистическими. Третий раздел нашей книги, названный «P.S. города: урбанизация под вопросом?», состоит из серии иссле-

дований конкретных случаев, которые показывают, что переход от социалистической к постсоциалистической урбанизации фактически порождает радикальные сомнения относительно характера происходящей урбанизации. Артем Космарский предлагает описание Ташкента, сочетающее пространственный анализ с исследованием изменяющихся социальных формаций в этом постсоциалистическом (?), постколониальном (?) городе. Таким образом, он ставит очень глубокие вопросы о типах пространственных и социальных формаций, существующих в настоящее время в столице Узбекистана, и о способах взаимовлияния пространственных конфигураций и социального расслоения. Сергей Румянцев также применяет историческую перспективу, воссоздавая эволюцию Баку, чтобы прояснить для нас, какие разные силы конкурируют в пространстве этого города. В его повествовании речь идет о глубоком разрыве, созданном современными конфликтами в ткани города. И те драматические события, которые он описывает, могут стать точкой отсчета для изучения других пространств нашего региона. Елена Зимовина, в свою очередь, прослеживает эволюцию городских пространств в Казахстане в демографической перспективе. Что может демографический анализ сказать нам об изменяющейся пространственной структуре Казахстана и P.S. региона в целом?

Четвертый раздел книги, «P.S. города: под воздействием визуальных медиа», наиболее тесно связан с проектом Н.Е.С.Р «Visual and Cultural Studies Reconsidered» («Визуальные и культурные исследования: переосмысление»), благодаря которому возникла идея этой книги, и посвящен одному из самых важных компонентов в развитии P.S. городских пространств — роли визуальных медиа. Важным фактором при изучении трансформации социалистических городов в P.S. города является то, что изменения городских пространств сопровождаются стремительным развитием технологий визуальных медиа. Какое влияние это оказывает? Раздел открывается статьей Ольги Бойцовой о повседневных практиках любительской и туристской фотографии в Санкт-Петербурге. Таким образом, автор стремится выявить различия в типах тех отношений между фото-

графом и городом, которые порождают социалистические и P.S. памятники. Екатерина Викулина рассматривает роль визуальных форм социальной рекламы в Риге в создании повседневного облика города. Драматические примеры, на которых основано ее исследование, позволяют предположить, что за явным содержанием социальной рекламы стоят невысказанные политические послы. Александр Сарна также пытается раскрыть политическую подоплеку использования образов: его исследование посвящено гламурным образам, используемым в создании портрета Минска. Какую политическую роль играет подобная стилистическая репрезентация города? Елена Трубина также размышляет о Минске, однако ее работа – это многоуровневая рефлексия о природе публичного пространства и способов, которыми оно представляется или изображается посредством визуальных элементов. Какие стратегии или практики могут сделать город открытым демократическим форумом, где на вопрос «чей это город?» сможет ответить множество голосов?

Заключительный раздел книги, «за пределами P.S. города», поднимает тему исходно постулированного недостаточного развития P.S. пространств, чтобы поставить вопрос о том, какие перспективы для изучения изменений P.S. ландшафтов открываются, если попытаться посмотреть на город со стороны, извне. В первом тексте этого раздела Луция Галчанова и Барбора Вацкова обращают пристальный взгляд на границы города Брно, исследуя взаимоотношения между обитателями новых окраин Брно и сельскими жителями, по-прежнему живущими в тех местах, которые еще не так давно были деревнями. Авторы изучают субурбанизацию в чешском контексте и ставят вопрос о том, в какой мере эти новые городские пространства содержат следы своего сельского прошлого и какие проблемы возникают при смешении старого и нового населения. Юнис Блавакунас пишет о пространстве на северо-востоке Польши, близ границ Беловежской пуши, территории, которая недавно получила важный экологический статус. Особый интерес автора вызывают вопросы, связанные с приданием той или иной территории экологического статуса в со-

временной конфигурации капитализма, а также рассмотрение того, какие возможности открываются в результате для местных жителей и как они пытаются использовать эти возможности. Антония Янг между тем рассматривает общинные традиции, сохранившиеся в изолированных горных деревнях на севере Албании. Здесь, по разным причинам, женщина иногда выбирает социальную роль мужчины, плата за это — обет целомудрия. Таким образом, это пространство изолированной патриархальной деревни оказывается удивительным местом для изучения того, каким образом гендерные роли замещают биологические. Текст Бенджамина Коупа представляет собой более общее теоретическое исследование, доказывающее необходимость принять P.S. деревню за точку отсчета для рассмотрения социальных изменений. По его мнению, P.S. деревня — это не некое изолированное от города отклонение, а привилегированный пункт наблюдения за трансформациями, которые оказывают влияние и на городские пространства.

Еще одним P.S. этой книги является компакт-диск, который содержит визуальные материалы, дополняющие письменные тексты. В первом разделе можно найти иллюстрации к нескольким статьям, вошедшим в этот сборник. Второй раздел представляет собой автономные коллекции визуального материала, обозначенные нами как «визуальные нарративы», которые формируют серии концептуальных визуальных тропов для исследования P.S. пространств. Эти визуальные нарративы, как и другие представленные в этом сборнике тексты, предлагают серии различных оптик, которые можно использовать, чтобы рассматривать вопросы, связанные с урбанистическими и руральными исследованиями в данном регионе. Мы надеемся, что эти материалы внесут свой вклад в раскрытие этой важной темы и послужат стимулом для дальнейших исследований и социальной активности. В заключение мы хотели бы поблагодарить всех тех, кто оказал содействие в подготовке этой книги: Н.Е.С.Р. за финансирование проекта, в ходе которого родилась идея; Альмиру Усманову, поддержавшую эту идею; Елену Хлопцеву за контроль над сложными административными про-

цедурами; Аллу Пигальскую за работу над дизайном обложки; Людмилу Малевич за понимание и работу издательства ЕГУ; переводчиков статей; всех тех, без чьей бескорыстной помощи международный проект, подобный этому, не мог бы состояться.

**Р.С. ГОРОДА:
НАРУШЕНИЕ
ПОРЯДКА ВРЕМЕНИ
И ПРОСТРАНСТВА**

СИНХРОНИЗАЦИЯ И ДЕСИНХРОНИЗАЦИЯ НАСТОЯЩЕГО И ПРОШЛОГО НА СОВЕТСКОМ И ПОСТ- СОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВАХ

Статья опирается на предположение, что цельного социалистического пространства никогда не существовало. В статье говорится не о цельном социалистическом и советском пространстве, а о множестве различных пространств, для синхронизации которых применялись различные стратегии, тактики и директивы. Такими синхронизирующими факторами были политические структуры и их технологические индустриальные медиумы. Будучи одним из таких медиумов, урбанизация функционировала как своего рода общий знаменатель различных советских пространств, стремящийся унифицировать повседневную жизнь жителей различных городов. Исчезновение синхронизирующих советские пространства факторов знаменует переход в ситуацию «пост». В статье приводятся аргументы, которые показывают, что цельность советских пространств подрывалась избежавшей приведения к общему знаменателю памятью и неунифицированными практиками, создающими новые повседневные смыслы. Чтобы выявить эти процессы, в статье уделяется особое внимание явлениям визуальности и повседневности.

Ключевые слова: урбанизация, советское пространство, повседневность.

При рассмотрении урбанистических изменений на P.S. пространстве неизбежно возникает целый ряд концептуальных вопросов о самом характере P.S. пространства. Само P.S. пространство не гомогенно, а временами кажется, что различия между отдельными P.S. пространствами настолько ради-

кальны, что единственной объединяющей их чертой является история, в которой эти пространства принадлежали однородному гомогенному образованию — социалистическому и советскому пространству. Однако, если оглянуться в прошлое, становится ясно также, что однородного социалистического и советского пространства тоже никогда не существовало. Вместо того чтобы утверждать, что в прошлом существовал цельный социалистический и советский ландшафт, неизбежно приходится признать, что существовало множество различных советских пространств, для согласования и синхронизации которых была создана всеобъемлющая сеть директив и практик.

Метод плетения этой синхронизирующей разные советские пространства сети можно описать с помощью разницы между стратегией и тактикой. «Единая и неуклонная линия партии», о которой постоянно говорилось в официальном дискурсе, являлась парадной, всеми видимой стратегией синхронизации советских пространств. За кулисами же конкурировало множество других стратегий, скрытых за парадной стратегией. Официальные и неофициальные стратегии синхронизации жизни советских пространств составляли вершину пирамиды власти. «Единая и неуклонная линия партии» проводилась от этой вершины до периферийных пространств пирамиды власти официальными, видимыми, и неофициальными, скрытыми, способами. Здесь, на периферии, в Киеве, Таллине, Ашхабаде, Баку, Вильнюсе, Тбилиси или Риге, стратегии обрастали микроскопическими тактиками, предназначенными для претворения в жизнь стратегических установок с учетом специфики местных условий.

Результат применения такой всеобъемлющей сети глобальных стратегий и локальных тактик — специфическая синхронность жизни в различных, часто, казалось бы, совершенно несовместимых в историческом и культурном плане пространствах. Гражданин, отправившийся из Таллина или Вильнюса в Алма-Ату или Душанбе, попадал, само собой разумеется, в радикально другую историческую, культурную, географическую или архитектурную среду. Однако благодаря существующим синхронизирован-

ным стратегиям и тактикам обнаруженное отличие можно было достаточно просто конвертировать в узнаваемую модель советской жизни. Понятно, что такую модель составляли не только идеологические советские нарративы, но и повседневные практики городской жизни.

То, как произошел переход из фазы, в которой синхронность социалистических и советских пространств была нормой, в P.S. фазу, когда связи между некогда унифицированными пространствами стали реликтом, описано в исследованиях исторического типа. Сейчас важнее выяснить, что структурно составляло механизм синхронизации социалистических и советских пространств и как этот механизм функционировал в пространствах городов. Меня, как аналитика феноменов повседневности и визуальности, особенно интересует то, каким образом в синхронизированных советских стилях жизни переплетаются политические, художественные и обиходные элементы. Поэтому внимание в тексте будет обращено на советские сплавы политических, художественных и повседневных смыслов и их распад. После такого обзора станет немного яснее и концептуальный смысл произошедших изменений P.S. ландшафтов. И хотя рассматриваемый механизм синхронизации стремился охватить весь регион социалистических государств от Центральной Европы до Азии, основное наше внимание будет сконцентрировано на одном объекте — Советском Союзе, в котором стратегии и тактики, синхронизирующие различные ландшафты, были объединены в режим контроля одной страны.

**«ОКТАБРЬ» ЭЙЗЕНШТЕЙНА:
КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
СИНХРОНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВ**

Люди постарше, жившие в бывшем Советском Союзе, даже не будучи знатоками кино, должны хорошо помнить последние кадры из программного фильма советской эпохи — «Октябрь» Сергея Эйзенштейна. Происходит взятие Зимнего дворца, упраздняется Временное правительство, десятки часовых

стрелок показывают время в Санкт-Петербурге, Москве, Берлине, Париже, Лондоне, Нью-Йорке, тысячи человек аплодируют Ленину, издаются первые декреты новой страны, появляется цитата из Ленина, что теперь необходимо заняться строительством социализма в России.

Очевидно, что в самом общем смысле этот программный фильм Эйзенштейна — краеугольный кинематографический «камень» нового государства, идеологический миф-нарратив. «Октябрь» становится кинематографическим событием-конструктом, внесенным первым номером в создаваемый средствами массовой информации идеологический календарь страны.

На этих последних кадрах фильма — притягивающая наибольшее внимание комментаторов сцена с часами. Различные часовые пояса выражают различные географические, социальные, культурные и исторические условия. И все-таки, несмотря на эти различия, часы идут и считают время согласованно и ритмично. Хорошо известно, что множество часов в самых больших городах России и мира метонимически выражает мировое значение и масштаб Октябрьской революции. Однако смысловая нагрузка, сосредоточенная в этом фильме, превосходит те идеи, которые сознательно стремился реализовать сам режиссер. Можно утверждать, что эйзенштейновский «Октябрь» — это пересечение различных смыслов, которые со временем были приписаны этому фильму, и тех ролей, которые этот фильм должен был играть в советской идеологии. С перспективы сегодняшнего дня сцена с часами кажется не только метонимией масштаба Октябрьской революции, но и кинематографической репрезентацией, отображающей синхронизацию различных пространств с помощью стратегий, тактик и присматривающих за ними дисциплинирующих режимов. «Октябрь» не столько иллюстрирует то, что случилось, сколько выражает то, что должно случиться. После того, как значение Октябрьской революции измеряют часы всех больших городов мира, необходимо заняться строительством социализма в России — добиться, чтобы все часы новой страны били бы в едином ритме. Показанные Эйзенштейном первые декреты новой страны

как будто первые часы — это первые директивы, по которым должны будут согласовываться все пространства новой страны. И хотя сам фильм Эйзенштейна заканчивается там, где настоящая история новой страны только начинается, дальнейшее строительство новой страны выглядело как продолжение фильма Эйзенштейна.

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И УРБАНИЗАЦИЯ КАК МЕДИУМЫ ВЛАСТИ

То, что Советской России, а позднее и расширяющемуся Советскому Союзу требуются идеологические директивы, синхронизирующие все пространства, стало ясно с самого начала образования советских пространств. Политическим проводником, обеспечивающим передачу этих директив из одного пространства в другое, были большевистские органы власти — Советы, давшие имя и всей стране, Советскому Союзу. Однако Советы — необходимое, но не достаточное условие синхронизации различных пространств. Для того чтобы все пространства жили в одном ритме, Советам нужен был и технологический медиум, который мог бы воплотить политические установки в видимую глазами материю.

Таким технологическим медиумом советской власти должна была стать электрификация. Известный ленинский тезис «Коммунизм — это Советская власть плюс электрификация всей страны» функционирует как универсальная формула, соединяющая политическую плоскость с экономической. Всегда возникает соблазн понимать эту формулу дословно и представлять себе тянущиеся от города до города, от деревни до деревни, от хутора до хутора электрические провода и вырванные из темноты земляные массивы. Мотив завоевания пространств звучит, как мне кажется, и в строчках произведения Владимира Маяковского «Марш ударных бригад» 1930 года:

Вперед,
в египетскую
русскую темь,
как

ГВОЗДИ,
вбивай
лампы!¹

Однако цель ленинской формулы намного более амбициозна, чем просто завоевание темных пространств. Уже Карл Маркс утверждал, что коммунизм будет претворен в жизнь «с неотвратимостью закона природы». Запруживая реки и используя природные ресурсы для производства электроэнергии, большевики старались превратить электрификацию в совершенный механизм, закачивающий силу природы в советскую политическую и экономическую систему. Начав упомянутое выше стихотворение «Марш ударных бригад» с воинственного мотива завоевания пространств, Маяковский точно определил и идею подчинения природы советской политической и экономической системе:

Электричество
лей,
река-лиха!
Двигай фабрики
фырком зловодым.
От ударных бригад
к ударным цехам,
от цехов
к ударным заводам².

Следует отметить, что Маяковский полагал, что электрификация должна закачивать свою силу во все сегменты жизни, включая процитированные выше строчки стихов и все остальные. Внешне специфический ритм стихотворений Маяковского — не что иное, как ритм самого электрического тока.

Мнения, что электрификация должна задавать всеохватный ритм советской жизни, придерживались как официальные идеологи советской страны,

¹ Маяковский, В.В. Марш ударных бригад // Маяковский, В.В. Полное собрание сочинений: в 13 т. М.: Худож. лит., 1955–1961. Т. 10. Стихотворения 1929–1930 годов, вступление в поэму «Во весь голос», стихи детям. 1958. С. 162–163.

² Там же.

так и талантливые художники. Казалось бы, Маяковский интерпретировал электричество и электрификацию максимально радикально, но не менее радикален был и писатель Андрей Платонов. Обратив внимание на то, что в условиях капитализма основные энергетические ресурсы добываются из ограниченных природных источников, Платонов указывает, что в социалистических условиях электричество следует получать из света, который, по сути дела, никому не принадлежит, а следовательно, «социалистичен по своей природе»:

«Социализм нужно строить на такой физической силе, которая самая распространенная и запасы которой не поддаются исчислению (света столько – сколько пространства), т.е. на свете и из света надо отлить и выточить коммунизм»³.

Именно свет, как «пролетарский» источник энергии, является силой, на основе которой создается не только промышленность, но и новый, социалистический человек, а также планетная архитектура:

«Социализм придет не раньше (а немного позже) внедрения света, как двигателя, в производство. И только тогда из светового производства вырастает социалистическое общество, новый человек – существо, полное сознания, чуда и любви, коммунистическое искусство – это вселенская скульптура, планетная архитектура...»⁴.

Само собой разумеется, проект Андрея Платонова по подчинению света вселенной строительству социалистической планетной архитектуры остался красивой технологической идеологической утопией. Но то, что невозможно было реализовать в глобальном – и даже планетарном – архитектурном масштабе, принялись реализовывать на уровне локальной урбанизации.

Формула «Коммунизм – это Советская власть плюс электрификация всей страны» выражает ранний – амбициозный – этап строительства коммунизма. На этом этапе понятия коммунизма и социа-

³ Платонов, А. Свет и социализм / А. Платонов // Государственный житель. Минск: Мастацкая літаратура, 1990. С. 646.

⁴ Там же. С. 647.

лизма еще не разделены, поскольку предполагается, что строительство коммунизма и социализма — дело относительно близкого будущего. Электрификация рассматривается как создание советских пространств руками природы, со временем переходящее в режим длинных дистанций и долгосрочных задач. Коммунизм становится идеалом, перенесенным куда-то в далекое будущее, а все силы концентрируются на актуальном строительстве реального социализма. Здесь, на плоскости реальных практических решений, ленинская фраза «Коммунизм — это Советская власть плюс электрификация всей страны» трансформируется в формулу, которая, как мне кажется, должна звучать так: «Социализм — это Советская власть плюс урбанизация всей страны».

Урбанизация всей страны, сменяющая в ленинской формуле электрификацию, должна была нести ту же самую функцию — синхронизировать все советские пространства. Как мы видели, электрификацию можно интерпретировать, рассматривая ее как с минимальной, так и с максимальной перспектив. В минимальном случае это — вырывание пространств из темноты и, говоря языком Маяковского, вбивание лампочки Ильича над головами темных людей. В максимальном, почти утопическом, случае это — подчинение сил всей планеты строительству коммунизма. Урбанизацию, сменившую электрификацию, нельзя объяснять, используя такие широкие интерпретационные ножницы. С одной стороны, урбанизация намного шире, чем электрификация в минимальном смысле, поскольку она включает в себя не только завоевание пространств светом и просвещение невежественных людей, но и комплексное формирование завоеванного пространства, а также воспитание просвещаемого народа. С другой стороны, урбанизация, хоть и осуществлявшаяся зачастую с использованием агрессивной политической риторики, всегда была более реалистичной процедурой синхронизации пространств, чем радикальная утопическая процедура унификации советских пространств на основе света.

Урбанизация в советской системе не является альтернативой электрификации. С точки зрения экстенсивности электрификация обладает несомненно

большими возможностями по охвату большей территории и распространению директив Советов в различных пространствах. Однако после того, как развеялся пафос электрификации, стало очевидно, что урбанизация обладает значительно большим числом рычагов контроля и синхронизации сегментов пространств. Урбанизация использует электрификацию при создании новой индустриальной экономики и нового быта советского гражданина и тем самым превращает электрификацию в один из инструментов конструирования советских пространств.

УРБАНИЗАЦИЯ:

МОНТАЖ СИНХРОННОЙ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

Как отмечалось выше, в фильме «Октябрь», рассказывающем о строительстве страны Советов, С. Эйзенштейн забегает вперед, словно предвидя то, что лишь должно будет случиться. Первые директивы, которые Эйзенштейн показывает в финальных кадрах фильма, — политическая основа новой страны, распространенная благодаря электрификации и урбанизации. Поскольку политические директивы выглядят как часы, с которыми должна будет согласоваться политическая жизнь новой страны, естественно, что электрификация и урбанизация выглядят как технологический механизм этих политических «часов».

Переключки между С. Эйзенштейном и осуществляемой в Советской России, а позднее и в Советском Союзе инженерной индустриализацией и урбанизацией, можно найти на несколько неожиданном уровне — в эйзенштейновской технике монтажа. Как отмечает Наум Клейман, известный швейцарский архитектор, родоначальник конструктивизма Ле Корбюзье был знаком с фильмами Эйзенштейна. По утверждению Ле Корбюзье, Эйзенштейн конструирует свои фильмы по принципу, похожему на тот, по которому сам Корбюзье конструирует свои архитектурные сооружения. Этот кинематографический принцип Эйзенштейна и архитектурный принцип Ле Корбюзье связан, по сути дела, с новым обществом, огласившим строительство царства равенства, спра-

ведливости и труда⁵. Однако, сколь полезным бы ни было это замечание, позволяющее провести параллель между *монтажом* Эйзенштейна и соответствующими принципу равенства и единообразия зданиями, *монтируемыми* позднее по всей территории Советского Союза, знаки предвидения будущего в Эйзенштейновском «Октябре» следует искать и на более простом — метонимическом — уровне сцены с часами. Как уже отмечалось выше, целью новой страны было, чтобы все часы новой страны били в едином ритме. Индустриализация и урбанизация страны и создали со временем целую сеть конструкций, внутри которой городской ритм жизни в Ленинграде, Тбилиси, Москве, Киеве, Алма-Ате, Кишиневе, Ереване, Таллине, Минске, Фрунзе, Вильнюсе, Баку, Риге и во всех остальных городах страны должен был проходить по синхронному руслу.

Унификация городской жизни в Советском Союзе происходила в течение всего периода его существования. Ключ к пониманию того, как при помощи урбанизации производилась синхронизация советских пространств, предоставляет литовский архитектор Витаутас Бредикис. Этот архитектор в советское время получил высшую на тот момент — Ленинскую — премию за проект нового района Лаздинай в столице Литвы Вильнюсе. Недавно его спросили в частной беседе, как бы он определил советскую архитектуру в разных республиках Советского Союза. Бредикис ответил, что советская архитектура была везде одинаковой по содержанию, но разной по форме.

Политическая, идеологическая, социальная, экономическая и даже технологическая содержательная «начинка» архитектуры советских городов была, по существу, одной и той же. Было немало городов, формальные характеристики которых тоже, в сущности, были почти одиноковы. Промышленные города различных республик, построенные на пустом или почти пустом — на «нулевом» или почти «нулевом» — пространстве, вследствие принципиальной схожести по содержанию и по форме конвертировались один в другой. С появлением техноло-

⁵ Клейман, Н. Эффект Эйзенштейна / Н. Клейман // Эйзенштейн, С.М. Монтаж. М., 2000. С.13.

гии строительства крупнопанельных домов возможности унификации промышленных городов или возводимых в старых городах новых районов достигли огромного масштаба. Во многих городах различия между новыми урбанистическими пространствами были продиктованы только количественным фактором — неодинаковым масштабом этих городов.

Реальные различия, которые, скорее всего, имел в виду Бредикис, возникали тогда, когда новые советские урбанистические структуры возводились не на пустом пространстве, а на фундаменте уже существующей урбанистической сети. Хотя в этом случае радикальному преобразованию нередко подвергались и старые центры городов, однако уже сформировавшийся колорит города полностью не пропал. Старые, исторические досоциалистические, слои городов в свою очередь оказывали влияние на новые пространства городов. Так, например, многоквартирные сооружения той или иной азиатской республики Советского Союза часто украшались орнаментами с местными восточными мотивами.

И все же нетрудно заметить, что такие орнаментные украшения не могли существенно нарушить однородности новой архитектуры Советского Союза. А различия городских тканей досоциалистического периода, которые неизбежно имели место из-за разных географических, исторических, культурных условий формирования старых частей городов, сглаживала и смягчала советская городская повседневность.

Ирония унификации, или жизнь в одинаковых городах

Советская повседневность — это медиум, который продолжает работу электрификации и урбанизации, синхронизируя советские пространства. В сравнении с гигантским проектом электрификации и индустриальной урбанизацией повседневные практики направлены на микроскопические пространства, микроскопические события и ситуации. Регламентация и синхронизация повседневных практик — долгий процесс, однако устоявшиеся в повседневных прак-

тиках городских жителей закономерности зачастую сохранялись дольше, чем фиксированные материальные городские структуры.

Советскую повседневность характеризует та же самая формула, которая определяет и советскую архитектуру в различных городах страны. Повседневность в Ленинграде, Тбилиси, Москве, Киеве, Алма-Ате, Кишиневе, Ереване, Таллине, Минске, Фрунзе, Вильнюсе, Баку, Риге и в других городах Советского Союза могла быть разной по форме, но в сущности одинаковой по содержанию. Впрочем, формы большинства повседневных предметов и практик также были по сути одинаковыми. Это особенно относится к европейской части Советского Союза. В советских квартирах нередко стояла почти одинаковая мебель — во многих случаях различия предопределялись только размером квартиры и, соответственно, размером мебели, а не качественными характеристиками. В квартирах висели похожие занавески, а люди были одеты в одежду похожих или совершенно одинаковых моделей и сидели у едва ли нескольких на весь Советский Союз моделей телевизоров. Люди, хорошо помнящие повседневность того времени, хорошо помнят и гигантские очереди за обувью или головными уборами. Когда подходила очередь, выбирать модель обуви или головного убора не было смысла, так как модель была лишь одна, нужно было только сообщить размер обуви или головного убора.

Естественно, что наряду с такими унифицированными пространствами и стандартизированными повседневными предметами было стандартизировано и время. Радиоточки, которые со временем начали массово устанавливать в новых квартирах. Телевизоры, показывающие две-три программы, где одна передача — информационная программа «Время» — была почти обязательной, а зрители смотрели ее в массовом порядке во многом по инерции. Союзные газеты, которые дублировались своими региональными эквивалентами. Газеты днем, по дороге на работу и вечером, когда у киосков в ожидании «Вечерних новостей» стояли очереди горожан. Весь этот информационный поток не только передавал новости, но и наряду с пространственной структурой давал советской повседневности стабильный временной ритм.

Одна из самых значительных и популярных советских кинематографических историй «Ирония судьбы, или С легким паром» достаточно точно диагностирует такую всеобъемлющую однородность советской повседневной жизни. Два города, Москва и Ленинград, две пары собирающихся пожениться мужчины x и женщины y . Почти никогда не выпивающий пьяный x одной из пар попадает в самолет, летит из Москвы в Ленинград, там приходит в «сознание», приезжает по своему московскому домашнему адресу, находит там такой же дом, такую же квартиру, к этой квартире подходит такой же ключ, в ней такая же мебель и, самое главное, такая же кровать, на которой можно поспать и протрезветь. И тут возвращается y из ленинградской пары и начинается любовная история, которая, к сожалению, нас сейчас не интересует. Нас интересуют приведенные выше начальные условия истории — невероятно одинаковые города. Настолько одинаковые, что определяют то, что x московской пары выбирает не свою y , а y ленинградской пары. Впрочем, хотя появление условий для выбора было заслугой беспрецедентного единообразия советских городов, реализация самого выбора требует «мелочи», которую не могут вызвать никакие стратегии унификации, — любви.

ОТ СИНХРОНИЗИРОВАННЫХ СОВЕТСКИХ ПРОСТРАНСТВ К P.S. ПРОСТРАНСТВАМ

Невзирая на радикальные различия, все советские пространства обладали общим синхронизирующим их знаменателем. Именно распад этого общего знаменателя и определяет переход из советского в P.S. — постсоветское и постсоциалистическое — пространство. Проще говоря, советское пространство прекратило свое существование тогда, когда прекратил свое существование механизм, синхронизирующий советскую жизнь и помогающий жителю Таллина, Вильнюса или другой западной окраины Советского Саюза конвертировать отличия другой советской окраины — Алма-Аты или Душанбе — в узнаваемые схемы. Однако, поскольку в советские вре-

мена приведению к общему знаменателю подверглось не только политическое поле, но и огромное число самых разнообразных жизненных практик, исчезновение синхронности советских пространств не носило моментального характера. Кое-какие элементы советской повседневной жизни в разных точках советской империи сохранились в мало измененном виде даже тогда, когда никакой советской империи на политической карте мира уже давно не существовало. По сути, такие анклавные советские повседневные практики, оставшиеся в изменяющихся P.S. пространствах, являются неотъемлемой частью и современных P.S. ландшафтов. Прежде общность советских пространств подтверждали стратегии и тактики, синхронизирующие эти пространства. В настоящее время общность различных P.S. стран иногда еще можно встретить в стилях советской жизни или в поразительно живучих повседневных деталях. Ранее общность советских пространств сознательно поддерживалась. Теперь же сохранившиеся в тех или иных местах на P.S. пространствах старые советские стили жизни существуют как идеологически неподдерживаемые обиходные инертные конструкции.

Как пишет Харло (Harloe), социализм мог возникнуть только в городе, но и пасть тоже мог только в городе. Прежде всего, Харло отмечает, что революция 1917 года является результатом уличных боев, а такие бои шли только в столице, Санкт-Петербурге. По словам Харло, Пражская революция, падение Берлинской стены и другие события распада социализма тоже, по сути, являются «городскими». Однако, как подчеркивает Харло, эти два перехода из капитализма в социализм и обратно из социализма в капитализм, а также взаимосвязь этих переходов с городами и урбанизацией — намного более глубокие процессы. Как капитализм, так и социализм соединяют в одно целое социальную пространственную организацию города, экономику и политику⁶. Следовательно, из такой позиции Харло можно сделать вывод, что городские мирные или вооруженные ре-

⁶ Harloe M. «Cities in the transition» in. *Cities After Socialism: Urban and Regional Change in Post-Socialist Societies*. Ed. Gregory Andrusz, Michael Harloe, Ivan Szelenyi. Oxford: Blackwell Publishing, 1996. P. 2.

волюции являются следствием изменений, происшедших в городах на социальном, экономическом и политическом уровнях.

Такая точка зрения должна помочь избежать редуktivизма, который побуждает объяснять переход из социалистической в постсоциалистическую ситуацию, опираясь на какой-нибудь один социальный, экономический или политический принцип. Как утверждалось ранее, цельного советского и социалистического пространства никогда не существовало. Можно говорить не о цельном советском и социалистическом пространстве, а о множестве различных пространств, синхронизированных с помощью различных стратегий и тактик. После того, как эти стратегии и тактики ослабляются, на первый план выходят различия между различными пространствами. Теперь свои условия диктует специфика того или иного местного пространства. В одном пространстве советские синхронизирующие связи подрывались политическими национальными реалиями, в другом — экономикой, в третьем социальными проблемами.

Несоизмеримость различных пространств в последние годы Советского Союза проскальзывала как симптом даже в речах советских официальных лиц. Последний руководитель Советского Союза Михаил Горбачев, находясь с визитом в Литве и реагируя на голоса все громче требующих независимости Литвы литовских граждан, однажды сказал: как вы можете хотеть выйти из состава социалистического сообщества наций, если никогда не жили в условиях истинного социализма. Можно выделить как минимум несколько версий интерпретации этой элементарной фразы. Во-первых, с точки зрения официальной советской идеологии эта фраза лишней раз напоминает, что социализм — это идеал будущего, к которому следует стремиться изо всех сил. В данном случае *истинный* социализм связывается с состоянием отсутствия на данный момент («еще нет»), но при этом обещан в будущем — «завтра». Во-вторых, эту фразу можно рассматривать как пример самой обычной демагогии — человек не может хотеть избавиться от того, чего никогда не имел, человек не может утратить то, что ему никогда не принадлежало. В-третьих, это связанное с отсутствием и одновре-

менно отдающее демагогией «еще нет» *истинного* социализма можно разоблачить как симулякр, который за надеждой «завтра» скрывает драматическое «никогда». В этом случае пространство *истинного* социализма может пониматься как несуществующее место, идеологическая утопия (*u-topos*).

Конечно, можно было бы выделить и другие возможные интерпретации этой фразы. Однако в данном случае важно не только понять, что могла означать эта фраза, но и связать ее возможное значение с пространством, где она была произнесена. А фраза эта была произнесена в Вильнюсе, в литовской столице, в западной точке Советского Союза, на пространстве, которое вместе с Латвией, Эстонией и Западной Украиной было включено в состав Советского Союза позднее всего — только в 1940 году. Хотя похожую фразу последний руководитель Советского Союза мог произнести и в каком-нибудь другом месте, однако именно на окраинных пространствах Советского Союза с не таким уж долгим социалистическим прошлым целостность социализма разлагала краткосрочная «память» этих окраинных территорий. Именно эта ненормализованная, несинхронизированная национальная память на пространствах западной окраины Советского Союза встает в один ряд с политическими, экономическими и социальными факторами, разлагающими целостность социалистических пространств. Пространства краткосрочной памяти выявляют утопический характер стратегий и тактик, синхронизирующих советские пространства. Городские уличные бои в Берлине или Праге, которые упоминает Харло, тоже, в сущности, возникают как следствие «краткосрочной» памяти, послужившей одним из разрушающих социализм факторов. Слова, сказанные Горбачевым, в которых понятие социализма расщепляется на множество противоречивых значений, и мирные уличные баталии в Вильнюсе, приведшие к краху социализма в этом пространственном ландшафте, разделены очень коротким промежутком времени.

ПАМЯТЬ И ГОРОД: ОТ ВСЕОБЩЕГО К ЛОКАЛЬНОМУ

Как краткосрочная память повлияла на нарушение синхронности советских и социалистических пространств? Почему краткосрочная память характерна именно для P.S. пространств? Краткосрочная память — парадоксальное понятие. Указание на краткосрочную память чаще всего негативно. Такое указание используют, желая продемонстрировать, что не считаются с авторитетами прошлого и будущего. Собственное, изрядно отличающееся от стандартного разделение краткосрочной и долгосрочной памяти предложили Жиль Делёз (Gilles Deleuze) и Феликс Гваттари (Felix Guattari) в известной работе «Тысяча поверхностей» («Mille Plateaux»). По словам авторов, краткосрочная память — ризома, расползающаяся во все стороны. Долгосрочная память — ствольного характера, централизованная⁷.

Идеологические механизмы, стремящиеся регламентировать и синхронизировать настоящее, никогда не ограничиваются только настоящим. Создаваемое идеологическими механизмами настоящее стремится подогнать под себя и видение будущего, и то, что, казалось бы, невозможно изменить, — прошлое.

Преобразование прошлого — прерогатива всех существующих политических структур. Города, расположенные на пересечениях различных конкурирующих между собой сил, издавна стали ареной экспериментов с прошлым. Однако в тоталитарных режимах механизм переделки прошлого становится всеобъемлющим. Тоталитарные режимы колонизируют и оккупируют прошлое так же, как оккупируются географические физические пространства. Тем самым радикально меняется не только отношение между «старым» и «новым», «прошлым» и «будущим», но и сами понятия «старого», «нового», «прошлого», «будущего». Тоталитарные режимы изменяют все — от названий улиц и вывесок до мемориальных досок и памятников. Так создается физический и материальный «рассказ» о прошлом, которого не было. Стратегия тоталитарных режимов

⁷ Deleuze, G., Guattari, F. A Thousand Plateaus. Minneapolis: University of Minneapolis Press, 1998. P. 16.

в процессе переделки прошлого выигрывает тогда, когда обычный человек это прошлое, которого не было, начинает «вспоминать» будто свое собственное. На самом деле воспоминание о прошлом, которого не было, ничего общего с прошлым и воспоминаниями уже не имеет. Это способ сведения прошлого к настоящему, то есть способ замены понятий прошлого категориями настоящего.

Радикальный образ переделки памяти, который, несмотря на определенную гиперболизацию явлений, удивительно похож на стратегии переделки памяти советских времен, можно встретить в романе «1984» Джорджа Оруэлла (George Orwell). Оруэлл описывает Лондон, главный город Взлетной полосы I, третий по размеру в Океании. Океания поочередно воюет и дружит с Евразией и Остазией. На празднике, к которому долго готовились, неожиданно выясняется, что друг Океании уже не Остазия, а враг — не Евразия, неожиданно выясняется, что Океания дружит с Евразией и воюет с Остазией. Поскольку враг Океании стал ее другом, неожиданно все городские плакаты и транспаранты стали непригодны:

«В следующий миг возникла гигантская суматоха. Все плакаты и транспаранты на площади были неправильные! На половине из них — совсем не те лица! Вредительство! Работа голдстейновских агентов! Была бурная интерлюдия: со стен сдирали плакаты, рвали в клочья и топтали транспаранты. Разведчики показывали чудеса ловкости, карабкаясь по крышам и срезая лозунги, трепетавшие между дымоходами. Через две-три минуты все было кончено»⁸.

Радикальной такую переделку прошлого в романе Оруэлла делает не только скорость, с которой были заменены все не соответствующие новому настоящему плакаты и транспаранты. Эту переделку превращает в радикальную и установка, что новое настоящее всегда таким и было, что никогда не существовало никакого другого прошлого, могущего противоречить новому настоящему. Таким образом, изменение прошлого не является каким-либо однократным действием. Прошлое изменяется и подгоняется

⁸ Оруэлл, Дж. 1984 // «1984» и эссе разных лет. М., 1989. С. 127.

к изменяющемуся настоящему, и это постоянно продолжающийся процесс. Такой же бесконечный, как и постоянно изменяющееся настоящее.

Если принять определенные оговорки и смягчить цвета, можно утверждать, что все города Советского Союза были в определенном отношении похожи на описанный Оруэллом Лондон. Города, построенные на «нолевом» или почти «нолевом» пространстве, социалистическую историю создавали словно бы с чистого листа, то есть с самой социалистической истории. В городах с долгой историей несоциалистическое прошлое подгонялось под социалистическое настоящее. Переименование Санкт-Петербурга в Ленинград — показательный случай описанного Оруэллом действия по срыву и уничтожению «плакатов и транспарантов», после которого неизбежно следовало приписание городу «подходящего» имени. Измененные или неизмененные имена советских городов вместе с существующими названиями улиц и площадей, мемориальными досками и памятниками составляли революционный идеологический нарратив, который мог слегка отличаться в деталях, но, по существу, всегда был один и тот же по своему революционному идеологическому содержанию.

Масштаб такого процесса переделки прошлого городов можно представить себе на примере Вильнюса. В 1980 году среди 650 улиц только 21 сохранила свое историческое название, за последние 150 лет не изменявшееся. Большинство старых, а также новых улиц уже носило революционные, советские (более поздние), нейтральные народные названия или же совершенно безвредные названия природных процессов или животных. С учетом памятников, отмечающих поворотные идеологические точки истории города, и названий улиц, соединяющих город в целостный идеологический нарратив, Вильнюс 1980 года имел мало общего, скажем, с досоветским Вильнюсом 1939 года.

Под такими, на первый взгляд всеобъемлющими, искусственными, вписанными в ткани города структурами долгой памяти и находится краткосрочная память. Долгосрочная память должна была обеспечивать согласованное и синхронизированное понимание истории и прошлого в Ленинграде, Тбилиси,

Москве, Киеве, Алма-Ате, Кишиневе, Ереване, Таллине, Минске, Фрунзе, Вильнюсе, Баку, Риге и в других городах Советского Союза. Краткосрочная память, напротив, не всеохватна, она ограничивается местными локальными историями, ситуациями и событиями прошлого.

Диагнозы Делёза, Гваттари и Оруэлла, почти совпав в интерпретации долгосрочной памяти, при переходе к интерпретации краткосрочной памяти, кажется, расходятся в разных направлениях. Однако на самом деле меняются только акценты и словарь. Оруэлл делает упор на «вспомнить», так как в романе «1984» террор настоящего по отношению к прошлому настолько силен, что настоящее переписывает на язык своих реалий все смыслы прошлого. Героя романа Уинстона Смита пугает, что его девушка не помнит, что еще несколько лет тому назад у Океании был другой враг, а не тот, что теперь. Именно «вспоминать» и есть для Уинстона радикальным способом противодействия осовремениванию памяти, самый радикальный акт сопротивления. Делёз и Гваттари, напротив, делают упор на «забыть». Однако, противореча тому, чего можно было ожидать, «забвение» у Делёза и Гваттари ближе к памяти Уинстона, чем короткая утрата воспоминаний его девушки Джулии. С точки зрения Делёза и Гваттари, искусственная централизованная долгосрочная память не оставляет никакого места для свободы. Свободы забыть. Известный лозунг советского времени звучал так: «Никто не забыт, ничто не забыто». Хотя этот лозунг касался жертв войны и военных реалий, память которых действительно нужно постоянно поддерживать и чтить, однако в идеологическом смысле этот лозунг максимально точно отражает такую память, которая контролирует и управляет каждым сегментом прошлого. Вот почему именно «забыть» у Делёза и Гваттари означало бы максимально противостоять всеосовременивающей и ничего не забывающей долгосрочной памяти.

Таким образом, с точки зрения Оруэлла, а также Делёза и Гваттари, краткосрочная память нарушает монументальность долгосрочной памяти, поскольку свободна вспоминать и забывать. Вспоминать то, что

нельзя свести к советскому синхронизированному прошлому. Забывать то, что составляет основы советского синхронизированного настоящего. Когда синхронизированные советские пространства распадались на различные P.S. территории, в городах России «вспоминать» означало возврат ко все еще сохранившимся в тканях города, затираемым советской идеологией следам альтернативных диссидентских историй. Когда аналогичные процессы происходили на западных окраинах Советского Союза, «вспоминать» означало возврат к национальному досоветскому и досоциалистическому прошлому, которое, как бы парадоксально это ни было, в некоторых местах было жизнеспособнее, чем, казалось бы, более близкая, но искусственная длинная советская история.

Естественно, что при падении тоталитарного идеологического режима с течением времени начал распадаться и цельный идеологический нарратив названий улиц. Скажем, в Литве возврат улицам их старых исторических названий начался раньше, чем официально рассыпалась советская система. Когда политическая сила ослабла, начался снос памятников как знаков колонизации прошлого. Снятие скульптуры Ленина в Вильнюсе до сих пор функционирует как исключительный символический акт, разрушивший всю советскую основу идеологического повествования о советском настоящем и прошлом города.

Хотя при обсуждении синхронизирующих советские пространства факторов мы акцентировали наше внимание на окончании фильма «Октябрь» Эйзенштейна, перипетии краткосрочной и долгосрочной памяти возвращают нас к самому началу фильма. Сцена с часами в конце фильма наряду с другими мотивами синхронизации несомненно выражает и аспект унификации истории различных советских пространств. Но для того, чтобы исчисление времени словно бы началось с нуля, необходимо было разрушить старые структуры. А именно с этого и начинается «Октябрь», где на первых кадрах толпа завязывает петлю на монументе старой власти — монументе царя Александра III — и валит его. Развал социалистических пространств на постсоветские пространства — словно ответ за это началу фильма Эй-

зенштейна «Октябрь» и неудача окончания фильма. Когда синхронизация всех исторических нарративов Советского Союза провалилась, нередко происходил возврат к репрессированным, стираемым, уничтоженным когда-то знакам.

ПАЗАРИТИРОВАНИЕ: ТАКТИКА КОМБИНАТОРИКИ СМЫСЛОВ В ПОЗДНЕМ СОЦИАЛИЗМЕ И В P.S.

Соотношение между долгосрочной и краткосрочной памятью достаточно хорошо показывает, как разрушающий социалистические пространства и создающий будущие P.S. пространства фактор распространяется в социалистических пространствах, проламывает их и ведет в другую сторону, на территории, которые никак не могут происходить из социалистического прошлого. Краткосрочная память отнюдь не всегда обладает собственными содержаниями и своими сюжетами. Очень часто краткосрочная память функционирует как паразит, на советских идеологических нарративах, и питающийся ими, вгрызающийся в них и их опровергающий.

Как уже говорилось, «Октябрь» Эйзенштейна — своеобразная модель советского пространства, в которой кроются и идеологические принципы, и идея переноса уличных боев из столицы в провинцию, и будущая технологическая и урбанистическая экспансия. Сам Эйзенштейн, как известно, не считал, что факты в его фильмах должны быть точными. По его мнению, можно изменять факты для того, чтобы выразить «совокупную» истину. «Совокупная» истина в «Октябре» — победа революции, представленная при сознательном искажении кое-каких фактов. Такая искусственная истина функционирует как кинематографически оформленная долгосрочная память. Под такой долгосрочной памятью и прячется краткосрочная память. Она паразитирует на рассказанной Эйзенштейном истории и на принципе совокупной истины, оправдывающем манипуляцию фактами. Таким образом, краткосрочная память не только избегает приведения к норме и уравнивания долгосрочной памятью, но сама питается сюжетами долгосрочной и разоблачает ее.

«Паразитирующие» подобным образом факторы пользуются и другими синхронизирующими социалистические пространства стратегиями и их обходят. Официальные политические директивы образуют анекдотами и другим фольклором. Архитекторы принимают установленные центром нормы и стандарты, но, манипулируя ими, создают то, что не было предусмотрено и позволено. Литовский архитектор Марюс Шаляморас рассказывал, что, строя в Литве одно здание, он захотел использовать специфические нестандартные светильники, а поскольку в его распоряжении были только стандартные, новые были сделаны из мусорных ящиков. Главный герой «Иронии судьбы, или С легким паром» перепутал Москву и Ленинград, поскольку все — от зданий до мебели и посуды — выглядело одинаково. Архитекторы ломали эту одинаковость, создавая из того, что есть, то, чего среди стандартизированных строений и предметов никогда не было.

Французский семиотик и аналитик повседневности Мишель де Серто (Michel de Certeau), утверждал, разделяя стратегию и тактику, что тактика сама составляет себе смыслы на основе уже существующих структур и смыслов⁹. Таким образом, тактика и есть, по существу, паразитирующая практика. Под влиянием синхронизирующих пространства и действия идеологических установок, индустриализации, урбанизации, унификации времени через масс-медиа и идеологические исторические нарративы в Советском Союзе были созданы одинаковые для всех советских пространств структуры. Однако при помощи «комбинирования», то есть «нелегально», и необычного соединения уже существующих практик и пространств создавались новые практики или даже новые способы восприятия города.

Как уже говорилось, определенные элементы советской повседневности сохранились значительно дольше, чем синхронизирующие все советские пространства политические идеологии. Но все же существует и противоположная тенденция — паразитические, комбинирующие новые смыслы практики, существовавшие долгое время в P.S. период или все

⁹ De Certeau, M. *The Practice of Everyday Life*. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1998. P.34.

еще существующие, начали зарождаться намного раньше, чем начали распадаться политические механизмы синхронизации советских пространств. В последние годы социалистической эпохи и первое P.S. десятилетие «комбинирование» социалистических и капиталистических элементов становится массовым явлением. Это явление приносит чаще всего парадоксальные результаты. Так, в последние годы Советского Союза наряду с советскими супергероями на официально запрещенных видеосеансах начали показывать Рэмбо, Шварценеггера и других голливудские супергероев. При попытке вписать в героические идеологические советские схемы противоположные им фигуры начали появляться специфические гибридные производные. Такие же специфические производные долгое время были характерны и для новых постсоветских национальных нарративов, нередко созданных при помощи внесения в существующие советские схемы противоречащего этим схемам содержания.

Подобные эксцессы «комбинирования» обильно встречались также на физических городских пространствах. Появившийся в последние годы советской эпохи в Москве первый Макдональдс выделялся своими огромными очередями. Заведение «быстро» питания и огромные «медленные» очереди — обычный парадокс «комбинирования» социалистических и капиталистических смыслов. Такие парадоксальные смыслы должны были поражать жителя Запада, привыкшего к условиям капиталистического мира, но были привычны горожанину социалистических, а позднее и P.S. ландшафтов. Со временем этих «комбинированных» смыслов оставалось все меньше и в большинстве P.S. ландшафтов капиталистические элементы начали преобладать над социалистическими.

POST SCRIPTUM

При рассмотрении развала процесса синхронизации социалистических пространств и образования P.S. территорий может возникнуть впечатление, что все смыслы P.S. территорий можно вывести из неудачи советской идеологии. Однако это была бы уже

крайность, как и временами встречающееся противоположное утверждение, согласно которому советскую систему разрушил капитализм или же политическое давление из-за океана.

Распад целостности социалистических и советских пространств был скорее двусторонним процессом. С ослаблением всеобъемлющих, унифицирующих все пространства директив все сильнее и сильнее проявлялись противоположные факторы десинхронизации пространств. В сформировавшихся P.S. городах еще долгое время, кое-где и до наших дней, огромные массы горожан жили, эксплуатируя различия некогда унифицированных пространств. Торговля чем угодно, что можно перевезти через границу, выигрывая на появившейся разнице в ценах, — достаточно хороший пример, который показывает и когда-то существовавшую унифицированность (огромные массы покупателей), и появившиеся, имеющие денежное выражение границы новых государств.

Такая процедура — использование новых разниц, опираясь на бывшую синхронизацию деятельности, — является довольно ярким знаком P.S. пространств. Однако это не всегда мирная процедура. Иногда новые различия P.S. пространств так существенны, что приводят к конфронтации. После того как были отвергнуты всеобъемлющие, контролирующие память и унифицирующие идеологические нарративы, началась борьба памяти различных P.S. ландшафтов, конкретное проявление которой — борьба за памятники на площадях и улицах некоторых P.S. городов. Очевидно: разговоры о сходствах опираются на дискурсе ностальгии по прошлому, а новое сосуществование P.S. пространств строиться на новой основе.

ABSTRACT

This article is based on the proposition that socialist space in fact never existed as a monolithic whole. The article presents socialist and soviet space not as a whole, but as a plurality of different spaces, with different strategies, tactics and directives being applied to synchronise them. Such synchronising factors were political structures and their technologi-

cal, industrial extension. As one such extension, urbanisation functioned as a specific kind of a common denominator for different soviet spaces, striving to unify the everyday life of the inhabitants of different cities. The disappearance of the synchronising factors from soviet spaces is what indicates the passage to the 'post' situation. In the article, it is argued that the unity of soviet spaces was ruptured by memory and non-unified practices which prevented the possibility of a common denominator and led to new everyday practices. In order to bring these processes to the fore, special attention in the article is paid to the phenomena of the visual and the everyday.

Keywords: Urbanisation, soviet space, the everyday

ЗА ЖЕЛЕЗНЫМИ ВРАТАМИ: ИЗЛИШЕК ПАМЯТИ И ЗАБЫВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ГОРОДЕ

«За железными воротами» — это название жилого района в центре Варшавы, состоящего из 19 многоквартирных домов, в 16 этажей каждый, спроектированного командой польских архитекторов в 1966–1970 гг. В 1970-х гг. район «За железными воротами» считался символом польского социалистического процветания. Принципы так называемого современного рационализма — то есть *Siedlungen*, отвечающие огромному дефициту жилья, и *Existenzminimum*, понимаемому как квартира, обеспечивающая минимальные требования для существования, — подчинились политической пропаганде, повлиявшей на послевоенный урбанизм в Польше как на страну за железным занавесом. С 1989 г. «За железными воротами» становится одной из самых активных строительных площадок в городе, привлекающей иностранные инвестиции и постепенно приобретающей очертания «Варшавского Манхэттена».

«За железными воротами» был спроектирован на руинах так называемого «малого гетто», ликвидированного в августе 1942 г. На сегодняшней карте Варшавы осталось лишь несколько руин в этом плотно застроенном районе, которые составляют еврейский Маршрут Памяти. Данная статья, выстроенная как нарративный маршрут по современным улицам и площадям района «За железными воротами», исследует специфику городской памяти. Описание Поля Рикёра трехтактной интерпретативной природы историографической операции (как показано в его книге «Память, история, забвение») касается конкретно этого городского места с его неоднозначным характером. Признавая взаимность написания истории и собирания воспоминаний, так же как различия между онтологическим вопросом и «хонтологическим» описанием, в статье обсуждаются возможности историографических и мемориальных задач в архитектуре.

Ключевые слова: городская память, феноменология памяти, место памяти, соцмодернизм, забвение.

Обсуждая ряд мнемонических явлений в своей книге «Память, история, забвение», Поль Рикёр описывает определенную ситуацию: «Находясь на месте археологических раскопок, я вызываю в памяти исчезнувший культурный мир, о котором с печалью повествуют эти руины. Как свидетель в ходе полицейского расследования, я могу сказать обо всех этих местах, что “я там был”»¹. Но возможно ли представить себя в другой ситуации, когда указания «мы находимся здесь» или «мы живем здесь» относятся к месту, которое лишь квазиархеологично: району в центре города? В известном смысле, городское последовательное строительство, снос и реконструкция воскрешают в памяти историографическую операцию, которая всегда связана с забытым или чем-то, что нам уже не доступно? Мы пытаемся репрезентировать прошлое в настоящем через следы прошлого, через память и написание истории. Как отмечает Рикёр: «Рассказ и строение осуществляют один и тот же вид записи. Первый — во временной протяженности, второй — в твердости материала. Каждое новое здание вписывается в городское пространство, как рассказ — в среду интертекстуальности»² (ил. 1 — здесь и далее ссылка на иллюстрации, представленные на CD).

Рикер различает память (*la mémoire*) как нацеленность и воспоминание (*les souvenirs*), как имеющуюся в виду вещь. Он также ставит два вопроса, вокруг которых выстраивается феноменология памяти: «О чем мы вспоминаем?» и «Кому принадлежит память?»³. Последний вопрос становится неоднозначным особенно, когда адресуется понятию городской памяти. Означает ли это, что город может

¹ Paul Ricoeur, *Memory, History, Forgetting*, trans. K. Blamey and D. Pellauer. Chicago and London, 2004. P. 40. Цит. по: Рикёр, П. *Память, история, забвение* / П. Рикёр; пер. с франц. М., 2004 (Французская философия XX века). С. 67.

² *Ibid.* P. 150. Цит. по: Рикёр, П. *Память, история, забвение*. С. 209.

³ *Ibid.* P. 3 and 22. Цит. по: Рикёр, П. *Память, история, забвение*. С. 21.

помнить или забывать? Помнит ли город посредством своих зданий или историков, жителей и посетителей? Чья это память?

«Может быть, что городская память — это антропоморфизм (город, имеющий память), но обычно это означает город в виде физического ландшафта и собрания объектов, а также практик, которые делают возможными воспоминания прошлого и воплощают прошлое через следы последовательного застраивания и перестраивания города», — утверждает Марк Кринсен во введении к своей книге «Городская память: история и амнезия в современном городе». «Кажется, что городская память означает города как места, где проживались жизни и где они все еще ощущаются в физическом проявлении, формируя то, что помнят вне дискурсов архитекторов, разработчиков, защитников памятников и планировщиков. Но она также часто стратегически мобилизуется этими профессиями»⁴. Кажется, что понятие городской памяти — это следствие введения в философский дискурс понятия коллективной памяти, которая отделяет себя от эгологического понимания мнемонического опыта. Однако, в то время как Морис Хальбвакс утверждает, что нельзя помнить будучи одними (чтобы помнить, нам нужны другие люди), Джеймс Э. Янг предложил провоцирующий термин: «накопленная память», основываясь на предположении, что общества могут помнить лишь посредством воспоминаний своих членов⁵.

Исследуя район «За железными воротами» в центре Варшавы как возможное собрание объектов памяти и практик, я помещаю свой рассказ где-то между хайдеггеровскиподобным онтологическим вопросом, чем есть и «хонтологическим» вопросом (в духе Деррида), что предстает в виде призрачного места. Должны ли мы понимать историю как посте-

⁴ Mark Crinson, *Urban memory — an introduction*, in: *Urban Memory: History and amnesia in the modern city*, ed. M. Crinson. London, New York: Routledge, 2005. P. xii.

⁵ Maurice Halbwachs, *Collective Memory*, trans. F. J. Ditter and V. Y. Ditter. New York: Harper Colophon, 1950. P. 23; James Young, *The Texture of Memory: Holocaust, memorials, and meaning*. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1993. P. xi.

пенную седиментацию и непрерывность или скорее должны рассматривать ее как цепь разрозненных фрагментов, разрывов и промежутков? (ил. 2). Возможно ли, что район «За железными воротами» как палимпсест современных заполнений, социалистических многоэтажек и нескольких руин, далекий от того, чтобы быть музейным районом или вечным памятником, остается местом памяти?

ПРОЖИВАНИЕ В МНОГОЭТАЖКАХ

«За железными воротами» («*Za Żelazną Bramą*») — название массивного жилого района в центре Варшавы, состоящего из 19 домов, в 16 этажей каждый, спроектированного группой польских архитекторов Яном Фурманом, Ежи Чижем, Ежи Юзефовичем, Анджеем Скопиньским в 1961 г. и построенного в 1965–1972 гг. (ил. 3). Предназначенный для проживания около 25 тыс. жителей, район расположен между улицей Граничной, Гжибовской площадью, улицами Тварда, Проста, Желязна и Хлодна, Мировской площадью и улицей Птася (ил. 4).

Проект получил награду в конкурсе Ассоциации польских архитекторов (SARP) в 1961 г. за «однородное композиционное обращение с местом под строительство», «монументальный масштаб, соответствующий столичному характеру района» и «интересные идеи по объединению места под застройку с архитектурным ансамблем Саксонская ось», то есть с композицией градостроительства XVIII в., спроектированного во времена правления Августа II Сильного, Короля Польши, и курфюрста Саксонии⁶ (ил. 5, 6). 19 прямоугольных многоэтажных домов расположены перпендикулярно Саксонской оси. Как в четкой и линейной модели истории, современность связалась с прошлым города благодаря геометрии правильного угла. Название района относится к площади Железных ворот, которая унаследовала

⁶ Marta Leśniakowska, *Architektura w Warszawie 1945–1965*. Warszawa: Arkada Pracownia Historii Sztuki, 2003. P. 184. См. также *Zeszyty Architektury Polskiej*, 6 (1986); Zygmunt Stępiński, *Siedem placów Warszawy* (Warszawa: PWN, 1988). P. 293–299.

это имя от больших железных ворот (ил. 7), охранявших Саксонский сад с западной стороны.

И все же история этого района не так уж проста и понятна (ил. 8). В начале 1970-х реализация проекта «За железными воротами» выступала символом польского социалистического процветания и технологического прогресса. Проект разрабатывался и осуществлялся по большей части во времена правления Владислава Гомулки (Władysław Gomułka), первого секретаря Польской объединенной рабочей партии, находящегося у власти с октября 1956 г. по декабрь 1970 г., известного как идеолога «польского пути к социализму». Кажется, что принципы так называемого современного рационализма — то есть *Siedlungen*, отвечающего огромному дефициту жилья, и *Existenzminimum*, понимаемого как квартира, обеспечивающая минимальные требования к существованию — подверглись политической пропаганде, повлиявшей на послевоенный урбанизм в Польше, как на страну за железным занавесом. Можно было бы рассматривать этот район как одно из далеко идущих последствий Афинской хартии, обязавшей СИАМ (Международный конгресс современной архитектуры) к единственному типу городского жилья, а именно высоким, далеко стоящим друг от друга многоквартирным домам в местах с высокой плотностью населения. Обзорение новой польской архитектуры, изданное в 1972 г., гласит: «Следует допустить, что в самом ближайшем будущем большее число районов жилой застройки будет следовать пути, ведущему к созданию огромных единиц жилья, и к архитектуре, тщательнейшим образом учитывающей человека»⁷. Район «За железными воротами» с гордостью упомянут как один из примеров для подражания.

Документальный фильм 1971 г. выпуска, снятый польской «Кинохроникой», демонстрирует картину заселения района «За железными воротами», выступающей символом социального развития⁸. Не удивительно, учитывая опустошенное состояние го-

⁷ T. Przemysław Szafer, *Nowa architektura polska. Diariusz lat 1966–1970*. Warszawa: Wydawnictwo Arkady, 1972. P. 21.

⁸ См. *Zasiedliny – osiedle Za Żelazną Bramą*, Polska Kronika Filmowa. 1971/06a.

рода в конце войны, что одним из фундаментальных принципов послевоенного урбанизма в Варшаве была «жилищная функция», точно описанная в поэме 1950 г.: «Люди войдут в центр». Как ни странно, район жилой застройки становится живописным фоном в польской культовой комедии 1972 г. «Разыскивается мужчина, женщина» (Poszukiwany, poszukiwana), остро описывающей специфику послевоенного обнищания польской интеллигенции (ил. 9). Главный герой, ложно обвиняемый варшавский историк искусства, скрывается, переодевшись женщиной, и нанимается на работу горничной. В результате он понимает, что ему намного лучше платят как прислуге, нежели как сотруднику музея, которым он когда-то был (ил. 10). Крупномасштабные фотографии характерных 16-этажных домов также были представлены на ностальгической выставке, «Серый в цвете 1956–1970» в Национальной галерее искусства «Захента» в Варшаве (2000), где были показаны самые важные и существенные явления культурной и будничной жизни Польши 1960-х⁹.

С 1989 г. «За железными воротами» становится одной из самых активных строительных площадок в городе, привлекающей иностранные инвестиции и постепенно приобретающей очертания «Варшавского Манхэттена» (ил. 11). Прежние зеленые зоны и детские площадки превратились в парковочные места, здания страховой компании и банка, деловые центры и престижные гостиницы. В то же время дни славы самих жилых домов, кажется, уже позади. Сооружения 1960-х и начала 1970-х считаются «нежелательным наследием»; они часто упоминаются как «архитектура социального жилья», «трущобы» или даже «патологические подстандарты»¹⁰. В то время как многие из участников интернет-форумов хотели бы, чтобы «За железными воротами» был снесен, некоторые агенты по недвижимости признают тот факт, что «всегда найдется клиент из Китая, Вьет-

⁹ Szare w kolorze, exhibition cat. Warszawa: Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, 2000.

¹⁰ Leszek Kraskowski, 'Blokowiska na emeryturze', Architektura-murator, 6 (2001). P. 57–61.

нама или Кореи. Это место становится Варшавским китайским кварталом»¹¹ (ил. 12).

ИЗЛИШЕК ПАМЯТИ

«Варшава — город без памяти», — уверяет современный польский социолог и, продолжая, дает точную формулировку, что польского романа нет, за исключением бестселлера «Злой» Леопольда Тырманда (Тлу, 1955), дающего детальный обзор послевоенного города¹² (ил. 13). И все же написание статьи о районе «За железными воротами» меня вдохновили мемуары Ицхака (Антека) Цукермана «Излишек Памяти», одного из руководителей Еврейской боевой организации, выжившего после восстановления Варшавского гетто. Во введении к его книге можно найти утверждение, согласно которому Цукерман не только страдал от «излишка памяти», но и отказался обращаться к любым документам, источникам или книгам по тому периоду и полагался исключительно на собственную память. Поэтому его книгу можно рассматривать как «исследование природы памяти и воспоминаний»¹³.

Мой вопрос, однако, адресован взаимовлиянию между накапливающимися воспоминаниями — понимаемыми здесь как следы прожитого опыта — и памятью города. В каких условиях можно говорить о городской памяти, как если бы город был подчинен определенному житейскому опыту? Можем ли мы назвать субъекты и объекты городской памяти? Как возможно, что город — понимаемый как антропоморфический субъект — может пострадать и от того, что может быть стерт с доски памяти, и от излишка памяти? (ил. 14). К примеру, название первой послевоенной выставки в Национальном музее, открытой в мае 1945 г. и представившей фотографии разрушенного городского пейзажа, — «Варшава обвиняет».

¹¹ Puls biznesu (5 September 2006). P. 2

¹² См. Paweł Śpiewak, Bez korzeni, www.niniwa2.cba.pl

¹³ Yitzhak Zuckerman 'Antek', A Surplus of Memory. Chronicle of the Warsaw Ghetto Uprising, trans. B. Harshaw. Berkeley, Los Angeles, Oxford: University of California Press, 1993. P. viii.

«За железными воротами» спроектирован на руинах так называемого «малого гетто», закрытого 16 ноября 1940 г. и ликвидированного 10 августа 1942 г. во время Большой депортации (ил. 15). «За железными воротами» был последним проектом послевоенной «реконструкции» на территории бывшего гетто. До Варшавского восстания 1944 г. эта область была в лучшем состоянии, чем большое гетто; она не сильно пострадала от пожаров и уличных боев, произошедших во время восстания гетто 1943 г., в то время как большинство сожженных зданий в северной части сравнивали с землей (ил. 16, 17). В августе 1944 г. во время Варшавского восстания территория ликвидированного малого гетто стала местом движущегося фронта и полем минометного обстрела¹⁴.

На современной карте Варшавы осталось лишь несколько зданий и руин в плотно застроенном районе «За железными воротами», которые могли бы стать частью еврейского Маршрута Памяти. (ил. 18). Ортодоксальная синагога, расположенная на улице Тварда, 6, — единственная сохранившаяся довоенная синагога Варшавы. Основанная Залманом бен Менашем Ножиком, богатым еврейским торговцем, и его женой Ривкой бат Мошей, синагога была построена между 1898–1902 гг. и восстановлена между 1977–1983 гг. Во время войны она была расположена в малом гетто; нацисты разрешили публичную молитву осенью 1941 г. После того как граница гетто сместилась на север, синагога использовалась как казарма.

Небольшая мемориальная доска, находящаяся на красной кирпичной стене по улице Валицув, гласит: «На этом месте в 1940–1942 гг. улица Валицув была разделена стеной гетто» (ил. 19). С другой стороны улицы расположены три жилых дома, которые были включены в малое гетто. На улице Хлодна, одной

¹⁴ Аэроснимки малого гетто до августа 1944 см. в Marek Barański, Andrzej Sołtan, Warszawa — ostatnie spojrzenie. Niemieckie fotografie lotnicze sprzed sierpnia 1944 (Warszawa: Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, 2004), nr 931432, 931450. Карту фронта августа 1944 см. в Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powstania Warszawskiego, ed. Andrzej Krzysztof Kunert, vol. 3, Kronika, part I, 1.08-2.10.1944. Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona, Fundacja 'Warszawa walczy 1939–1945', 2000. P. 525.

из самых шумных улиц Варшавы до Второй мировой войны, есть фрагменты первоначального тротуара и неиспользуемых сейчас довоенных трамвайных рельсов (ил. 20). Будучи важным проездом для немецких военных конвоев поставки с востока на запад, улица Хлодна была отгорожена с обеих сторон, разделяя гетто на большое гетто (на севере) и малое гетто (на юге) (ил. 21). В настоящее время не осталось никаких признаков печально известного деревянного моста, который раньше соединял две части гетто. Все, что осталось в этой части района, — дом Адама Черняка по улице Хлодна, 20, главы Юденрата с декабря 1941 г. (ил. 22) .

Кампания СМИ в защиту дома № 65 по улице Железна (ил. 23) ясно показывает, как работает городская память, а также указывает на двусмысленность современного названия района «За железными воротами», так как находится на части прежнего огороженного воротами района (ил. 24). Одни из ворот малого гетто (используемых с 15 ноября 1940 г. по февраль 1942 г.) соседствовали с упомянутым домом. С 1991 г. местный защитник Памятников, Еврейский исторический институт в Варшаве Яд ва-Шем, и некоторые другие учреждения поддерживали инициативу признать главную стену здания одним из символов холокоста¹⁵. В 2003 г. представители Общества Сохранения Памятников обратились с открытым письмом к президенту жилищного кооператива этого участка в защиту здания, состояние которого привели в упадок. «Даже если камни подвижны, отношения, установленные между камнями и людьми, не так легко изменить»¹⁶.

Если город помнит исключительно посредством своих зданий, нет практически ничего, о чем можно помнить в районе «За железными воротами»: часть стены гетто, фрагменты первоначального тротуара и рельсов, несколько зданий. Можно также проследить другой нарративный путь вдоль современных улиц и площадей района «За железными воротами»; это была бы прогулка в поисках исчезнувших мест, таких как больницы, общественные суповые кухни,

¹⁵ Kurier Dembudu. Pismo Członków i Mieszkańców Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej, nr 25-26. December 2003. P. 10.

¹⁶ M. Halbwachs, *The Collective Memory*, op. cit. P. 133.

приюты, центры беженцев и места для отдыха, существовавшие в гетто. Авторы книги «Варшавское гетто: путеводитель по исчезнувшему городу» отмечают, что гетто — это не только истребление людей; это также «истребление места», материальной сущности. Гетто существует только под улицами, тротуарами и внутренними дворами в форме подвальных сводов, покрытых щебнем и почвой¹⁷. Можно добавить, что сегодня еврейский район существует только как книга или как Архив Эмануэля Рингельблюма, как собрание писем, фотографий и фильмов, то есть как работа памяти и исторической репрезентации.

Кроме следов гетто, можно найти некоторые места памяти довоенного Варшавского еврейского района на территории «За железными воротами», такие как места исчезнувших домов: Исаака Башевиса-Зингера по улице Крохмальна и Ицхака Лейбуша Переца по улице Цегляна (теперь Переца) (ил. 25). И все же образ довоенного района далеко не так однороден. В то время как Зингер пишет о Гжибовской площади, улицах Гжибовска, Тварда и Крохмальна как о «хороших» улицах (в противоположность «плохим» улицам в северной части района), где жили «чистокровные и богатые» Варшавские евреи, Стефан Жеромски (Żeromski), польский писатель межвоенного периода, рисует другую картину улицы Крохмальна в своем романе «Бездомные» (1899). Когда доктор Юдим, главный герой романа, проходит через площадь Железных врат, он «приветствует сердце своей родины», место, где солнечный свет льется в эту «сточную канаву в форме улицы»¹⁸.

¹⁷ Barbara Engelking, Jacek Leociak, *Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście*. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, 2001. P. 766.

¹⁸ Isaak Bashevis Singer, 'Każda Żydowska ulica w Warszawie była samodzielnym miastem', *Forverts*, 2.07.1944; quoted in B. Engelking, J. Leociak, *Getto Warszawskie*, op. cit. P. 40; Stefan Żeromski, *Ludzie bezdomni*. Warszawa: Czytelnik, 1973. P. 37.

МЕСТО ПАМЯТИ

«Историографическая процедура в определенном смысле является искусством зодчества. Исторический дискурс предстоит выстроить в виде завершенного творения; любое творение вписывается в уже отстроенное окружение. Прочитывать прошлое заново — это тоже реконструкция, подчас ценой сноса, который нам дорого обходится; строить, сносить, строить заново — вот что большей частью делает историк»¹⁹. Кажется, Рикёр сильно увлечен своими архитектурными метафорами, особенно когда рассуждает о взаимодействии масштабов в так называемой микро- и макроистории.

Описание Рикёром работы памяти и объяснительной природы историографической операции разворачивается с вопроса о том, как что-либо из прошлого может снова стать настоящим (ре-презентироваться, в обоих смыслах «ре-»: «вернуться» и «заново»). Отсутствие вспомненной вещи и ее присутствие в способе представления — ключевые моменты его аргументации. Обсуждая репрезентацию и риторику, Рикёр возвращается к холокосту и к вопросу нерепрезентируемого; он признает двойное значение книги Сола Фридендера «Исследование границ репрезентации»: «Данное выражение может означать два вида границ: с одной стороны, это своего рода исчерпанность форм репрезентации, которые в нашей культуре способны придать читабельность и зримость событию, названному “окончательным решением”, с другой — призыв, потребность быть высказанным, представленным, исходящие из самой сердцевины события»²⁰. Наша нарративная прогулка по истребленному еврейскому району исходит из второй границы, которая должна быть названа обязанностью памяти, даже если событие находится вне дискурса и вне причины. Но где, по «символической географии», очерченной учеными холокоста, должны мы определить местонахождение Варшавского гетто: «В Польше? В оккупированной наци-

¹⁹ P. Ricoeur, *Memory, History, Forgetting*, op. cit. P. 211. Цит. по: Рикёр, П. Память, история, забвение. С. 296.

²⁰ Ibid., p. 254. Цит. по: Рикёр, П. Память, история, забвение. С. 357.

стами Европе? В обширных звучных пространствах еврейской памяти?»²¹ По фактической географии района «За железными воротами» границы репрезентации и проживания в прежних пределах гетто накладываются друг на друга (ил. 26).

«Мы могли бы обойти стороной определенные кварталы нашей истории... И все же путь домой лежал через то единственное место — единственный ад — который мы больше всего хотели бы избежать — еврейский квартал»²². Перечитывая роман Альберта Камю «Падение», Шoshана Фельман (Shoshana Felman) проходит через концентрические круги повествования и достигает центра, который невозможно выразить, как будто следуя фрейдовскому опасному опыту ненамеренного повторения. Описывая предпосылки интеллектуального развода между Камю как критиком догматического марксизма и Сартром как философским апологетом сталинизма, Фельман задается вопросом, являющимся «подтекстом» романа: «Что значит населять (истребленный) еврейский квартал... (Европы)? Что значит населять историю как преступление, как место уничтожения Другого?»

Отнесем этот вопрос к нашему повествованию. Что означает населять истребленный еврейский квартал в Варшаве? Что означает населять место, где практики каждодневной жизни совпадают с излишком памяти? Населять не означает репрезентировать, хотя желание репрезентировать составляет часть опыта обитания. Населять предполагает более основательный, жизненный опыт, чем просто пройти через залы музея или возле мемориала. Но как социалистический жилой район мог стать местом памяти?

²¹ Sidra DeKoven Ezrahi, “The Grave in the Air”: Unbound Metaphors in Post-Holocaust Poetry, in: Saul Friedlander, ed., *Probing the Limits of Representation: Nazism and the “Final Solution”*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1992. P. 260.

²² Shoshana Felman, *The Betrayal of the Witness: Camus’ The Fall*, in: Shoshana Felman and Dori Laub, *Testimony: Crises of Witnessing in Literature, Psychoanalysis and History*. London and New York: Routledge, 1992. P.188–9.

Lieux de mémoire — понятие, пересмотренное Пьером Нора, сторонником концепции истории противомемориального типа, а также являющимся названием его великого проекта, реализовываемого с 1984 по 1992 г. Области памяти Нора не обязательно пространственны; они — символические объекты: Пантеон, так же как и национальный флаг. В этом смысле их значение охватывает как *loci memoriae*, известное с риторической традиции времен Цицерона и Квинтилиана, так и современную концепцию коллективной памяти Хальбвакса. Критикуя преувеличенную праздничность поминовения, Нора утверждает, что, в отличие от исторических объектов, *lieux de mémoire* не имеют референтов в действительности; они — «чистые знаки». Музеи, архивы, кладбища, собрания, памятники, фестивали относятся к местам, которые «больше не так уж и живы», как «раковины, оставленные на берегу, когда море живой памяти отступило»²³. Память как живущая диалектика запоминания и забывания теряется в момент реализации. И все же, в контексте нашей прогулки через район «За железными воротами» мы можем разделить ностальгическую концепцию Нора *millieux de memoire*, то есть таких окружений, где память является реальной частью каждодневного опыта. «Если бы мы все еще жили среди наших воспоминаний, не было бы никакой потребности освящать места, воскрешающие их»²⁴.

В феноменологии понятие места как обитаемого пространства отличается от понятия места как абстрактной концепции геометрического пространства. Рикёр отмечает: «Переход от телесной памяти к памяти о местах обеспечен актами, столь же важными, как акты ориентирования, перемещения и особенно привыкания. [...] Именно на этом изна-

²³ Pierre Nora, General Introduction: Between Memory and History, in Pierre Nora, ed., *Realms of Memory: Rethinking the French Past*, vol. 1, *Conflicts and Divisions*, trans. Arthur Goldhammer. New York: Columbia University Press, 1996. P. 7.

²⁴ *Ibid.*, p. 2. Значение понятия местопамяти см. также в: Aleida Assmann, *Erinnerungsraume: Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses*. München: Verlag C.H. Beck, 1999. P. 298–342.

чальном уровне конституируется феномен «мест памяти» — до того, как они станут отсылкой для исторического познания. Эти места памяти выступают прежде всего в качестве reminders — опорных пунктов воспоминания, поочередно служащих слабеющей памяти, борьбе против забывания и даже в качестве безмолвной замены утраченной памяти. Места «живут», как живут записи, монументы, возможно, как документы»²⁵. Работой историка поэтому могло бы стать написание своего рода топографической истории, как советовал Джеймс Джойс в подготовительном черновике «Улисса»: «Топографическая история: Места помнят события»²⁶.

Ассоциирование событий и образов с местами (topoi) — работа искусства памяти. Но в своем древнем греческом происхождении *ars memoriae* или «театр памяти» как явно пространственное понятие выступало не только в качестве риторического метода ради искусства. Мы можем рассматривать это искусство как долг перед лицом катастрофы. В известном эпизоде (прибл. 500 до н.э) на празднестве внезапно рухнула крыша. Оставшийся в живых поэт Симонид Кеосский смог опознать мертвых, похороненных под руинами, по их расположению в пространстве²⁷. В этом смысле, место памяти граничило бы прежде всего с реальным местом человеческой трагедии. Место памятника или мемориала не обязательно соответствует этому критерию; военный мемориал, например, не всегда располагается на месте, помнящем военные зверства. Такая интерпретация находится не совсем в пределах областей памяти Пьера Нора, но совпадает с обширным описанием Рикёра обязанности и долга памяти: «Долг памяти не ограничивается сохранением материального — письменного или какого-либо иного — следа свершившихся фактов; он включает в себя чувство обязанности по отношению к другим. [...] среди этих других, по от-

²⁵ P. Ricoeur, *Memory, History, Forgetting*, op. cit., p. 41. Цит. по: Рикёр, П. Память, история, забвение. С. 68.

²⁶ Цит. в: Edward, S. Casey, *Remembering: A Phenomenological Study* (Bloomington: Indiana University Press, 1976), p. 277.

²⁷ P. Ricoeur, *Memory, History, Forgetting*, op. cit., p. 62. Цит. по: Рикёр, П. Память, история, забвение. С. 94.

ношению к кому мы испытываем чувство долга, приоритет в моральном плане принадлежит жертвам»²⁸.

В таких районах, как «За железными воротами», где нет никаких официальных памятников, за исключением маленькой мемориальной доски на стене гетто (ил. 27), мы фактически населяем место памяти, место, помнящее истребление. В то же время мы населяем бывший еврейский район, где проживались жизни, но нет почти никаких материальных, архитектурных следов этого мира. Рикёр отмечает, что уничтожение архивов, музеев, городов — этих свидетелей прошедшей истории — эквивалентно забыванию²⁹. Место памяти должно помнить события. Но это воспоминания чего? И кому принадлежит эта память?

ЗАБВЕНИЕ, ОБИТАНИЕ

Рикёр предлагает критику забывания как вопрос стирания или манипуляции. Однако он также задается вопросом о парадоксальной природе *ars oblivionis*. Так как память — это диалектика присутствия и отсутствия, забвение не является во всех отношениях врагом памяти, а память, возможно, должна была бы договориться с забвением?³⁰ Ответ, который он ищет, мог бы быть найден в критическом анализе определенного избытка истории, в точке, когда «жизнь рушится и вырождается»³¹. Раскрывая феномен забвения, Рикёр представляет свое прочтение второго «Несвоевременного Размышления — О пользе и вреде истории для жизни» Ницше. Неожиданно он обнаруживает подобный критический анализ историографии, но в совсем другом контексте в «Захоре» Иосифа Хаима Ерушалми, автора, глав-

²⁸ Ibid., p. 89. Цит. по: Рикёр, П. Память, история, забвение. С. 129.

²⁹ Ibid., p. 284. Цит. по: Рикёр, П. Память, история, забвение. С. 402.

³⁰ Ibid., p. 413. Цит. по Рикёр П. Память, история, забвение. С. 574.

³¹ См.: Friedrich Nietzsche, 'On the Utility and Liability of History for Life,' trans. R. T. Gray, in *Unfashionable Observations*, vol. 2 of *The Complete Works of Friedrich Nietzsche*, ed. Ernst Behler. Stanford: Stanford University Press, 1995. P. 96.

ным образом занимающегося соотношением между историографией и секуляризацией. Ирония памяти состоит в том, что то, что помнят, не всегда зафиксировано, а то, что зафиксировано, не обязательно помнится. Разумно ли хотеть спасти все от прошлого? «Не отражает ли сама идея не забывать ничего безумие человека, наполненного воспоминаниями, известного по рассказу Борхеса, Фунеса Помнящего?» — спрашивает Рикёр вслед за Нора и Ерушалми³². Если память — это жизнь, а история — реконструкция, разрушающая живое существо, возможно, следует рассматривать понятие забвения как своего рода латентность, хранящую следы.

Размышления над природой памяти, истории и забвения не очень отличаются от дилемм современной урбанистики. С одной стороны, проблема тотального воспоминания присутствует в позиции: «давайте восстановим старое, потому что оно старое» (ил. 28). С другой стороны, наше обаяние современностью, потому что она современна, может привести нас к нехватке памяти или к манипулируемой памяти. Мой вопрос о том, что значит жить в районе «За железными воротами» как на месте памяти отличается от вопроса как представить прошлое в историографической операции. Территория «За железными воротами» — не исторический центр, знаменитый урбанизмом XIX в., не район-музей, привлекающий туристические экскурсии, но место обыденной жизни.

Вопрос о том, как жить в месте, помнящем события, не идентичен с вопросом о том, как представить Холокост в архитектуре и искусстве. Однако есть кое-что общее для двух этих аспектов. Так же как и в случае с современным жильем, искусство памяти, то есть создание памятников, музеев и художественных проектов, в настоящее время осуществляется поколением, не имеющим никаких личных или прямых воспоминаний об этих прошлых событиях. Память этого постхолокостовского поколе-

³² О рикёровском прочтении Ерушалми см. его *Memory, History, Forgetting*, op. cit. P. 400–401. См. также Yosef Hayim Yerushalmi, *Zakhor: Jewish History and Jewish Memory*. Seattle: University of Washington Press, 1982. P. 6–7 and 102.

ния обычно устанавливается посредством письменных свидетельств, личных историй, романов, фотографий и фильмов³³. Проживание в месте типа «За железными воротами» определяется различными видами памяти: излишком памяти, опосредованной памятью и управляемой памятью.

Как утверждают некоторые польские историки архитектуры, Варшава испытала смерть города не только во время Второй мировой войны. «Вторая смерть» имела место во время восстановления вплоть до 1956 г. и была вдохновлена концепциями Городского отдела планирования администрации восстановления столицы (BOS). Администрация, проявляющая активность особенно в сталинский период, обвиняется в продолжении идеологической линии довоенных польских архитектурных и художественных ассоциаций, таких как Praesens, одобрявший версию модернизма Ле Корбюзье в архитектуре и его идеологию *tabula rasa*³⁴. Происхождение этой идеологии обычно восходит к *Plan Voisin* (1925) Ле Корбюзье, согласно которому было необходимо снести здания старых окрестностей Парижа и заменить их небоскребами, сохранив только несколько несравнимых памятников³⁵. Такой взгляд на исторические городские районы доминировал на IV конгрессе CIAM 1933 г., приведший к Афинской хартии; исторические здания должны быть сохранены только как «чистое выражение» прошлых культур, в то же время нужно проявлять осторожность при эстетическом приспособлении новых зданий в исторических районах³⁶. Тем не менее одним из центральных пунктов урбанизма CIAM было жилье; такой подход очевиден не только в Афинской хартии, но также

³³ James E. Young, *At Memory's Edge: After Images of the Holocaust in Contemporary Art and Architecture*. New Haven and London: Yale University Press, 2000. P. 1-5.

³⁴ См.: Janusz Szejki, *Druga Śmierć miasta. Przyczyny i konsekwencje*, в: *Historyczne centrum Warszawy. Urbanistyka, architektura, problemy konserwatorskie*, ed. B. Wierzbicka. Warszawa, 1998. P. 192.

³⁵ Françoise Choay, *The Invention of the Historic Monument*. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. P. 131.

³⁶ Eric Mumford, *The CIAM Discourse on Urbanism 1928–60*. Cambridge, Mass, London, England: The MIT Press, 2002. P. 89–90.

и в некоторых послевоенных дебатах по *Chartre de l'Habitat*.

Если пытаться найти фундаментальную концепцию для послевоенного урбанизма в Варшаве, «чистая доска» была бы определенно одним из вариантов. Но строить на «чистой доске» означало бы отделить себя от тревог прошлого и в то же время вернуться к некоторым историческим, инструментальным стратегиям, то есть выборочному запоминанию (или «управляемой памяти», как называет ее Рикёр). Хотя люди вошли в центр, некоторые места были сохранены для безопасного размещения истории в виде Варшавского старого города или других исторических памятников. Как это ни парадоксально, район «За железными воротами» был спроектирован, когда доктрину CIAM стали критиковать с другой стороны железного занавеса; кончина CIAM была объявлена в 1959 г. в Оттерло. Если CIAM стал символом поражения модернистской архитектуры, как следует описывать жизнь после жизни бесчисленных мутаций Функционального Города в странах за железным занавесом?³⁷ Выступая нежелательным наследием социалистической Польши, район «За железными воротами» не соответствует современному архитектурному дискурсу, который, с одной стороны, находится во власти ностальгии по Варшаве XIX в., а с другой стороны, по образу города будущего.

В настоящее время территория района «За железными воротами» становится как местом памяти, так и местом забвения. Но действительно ли это место, где память может договориться с забвением? Кажется, что попытка вспомнить прошлое (в смысле аристотелевского *anamnēsis*) в этой части бывшего гетто отличается от северной части. Северная часть (так называемое «центральное» гетто, область Восстания) в настоящее время больше подвержена музеелизации; там будет расположен музей истории польских евреев, как раз напротив Мемориала Героям Варшавского гетто авторства Натана Рапппорта. Южная часть, около Синагоги Ножыка, и еврейский театр имени Э.Р. Каминьской — включая относительно малое количество материальных остат-

³⁷ Eric Mumford, *The CIAM Discourse on Urbanism 1928–60*. P. 268.

ков — кажется областью «оживления» в том смысле, что здешние здания, будучи публичными местами, «оживают, возвращаются к жизни», а не расставляются³⁸. Гжибовская площадь и улица Пружна оживают в течение нескольких дней в году во время Фестиваля еврейской культуры «Варшава Зингера», который проводится с 2004 г. (первый фестиваль был приурочен к 100-летию со дня рождения Айзека Башевиса Зингера).

Руины многозначительными фрагментами все еще лежат там, среди многоквартирных домов. Люди живут в этом месте с излишком памяти; однако эта память не их собственная (личная, прямая) память о прошедших событиях. В то же время они сейчас испытывают дикую деятельность инвесторов и расширение делового центра города в этом районе. Память как жизнь в настоящем, а не историографическая реконструкция прошлого, принадлежит месту в антропологическом смысле, месту, которое было и продолжает быть обитаемым. Кажется, что в период политического и экономического преобразования Варшавы вопрос функции жилья был во власти представительной функции эксклюзивных гостиниц и деловых центров как суперсовременных, нейтральных и анонимных не-мест позднего капитализма³⁹ (ил. 29). Возможно ли, что в таком месте памяти есть место для счастливой и умиротворенной памяти?

ABSTRACT

'Behind the Iron Gate' is the name of a massive-scale housing estate in the centre of Warsaw, consisting of 19 apartment blocks, 16 storeys each, designed by a team of Polish architects between 1966-1970. In the 1970s, the Behind the Iron Gate housing estate was considered a symbol of Polish socialist prosperity. The principles of so-called modern rationalism — that is, *Siedlungen* responding to the drastic housing shortage, and *Existenzminimum* understood as an apartment for minimal existence — became subject to the political propaganda which affected post-war urbanism in Poland as a coun-

³⁸ F. Choay, *The Invention of the Historic Monument*, op. cit. P. 146–147

³⁹ Marc Augé, *Non-Places. Introduction to an Anthropology of Supermodernity*, trans. J. Howe. London, New York, 1995). P. 78.

try behind the Iron Curtain. Since 1989, the Behind the Iron Gate area is one of the most active construction sites in the city, attracting foreign investments and gradually taking shape as the 'Warsaw Manhattan'.

The Behind the Iron Gate housing estate was designed on the ruins of the so-called 'small ghetto' liquidated in August 1942. On today's map of Warsaw, there are only a few ruins in this highly built-up area that constitute the Jewish Route of Memory. Designed as a narrative walk along the contemporary streets and squares of the Behind the Iron Gate area, this paper examines the specificity of urban memory. Paul Ricoeur's description of the threefold, interpretative nature of the historiographical operation (as demonstrated in his *Memory, History, Forgetting*) is referred to this concrete urban site with its ambiguous character. Acknowledging the reciprocity of writing history and collecting memories, as well as the difference between the ontological question and 'hauntological' description, the paper also discusses the possibilities of historiographical and commemorative tasks in architecture.

Keywords: urban memory, phenomenology of memory, memory, place, socmodernism, forgetting.

ДРАМАТУРГИЯ ГОРОДСКОГО СТРАХА: РИТОРИЧЕСКИЕ ТАКТИКИ И «БЕСХОЗНЫЕ ВЕЩИ»¹

В статье рассматриваются механизмы производства городских страхов. Их работа раскрывается через повседневные ситуации, особое внимание уделяется пространствам перехода (аэропорт, метро, вокзал и т.п.). Действенность риторики страха во многом связана с пассивностью роли пассажира, приобретаемой на время транзита, а также с особым состоянием социальности в неместах – разрозненной и опосредованной различными текстовыми сообщениями, увеличивающей эффективность властных манипуляций. Наряду с такими приемами стимуляции общественного беспокойства, как рутинизация контроля, анализируется роль «бесхозных вещей» в развитии риторики страха. Источником страха выступает неопределенная угроза, исходящая от опасных Других и вещей без определенных свойств. Рассматриваются институциональные механизмы встраивания потерянных вещей в социальный порядок (бюро находок) и их трансформации, связанные с разработкой новой риторики транзитных мест («бесхозные вещи» переходят в компетенцию властных структур).

Ключевые слова: транзитные места, бесхозные вещи, производство страха, дискурсивный контроль, постсоциальность.

Обращение к тематике постсоветского не только актуализирует вопросы преемственности, незаметного и нерелексивного вплетения советского опыта в современные повседневные практики, но и фокусирует взгляд исследователя на принципиально новых

¹ Авторы признательны «Center for Urban History of East Central Europe» (Львов, Украина), благодаря поддержке которого стала возможна работа над статьей.

механизмах, возникающих на стыках, в разломах повседневности. Эти механизмы, сложившиеся в недавнем прошлом (уже не помещающемся в рамки советского), бросают исследователю вызов именно своей контрастностью, невозможностью быть вписанными и понятыми на основе схем прежнего социального порядка. Непредвиденная исследовательская капитуляция заставляет задуматься о причинах бездействия привычных интерпретативных схем и предположить «постепенное и фрагментарное становление нового режима господства» (Делёз, 2004: 232).

Мы выбираем довольно неожиданный ракурс городских исследований, затеявая разговор *о производстве страхов в городских пространствах*, вслед за Зигмунтом Бауманом признавая «вкрапленность страха в рутину нашей повседневной жизни» (Bauman, 2007: 9). Подобный оптический фортель объясняется особенностью исследовательского подхода к пониманию и изучению города, согласно которому город не существует исключительно как внешняя данность. Для нас понимание городского определяется, прежде всего, тактикой пребывания исследователя в городе, раскрывающейся через конкретные ситуации и определенные ракурсы, столь не совпадающие с планом-разверсткой «города вообще». Гораздо интереснее наблюдать динамику городской жизни, отмечая, как в обрывах и упущениях рождаются новые смыслы, образуются новые связи, «наполняющие мир возможностями, задними планами, окраинами и переходами» (Делёз, 1998: 406).

Пронизанная страхом городская повседневность — красивая метафора и эффектная «пугалка», обреченная на успех у доверчивой публики. Признать ее правоту — не только повод заподозрить себя в паранойе, но и признать самодостаточность страха, его особую внутреннюю логику, невольно превратить его в самостоятельного персонажа городской жизни. Наша задача — обозначить драматургию сегодняшних городских страхов, обычно остающуюся за кадром, как и положено в настоящем кино, предать огласке скрытые сценарии.

Сценарность городских страхов отнюдь не случайная игра слов, ведь, по меткому замечанию А. Усмановой, «приемы, призванные создать атмос-

феру психологического напряжения и дискомфорта... используются не только в детективных или приключенческих жанрах, и актуальны они не только для кино» (Усманова, 2001: 129). Обращение к сценариям городских страхов, разыгрывающихся в нашей повседневной жизни, продиктовано убежденностью, что лучший способ понять суть явления — это реконструировать процесс его появления и наделения смыслами.

НЕМЕСТА И СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК

Стремительное ускорение городской жизни, многократное увеличение повседневных потоков мобильности обостряют исследовательский интерес к местам перехода (или неместам) — пространствам, созданным для достижения определенных целей (транспорт, вокзалы и остановки, гостиницы, торговые центры и др.). Неместа, впервые концептуализированные Марком Оже, словно ускользают от детального препарирования, по-прежнему свойственного социальным наукам, оставаясь скорее эффективной метафорой, квинтэссенцией современного городского опыта, нежели четко определенным понятием. Не случайно, пытаясь описать неместа, Оже использует логику «от противного», предлагая отличать пространства перехода от «антропологических мест» — фиксированных пространств, функциональных *per se* (не служащих посредниками для достижения других целей), рассчитанных на длительное присутствие, разворачивающих историю личных отношений «индивидуальных идентичностей, локальных референций и несформулированных житейских правил» (Auge, 1995: 101). Неместа являются переходными пространствами, которые предполагается пересечь, миновать для достижения конечных целей. Именно социально артикулированное стремление пересечь подобное пространство, миновать его сыграло злую шутку с исследовательской рефлексивностью. Долгое время неместа не воспринимались как сколь бы то ни было значимые, фактически лишаясь самостоятельной ценности. Только недавнее внимание к новым скоростным формам контроля позволило реабилитировать неместа (Вирильо, Делёз,

Фуко), давая исследователям возможность сфокусироваться на их особой социальной организации и контролирующих механизмах, приходящих на смену «старым дисциплинарным методам, действующим в рамках закрытой системы» (Делёз, 2004: 227).

Социальность немест не может быть описана только в категориях *human*², поскольку включает в свое коммуникативное поле вещи и медиа (непременные для переходных мест знаки, табло, экраны), во многом определяющие развитие и содержание коммуникации и действующие «отнюдь не в роли подчиненных, расшатывая существующие представления о взаимности и солидарности» (Amin, Thrift, 2002: 45). Роль связующего звена в расширенном социальном пространстве по большей части отводится обезличенным и унифицированным текстам, «формирующим социальную связь, которая удерживает нас вместе» (Латур, 2006: 163). Именно тексты, предлагаемые не людьми, но институциями (транспортными службами, коммерческими компаниями, властными структурами), сегодня в значительной степени определяют драматургию социальной коммуникации, подспудно увеличивая значимость скрытых модераторов взаимодействия — экономических и политических структур, «присутствие которых подчас обозначается вполне открыто» (Auge, 1995: 95).

Результатом деперсонализированной текстовой коммуникации, нивелирующей значимость личных контактов, способствующей атомизации и обезличиванию, становится «контрактное одиночество». Достаточно вспомнить шутовское «московское метро — самое читающее метро в мире»³, привычный

² В социальных науках единственно возможными агентами, образующими своими интеракциями социальное поле, традиционно считались люди. Начиная с 1980-х гг. сложившиеся представления о социальности подвергаются ревизии Латуром, Кнор-Цетиной и другими теоретиками. Предлагаемая ими концепция новой социальности (*post-social* или *post-human*) рассматривает в качестве равноправных агентов *non-human objects* (медиа, технологии, вещи), а их взаимодействия с людьми считает равноправными, образующими значимые социальные связи. Краткое изложение дискуссии см.: Вахштайн (2006), Хархордин (2006), Amin, Thrift (2002).

³ Объясняя пристрастие пассажиров поездов к чтению де-

вид углубившихся в набор и чтение sms людей, «ориентацию на местности» по указателям в метро или расписанию движения транспорта, чтобы убедиться: текст становится основным проводником по местам, полноправным агентом коммуникации, постепенно вытесняющим иные взаимодействия. Недавняя новелла братьев Коэнов (*Paris, je t'aime*, 2006) об американском туристе, попавшем в переделку в парижском метро, едко иронизирует по поводу нарушения принципов «текстового» транзитного контракта: чтение безопаснее общения, визуальный контакт с окружающими — источник неприятностей. Не надолго оторвавшись от текста путеводителя и задержав свой взгляд на влюбленной парочке, главный герой получает не только «поцелуй принцессы», но и увесистый удар от ее приятеля.

В пространствах перехода люди и вещи встраиваются в новые отношения — индивидуализированные, но не субъектные, а переход к новому типу коммуникации символически подтверждается индивидуальным пропуском или билетом. Своеобразным обозначением границы транзитных мест служат не только идентификационные знаки (билеты, процедуры регистрации и др.), подтверждающие принятие новой идентичности, но и физические преграды и очереди — ощутимые и весьма убедительные знаки встраивания в другой порядок. Очереди на пунктах повышенного контроля в аэропортах и на железнодорожных вокзалах — свидетельство подчинения особому порядку. Сама по себе очередь яв-

тективных романов в дороге, Бенъямин отмечает связь между выбираемым читателем жанром и беспокойством, возникающим при перемещениях (нахождении в транзитных местах). Он указывает, что каждому пассажиру «известно непредсказуемое ускользание границ пространства, времени, границ, в которых происходит эта поездка, начиная со знаменитых слов “опоздали” <...> и заканчивая одиночеством в купе, страхом пропустить пересадку, угрюмостью незнакомых вокзальных сводов, под которые въезжает состав. <...> Его спасение заключается в том, чтобы заглушить один страх другим. На раскрытых страницах только что купленного детективного романа он пытается отыскать праздные <...> страхи, которые помогли бы ему справиться с архаическими опасностями путешествия» (Бенъямин, 2004: 430).

ляется воплощением порядка; и хотя каждый из ее участников в отдельности может воспринимать резко ужесточившийся режим контроля как абсурдный спектакль, стоя в очереди, он является участником отношений власти и должен подчиниться новым правилам (какими бы нелепыми они ни казались на фоне прежнего опыта). Постоянно разыгрываемый в транзитных местах спектакль, основанный на четко предписанном поведении и обязательном пассивном принятии участниками действующих правил игры, — одна из основ действенности нового порядка: «Это дипломатическое представительство иерархического общества перед собой, откуда устраняется всякое иное слово... это сохранение бессознательности при практическом изменении условий существования» (Дебор, 2000: 28–29).

Нахождение в неместах и примерка новых ролей оказываются неизбежно связанными с одиночеством: «В городе мы постоянно имеем дело с индивидуальным одиночеством — угрозой, обреченной оставаться неразрешимой» (Оже, 1999). Заметим, что подобный опыт может распространяться на восприятие городского пространства за формальными границами транзитных мест. Примером могут послужить московские опыты Вальтера Беньямина, в восприятии которого сам город становится местом транзита — и ожидания. Ситуация чужака в городе, незнание языка, слабая ориентация на местности превращают город в хаотичное нагромождение «топографических ловушек», а попытка его прочтения оборачивается фиксированием хаотичных образов⁴. Для Беньямина Москва становится местом переживания одиночества: город является чем-то вроде многолюдного зала ожидания, а люди вокруг воспринимаются как элемент городской сценографии⁵.

⁴ «Кажется, будто город открывается уже на вокзале. Киоски, уличные фонари, кварталы домов кристаллизуются в неповторимые фигуры. <...> Хаос домов настолько непроницаем, что воспринимаешь только то, что ошеломляет взор. Транспарант с надписью “Кефир” горит в вечернем полумраке», — пишет Беньямин в статье «Москва» (<http://dironweb.com/klinamen/dunaev-ben1.html>).

⁵ Например: «Для уличного пейзажа всех пролетарских районов важны дети. Их там больше, чем в других районах, они двигаются более уверенно и озабоченно. Детей

Чувство одиночества усугубляется «множественным эхом безличных обращений» (Auge, 1995:103), востребующих индивидуальность, но не субъектность. Пребывание в транзитных пространствах согласно действующему социальному регламенту предполагает кратковременную утрату привычных идентичностей: «человек освобождается от своих обычных привычек и становится лишь пассажиром, покупателем или шофером, испытывающим определенный опыт или действующим определенным образом» (Auge, 1995:103) и обретение новых — «участника постоянного перемещения» (Virilio, 2002: 441). Возникающие связи могут быть описаны как временные, изменчивые, но вместе с тем постоянно контролируемые. Контроль превращается в «модуляцию,... постоянно меняющуюся, каждое мгновение, словно сито, отверстия в котором постоянно меняют свое расположение» (Делёз, 2004: 228).

ДИСКУРСИВНЫЙ КОНТРОЛЬ И МЕХАНИЗМЫ ЕГО (ВОС)ПРОИЗВОДСТВА В ГОРОДСКОЙ ПОВСЕДНЕВНОСТИ

Отношения власти и контроль, находящие выражение в организации транзитного пространства, имеют как визуально-текстовую, так и звуковую (вокальную) составляющую. Диапазон проявлений власти и контроля колеблется от заботливых указаний взяться за поручни, не забыть прокомпостировать билет, отойти от закрывающихся дверей и т.п. (степень заботы варьируется в зависимости от культурного контекста) до напоминаний о возможной опасности и призывов быть бдительными. Легкая паранойя исследователя, невольно участвующего в подобных практиках и усматривающего в легитимных проявлениях заботы проявления контроля, вполне обоснованна. По наблюдению Р. Барта, «связь дискурса с властью <...> очень редко бывает прямой, непосредственной; в законе, допустим, формулируется *запрет*, но его дискурс уже опосредован целой правовой культурой, более или менее общепринятым *ра-*

полно во всех московских квартирах» (Беньямин «Москва» <http://dironweb.com/klinamen/dunaev-ben1.html>).

цио; источником речи, непосредственно прилегающей к власти, может быть одна лишь мифологическая фигура Тирана («Царь повелел...»). Фактически язык власти всегда оснащен структурами опосредования, перевода, преобразования, переворачивания с ног на голову» (Барт, 1989: 528).

Казалось бы, предписания, которыми насыщено транзитное пространство, являются скорее советами и инструкциями, нежели приказами (свойственными, скорее, риторикам, применяемым в дисциплинарных пространствах). Однако формы контроля, которые разворачиваются в местах повседневных перемещений, конституирует нас и как жертв, и как потенциально опасных чужаков. Примером может служить очередь на осмотр багажа и обыск пассажиров в аэропортах: применение подобных мер подразумевает, что пассажирам может грозить опасность — и в то же время любой из пассажиров может стать источником опасности. Процедура осмотра, как и повторяющиеся инструкции по безопасности направлены на *твою* безопасность и в то же время пытаются уличить *тебя* как угрозу для окружающих.

Изначально необходимость жестких идентифицирующих и контролирующих мер (проверка документов и багажа) достаточно четко связывалась профессионалами безопасности и средств массовой информации с потребностью в защите от террористической угрозы. Однако акции протеста 2007 г. в России и их освещение со всей убедительностью доказали, что созданные контролирующие механизмы не менее успешно используются и для защиты от политической оппозиции⁶. Случившееся и его медийный резонанс позволили с особой силой ощутить превращение немест в «испытательный полигон принудительных экспериментов и контроля» (Virilio, 2002: 440).

⁶ Так, задержание представителей «Другой России» в аэропорту Шереметьево весной 2007 г. происходило в абсолютном соответствии с внутренней логикой транзитных мест. Какие-либо указания на политический характер инцидента сознательно устранились: «Работники аэропорта заявили, что компьютерная система “не узнает” билетов Каспарова и его спутников», направлявшихся на Марш несогласных в Самару (http://news.bbc.co.uk/hi/russian/russia/newsid_6668000/6668419.stm).

Различного рода предписания (текстовые сообщения, звуковые предупреждения) указывают на пассивность транзитного пассажира. С одной стороны, ему навязывается роль опекаемого пассажира, с другой — он втягивается в коммуникацию не по собственной воле: голос из динамика, объявление, утвержденное соответствующими постановлениями, угроза штрафа в случае их нарушения. Оже указывает, что все оказываются равны перед этим внешним воздействием, обращенным к каждому и ни к кому лично (см.: Auge, 1995). Это квазииндивидуальное обращение, адресованное всем и каждому, по мнению Оже, создает «эффект эхо», в силу которого информация воспринимается еще острее.

Как правило, источник опасности в нами рассматриваемых дискурсивных практиках не артикулируется — но подразумевается. По сути, риторические приемы, использующиеся в качестве механизма контроля пассажиров, сводятся к созданию сети прозрачных намеков — и вместе с тем предписаний. Эта недосказанность (последствия опасной ситуации не артикулируются — как не указывается причина сложившегося положения дел) является мощным генератором беспокойства. Центральной фигурой (и в то же время — «фигурой умолчания») этих риторических тактик выступает Другой. В нынешней ситуации нагнетания беспокойства дискурсивно производимый образ опасного Другого поддерживается в промежуточном состоянии: ему как бы не дают окончательно оформиться. Тем самым его потенциал в качестве источника угрозы возрастает, в то время как образ, не принявший окончательную форму, может быть использован многократно. В силу незавершенности образ опасного Другого становится практически вездесущим, ведь если источник опасности не идентифицирован, опасным может оказаться каждый. Среднестатистический текст, информирующий горожан об опасности потерянных вещей, исходит из признания априорной опасности их бывшего владельца — безликого Другого. Парадоксом, лишь поддерживающим общую логику, кажется единственный раз встреченное объявление (в самарском маршрутном такси), призывающее горожан запоминать людей, оставивших свои вещи.

Предметы без свойств, «бесхозные вещи» являются основным элементом риторических тактик, направленных на контроль. Предупреждения о «бесхозных вещах» становятся лейтмотивом перемещений в городском пространстве. Отсутствие определенности в описании потенциально опасных предметов уже является источником беспокойства, деформирующего восприятие повседневности⁷. Имея же в виду насыщенность мест транзита бумажными объявлениями и вокальными напоминаниями о возможной опасности, получаем или повышенную тревожность транзитных пассажиров (которая в свою очередь является своего рода оправданием для ужесточения контроля), или то, что Э. Канетти называет «одомашниванием приказа» (Канетти, 1997: 329). В силу интенсивности напоминаний чрезвычайная ситуация (которую вызывает косвенная угроза смерти) со временем начинает восприниматься как нормальный фон повседневных перемещений — как, например, бывалые пассажиры воспринимают окрики и замечания смотрительниц московского метро, для трансляции которых используются микрофоны и громкоговорители.

Иногда детали и курьезы гораздо лучше сложных теоретических построений позволяют понять сущность происходящих изменений. Так и для нас немудреный случай из жизни советского предприя-

⁷ Не случайно места перехода и острого одиночества становятся вмещением городских страхов и фантазий, начиная слухами о крысах и мутантах, живущих в метро, и заканчивая «легитимными страхами» (способствующими поддержанию «порядка в общественных местах»). Это беспокойство находит свое отражение в литературе и кинематографе. В свою очередь, «повседневные представления о городе поддерживаются и производятся множеством воображаемых городских пространств, создаваемых литературой или кинематографом. Романы, поэзия, фильмы предлагают нам бесконечные размышления о городе, городской жизни, жителях и институтах, «реальное» и воображаемое становятся все более и более сплетенными в интертекстуальных дискурсах» (Westwood, Williams, 1997:12). Экранизация страхов, связанных с неместами, в свою очередь делает возможным рассмотреть трансформацию «правил игры» в транзитных местах как своего рода постановку, «спектакль», участниками которого мы являемся.

тия сорокалетней давности стал воплощением различий советского и постсоветского механизмов городского пространственного контроля. Согласно архивным материалам, работница одного из провинциальных заводов украла капроновую кофточку из заводской раздевалки, была застигнута с поличным и предана товарищескому суду. Импровизированное заседание с участием 2000 работников завода, проходившее на *радиофицированном* заводском стадионе, закончилось публичным покаянием виновной и торжественным взятием ее на поруки заводским коллективом. Упомянутый случай с особой отчетливостью позволяет ощутить трансформации контроля, замену строгой дисциплины (нередко связанных с применением санкций) неуловимым рутинизированным контролем, смещение контролирующих воздействий из открытых пространств (площади, проспекты) в места транзита.

Чрезмерная стимуляция общественного беспокойства приводит к некоторой апатии, притуплению ощущения абсурдности происходящего. Наряду с принципиальной неопознаваемостью Другого и отсутствием отличительных характеристик предметов, от которых может исходить опасность, периодичность предупреждений и инструкций по нейтрализации опасной ситуации является еще одной особенностью риторических тактик, применяющихся в местах транзита. Повторение текста о возможной угрозе со временем начинает восприниматься как монотонный фон повседневных маршрутов. Однако в каком-то смысле монотонность — эффект, на создание которого и направлены риторические тактики: тревожное сообщение становится нерелефлексивной «телесной схемой» пассажиров, само собой разумеющимся образом поведения в транзитных местах. Все новые предупреждения, советы и инструкции начинают выполняться автоматически, формируя, таким образом, законопослушное тело⁸.

⁸ Преодоление этой монотонности возможно при сопоставлении еще недавнего опыта транзитных мест как мест свободы от границ. В качестве примера мы можем обратиться к своеобразному манифесту трансконтинентального пассажира, написанного Пико Айером. В нем отмечается особое чувство свободы, связанное как с соб-

«БЕСХОЗНЫЕ ВЕЩИ» И ПРОИЗВОДСТВО БЕСПОКОЙСТВА

Вещи, а еще точнее, потерянные вещи — одни из главных персонажей публичной драматургии беспокойства в постсоветском российском городе. Забытая вещь — ловушка для глаза прохожего, действующая наверняка, не в последнюю очередь благодаря множеству голосовых и текстовых объявлений, атакующих горожан в транзитных пространствах, а также нарушению потерей пространственно-временной конвенции немест, ведь своей статичностью она выбивается из жесткого ритма движения, своим дрящимся присутствием противоречит логике исчезновения следов, привлекая внимание прохожих. Не случайна обыденная ирония в отношении временного режима утраты: «быстро поднятое потерянным не считается».

Многочисленные объявления о бесхозных вещах играют особую роль в обнаружении пропажи и алгоритмизации обращения с ней. От имени и по праву вещи в этом случае говорят «анонимные доброжелатели» (источник сообщения, как правило, не идентифицируется, создавая ощущение *common sense* — информации, лишенной конкретного авторства, известной каждому, а посему претендующей на особую легитимность). Вещи явно не присоединяются к человеческим дебатам, что выглядело бы «смехотворно, если не абсурдно» (Хархордин, 2006: 44). Попытка же обратить вещь в объект исследования приводит к появлению завуалированных профессионалов, говорящих от их имени, использующих вещи «для того, чтобы воплотить в них свои за-

ственной мобильностью, так и с пребыванием в залах ожидания рейса: «Мы — обитатели залов для транзитных пассажиров, вечно обращенные к табло “Вылет”, вечно кружащие вокруг Земли. <...> Мы проходим через страны, как через турникет, в этом мире мы — иностранцы с видом на жительство». И далее: «Похоже, современный мир все больше подстраивается под таких людей, как я. Где бы я ни приземлился, я нахожу все то же соотношение родства и чуждости. <...> Такая жизнь дает невысказанное ранее чувство свободы и мобильности: мы не привязаны ни к какому месту, можем выбирать любое» (Айер, 1998).

мысли и социальные отношения» (Хархордин, 2006: 44). Достаточно вчитаться или вслушаться в текст объявления, чтобы идентифицировать таких «уполномоченных», ведь сообщения призывают адресата проявлять бдительность и не пытаться самостоятельно решать судьбу потерянного (в силу его потенциальной опасности), доверив право распоряжаться ею профессионалам — службам безопасности или милиции/полиции. Унифицированность подобных текстов, их шаблонность лишней раз указывают на действия властных структур. Заметим, что именно в транспортно-транзитных местах потеряность часто обрастает собственной инфраструктурой ('lost and found office' или бюро находок) и специалистами, стремящимися вернуть вещи на привычную орбиту, усиливая и без того широкие контролирующие функции немест.

Постоянно встречающиеся в переходных местах объявления о правилах взаимодействия с потерянными вещами по странной случайности до недавнего времени огибали другие весьма оживленные публичные пространства — крупные магазины, нередко соединенные с вокзалами и метро или, точнее, плавно перетекающие в них, ведь порой без специальных указателей трудно заметить, где заканчивается граница одного пространства и начинается другое. Места потребления, привлекая посетителей комфортом и беззаботностью, избегали превращения в отметки на карте топографии страха, стойко сопротивляясь трансляции предупредительно-беспокойных сообщений.

Почему же упоминания о забытых вещах в переходных пространствах играют столь значимую роль в городском сценарии страха? Ограничить ответ на этот вопрос лишь напоминаниями о произошедших в российских и европейских городах взрывах — значит отказаться от понимания механизма его производства или идентификации его основных агентов. Следует признать, что потеряность вещей — тема, долгое время ускользавшая от исследовательского внимания, однако присутствовавшая в искусстве, литературе и кинематографе. Достаточно вспомнить экзерсисы с потерянными вещами (*object trouvé*), принимаемые сюрреалистами, дадаистами, предста-

вителями поп-арта (Марселем Дюшаном, Куртом Швиттерсом, Меретом Оппенхеймом). Сегодня потерянная делает робкие попытки войти в исследовательское поле (Jeggle, 2003). Нас же она интересует, прежде всего, своей связью с городской средой, жителями и институциями, пытающимися ее регламентировать и означивать как одно из оснований городского беспокойства. Потерянность — это не только символический разрыв связей, но и новые отношения, возникающие между различными субъектами: бывшим владельцем, институтами правопорядка, другими горожанами и, наконец, конкретным городским пространством, в котором произошла утрата. В этом смысле изучение потерянности вполне следует беньяминовской идее: вглядываться, пока знакомое не станет чужим (вырванным из привычного повседневного контекста), чтобы впоследствии через него попытаться понять общие схемы эпохи, культуры, ситуации. Таким образом, исследователь проделывает путь от сосредоточенности на потерянности вещей, дающей возможность почувствовать всю полноту их присутствия, их разнообразие и уникальность, до помещения утрат в плотную ткань социальности — их символического нахождения, встраивания в социальные отношения и культурные схемы, одной из которых сегодня становится дискурс беспокойства и страха.

Что представляет собой потерянная в городе вещь? Прежде всего, потерянная вещь — это осознание ее выхода за рамки существующих социальных и городских регламентаций, прорыв существующих схем, предписывающих единение вещи и хозяина и расшатывание властной монополии на право оставления следов в городском пространстве. Потерянность в данном случае нередко представляется случайностью, беспорядком, хаосом, провоцирующими беспокойство обывателей своей кажущейся неписанностью в существующий городской порядок. Однако именно эта мнимая беспорядочность подобно лакмусовой бумажке лишь отчетливее проявляет действие структур, регламентирующих городскую жизнь, упорядочивающих интеракции основных агентов новой социальности: людей, вещей и ме-

диа, вписывающих потерянные вещи в особый режим существования.

Потерянность задается конstellацией обстоятельств (и фактически в каждое из них вплетается беспокойство, многократно усиливаясь одновременным действием различных контекстов). Одно из обстоятельств — *субъективное переживание нарушения временной и пространственной связи вещи с Другим*, основанное на ощущении *ее востребованности* с точки зрения существующих ценностей. Потерянные вещи особенно не детализируются. Такая речь без уточнений кажется вполне приемлемой, ведь благодаря подвижным культурным «линзам» мы почти не испытываем проблем с определением, что именно можно считать потерянным. Наш взгляд с легкостью выхватывает предмет из ряда подобных, а действия переводят его в категорию находок. На протяжении длительного времени стандартный набор потерь включал в себя ключи, перчатки, зонтики, кошельки и сумки, документы⁹, лишь относительно недавно пополнившись техническими новинками: сотовыми телефонами, плеерами и пр. Список нетривиальных находок постоянен своей необычностью, причудливо объединяя свадебное платье, урну с прахом, чучело орла и килограммовый слиток золота¹⁰. Благодаря действующим культурным схемам как стандартные, так и необычные предметы, которым придана некая ценность, вполне «естественно» занимают места в перечне потерянных вещей, а не мусорной куче. Вместе с тем вполне объяснимое избегание называния (нельзя же предугадать, что именно будет забыто) бесконечно расширяет список потерянных вещей, произвольно увеличивая и ареал беспокойства.

Размышления *о бывшем владельце вещи — Другом* — одна из основных тем, связанных с потерянными вещами. Прежние владельцы могут либо оттесняться на задний план в случае «объективации культурной среды... и возрастания отчуждения предметов от их создателей» (Jeggle, 2003), либо выдвигаться на авансцену признанием значимости Другого или же акцентированием его потенциальной опасности.

⁹ <http://www.tfl.gov.uk/tfl/ph_lost-stats.shtml>

¹⁰ <<http://www.russianeurope.net/f/index.php?showtopic=141>>

При всех своих отличиях упомянутые отношения становятся основаниями увеличения беспокойства. В первом случае вещь, лишенная хозяина, требует новой коммуникации — человека и вещи, а именно к ней мы зачастую оказываемся не готовы: «отсутствие другого ощущается, когда мы вдруг сталкиваемся с самими вещами... Больше нет никаких переходов... Больше нет ничего, кроме непреодолимых глубин, абсолютных дистанций и различий» (Делёз, 1998: 402). Во втором случае, как уже отмечалось, размытый образ Другого приводит к ощущению потенциальной угрозы каждого.

Уже упомянутая мусорная куча позволяет четче понять значение *контекста* в определении потерянности вещи. Его контуры прорисовываются нетипичным месторасположением вещи и длительностью ее присутствия в городском пространстве. Вырванность из привычного контекста, необычность расположения лишают предметы привычных значений, настойчиво требуют их переосмысления. Потерянная вещь — вызов интерпретатору, ответом на который должна стать ревизия найденного и действующих схем восприятия городских пространств. Роль последних трудно переоценить, поскольку именно они становятся одними из основных элементов, образующих значения людей и вещей в современном городе. Связь потерянных вещей с транзитными пространствами лишь усиливает нагнетаемую обеспокоенность. А что же еще можно ожидать от вещей, находящихся согласно повторяющимся объявлениям в местах «повышенной опасности»?

Беспокойство уменьшается, когда вещи «находятся» — помещаются профессионалами в легитимные контексты. Профессионализация находок в транзитных местах становится отражением претензий властных структур на монопольное освоение и регулирование пространств перехода, да и города в целом. Достаточно вспомнить, что первые попытки регулирования потерянности вещей, выстраивания новых отношений с ними — проект сугубо властный и городской. В 1805 г. в Париже по указу Наполеона¹¹ учреждается первое бюро находок для «сбора

¹¹ <<http://www.taipeitimes.com/News/world/archives/2005/05/24/2003256422>>

различного рода вещей, обнаруженных на улицах»¹², декларируя как новые буржуазные отношения человека и вещи, так и новое восприятие городского пространства, свободного от «неположенных» вещей. Новая структура делала явью усиление роли городских властей в регулировании самого городского пространства и режимов его видения. Таким образом, естественная пунктуация города, образованная среди прочего и потерянными вещами, постепенно уступала место властной регламентации, материализуясь во вполне реальном объекте — бюро находок. Последнее становилось «местом, для хранения потерянных вещей... и моральной институцией, внушающей уважение к потерянными объектам и охраняющей права собственности» (Jeggle, 2003). Однако, даже будучи наделенным институциональной силой, бюро потерянных вещей не всегда превращалось в храм Вещи, в место счастливого воссоединения человека и его собственности. Новая точка пространства, расположенная на окраинах или в городских «черных дырах», скорее становилась местом ссылки вещей, оставшихся без владельцев.

Бюро находок само по себе весьма занятный объект для рассмотрения. Этот апогей модернистского порядка — коллекция или музей в миниатюре — с его тщательной классификацией и стремлением к поддержанию «чистоты вида» (а la кошельки к кошелькам, чучела к чучелам) выступает еще и в роли хронометра, отмеряющего предельно допустимое время потерянности вещей, продолжительность их «бесхозной» жизни. От трех месяцев до полутора лет специальные работники будут оберегать покой вещи, ожидая ее владельца. При этом время хранения становится производной материальной или символической ценности вещи: чем дороже или выше ценится она в данной культуре, тем дольше будет храниться. По истечении отведенного срока невостребованные утраты обычно возвращаются в столь подобающие вещам отношения, повторив свои превращения из товара в собственность на специальных аукционах или в комиссионных магазинах. Право собственности и городской порядок торжествуют.

¹² <<http://www.taipeitimes.com/News/world/archives/2005/05/24/2003256422>>

Lose and found сохраняет не только универсальные следы эпохи, но и отпечатки реалий конкретных городов, времен, обстоятельств. Заставленные уходящими в потолок стеллажами с тысячами находок лондонское, парижское, токийское бюро находок¹³ разительно отличаются от полупустых российских аналогов, трепетно хранящих порванные баяны и одинокие ржавые велосипеды¹⁴. За обозначенными отличиями скрывается не просто разное отношение к вещам и собственности или постоянно обсуждаемые «драматические» отличия в уровне благосостояния и общественной морали, но и особенности механизмов внутригородской коммуникации и навыков обращения с *городскими пространствами*. Эмоциональное и практическое освоение города различными субъектами: местными жителями, самопровозглашенными «профессионалами публичности» — уличными торговцами или бродягами, локальными сообществами, изменяет процедуру нахождения вещи и ее дальнейшую судьбу. Отсутствие пестрого множества агентов (между прочим, весьма действенных в поисках пропажи) в официальной российской риторике потерянных вещей — тревожный знак. В случае, когда основной коннотацией потерянных вещей постепенно становится беспокойство или опасность (согласно властной версии), противостоять «угрозе» могут только профессионалы. Еще недавно связанные с находками романтика, ирония, радость уходят в прошлое. Сегодня уже достаточно сложно представить себе одно из любимых развлечений советской детворы — «приманивание» взрослых выброшенным на дорогу кошельком на веревочке с последующим буйным весельем по поводу их «недостойного» поведения. На городских улицах уже давно разыгрываются другие игры.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Страх и беспокойство — неотъемлемые составляющие современного контроля — вкраплены в нашу

¹³ <http://www.tfl.gov.uk/tfl/ph_lost-stats.shtml>, <<http://archive.wn.com/2004/01/09/1400/worldnewsasia/>>

¹⁴ <<http://www.orion-tv.ru/cgi-bin/index.pl?in=FNI&id=461&m=1&d=8&cal=1&yr=2003>>

повседневную жизнь многоголосьем городских текстов и особыми социальными, пространственными, временными конвенциями. Используя исследовательский подход, основанный на пребывании исследователя в городе, мы попытались тематизировать производство городских страхов и действие новых контролирующих механизмов, раскрывая их через повседневные ситуации, избегая абстрактных рассуждений о новом режиме контроля как таковом. Насыщение деталями, воссоздание культурной и городской специфики позволяют понять механизмы реализации контроля в постсоветском городе, одновременно указывая на сходство локальных и глобальных тенденций. Переходные места оказываются форпостами контролирующих усилий в ситуации многократного увеличения масштабов и ускорения темпов повседневной мобильности. Риторика транзитных мест, варьируясь от тревожной заботы до откровенного беспокойства, создает ощущение опасности, связанной с наличием враждебных Других и потенциально опасных вещей. Это причудливое сочетание используется для обоснования монопольного контроля городского пространства властными структурами и профессионалами безопасности. Город постепенно становится ареной повседневных противоборств и нескончаемого беспокойства, а множественные страхи — воображаемым, определяющим один из значимых ракурсов постоянно меняющегося города: «Город существует благодаря сфере *воображаемого*, которая в нем рождается и в него возвращается, той самой сфере, которая городом питается и которая его питает, которая им призывается к жизни и которая дает ему новую жизнь» (Оже, 1999).

ЛИТЕРАТУРА

Айер, П. Жизнь транзитного пассажира / П. Айер // Русский журнал. 1998. [<http://old.russ.ru/journal/persons/98-11-13/iyer.htm>]

Барт, Р. Разделение языков / Р. Барт // Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1989.

Беньямин, В. Детективный роман в дорогу / В. Беньямин // Маски времени. СПб., 2004.

Беньямин, В. Московский дневник / В. Беньямин. М., 1997.

Вахштайн В. Социология вещей и «поворот к материальному» в социальной теории / В. Вахштайн // Социология вещей. М., 2006.

Дебор, Г. Общество спектакля / Г. Дебор. М., 2000.

Делёз, Ж. Логика смысла. / Ж. Делёз. М.; Екатеринбург, 1998.

Делёз, Ж. Post Scriptum к обществам контроля / Ж. Делёз // Переговоры. 1972–1990. СПб., 2004.

Канетти, Э. Масса и власть / Э. Канетти. М., 1997.

Латур, Б. Нового времени не было. Эссе по симметричной антропологии / Б. Латур. СПб., 2006.

Оже, М. От города воображаемого к городу-фигции / М. Оже // Художественный журнал. № 24. 1999. [<http://www.guelman.ru/xz/362/xx24/x2402.htm>]

Усманова, А. Насилие как культурная метафора / А. Усманова // Топос. №. 2–3 (5). 2001.

Хархордин, О. Предисловие редактора / Б. Латур. Нового времени не было. Эссе по симметричной антропологии. СПб., 2006.

Amin, A. Cities: Reimagining the Urban / A. Amin, N. Thrift. Cambridge, 2002.

Auge, M. Non-places. The Anthropology of Supermodernity / M. Auge. London; NY, 1995.

Bauman, Z. Liquid Times: Living in an Age of Uncertainty / Z. Bauman. London, 2007.

Jeggle, U. A Lost Track: On the Unconscious in Folklore in Journal of Folklore Research 40.1 2003. <http://muse.jhu.edu/demo/journal_of_folklore_research/v040/40.1jeggle.html>

Virilio, P. The Overexposed City / P. Virilio // Bridge, G., Watson, S. (eds.) The Blackwell City Reader. Blackwell Publishing, 2002.

Westwood, S., Williams, J. (eds.) Imagining Cities: scripts, signs, memory. London; NY, 1997.

ABSTRACT

The object of our investigations is the production of fears in transitive places (airports, metros, railway stations, etc.). The mechanisms of discursive control reveal themselves in everyday situations, including the organization of transitive spaces, and in vocal and visual-textual elements. The effectiveness of the rhetoric of fear and mechanisms of control is connected with an odd and discrete form of sociality, which is mediated primarily by textual messages. Control mechanisms, as well as a touch of anxiety, have become a routine

of everyday transitions. In the rhetoric of anxiety, the Other and lost items are considered to be a source of danger. These elements of the rhetoric of anxiety are quite indefinite though: they lack concrete traits or characteristics. The examination of the institutional mechanisms of the incorporation of “lost items” into the social order reveals significant changes: nowadays “lost items” become the object of attention of security structures, while lost and found offices become a reminder of a previous epoch.

Keywords: non-places, lost item, production of fears, discursive control, post-human sociality.

«ПУТЕВОДИТЕЛЬ» КАК МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ И КОНСТРУИРОВАНИЯ ГОРОДА

Статья посвящена анализу фильма «Путеводитель» (режиссер А. Шапиро). Поскольку фильм является рефлексивной репрезентацией современного постсоветского городского пространства, осуществлена попытка анализа фильма с использованием методологии анализа городского пространства. Также рассматривается понятие поэтического кино по отношению к жанру городских симфоний и поднимается вопрос о трансформации жанра городских симфоний.

Ключевые слова: городское пространство, поэтическое кино, городская симфония, метафоры города: транзитивность, ритм, отпечатки следов.

Появление кино как массового явления неразрывно связано с развитием городов, и именно кино стало, пожалуй, первым по-настоящему городским искусством. В городе происходят первые демонстрации фильмов, в городе создаются первые стационарные кинотеатры, именно в городе кино институционализируется и получает свой статус. В свою очередь, тема города нередко становилась центральной для кинематографа. Среди первых фильмов, созданных для массового просмотра — «Выход рабочих с завода братьев Люмьер», «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сиота» и др., — фильмы, запечатлевшие сцены из городской жизни.

Кинематограф не только предоставил возможность для документирования повседневных городских практик: уже с самого начала своего существования он становится тем техническим средством, которое позволяет исследовать город, изучить его дви-

жение и ритм, увидеть город таким, каким его невозможно увидеть глазом, не вооруженным киноаппаратом. Поэтому не случайно город становится главным героем множества экспериментальных фильмов, которые условно можно объединить в жанр «городских симфоний». Такие фильмы, как «Манхэттен» (1921, режиссеры Поль Штрэнд и Чарльз Шиллер), «Берлин: симфония большого города» (1927, режиссер Вольтер Руттман), «Человек с киноаппаратом» (1929, режиссер Дзига Вертов) и другие создавались в разных странах и о разных городах, но, несмотря на это, они были посвящены одной теме — теме жизни большого города. Не случайно, что эти фильмы были сняты в период модернизации общества — с увеличением городского населения и расширением возможностей городских жителей город становился тем пространством, которое требовало осмысления, и такое осмысление происходило в том числе и посредством рассматривания города, наблюдения за ним, за его жизнью. Городские симфонии становятся местом для экспериментов, поиска новых точек зрения и новых ритмов. Как, например, пишет А. Хренов о фильме «Манхэттен»: «Он [фильм] словно критикует традиционную иконографию статичных почтовых открыток начала века, открывая фильм фронтальной панорамой Манхэттена (вполне привычной для современников), но дополняя ее необычными ракурсами съемки небоскребов. Единственный “всевидающий” взгляд зрителя-камеры заменен коллажем умопомрачительных перспектив, оставляющих для зрителя свободу выбора»¹.

Одним из основных свойств, за которое жанр городских симфоний часто критиковали, заключается в его излишне оптимистичном подходе к феномену города и преобразований, связанных с его развитием. В основном городские симфонии демонстрируют восхищение процессами модернизации, технологизации и индустриализации — камера в них рассматривает возведение зданий, работу завода, движение людей и транспортных средств на улицах города. Одновременно с этим в городских симфониях видна тенденция дегуманизации общества — техно-

¹ Цит. по: Туровская, М. Семь с половиной, или Фильмы Андрея Тарковского / М. Туровская. М., 1991. С. 18.

логические средства и процессы строительства интересуют камеру больше, чем люди, участвующие в этих процессах. Например, в уже упомянутом нами фильме «Манхэттен» жители города представлены либо в виде толпы, выходящей с парома и идущей по улице, либо как составляющие части строительных машин, как их придатки. С одной стороны, такое механистическое отношение к человеку понятно — камеру больше интересует динамика движения, ритм, которые, в свою очередь, заинтересуют и зрителя. С другой стороны, именно механизация труда способствовала ускорению производства и усилению функции городов. Человеческий же труд становится вспомогательным по отношению к труду машин. В кадрах строительства города в уже упомянутом фильме «Манхэттен» именно машины являются главным предметом восхищения камеры — их ритмичность и слаженность работы, выполнение ими операций, которые не под силу человеку. При этом люди занимают место обслуживающих устройств по отношению к главным деятелям — машинам.

Жанр городских симфоний можно назвать нарративом о городской среде, кинематографическим повествованием о городе и его жителях. Вместе с тем этот нарратив далеко не всегда является цельным, в нем часто используется непоследовательный монтаж, он наполнен обрывочными коллажными элементами, которые не только не создают иллюзию непрерывности происходящего, а, скорее, разрушают континуальность фильма. В силу этих особенностей городские симфонии можно более отнести к поэтическому, чем прозаическому, кинематографу. В статье «Поэзия и проза в кинематографе» 1927 г. В. Шкловский определяет поэтическое кино как такое, в котором технически-формальные элементы преобладают над смысловыми, «причем формальные моменты заменяют смысловые, разрешая композицию», «композиционная величина оказывается по своей работе равной смысловой»². Позднее, в 1965-м, П. Пазолини писал о поэтическом кинематографе, что язык «кино поэзии» противопоставляет себя языку кинематографической прозы и обла-

² Пазолини, П.П. Поэтическое кино / П.П. Пазолини // Строение фильма. М., 1984. С. 45–66.

дает собственными стилизмами и технизмами³, собственными съемочными приемами.

К поэтическому кино, безусловно, относится и фильм «Путеводитель» режиссера А. Шапиро. С одной стороны, в нем рассказывается о городе Киеве и о людях, в нем живущих, а если быть точнее, персонажи фильма становятся нарраторами, рассказывающими о городе, — через монологи и (преимущественно) диалоги персонажей фильма мы и узнаем о том, какие в Киеве есть интересные клубы, туристические места, где лучше снимать или покупать квартиру, какие кинотеатры более или менее дорогие и т.д. С другой стороны, фильм имеет мало общего с кино нарративным. Монтаж фильма скорее клиповый — резкий, прерывистый; в отличие от прозаического континуального монтажа, создающего иллюзию естественности и целостности пространства, монтаж «Путеводителя» трансформирует и разрушает его целостность. Фильму присущи те же характеристики, которые, по мнению Н. Самутиной, являются определяющими для современной поэтической визуальной формы — видеоклипа: клиповый метафорический *монтаж*, трансформирующий пространство; *повторение* в широком смысле этого слова (например, повторение элементов фильма, отдельных кадров, повторения ритма и рифмы); короткая *длина* (в фильме практически отсутствуют длинные кадры)⁴. Однако вряд ли «Путеводитель» можно назвать фильмом-клипом — его структура го-

³ См.: Самутина, Н. Музыкальный видеоклип: поэзия сегодня / Н. Самутина // Неприкосновенный запас. № 6 (20). 2001.

⁴ В пресс-релизе фильма, в многочисленных интервью с А. Шапиро и рецензиях на фильм указывается, что в фильме 11 новелл (поскольку, как утверждает А. Шапиро, Киев — футбольный город, а число одиннадцать — вполне футбольное число). Однако без пролога и эпилога, вступительного и заключительного эпизодов, не обозначенных названиями, «новелл» или частей в картине 14 (в хронологическом порядке) — «Самтредия», «Выдох», «Кристина», «Реинкарнация», «Ганеш», «Стадион», «Малая», «Ройтбурт», «Горбунов и Юля», «Витя и Маша», «Авалон», «К-18», «Бинго», «Вонючка».

раздо сложнее, чем структура видеоклипа. Остановимся на ней подробнее.

«Путеводитель» представляет собой сложную систему аттракционов – он состоит из разрозненных частей⁵, каждая из которых является аттракционом и, в свою очередь, также монтируется по принципу монтажа аттракционов. В каждой из частей фильма события, по замыслу режиссера, происходят в различных районах Киева. Фильм состоит из шестнадцати частей-эпизодов, различных по ритму, стилистике и жанрам. Среди них – собственно видеоклип – сопровождаемая видеорядом песня о городе («Реинкарнация»); эпизоды, составленные из (преимущественно домашней) хроники, целостность которых обеспечивается закадровым монологом (пролог, эпилог, «Самтредия», «Выдох»); эпизоды, построенные на диалогах двух или трех персонажей («Стадион», «Ройтбургт», «Горбунов и Юля», «Витя и Маша», «Авалон», «К-18», «Бинго», «Вонючка»), эпизод, который можно классифицировать как видеозарисовку с элементами рекламы («Ганеш»)⁶.

Каждый из этих эпизодов, по сути, является законченным короткометражным фильмом. При этом связь между эпизодами осуществляется в основном

⁵ Название эпизода «Ганеш», как и эпизодов «Авалон» и «Бинго», – это названия клубов, в которых происходит действие эпизодов. «Ганеш» – не единственный эпизод, в котором присутствует реклама (да и сам жанр путеводителя предполагает наличие свойств рекламного продукта). В эпизоде «Ганеш» большое количество времени уделяется напитку «Спу». По сюжету ролика, девушка с бутылкой напитка танцует в ночном клубе, одноименном с названием эпизода. Интересно, что напиток «Спу», помимо эпизода «Ганеш», возникает и в нескольких других эпизодах, например «Реинкарнация» и «Стадион», и также является своего рода связующим элементом между эпизодами. Выбор напитка с названием «Спу» также кажется неслучайным – впервые он появляется в эпизоде «Реинкарнация», где его держит человек, сидящий за рулем автомобиля, въезжающего в город. Здесь возникает параллель между туристом, приезжающим в город, фланером и шпионом, подсматривающим за жизнью города.

⁶ Лотман, Ю. Природа киноповествования / Ю. Лотман // Диалоги с экранов, цит. по: http://www.videoton.ru/Articles/prir_povest.html

посредством очерчивания воображаемого общего пространства действия фильма, которое создается в многочисленных перечислениях мест и районов Киева. Немаловажную роль в создании стабильной референции к общему географическому пространству играет карта города. Карта, которая в «Путеводителе» появляется в разных эпизодах, выполняет двойную функцию — с одной стороны, она указывает на местонахождение всех районов, в которых происходят события фильма, и делает разобщенное пространство города единой территорией, объединяет распадающиеся эпизоды в единое целое. С другой стороны, схематически визуализируя пространство, она делает происходящее более достоверным и материальным, как бы наделяет события достоверностью и подлинностью. И в этом смысле карта в фильме выполняет роль развернутого документа, предъявляемого на пропускном пункте дежурному, — он как бы есть и его как бы предъявили, но рассмотреть, что в нем написано, невозможно из-за скорости движения. То есть она — чисто формальный элемент, но само ее присутствие уже должно вселить в нас уверенность в том, что происходящее на экране имеет непосредственное отношение к реальности.

Однако как целостность, так и подлинность событий в фильме скорее является иллюзорной, и сам фильм постоянно об этом напоминает, подрывая зрительскую установку на связность и логичность как на визуальном, так и на аудиальном уровнях. Одной из главных характеристик фильма, пожалуй, является то, что у него нет единого кода прочтения, и как только зрителю кажется, что он начинает понимать, каким образом нужно осуществлять декодирование, код меняется, и его нужно искать снова.

С самого первого кадра фильм задает экспериментальную рамку. Он начинается с кадров домашнего видео и хроники, объединенных ритмом стука колес и грузинской мелодии. На экране в течение первой минуты перед нами проплывают накрытый для домашнего праздника стол, который любительская камера тщательно «рассматривает», задерживаясь на каждом из объектов; движущийся поезд; движущиеся виды болотистых ландшафтов, снятых из окна поезда; рабочие у станков; плохо узнава-

емый Дед Мороз с детьми на детсадовском утреннике; кадры ландшафта; снова рабочие у станков; люди, сидящие за накрытым праздничным столом, и т.д. И с этой же первой минуты мы попадаем в тщательно расставленные режиссером ловушки. С одной стороны, каждый из элементов этого фрагмента обособлен и логически не связан ни с другими фрагментами, ни с темой фильма. Однако для нас, зрителей, является привычным ментальное соединение элементов в фильме в логическую последовательность. Как пишет об этом Ю. Лотман, «[в кино] зритель воспринимает временную последовательность как причинную. Это особенно заметно в тех случаях, когда автор (как это, например, делал Бунюэль) соединяет логически не связанные или даже абсурдно несочетаемые куски: автор просто склеивает несвязанные части, а для зрителя возникает мир разрушенной логики, поскольку он заранее предположил, что цепь показываемых ему картин должна находиться не только во временной, но и в логической последовательности. Это убеждение зиждется на презумпции осмысленности, зритель исходит из того, что то, что он видит: 1) ему показывают; 2) показывают с определенной целью; 3) показываемое имеет смысл. Следовательно, если он хочет понять показываемое, он должен понять эти цель и смысл»⁷. Зритель заранее знает, что в фильме не бывает ничего лишнего или случайного и что то, что он видит на экране, должно иметь логическое обоснование. Лотман поясняет такую зрительскую установку тем, что фильм воспринимается зрителями как повествование, которое основывается на причинно-следственной связи. Он пишет: «Нетрудно понять, что эти представления являются результатом перенесения на фильм навыков, выработанных в словесной сфере, — навыков слушания и чтения, то есть, воспринимая фильм как текст, мы невольно переносим на него свойства наиболее нам привычного текста — словесного. Приведем пример: когда мы смотрим в окно едущего поезда, нам не приходит в голову связывать увиденные нами картины в единую логическую цепь. Если сначала мы увидели играющих детей, а затем перед нашими глазами пронеслись столкнувшиеся автомо-

⁷ Лотман, Ю. Природа киноповествования.

били или веселящаяся молодежь, мы не станем связывать эти картины в причинно-следственные или какие-либо другие логические или художественно осмысленные ряды, если не захотим искусственно создать из них текст типа “такова жизнь”. Точно так же, глядя из окна, мы не спросим себя: “Зачем эти горы?” А между тем при разговоре о фильме эти вопросы будут вполне уместны»⁸.

Примечательно, что для объяснения того, как различается наша когнитивная предпосылка видения реальности и кино, Лотман использует именно метафору поезда – интересное совпадение с прологом и эпилогом фильма, особенно если учесть, что в последнем эпизоде фильма мы видим кадры гор, снятых из окон поезда, а в эпилоге на экране возникает цитата, относящаяся к морю. Какое же отношение горы и море имеют к фильму о Киеве? И уместны ли эти вопросы при разговоре о фильме «Путеводитель»?

С одной стороны, взаимосвязь всех кадров фильма можно пояснить, можно разработать систему, в которую впишутся все фрагменты, представить, что фрагменты фильма – это кусочки паззла, который можно собрать после просмотра. Однако зритель с подобной установкой постоянно оказывается в ситуации когнитивного диссонанса, когда на вписывание всех кадров и звукоряда в некую систему требуется значительно больше ментальных и временных затрат, чем позволяет ритм фильма, и в результате зритель просто не успевает создать какую-либо целостную картину происходящих событий, а после просмотра это сделать невозможно в силу того, что эпизоды, не вписывающиеся в логику общей схемы, просто забываются. Например, как в уже описанном выше фрагменте пролога, посредством сочетания изображения и звукового оформления (звука стука колес поезда), первоначально создается иллюзия, что все, что происходит на экране, связано с появляющимся в первых кадрах движущимся поездом. После кадров движущегося поезда и видов из окна поезда мы видим рабочих у станков, кадр, ко-

⁸ Амин, Э. Внятность повседневного города / Э. Амин, Н. Трифт // Логос 3–4, 2002. <http://magazines.russ.ru/logos/2002/3/amin.html>

торый нарушает эту связь, и мы вынуждены искать новую, предполагая, например, что все кадры будут связаны с последующими эпизодами или воспоминаниями главного героя, и т.д. Таким образом, никакая логическая нарративная система не удерживает «Путеводитель» в целостном состоянии. В фильме как бы создается система без системы — как только вам начинает казаться, что вы нащупываете закономерность, она исчезает.

Можно провести параллель между отсутствием общей системы в фильме и отсутствием системы города, которое, по мнению многих исследователей и теоретиков урбанизма, является одной из важнейших характеристик современного города. Как отмечают Э. Амин и Н.Трифт, «независимо от того, можно ли рассматривать города в разные эпохи с такой точки зрения, современные города определенно внутренне согласованными системами не являются. Границы города стали слишком прозрачными и растяжимыми (как в географическом смысле, так и в социальном), чтобы теоретизировать его в качестве единого целого. Современный город не имеет завершения, у него нет центра, нет четко закрепленных частей. Он, скорее, представляет собой сплав зачатую рассогласованных процессов и социальной гетерогенности, местом взаимосвязи близкого и далекого, последовательностью ритмов; он всегда растекается в новых направлениях. Именно эту характеристику города нужно схватить и объяснить, не поддаваясь соблазну свести многообразие городских явлений к какой-либо сути или системной целостности»⁹.

Пытаясь описать методологию исследования жизни современного города, Э. Амин и Н. Трифт предлагают ввести ряд метафор, которые, по их мнению, способствуют улавливанию текущих городских процессов. Они особо выделяют три сильные метафоры: «Первая — это метафора *транзитивности*, которая отмечает пространственную и временную открытость города. Вторая метафора изображает город как место, где сходятся многообразные *ритмы*, постепенно отчеканиваясь в ежедневных контактах и многочисленных переживаниях времени и пространства. Третья метафора указывает на город как *отпе-*

⁹ Амин, Э., Трифт, Н. Внятность повседневного города.

чатки следов: следы прошлого, ежедневно прокладываемые пути движения вдоль и поперек города, а также и связи за его пределами»¹⁰. Таким образом, вместо создания некоей единой схемы или структуры города авторы предлагают описывать его посредством принципиально иных средств, которые позволяют осмыслить город как гетерогенное, не обобщаемое в единое целое пространство. Примечательно, что только такой подход применим для анализа фильма «Путеводитель», поэтому представляется целесообразным остановиться на каждой из метафор и рассмотреть, каким образом они работают в фильмическом пространстве, репрезентирующем современный город.

Транзитивность (или пористость) города, понятие, впервые употребленное В. Беньямином в его работе о Неаполе, было использовано им «для описания города как места для импровизаций и смешений, которые возможны из-за того, что город пронизан насквозь прошлым, а также подвержен различным воздействиям пространства», «транзитивность/пористость — это то, что позволяет городу постоянно формировать и изменять свой облик»¹¹. Для Беньямина исследования транзитивности города прежде всего связаны с фигурой фланера¹² — странника, наблюдателя, обозревателя, исследователя города. Как пишет о фланере Х. Арндт, «ему, бесцельному гуляке поперек городских толп в нарочитом противоречии с их торопливой и целенаправленной активностью, вещи сами раскрывают свой тайный смысл: “Подлинная картина прошлого проскальзывает мимо” (“О понимании истории”)), и лишь бесцельно блуждающий фланер может этот смысл воспринять»¹³. Фланер является той фигурой, включенной в городское пространство посредством на-

¹⁰ Амин, Э., Трифт, Н. Внятность повседневного города.

¹¹ Там же.

¹² Как отмечает Х. Арндт в примечании к своей работе о В. Беньямине, классическое описание фланера оставил Бодлер в знаменитом эссе о Константене Гисе «Le Peintre de la vie moderne».

¹³ Арндт, Х. Вальтер Беньямин 1892–1940 / Х. Арндт // Люди в темные времена. М., 2002. http://www.krotov.info/lib_sec/01_a/are/ndt_01.htm

блюдения и взаимодействия с ним, которая способна увидеть город во всей его сложности и многогранности.

Отвечая на вопрос, каким же образом и с помощью каких средств можно уловить и исследовать транзитивность города, Э. Амин и Н. Трифт пишут о необходимости включенности, погружения в городскую жизнь, взаимодействии с этой жизнью, о необходимости поиска нестандартных, нетрадиционных, нестереотипных туристических маршрутов. В результате подобного рода исследования «[т]акие интеллектуальные блуждания не должны романтизировать город, но изображать разнообразие уличной жизни, неожиданные опровержения стереотипов»¹⁴.

В фильме «Путеводитель» роль фланера, погруженного в городскую жизнь, ищущего нестандартные места для наблюдений, выполняет сама камера. Она следит за людьми, въезжающими в город, за деятельностью и разговорами людей в разных городских пространствах — на стадионе, в ночных клубах, кафе, на заброшенных пустырях и в районах новостроек. Причем метафора движения и пересечения границ проходит через весь фильм, с первого до последнего кадра. В нескольких эпизодах в центре внимания камеры оказываются движущиеся транспортные средства — поезд, машины, мотоциклы — и едущие в них люди. Однако эффект транзитивности создается не только посредством движущихся в кадре объектов, но также и посредством соединения кадров с резкими монтажными стыками и переходами от одного объекта к другому.

Камеру не интересует то, как выглядят традиционные туристические места — памятники, центральные площади и здания — она ищет иные маршруты и иные объекты. Как говорит один из персонажей, Кристина, которую двое приезжих командировочных просят рассказать о том, что в Киеве интересно посмотреть: «Я рассказываю о том, что мне нравится... Мне по фиг там официальные туристические маршруты...». Из немногочисленных съемок городского пространства в фильме можно увидеть кадры киевских окраин, шоссе, новостроек и заброшенных пустырей — это те места, где камера находит объ-

¹⁴ Арндт, Х. Вальтер Беньямин 1892–1940.

екты своего исследования и концентрируется на них. Основное же внимание камера уделяет людям, городским персонажам.

Карен Уэллс, предупреждая исследователей города о последствиях слишком пристального внимания к его жителям, пишет: «...фокусирование на людях может создать эффект, при котором материальность города будет исчезать из виду»¹⁵. Однако этого в «Путеводителе» не происходит. Напротив, именно из диалогов персонажей фильма мы узнаем основную информацию о городе — о том, в какой ночной клуб лучше пойти, где лучше покупать квартиру, какие места и достопримечательности лучше посетить, — вся эта информация проговаривается персонажами фильма медленно, с множественными повторами, в стиле, характерном для речи персонажей из фильмов Киры Муратовой.

Речь персонажей наполнена названиями улиц, районов, клубов, кинотеатров. Э. Амин и Н. Трифт отмечают, что «города обретают свои очертания благодаря множеству “смешанных наименований”». Поэтому прочитать город можно, только изучив средства его поименования»¹⁶. Однако в «Путеводителе» эти бесконечно артикулируемые «списки» занимают некое промежуточное место между перечнем кораблей в Илиаде и каталогами товаров. В некоторых эпизодах (например, «Стадион») отдельные кадры, в которых перечисляются названия мест отдыха, повторяются множество раз и в такой концентрации, что референтативная функция высказываний персонажей размывается и их речь, особенно для зрителей, не знакомых с этими названиями, превращается в причудливо выстроенный звукоряд, чистую поэзию.

Подобный стиль речи и повторы формируют также определенные ритмы эпизодов. В «Путеводителе» можно выделить два ритмообразующих уровня — уровень сочетания внутрикадрового движения и звука и уровень межкадрового монтажа. Безусловно, метафора ритма города, выделяемая Э. Амином и Н. Трифтом, принципиально отлична от доста-

¹⁵ Wells, K. The Material and Visual Cultures of Cities / K. Wells // Space and Culture. № 10. 2007. P. 137.

¹⁶ Амин, Э., Трифт, Н. Указ. соч.

точно устоявшегося понятия фильмического ритма. Как уже говорилось выше, ритм «Путеводителя» в целом можно сравнить с ритмом видеоклипа. Однако при этом ритм каждого из эпизодов индивидуален, и в результате «Путеводитель» становится топосом пересечения различных ритмов, и в этом можно наблюдать сходство с метафорой ритма города — множественность индивидуальных ритмов эпизодов синтезируется, образуя некое сложное ритмическое целое городского пространства.

Третья метафора Э. Амина и Н. Трифта указывает на город как *отпечатки следов*: следы прошлого, ежедневно прокладываемые пути движения вдоль и поперек города, а также и связи за его пределами. В «Путеводителе» прошлое и настоящее тесно переплетаются посредством монтажа: фрагменты хроники и документальные кадры в клиповой манере монтируются с игровым видеорядом, причем зачастую именно современные фрагменты выглядят старше и более пострадавшими от времени, чем хроники шестидесятилетней давности¹⁷. В фильме фрагменты хроники и документальные кадры используются тремя способами. Во-первых — для создания киноряда, состоящего полностью из таких кадров (как, например, в прологе и эпилоге). В этом случае хроникальные и документальные кадры не относятся непосредственно к Киеву, их временную принадлежность также сложно определить, что размывает не только пространственные, но и временные рамки города, а с ним и фильма. Во-вторых — для демонстрации мест отдыха, перечисляемых персона-

¹⁷ Здесь представляется уместным привести цитату из работы А. Хренова «Утраченные иллюзии невидимого кино», в которой автор описывает использование приемов работы с изображением и трансформацию его с точки зрения временной принадлежности: «Авангардисты же обращаются к опытам своих предшественников в живописи и в поэзии (например, кубистов, имажинистов), заимствуя у них идею фрагментации пространства. Используемые киноавангардистами приемы — такие как сверхдлинный план или ускоренное движение камеры, подчеркнутое «зерно» на пленке, рисунки прямо на ней и пр. — позволяют превратить фильм в сконструированное автором средство выражения для ощущаемого потока времени».

жами. В этом случае хроникальные и документальные кадры монтируются с постановочными, как бы их иллюстрируя. Например, при упоминании в разговоре памятника Богдану Хмельницкому в видеоряде возникают кадры с этим памятником, снятые (судя по транспорту, припаркованному вокруг памятника) в советские времена. Однако такие монтажные вставки имеют не только иллюстративную функцию. Например, при упоминании клуба «Шамбала» мы видим старые кадры съемки кинотеатра им. Довженко, в здании которого этот клуб сейчас находится. Посредством такого монтажа, с одной стороны, становится очевидным, насколько современный город претерпел изменения и как современная городская культура во многом диктует эти изменения. С другой стороны, исторические места оказываются выдернутыми из их исторического контекста. Однако вписывания их в современный контекст не происходит — историческая референция больше не работает, историческое здание остается всего лишь фотографией, мертвым воображаемым памятник, которому нет места в современной реальности. Третий способ использования хроникальных и документальных кадров можно обозначить как ироничный в связи с тем, что монтаж постановочных и хроникальных кадров производит дополнительный иронический смысл. Например, в эпизоде «Ройтбург», построенном на диалоге между мужчиной и женщиной о покупке квартиры, женщина предлагает «перебраться на левый берег» и купить квартиру в одном из левобережных районов Киева. Мужчина, не согласный с этим предложением, возмущенно отвечает: «Что значит перебраться?». Вслед за его словами монтируется фрагмент военной хроники перехода войск через реку. Так, монтаж иронично «предлагает» одну из трактовок выражения «перебраться на другой берег», связанную с определенными историческими событиями.

Таким образом, в фильме сложный исторический палимпсест, представляющий собой наслоение следов, ссылок, референций и т.д., складывается в некий воображаемый кинопутеводитель.

В заключение приведу слова М. Оже, который пишет: «Город существует благодаря сфере *воображаемого*, которая в нем рождается и в него возвращается, той самой сфере, которая городом питается и которая его питает, которая им призывается к жизни и которая дает ему новую жизнь. Интерес к эволюции сферы *воображаемого* вполне оправдан: сфера эта затрагивает как город (с его константами и изменениями), так и наши взаимоотношения с образностью, которая также подвержена изменениям — подобно городу и обществу»¹⁸. Фильм «Путеводитель» — это своеобразный эксперимент по исследованию и конструированию воображаемого Киева, его мифологий и историй. В нем город становится метафорой пространства без границ, как территориальных, так и темпоральных, пространством сосуществования разных людей, топосов и времен. А сам фильм представляет собой пространство пересечения различных ритмов и мелодий, мультиинструментальным и мультивокальным музыкальным произведением, современной городской симфонией.

ABSTRACT

This article focuses on an analysis of the film “Guidebook” (directed by A. Shapiro). As the film is a reflective representation of contemporary post-Soviet city-space, the article attempts to analyse the film using the methodology of city-space analysis. The article also explores the notion of a poetic cinema, relating it to the city symphony genre, and raises the question of the transformation of the city symphony genre.

Keywords: city-space, poetic cinema, city symphony, city metaphors: transitivity, rhythms, traces.

¹⁸ Оже, М. От города воображаемого к городу-фикции // М. Оже // Художественный журнал. № 24. 1999 (<http://www.guelman.ru/xz/362/xx24/x2402.htm>).

**Р.С. ГОРОДА:
ЭКОНОМИКА И/ИЛИ
ПОЛИТИКА?**

КУЛЬТУРНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ТРАЕКТОРИИ «ОЧИЩЕНИЯ» ВАРШАВЫ

Данная статья анализирует последние трансформации района Прага в Варшаве в качестве размещений появляющейся так называемой «новой» или «креативной» ночной экономики города. Первая часть статьи разбирает широко распространенную риторику «очищения» Праги через новые постиндустриальные типы администрации и продажи развлечений. Вторая часть — основанная на качественных эмпирических исследованиях — критикует восприятие исключительно городских предпринимателей в качестве группы, обуславливающей социально-пространственные перемены в районе. Два других важных типа игроков, конституирующих возникновение новых социально-пространственных конфигураций Праги — местное население и люди, работающие в предприятиях ночной экономики. Статья показывает, что новые бары и клубы производят новые контексты дискриминации и криминализации традиционного образа жизни населения района. Рабочие места, появляющиеся в районе благодаря новым индустриям развлечений, сопоставимы с общими тенденциями «новой» экономики (в терминах размывания границ в оппозициях дом — работа и развлечение — работа) и открывают угол зрения на то, как молодые жители Варшавы социализируются и планируют свои карьеры в ситуации гибкого постиндустриального рынка труда.

Ключевые слова: ночная экономика, «очищение», городское предпринимательство, потребление алкоголя, работа — развлечение.

Одним из результатов трансформаций после 1989 г. стало попадание важнейших городских центров Центральной и Восточной Европы, к которым

можно причислить и Варшаву, в общий контекст ослабления национального государства¹, кризиса территориальности² и роста значимости городского масштаба по отношению к остальным формам пространственной организации³. Значительный рост автономии городских властей по отношению к национальному правительству, деиндустриализация и активное участие в цепочках глобального производства позволяют говорить о восточноевропейских метрополиях как о динамично развивающихся предпринимательских городах. С одной стороны, эта перемена означает, что такие города сами по себе приобретают предпринимательские функции, т.е. все меньше зависят от своих национальных правительств в вопросах привлечения инвестиций со стороны крупных фирм с международным капиталом и обеспечения локального экономического благосостояния⁴. С другой стороны, вместо задачи институционализации социальных компромиссов и преодоления социальных, пространственных и экономических неравенств, базовой задачей городской власти становится обеспечение максимального экономического роста и активации производственного потенциала конкретного географического пространства путем поощрения практик городского предпринимательства⁵.

¹ Korten, D. *The Failures of Bretton Woods* / D. Korten // Mander, J., Goldsmith, E. (eds.). *The Case Against the Global Economy*. San Francisco, 1996; Strange, S. *An International Political Economy Perspective* / S. Strange // Dunning, J. H. (ed.). *Governments, Globalization, and International Business*. Oxford, 1997.

² Kobrin, S. *The Architecture of Globalization: State Sovereignty in a Networked Global Economy* / S. Kobrin // Dunning, J. H. (ed.). *Governments, Globalization, and International Business*, 1997.

³ Brenner, N. *The Urban Question as a Scale Question: Reflections on Henri Lefebvre, Urban Theory and the Politics of Scale* / N. Brenner // *International Journal of Urban and Regional Research*. 24/2. P. 372.

⁴ Harvey, D. *From Managerialism to Entrepreneurialism: The Transformation in Urban Governance in Late Capitalism* / D. Harvey // *Human Geography*. 71/1. P. 4.

⁵ Brenner, N. *The Urban Question as a Scale Question: Reflections on Henri Lefebvre, Urban Theory and the Politics of Scale* / N. Brenner. P. 372.

Такого рода мутация функций городских властей, а также общий контекст деиндустриализации увеличивают значимость «новой» или «креативной» экономики, чьи принципы роста и инноваций складываются из таких секторов, как высокие технологии, бизнес и финансовые сервисы, культурное производство (включая медиа) и т.д.⁶ Как пишет Алан Скотт, эта новая экономика имеет три важные черты. Первая: в данной системе каждое локальное производство происходит в контексте расширенной сети фирм, где каждый из элементов этой сети специализируется на изготовлении продукции узкого профиля. Вторая: рынок труда, возникающий в рамках такой системы, оказывается особо гибким и конкурентным, с большим количеством рабочих мест на неполный рабочий день, а также с большим количеством временных и внештатных типов занятости. При этом, подчеркивает Скотт, по крайней мере наиболее продвинутые сегменты рынка труда, как правило, мобилизуются в рамках временных команд, ориентированных на один конкретный проект. Наконец, третья: в перспективе такой де-стандартизации и доминирования гибкой специализации основой конкурентоспособности является скорее не цена, но качество товара⁷.

При этом важно, что данная стадия развития капитализма предполагает определенную форму городского развития. Анализ Алена Скотта показывает, что именно крупные городские агломерации способны быть размещениями новой экономики. Это происходит в силу того, что большие города с их «социальной инфраструктурой» (люди, их навыки и социальные связи)⁸ делают возможной вертикальную дезинтеграцию производственных цепочек, связанных между собой отношениями специализации⁹. В данной ситуации вертикальная дезинтеграция многочисленных цепочек производства — это инстру-

⁶ Scott, A. Creative Cities: Conceptual Issues and Policy Questions / A. Scott // Journal of Urban Affairs. 2006. 28/1. P. 3.

⁷ Ibid. P. 3.

⁸ Sassen, S. (ed.). Global Networks. Linked Cities / S. Sassen. New York, 2002. P. 23–25.

⁹ Scott, A. Op. cit. P. 5.

мент, используемый для того, чтобы снизить риск и неэффективность различных единиц производства на крайне нестабильном рынке, сделав производство и связи между производителями более гибкими. Такого рода дезинтеграция требует также наличия достаточного количества дешевой рабочей силы для ручного труда. Наконец, важным аспектом здесь является то, что именно метрополии с их населением обладают большим ресурсом потребителей продуктов этой новой экономики.

В этой связи следует говорить, что в успешных предпринимательских городах индустрии досуга сменяют традиционные индустрии массового производства и, более того, начинают рассматриваться городскими властями в качестве основных движущих сил модернизации архитектурной и социальной материи города¹⁰. А поощрение дискурсов и практик городского предпринимательства превращает городские системы — или, по крайней мере, значительные их части — в места потребления и отдыха¹¹. В результате сегодня процветающим городом считается город, способный мобилизовать как можно большее количество своих жителей в качестве потребителей так называемых «мягких индустрий» (*soft industries*), а также привлечь как можно большее количество туристов¹². Таким образом, доминирование гибкой формы занятости в высококачественных сегментах рынка труда; большая плотность таких культурных институций, как музеи, художественные галереи, концертные площадки, районы развлечений; а также «очищенные» (англ. *gentrified* — избавленные от бедных и асоциальных жителей путем повышения цен на недвижимость) районы центра города с архитектурой для дорогих торговых услуг, ночной эко-

¹⁰ Harvey, D. *The Condition of Postmodernity. An Enquiry into the Origins of Cultural Change* / D. Harvey. Cambridge, 1990. P. 66.

¹¹ Hobbs, D. *Violent Hypocrisy. Governance and the Night-time Economy* / D. Hobbs // *European Journal of Criminology* / D. Hobbs [et al.]. 2/2. P. 162.

¹² Roche, M. *Mega-Events and Micro-Modernization: On the Sociology of the New Urban Tourism* / M. Roche // *The British Journal of Sociology*. 43/4.

номики и хорошо оснащенными жилыми анклавами сейчас составляют образ преуспевающего города¹³.

Безусловно, города региона, входившего в советский блок, не могут быть полностью сопоставимы с предпринимательскими городами, о которых пишут Скотт или Харви. Тем не менее в рамках трансформаций после 1989 г. такие агломерации, как Варшава, столкнулись с тенденциями, которые можно рассматривать в качестве условий возможности для появления новой экономики. В последние годы рост значимости культурного производства в контексте Варшавы стал популярной темой в публичных дискуссиях, а также привлек определенное внимание исследователей. Как часто замечается, несмотря на то что Варшава делает многое, чтобы быть предпринимательским городом, для большинства ее жителей (и жителей подобных городов) предпринимательский бум и обусловивший его процесс деиндустриализации означают, прежде всего, необходимость использования новых стратегий для экономического выживания в крайне «шаткой» (*precarious*) ситуации¹⁴. Более того, в контексте Варшавы само продвижение культуры и культурного производства в качестве базового товара — довольно сложный процесс. Как пишет Бастиан Ланге, зарождающееся культурное предпринимательство в Варшаве во многом строится скорее на энтузиазме неформальных местных сообществ и создает определенное напряжение между тремя терминами: развлечениями, заработком и социальным участием¹⁵. Исходя из результатов исследований Ланге, можно говорить, что культурными предпринимателями в Варшаве стали в первую очередь те, кто чувствовал определенный культурный дефицит в городе и для кого новая роль была в том числе и инструментом для социализации. Тем не менее в равной степени можно говорить о том, что одним из результатов трансформаций последних 15 лет в Польше стало обретение как минимум двумя крупными городами (имеются в виду Варшава и Краков) статуса размещений динамично развивающейся

¹³ Scott, A. Op. cit. P. 4.

¹⁴ Lange, B. *Warsaw Generation* / B. Lange // *Transit Spaces*. Jovis. 2006. P. 207.

¹⁵ Ibid. P. 225.

культурной экономики с соответствующими ей институтами, сообществами-производителями и потребителями¹⁶.

Важным моментом здесь является то, что городское предпринимательство предполагает также специфические практики апроприации физического пространства. Как и любой другой социальный процесс, являющийся одновременно предпосылкой и результатом пространственных конфигураций¹⁷, развивающаяся культурная экономика Варшавы имеет свою географию и значительно от нее зависит. При рассмотрении подхода к новой экономике Алена Скотта косвенно было замечено, что обычно локализацией культурного производства становится «очищенный» центр города. В этом смысле одним из ключевых моментов переоткрытия Варшавы в качестве города с новой экономикой стало переоткрытие Праги, бывшего рабочего района с массой социальных проблем, усиленных процессом деиндустриализации. Географически этот район находится в самом центре Варшавы, сразу через реку от исторического (разрушенного во время войны и потом заново отстроенного) старого города. При этом о Праге обычно говорили как о некоем «другом мире», который в социальном и культурном плане скорее не является частью Варшавы. Как пишет Анне Дешка, «то, как двум берегам реки не удастся найти соответствие, отражает дилемму польской столицы, которая игнорировалась градостроителями на протяжении десятилетий. В то время как часть города на западном берегу Вислы с ее туристическими достопримечательностями, ночной жизнью и многоэтажными офисными зданиями развилась в лучшую часть Варшавы, Прага во всех отношениях игнорировалась»¹⁸.

Следует отметить, что Прага — единственный район в Варшаве, чья архитектура не была разрушена во время Второй мировой войны. На данный момент этот факт практически не используется ту-

¹⁶ Lange, B. Op. cit. P. 211.

¹⁷ Soja, E. Postmodern Geographies. The Reassertion of Space in Critical Social Theory / E. Soja. 1989.

¹⁸ Deschka, A. Gentrification in Praga — Warsaw Discovers its Other Side / A. Deschka // Transit Spaces, Jovis, 2006. P. 231.

ристической индустрией и является скорее минусом — процент квартир, не оснащенных или лишь частично оснащенных коммунальными услугами (водопровод, туалет, ванная комната, газ, центральный обогрев) на Праге всегда был больше, чем в Варшаве в целом. В результате большинство новой рабочей силы, прибывавшей в город после войны, предпочитали селиться в других районах, где квартиры были оснащены гораздо лучше. Более того, с этим аспектом инфраструктуры района была связана тенденция выселения «патологических» семей из других районов Варшавы на Прагу. Этот факт, а также общая нехватка инвестиций в инфраструктуру Праги со стороны городских властей стали причиной большой концентрации в этом районе таких социальных проблем (опять же по отношению к Варшаве в целом), как общий низкий уровень образования и низкий уровень выполняемых работ, алкоголизм, преступность, нелегальная или полунелегальная торговля и т.д. Другими словами, довоенное пространственное/архитектурное наследие Праги во многом стало препятствием для социальной модернизации и было скорее исключено из этого процесса, происходившего в Варшаве времен Польской Народной Республики. Более того, отсталость Праги как географической единицы была усугублена социально-экономическими переменами после 1989 г. Анне Дешка описывает молодое поколение этого района: «Если их дедушки и бабушки были пролетариатом, обслуживающим фабрики на Праге, то их родители уже представляют постиндустриальный рабочий класс — класс, который не имеет работы и, таким образом, может мало что предложить своим детям»¹⁹.

Качественно новое значение Прага начала приобретать в конце 1990-х — начале 2000-х гг. именно в контексте развития городского предпринимательства в Варшаве. Дешевая недвижимость и близость к географическому центру города обусловили приток новых людей, многие из которых были именно культурными предпринимателями, делающими неболь-

¹⁹ Deschka, A. Gentrification in Praga... P. 233.

шие инвестиции в уже существующую наполовину заброшенную инфраструктуру. Причем это изменило не только социальный состав района, но и его образ как во внутригородском, так и в международном плане. На данный момент Прага обладает довольно большой плотностью культурных институций (галереи, театры, ночные клубы, художественные мастерские и т.д.), и эта плотность растет. Кроме того, многие из этих институций делают вклад не только в продвижение Праги в рамках Варшавы, но и в продвижение Праги/Варшавы в глобальном контексте. Как писала «Нью Йорк Таймс» в 2006 г. в репортаже о варшавской культурной жизни, если при коммунизме алкоголики, рецидивисты и прочие нежелательные элементы держались в этом районе, как в «скороварке беззакония», то теперь Варшава предоставляет большие возможности художникам и предпринимателям занимать пространства Праги, как когда-то Берлин поощрял «очищение» своих восточных районов после падения Стены²⁰.

Таким образом, Прага представляет собой пример района, ставшего на траекторию «очищения», чьи социально-пространственные трансформации вызваны формированием Варшавы как предпринимательского города со значимой ролью культурной экономики. Одной из наиболее важных составляющих этой экономики на Праге являются новые ночные клубы и бары, имеющие, помимо географической близости, ряд других общих черт. Первая: подавляющее большинство этих новых пространств появились в 2005–2006 гг. Вторая: в качестве управляющих все они имеют молодых предпринимателей, хорошо ориентирующихся в культурной динамике Варшавы и рассматривающих свои заведения как нечто большее, чем просто способ заработать. Чувствительность к актуальным тенденциям культуры, а также открытость для музыкантов, организаторов концертов и тематических вечеринок, а также плотная концентрация в пространстве сделали в итоге практически все эти клубы и бары модными местами. Третья: во всяком случае, изначально все они рас-

²⁰ Malecki, P. In Warsaw, a Once-Lawless Area Starts Its Way Up / P. Malecki // New York Times. Available online: <http://travel.nytimes.com/2006/10/22next.html>.

сма тривали в качестве своей целевой аудитории людей не из Праги или, по крайней мере, тех людей, которые не являются стереотипическими жителями этого района.

Немного внимания следует также уделить географическому расположению этих мест. Большинство из клубов и баров, составляющих анклав культурного предпринимательства на Праге, разбиты на два кластера. Первый кластер, состоящий из пяти клубов и одного небольшого театра, концентрируется в одном дворе на улице 11 Листопада. Второй кластер, состоящий из четырех баров, находится на расстоянии около километра от первого, на улице Замбковска. Такая логика концентрации — несмотря на возможное предположение, что большая удаленность клубов друг от друга позволила бы избежать конкуренции и, таким образом, увеличить прибыль, — является скорее традиционной для пространственного планирования районов развлечений в постиндустриальных городах с хорошо развитой культурной экономикой. Главным объяснением пространственной концентрации ночной экономики, основанной на потреблении алкоголя, можно назвать стремление предпринимателей избежать риска, сделав инвестиции в тех местах, где формула для прибыли уже работает. В большинстве случаев таким местом становится исторический центр города, наиболее интенсивно используемый туристической индустрией. В современном городе, чья экономика основана на массовом индустриальном производстве, а бары и клубы ограничены во времени работы, аудитории и своих функциях, можно ожидать, что главным принципом их расположения в пространстве будет типичная современная идея о равномерном распределении сервисов в территориальной единице. Напротив, в городе, где присутствует постмодерная культурная экономика, а физическое и социальное пространство является фрагментированным, можно ожидать появления профильных районов развлечений, чьими потребителями становятся люди, не живущие в этом конкретном районе и выбирающие места отдыха исходя из качества предлагаемого культурного продукта, а не из месторасположения. В случае с Прагой, чье население изначально было очень слабо включено в со-

циальные сети культурной экономики, воспроизводство этой логики кажется полностью закономерным.

Важной составляющей данной статьи являются результаты исследования частного случая «W.O.A.», одного из баров/клубов на Праге, работающего с осени 2005 г. и представляющего собой один из первых и наиболее популярных мест в кластере на улице Замбковской. Часть статьи, посвященная этому конкретному случаю, является одним из результатов двухгодичных полевых исследований на Праге, и в данном баре в частности. В течение данного периода я жил на улице Замбковской, вел полевой дневник, а также установил близкие доверительные отношения с рядом людей, живущих, а также работающих в данном районе. Помимо информации, полученной методом открытого и скрытого включенного наблюдения, я собрал ряд как записанных на диктофон, так и незаписанных интервью с работниками и потребителями развлекательных индустрий на Праге. В данной статье рассматриваются два социально-пространственных аспекта роли «W.O.A.» в контексте «очищения» Праги новыми конфигурациями культурной экономики. Первый аспект — это траектория социальной «модернизации» «местных» жителей района. Здесь речь идет, прежде всего, о посетителях данного бара/клуба, а источниками информации являются включенное наблюдение и неформальные интервью. Второй аспект — это вопрос о специфике рабочих мест, создаваемых культурными предпринимателями на Праге. В данном случае основным источником информации стали записанные в марте и апреле 2008 г. 8 углубленных интервью с барменами, работающими или работавшими в «W.O.A.». Следует отметить, что исследователи зарождающейся культурной экономики на Праге фокусировались, как правило, на ролях и мотивациях самих предпринимателей, оставляя в стороне оба рассматриваемых аспекта²¹. Данная статья критически разбирает роль культурных предпринимателей как агентов социально-пространственной модернизации района, фокусируясь на практиках включе-

²¹ Lange, B. Op. cit. P. 206–230; Deschka, A. Op. cit. P. 230–244.

ния в сложный процесс культурного производства других социальных групп.

В рамках общих тенденций развития ночной экономики на Праге «W.O.A.» является особо интересным случаем в силу того, что это единственный бар в районе, приближающийся к тому, чтобы быть локализацией 24-часовой жизни. Так, клубы в кластере на 11 Листопада открыты только 3–4 дня в неделю, как правило, с 21.00 и до 4.00–5.00. Остальные бары/клубы на Замбковской также открыты не каждый день, работают, как правило, по 10–12 часов в сутки и почти всегда закрыты к 1.00. «W.O.A.» открыт каждый день, а время его работы колеблется от 15 до 20 часов в сутки (от 12.00 и до 3.00–8.00). Этот момент требует отдельного внимания. В городах, где «новая» экономика развита в достаточной степени, тенденцией является увеличение часов функционирования индустрий развлечения. Вызвано это, с одной стороны, наличием большого количества рабочих мест с гибким графиком, а значит, и наличием достаточного количества людей, способных быть потребителями этих индустрий в ночное время в течение рабочей недели. В конфигурации городской экономики, основанной на массовом стандартизированном производстве, время работы и время отдыха, как правило, четко разделены, а люди рассматриваются, в первую очередь, в качестве рабочей силы. В предпринимательских городах, где начинает доминировать новая экономика, повседневные практики их жителей начинают быть все больше задействованными в сфере потребления, а это значит, что новыми индустриями развлечений делается все, чтобы расширить время активного функционирования этих индустрий. С другой стороны, это вызвано общим ростом значимости продукции развлекательных индустрий. 24-часовые районы становятся символами успешности: многие города, занятые собственным продвижением в глобальном или региональном масштабе, делают упор именно на временных рамках функционирования ночной жизни. Так, можно говорить, что большинство из баров/клубов, недавно появившихся на Праге, будучи частью культурной экономики, все же стараются снизить экономический риск, ориентируясь в большей сте-

пени на аудиторию классических посетителей клубов по выходным дням. Этот момент еще раз отсылает нас к описанию варшавского культурного предпринимательства Бастианом Ланге в качестве напряжения между развлечениями, заработком и социальным участием. Во многом график работы клубов на Праге показывает, каким образом экономический аспект деятельности предпринимателей влияет на два других аспекта.

В таком свете следует говорить о том, что в контексте Праги «W.O.A.» и его менеджеры являются более значимыми культурными предпринимателями, чем управляющие других клубов. А именно: часы работы данного бара/клуба предполагают более интенсивное взаимодействие образованной и лучше включенной в отношения новой экономики аудитории со стереотипными местными жителями. То есть «W.O.A.» интересен не только как концентрация интенсивной ночной жизни. В первую очередь, его нужно рассматривать в качестве социально-пространственной организации, вносящей большой вклад в формирование траектории процесса «очищения» анализируемого района. Во многом временные рамки работы «W.O.A.» задают возможности различного использования (т.е. использования качественно отличающимися социальными игроками и группами) данного физического пространства в зависимости от времени суток. Эта ситуация означает также доминирование в определенные временные рамки определенного типа социальных отношений и определенных товаров, на которых в целом строится ночная экономика. Можно сказать, что от 12.00 до 20.00 «W.O.A.» работает как кофейня и используется, как правило, для деловых и приятельских встреч, длящихся не больше 1–2 часов. С 20.00 и до 24.00 (самый людный период в течение рабочей недели) использование «W.O.A.» задается потреблением алкоголя людьми, имеющими ежедневную работу со строгим графиком. Наконец, с 24.00 и до 3.00–8.00 клуб/бар также используется для потребления алкоголя, в первую очередь людьми, имеющими гибкий график работы. Как правило, это представители новой экономики, люди, выполняю-

щие неквалифицированные работы, безработные и студенты.

При этом различное, в зависимости от времени суток, использование пространства «W.O.A.» не исключает смешения всех этих групп между собой и с четвертой группой, стереотипными местными жителями района. Это смешение происходит и, более того, в глазах многих посетителей придает заведению дополнительный шарм, хотя и слабо осмысливается. Как говорит J., частый клиент «W.O.A.», журналист и редактор одного из Интернет-сайтов, занимающихся продвижением Праги:

«Западный берег Варшавы можно назвать местом смешения культур. Но там это смешение – результат работы больших международных фирм, результат больших денег. Здесь, на Праге и в “W.O.A.” это смешение разных национальностей и разных социальных статусов настоящее, естественное».

Такой взгляд на вещи является распространенным в отношении к динамике культурного предпринимательства на Праге среди людей, по-новому открывающих для себя район. Здесь необходимо четко артикулировать два взаимосвязанных момента такого отношения. С одной стороны, именно новые бары/клубы в первую очередь воспринимаются в качестве географических точек, где это смешение культур и социальных статусов происходит и становится видимым. С другой стороны, это смешение кажется настолько экзотическим, что блокирует дальнейшие рассуждения о его социально-экономических предпосылках и последствиях. То есть многим процессы, происходящее на Праге, кажутся возможностью начать модернизацию «с нуля», установить здесь такой социальный климат, который невозможен в других районах Варшавы. Эмпирические исследования, проведенные мною на Праге, позволяют критически разобрать оба аспекта.

Важным моментом является то, что «W.O.A.» как локализация смешения различных социальных групп является результатом переконфигурации

практик алкогольного потребления в районе. Прага всегда воспринималась как одно из мест в Варшаве, где употребление алкоголя и сопряженные практики традиционно выходили за рамки закона. При этом речь здесь идет не только о распитии пива и водки на улице (согласно польским законам, это запрещено и наказывается довольно значительным штрафом – 120 злотых, или почти 40 евро). Как написано в одном из отчетов о улице, где находится «W.O.A.», «окрестности улицы Замбковской находились под влиянием криминогенного общества на протяжении многих лет. Темные арки, заброшенные лестницы, необитаемые здания являются местами для роста патологий, особенно пьянства и преступности, в том числе и среди молодежи»²². В этом смысле новые бары/клубы района задействованы в процессе «очищения» в том смысле, что, с одной стороны, они предлагают возможности легального употребления алкоголя в публичном месте, а с другой стороны, тем, что (наряду с новыми гипермаркетами, банками, модными магазинами, включенными в различные системы охраны и наблюдения и, если использовать термин Анри Лефевра, создающими определенный «пространственный консенсус» в целом) они увеличивают общую долю безопасных пространств, где возможность преступления меньше, чем в остальном, еще не «модернизированном» пространстве района.

При этом появление таких мест, как «W.O.A.», предполагает интенсификацию неравномерного развития как внутри всей Варшавы, так и внутри переживающей процесс «очищения» Праги. Безусловно, алкоголь, будучи одним из основных товаров развлекательных индустрий района, и внедряемые новые практики его потребления во многом дискриминируют людей, включенных в традиционные конфигурации работы и развлечений. Поведение большинства из моих информантов, составляющих население Замбковской, всячески показывало, что бар «под пауком» (на стене над входом в «W.O.A.» прикреплен полутораметровый пластмассовый паук) не является

²² The Program of Revaluation for North Praga District in Warsaw // A Regional Approach: An Added Value of Urban Regeneration. P. 65 [Available online: www.urbact.eu].

частью их повседневности. С одной стороны, эту ситуацию можно назвать результатом бедности населения Праги в сравнении с высокими ценами на алкоголь в «W.O.A.». С другой стороны, эта ситуация стала результатом политики управляющих бара, изначально не приветствующих стереотипных местных. Как можно заключить из интервью с барменами «W.O.A.», типичные «местные» жители Праги для них — это молодые (18–45 лет) мужчины и женщины, агрессивно ведущие себя и громко употребляющие ругательства, а также часто одетые в спортивную форму (из-за этого их шутливо называют «олимпийцами»). В дальнейшем в статье под «местными» будет пониматься именно эта группа людей, безусловно, не охватывающая все категории тех, кто живет в данном районе. Использование именно этой категории позволяет анализировать социальные и культурные характеристики, воспринимаемые в качестве того, что противостоит «очищению» путем распространения концентраций ночной экономики.

Эти механизмы дискриминации, основанные на обоюдном отношении неприятия, где доминируют аспекты цен на алкоголь, способа поведения и внешнего вида игроков, хорошо схватываются в истории, которую я наблюдал в «W.O.A.» в феврале 2008 г.

Описываемая ситуация происходила уже после полуночи, а главным игроком выступал Р., типичный молодой (20–25 лет) житель Праги, т.е. скорее всего выполняющий неквалифицированную работу или безработный, одетый в спортивные штаны и говорящий на сленге, который чаще всего ассоциируется с криминальным миром. На тот момент Р. был в «W.O.A.» уже несколько часов, видимо в первый раз в жизни, и был сильно пьян. В какой то момент Р. услышал, что я со своим собеседником обсуждаем тему Беларуси и что я сам являюсь белорусом. Скорее всего, заметив, что отношения в баре довольно неформальные и что люди вокруг свободно начинают разговор с незнакомыми людьми (именно таким образом мой собеседник начал разговор со мной), Р. сел за наш столик и сказал, что он уважает всех, в том числе и «русских» (это относилось ко мне). Его способ разговаривать (употребление криминального/полукриминального сленга), а также то, что он назвал меня «русским» (необразованным полякам свойственно использовать слово «guski» для обобщения тех, кто живет на «Востоке», т.е. в России, Беларуси и Укра-

ине), вызвало мгновенное отторжение у моего собеседника. Он начал смотреть в другую сторону, не реагируя на то, что говорит Р., и ожидая, когда тот отсядет. Пытаясь социализироваться, далее Р. сказал, что купит нам всем пиво, и начал двигаться в направлении бара. Однако бар-менеджер, наблюдавший ситуацию, сказал, что больше не продаст ему алкоголя, так как Р. уже слишком пьян, ведет себя слишком агрессивно и мешает другим людям. Здесь надо сказать, что в «W.O.A.» обычно продают пиво и более пьяным людям, а ситуация, когда кто-то садится за столик к незнакомым и начинает с ними разговор, также довольно распространена и не наказывается. Можно говорить, что Р. было отказано из-за его манеры поведения/разговора, внешнего вида и из-за желания избавиться от такого клиента как можно раньше. Многие из опрошенных мною барменов говорили, что они боятся оставаться в баре одни с типичными жителями Праги перед самым закрытием и поэтому стараются сделать так, чтобы те вышли заранее. Услышав, что алкоголь ему больше не продадут, Р. пытался что-то говорить, а потом просто достал из кармана несколько крупных купюр, положил на стойку бара и сказал, что у него есть деньги, а значит, он может быть здесь и никуда не уйдет. Тогда бар-менеджер вызвал частную охрану и попросил вывести Р. из бара. После короткого разговора с охраной, а также дружеских реплик с моей стороны, что все равно они уже закрываются и мы все идем домой, Р. забрал свои деньги и вышел. Подождав несколько минут, чтобы снова не столкнуться с Р., который предлагал пойти купить еще алкоголя где-нибудь, я попрощался со своим собеседником и также вышел. Перед тем как идти домой, я перешел через дорогу, чтобы купить воды в ночном магазине. Когда я выходил из магазина, я снова увидел Р. с двумя бутылками пива в пакете и одной уже открытой в руке. В этот момент он вышел из соседней арки и открывал дверь в «W.O.A.». Я пошел за ним. Будучи уже внутри, Р. снова подошел к стойке бара, поставил на нее пакет с бутылками и сделал жест «угощайтесь» всем находящимся возле бара (в их числе был и бар-менеджер). При этом Р. уже пил свое пиво, купленное в магазине, что, безусловно, было бы запрещено в любом баре или клубе. Тогда бар-менеджер, уже не обращаясь к Р., который на этот момент был очень сильно пьян, снова вызвал охрану и, не дожидаясь их приезда, при помощи еще одного бармена начал выводить Р. из бара. Сначала это происходило в довольно медленном темпе и не выглядело, как если бы бар-менеджер выталкивал Р. на улицу. Однако когда они оба оказались ближе к выходу, толчки бар-менеджера и ответные толчки Р. усилились. В итоге,

перед тем как вывалится на улицу, Р. успел сильно ударить бар-менеджера и разбить ему лицо. А также, когда двери за ним уже закрылись, разбить бутылкой стеклянную дверь. Закончилось это тем, что, вслед за охраной, приехала еще и полиция и арестовала Р. Перед тем как показать полицейским свои документы, Р. снова достал из кармана крупные купюры и бросил их себе под ноги.

Данная ситуация очень символично показывает одну из траекторий социализации «местных» жителей Праги в местах, представляющих новую культурную экономику данного района. Можно говорить, что эта траектория во многих отношениях выглядит так же, как обоюдные толчки Р. и бар-менеджера «W.O.A.», усиливающиеся возле двери, соединяющей и разделяющей два качественно разных социальных и физических пространства с разными конфигурациями общения, стилей жизни, работы и отдыха. А именно: новые кластеры индустрии развлечений на Праге сближают два разных типа социальной организации и социальных игроков, представляющих эти типы. Но это происходит лишь до того момента, пока это сближение не показывает полную их несоразмерность, возникающую в результате принадлежности к абсолютно разным экономикам, генерирующим абсолютно разные типы тех же общения, стилей жизни, работы и отдыха. В этот момент такие бары становятся разделяющей инстанцией и пространством конфликта, делающим неравномерное развитие внутри «очищаемого» района более интенсивным, точно так же, как дверь «W.O.A.» стала местом интенсификации конфликта между Р. и бар-менеджером. Также, несмотря на то что «W.O.A.» во многом приобретает свой шарм как часть «Варшавского Монмартра» благодаря размещению в неблагополучном районе, жители этого района оказываются лишь интересером, полностью подконтрольным и дискриминированным, что, однако, не означает их безбидность. Более того, анклав безопасности, как «W.O.A.», увеличивают количество контекстов, криминализирующих традиционное поведение местных и подчеркивающих правовую «шаткость» их традиционного образа жизни. История Р. показывает, каким образом попытка социализации в

условиях новой культурной экономики в конечном итоге практически неизбежно влечет за собой агрессию с обеих сторон и вполне может закончиться серьезными последствиями также для обеих сторон. Таким образом, можно говорить, что механизмы «очищения» и усиления неравномерного развития на Праге во многом привносятся индустриями развлечений типа «W.O.A.», сталкивающим различные стили жизни, чье различие обусловлено включенностью в слабо сопоставимые экономические конфигурации и выражено в разных практиках потребления алкоголя, способах коммуникации и внешним видом.

Следует отметить, что и немногочисленные «удачные» случаи социализации местного населения в новых развлекательных индустриях на Праге не меняют в корне роли местного населения как, с одной стороны, контролируемой декорации и, с другой стороны, как социальной группы, находящейся во всех отношениях в крайне «шаткой» ситуации. Под «удачными» случаями социализации я понимаю такие, в которых представителям местного населения Праги удалось добиться определенного консенсуса с управляющими и посетителями новых клубов при использовании их пространства. В этом контексте важно сделать одно уточнение. Подавляющее большинство известных мне случаев нахождения такого консенсуса не означает освоения местного населения в ночной экономике Праги в целом. Стереотипные местные жители района если и находят общий язык с игроками этой экономики, то делают это в конкретных местах, которые расположены недалеко от их дома. А именно: те местные, которые освоились в одном из двух кластеров на Праге, ничего не знали о другом (расстояние между ними около километра): те, кто живет на Замбковкой и начал социализироваться там, ничего не знают о существовании клубов на 11 Листопада и наоборот. Здесь можно сделать вывод, что только те, кто уже каким-то образом включен в конфигурации культурной экономики — через социальные связи, расписания концертов, различные журналы и Интернет-страницы и т.д., — способны картографировать новые индустрии развлечений Праги как единое целое. Само население Праги скорее лишено та-

кой возможности и, несмотря на тенденции «очищения», остается включенной в традиционный для этого района тип социально-пространственной организации. С этой точки зрения новые клубы остаются экзотическими островками в повседневности местных жителей района, а само население становится лишь экзотическим интерьером для частичного создания образа этих клубов.

Здесь классической является история Н., 43-летнего алкоголика, переехавшего в Варшаву 10 лет назад из Лодзи, но в некоторых отношениях являющегося типичным представителем мужского населения Праги. Н. живет в окрестностях улицы Замбковской в одной квартире со своей матерью (характерным моментом является то, что переезд из Лодзи в Варшаву стал решением именно матери Н.), был в тюрьме и уже много лет не имел постоянных работы и дохода. Тем не менее важным элементом успеха его социализации в рамках культурной экономики на Праге стали как раз черты, отличающие его от типичных местных жителей. Н. происходит из семьи с высоким социальным статусом — как он говорит, во время жизни в Лодзи родители были способны дать ему все, что он хотел, а также имеет высшее образование (диплом магистра права) и достаточный культурный капитал (способ общения, определенное знание культурных тенденций и т.д.). Такая специфика биографии Н. делает его одновременно «своим» и «чужим» как для типичных посетителей «W.O.A.», так и для типичных жителей его окрестностей. С момента открытия «W.O.A.» Н. был его нерегулярным посетителем, но в последний год регулярно проводит там много времени именно в период с 24.00 и до 3.00–8.00. Именно последний год можно назвать периодом его освоения в среде людей, представляющих новую культурную экономику. Поведение Н. в «W.O.A.» можно описать следующим образом: Н. приходит в бар. Здоровается со всеми, кого лично знает. Садится за стол к кому-нибудь из людей, кого он встречал ранее. Начинает или поддерживает разговор. В момент, когда у людей за столиком заканчивается алкоголь, кто-либо идет к бару делать заказ для всех (очень распространенная практика в «W.O.A.»), в том числе и для Н. После этого Н. либо остается за этим столиком, либо подсаживается еще к кому-то и так происходит до самого закрытия «W.O.A.». Опрошенные мною бармены и посетители «W.O.A.» подчеркивали, что у Н. получается оставаться в баре и развлекаться наравне со всеми по 5–6 часов, практически не имея денег (чаще всего вообще не имея).

Здесь интересным фактом является также то, что управляющие «W.O.A.» в какой-то момент хотели запретить Н. приходить в клуб/бар как раз из-за такого его поведения (вполне возможно, также из-за его внешнего вида). Тем не менее этого запрета не последовало и, можно предполагать, потому, что большинство людей, покупающих Н. алкоголь, делают это по-дружески, не видя в нем чего-либо чужого, но при этом трактуя его как часть аутентичного ландшафта Праги, как то, чего не найдешь в модном месте на западном берегу Вислы. В этом смысле можно говорить, что для посетителей «W.O.A.» Н. стал своеобразным «сувениром» клуба, а такая его роль оказалась возможной благодаря трем факторам. Во-первых, благодаря его способности поддержать разговор с типичными посетителями «W.O.A.», во-вторых, благодаря его алкоголизму и, в-третьих, благодаря представлениям посетителей о «W.O.A.» как о месте со специфическим шармом Праги. То есть роль Н. в «W.O.A.» показывает, каким образом местное население Праги (пусть не совсем аутентичное) с его патологиями становится интерьером для развития новой экономики в этом районе. Как говорит одна из моих информантов Z., шесть месяцев работающая барменом в «W.O.A.»:

«Часто у меня такое впечатление, что люди, приезжающие из центра города в “W.O.A.” из-за того, что теперь они на Праге, думают, что им больше позволено, ведь это Прага и здесь они могут делать все, что хотят. И ведут себя совершенно иначе, чем в клубах/барах в центре. Могут ругаться, спрашивать, почему цены такие и не другие, требовать скидки. Ведь как может быть так дорого на Праге? В общем, мне кажется, что они не говорили бы определенные вещи и не вели бы себя определенным образом, если бы не были на Праге».

При этом персонажи, как Н., и сцены, в которых такие персонажи участвуют, экзотизируют пространство «W.O.A.», играя при этом роль «сувениров», во многом подконтрольных политике управляющих клуба.

Большинство из попыток разобраться в том, что же сейчас происходит на Праге — в том числе и цитированные тексты Дешки, Ланге и статьи из «Нью-Йорк Таймс», — обычно фокусируются лишь на самих культурных предпринимателях как главных игроках очищения района. Здесь люди, задействованные в культурной экономике, описываются как уже сформировавшиеся роли, обладающие определенным капиталом, которые путем взаимодействия с подобными игроками создают сети данной экономики. При этом мало внимания уделяется процессу формирования этих ролей и накоплению соответствующего капитала. В этом смысле сам социально-пространственный контекст становления 24-часовых ночных экономик оказывается реконструированным не полностью, а значит, и ряд вопросов относительно логики развития этих экономик оказывается заблокированным. Как было показано в предыдущем разделе, несмотря на скорее подконтрольную позицию, «местное» население Праги с их традиционным образом жизни, практиками и мотивациями также значительно влияет на траекторию развития культурной экономики в районе. Также важной социальной группой, формирующей контекст культурного предпринимательства на Праге, — помимо самих предпринимателей, потребителей и местного населения, — являются люди, которые работают в недавно созданных индустриях развлечений. В случае «W.O.A.» это бармены, чья функция отличается от функций обслуживающего персонала традиционных заведений общепита и ночной экономики.

Довольно часто культурные предприниматели в обоих кластерах на Праге сами работают в своих клубах в качестве барменов и администраторов. Принимая на работу кого-либо в помощь, они, как правило, стараются координировать все те же три термина: заработок, развлечение и социальное участие. В результате большинство барменов в этих новых клубах — друзья или друзья друзей самих предпринимателей, а их рабочие часы вмещают в себя, кроме самой работы, два оставшихся термина. В «W.O.A.» (где с момента открытия можно было наблюдать то

же самое) сейчас используется несколько отличающаяся стратегия трудоустройства. Бармены сильно уступают в возрасте предпринимателю, что создает значительную дистанцию между ними. Тем не менее нельзя сказать, что система трудоустройства является здесь традиционной. Важной частью политики клуба/бара всегда было предоставление барменам возможности частичного участия в оформлении социального и физического пространства «W.O.A.» как определенной культурной индустрии. А именно: многие из барменов в какой-то степени участвовали в оформлении интерьера. Некоторые приглашали выступать в клуб/бар знакомых музыкантов. Большинство из них делали вклад в продвижение этого места, принося редкую музыку (одной из характеристик данного места является то, что там запрещено играть англоязычную музыку, и то, что можно услышать по радио). Кроме того, руководством всегда приветствовалось установление барменами дружеских отношений с клиентами. В этом смысле можно говорить, что и в «W.O.A.» роль бармена во многом задается основными тенденциями культурного предпринимательства и является значимой его частью.

С одной стороны, специфика барменов «W.O.A.» как отдельной социальной группы показывает один из каналов «очищения» Праги путем создания нетрадиционных для этой географической единицы рабочих мест. С другой стороны, бармены «W.O.A.», выросшие в постиндустриальном обществе, являются представителями социальной группы, на которых, во всех отношениях, рассчитана новая культурная экономика. И, таким образом, их жизненные траектории, а также практики и мотивации, во многом кристаллизующиеся в конфигурациях отношений между работой и развлечениями, позволяют понять многое об общей ситуации развития культурных индустрий в Варшаве. Информация, анализируемая в этом разделе, была собрана, прежде всего, методом неструктурированного углубленного интервью с восьмью молодыми людьми, работающими/работавшими барменами в «W.O.A.». Со всеми из них мне удалось установить долгосрочные приятельские отношения, основанные на доверии. Это позволило также продуктивно использовать метод включенного наблюдение

ния и, таким образом, сделало возможной методологическую триангуляцию данных.

Что касается общей информации, все бармены «W.O.A.» — это молодые люди (от 19 до 25 лет), чаще всего 21–22 лет. Пятеро из них женского пола и трое мужского. Подавляющее большинство опрошенных (кроме одного случая) родились не в Варшаве и приехали в город, поступив на учебу в университет (в двух случаях опрошенные переехали в Варшаву с родителями, будучи еще школьниками). Никто из моих информантов не родился и не вырос на Праге. Здесь надо сказать, что за все время функционирования «W.O.A.» (2 года и около 30 работавших там барменов) таких людей было только двое. Все опрошенные работают или работали в «W.O.A.» от трех месяцев до двух лет. Никто из барменов «W.O.A.» не работает всю неделю. Как правило, это лишь 2–3 дня или 20–30 часов в неделю. Работа в клубе/баре разбивается на две смены, первая — с 11 до 20 и вторая — от 20 до 3–8. В первую смену работает сначала один человек, но ближе к вечеру к нему подключается второй. Во вторую смену работают два человека. Можно говорить, что такая гибкость системы трудоустройства в «W.O.A.» предполагает большое количество работающих барменов, что дает предпринимателям возможность частой ротации работников.

Ни у одного из опрошенных мною барменов нет законченного высшего образования, хотя каждый из них начинал учиться или учится в университете. Шесть из восьми опрошенных как минимум один раз меняли (или же собираются поменять) направление образования. Следует также отметить, что каждый из информантов ценит сам факт высшего образования, хотя практически все подчеркивают, что их учеба не дает или не давала им то, чего они хотят. Только двое из восьми хотели бы, чтобы их работа была связана с получаемым образованием. По направлениям образования, выбранным информантами (а это политология, философия, культурология, педагогика, социология, право, информатика, музыковедение, дизайн интерьеров, фотография, филология, международные отношения и косметология), можно судить, что всем молодым людям хо-

телось бы использовать возможности, предоставляемые именно новой постиндустриальной экономикой. Это предположение подтверждается тем, как все говорят о планах на будущее. Практически все информанты затрудняются говорить о каких-то долгосрочных планах относительно работы. Большинство описывают работу лишь в формальных терминах, говоря, что она должна предполагать гибкий график; быть творческой и ориентированной на конкретный проект; приносить, прежде всего, удовольствие и только потом деньги; быть разнообразной, т.е. не должна быть работой в одном и том же офисе с одними и теми же людьми. Из конкретных примеров работ были названы независимый культурный журналист, менеджер музыкальной группы, гример в театре и кино и конфликтолог. Ни для кого из информантов работа в «W.O.A.» не является первым опытом, причем для подавляющего большинства предыдущий опыт был также опытом гибкой работы на неполный день.

Интересным является то, что практически никто из опрошенных (за исключением одного человека) до этого не представлял себе, что может работать барменом, и не искал подобной работы. Более того, все они, перед тем как начать работать в этом баре/клубе, уже были клиентами этого заведения. И именно отличительные черты и оригинальность заведения подтолкнули их к тому, чтобы принять такое решение. Многие говорили о какой-то смеси восхищения и удивления этим местом и о следуемой далее неожиданной мысли, «почему бы мне не устроиться сюда работать?». Как правило, это было восхищение дизайном помещения — все подчеркивают, что в первый раз в «W.O.A.» они чувствовали себя как дома: ковры, старая домашняя мебель, образа святых, «как если бы здесь можно было ходить в тапочках, как дома». Важным фактором было и то, что «W.O.A.» активно используется представителями культурной экономики (как говорили некоторые из информантов, «богемой» или «творческими людьми»). Многие говорили также об оригинальной музыке. Суммируя, все опрошенные подчеркивали, что все же главным плюсом «W.O.A.» являются люди, которые туда приходят, и люди, которые там

работают. В результате всех факторов в баре создается интересная, очень приятельская атмосфера с большой степенью свободы — все обращаются друг к другу на «ты» — и смешение разных возрастных групп, национальностей и социальных статусов.

Здесь следует отметить, что распространенное среди информантов сравнение «W.O.A.» с домом имеет более глубокий смысл, чем просто схожесть интерьеров. Первоначальное восхищение этим местом, а также специфика самой работы сделала «W.O.A.» для каждого из опрошенных еще и основным местом досуга. Как правило, те, кто начинают там работать, практически не ходят в другие места и проводят почти все свое время в этом баре/клубе. Если же кто-то и выбирает другое место для развлечений, то это происходит либо ради приятельской встречи с кем-то из старых знакомых, либо это касается барменов, работающих там долгий период времени (больше года) и старающихся время от времени менять обстановку. В среднем же каждый из барменов работает в «W.O.A.» 20 часов в неделю и проводит там ради отдыха примерно столько же времени. Как говорит К., работавший там около года:

«В какой-то момент все в жизни крутилось вокруг “W.O.A.”, этот бар стал просто-напросто центром жизни для меня и моих друзей».

Эта ситуация оказывается возможной благодаря притягательной атмосфере и приобретенным новым социальным связям. Все бармены утверждают, что освоение на новом месте работы предполагает также установление приятельских отношений как с другими работниками, так и с множеством клиентов. На основании интервью как с барменами, так и с клиентами «W.O.A.» можно утверждать, что многие люди приходят туда специально, чтобы встретиться с кем-то из работников, а не в бар в целом. Здесь можно утверждать, что, как и всякий проект культурного предпринимательства, «W.O.A.» предполагает значимость аспекта социального участия. Еще одним важным аспектом является скидка на алкоголь, предоставляемая работникам. Большинство из опрошенных (а это молодые люди без регулярной

работы) до того, как начали работать в «W.O.A.», мало или нерегулярно посещали клубы, тогда как освоение в ночной индустрии в качестве работников позволило им освоиться там же — не только в плане знакомств, но и в финансовом плане — и в качестве потребителей.

Наконец, важным условием возможности этой ситуации — не проговариваемым барменами явным образом, но схватываемым в их поведении и в описании ими их обязанностей — являются сами их функции. С одной стороны, бармены утверждают, что чувствуют себя уверенно в «W.O.A.» во время работы, т.е. когда пространство всего бара — это контролируемая ими территория со своими границами. С другой стороны, все говорят, что работа в «W.O.A.» довольно тяжелая, так как именно в этом баре/клубе бармен выполняет функции, которые в других местах выполняют специально нанятые люди. Помимо непосредственных обязанностей барменов наливать пиво, смешивать коктейли и брать за это деньги, работники «W.O.A.» должны также убирать (в том числе мыть все помещение и окна), готовить еду, следить за интерьером и смотреть, чтобы свободная атмосфера бара не превратилась в хаос. В этом смысле многие даже говорили, что их работу не стоит называть работой барменов, так как их обязательства намного более разнообразны. Здесь примером может быть реплика одного из информантов К.:

«В других клубах есть охрана, а здесь это задача барменов — договариваться с кем-то. Это наша задача договариваться с пьяным и агрессивным так, чтобы он вышел и вышел быстро. При этом, если у нас это не получалось, мы слышали претензии от начальства. То есть это была наша вина».

Однако, несмотря на то что эти функции работников «W.O.A.» предполагают множество физических усилий (как уже отмечалось, весь бар/клуб обслуживают всего 1–2 человека плюс им помогает непостоянно находящийся там бар-менеджер), для многих они являются плюсом. Разнообразие выполняемых работ (чаще всего кто-то из барменов остается за баром, а кто-то делает что-либо в зале) увеличивает возможность интеракций с клиентами. В

сочетании с общей атмосферой места и с возможностью употреблять алкоголь на работе это делает их работу отчасти развлечением. С этой точки зрения функции барменов в «W.O.A.» напоминают функции самих культурных предпринимателей, а одной из особенностей управления баром можно назвать попытку руководства показать барменам, что этот бар/клуб во многом их. Хотя, безусловно, в финансовом плане это не так. Месячная зарплата большинства работников «W.O.A.» составляет около 450–550 злотых (столько стоит снять комнату в Варшаве).

Данное исследование показывает, что процессы, конституирующие становление Варшавы в качестве предпринимательского города, значительно зависят от специфической формы пространственной организации данной географической единицы. А именно: здесь эти процессы во многом совпадают с процессами «очищения» района Прага, локализации социальных проблем города в конфигурациях как индустриальной, так и постиндустриальной экономики. В данном случае ночные клубы/бары — и новые типы производства, которые они представляют, — выступают в качестве одних из наиболее важных анклавов «очищения» Праги. Траекторию этого «очищения» можно концептуально обрисовать следующим образом. С одной стороны, новые клубы обретают свой шарм модных мест благодаря социальному ландшафту Праги. С другой стороны, они являются точками интенсификации неравномерного развития в данном районе и в Варшаве в целом, криминализирующими традиционный образ жизни местного населения. Кроме того, для местных жителей Праги клубы типа «W.O.A.» остаются именно экстраординарными анклавами и не картографируются в контексте новой культурной экономики в целом. Основываясь на анализе системы трудоустройства и специфики рабочих мест в одном из новых клубов на Праге, можно говорить, что эта новая экономика предполагает смешение доменов работы и отдыха, а также смешение ролей производителей и

потребителей. Будучи таким сплавом работы и развлечений, новые 24-часовые индустрии развлечений имеют большой ресурс именно в виде молодой рабочей силы, сталкивающейся с определенной несопоставимостью системы образования, с одной стороны, и конфигураций новой экономики, с другой стороны. В результате для многих молодых именно неквалифицированная работа в индустрии развлечений — это предсказуемый этап планирования жизни в ситуации развития Варшавы как предпринимательского города, а также медиум для накопления социального капитала.

ABSTRACT

This article analyzes the recent developments in Praga district of Warsaw as the loci of the emerging city's so-called 'new' or 'creative' evening economy. In the first part of the article the widely shared rhetoric of the gentrification of Praga through the new post-industrial modes of managing and selling entertainment is dismantled. The second part — based on the empirical qualitative research in the analyzed settings — criticizes the perception of solely urban entrepreneurs as the group causing the socio-spatial change in Praga district. Two other important kinds of actors constituting the rise of its new socio-spatial configuration are local population and people employed in the enterprises of evening economy. The article shows that new pubs and clubs emerging in the district produce new contexts of discrimination and criminalization of habitual lifestyle of the district dwellers. Jobs created by new leisure industries in Praga fit the general tendencies of 'new' economy (in terms of blurring the oppositions home-work-place and leisure-work) and open the angle on the ways young Warsawians socialize and plan their careers in the situation of flexible post-industrial labor market.

Keywords: evening economy, gentrification, urban entrepreneurialism, alcohol consumption, work-leisure.

МЕТАМОРФОЗЫ ПРАКТИК РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В РОССИЙСКОМ МЕГАПОЛИСЕ КАК ЗЕРКАЛО ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ

Интерес к теме данной статьи пробудили метаморфозы, происходящие в течение всего XX в., а особенно на рубеже XX–XXI вв., на старинной торговой площади Санкт-Петербурга – Сенной площади. Сенная площадь воспроизводит – в реальном, физическом пространстве – все перемены, происходящие в социальном пространстве города и страны; эти перемены в общем можно назвать постсоциалистическими, связанными с изменением общественного устройства. Изменения географии площади, оформление и структура мест торговли на ней, перманентные попытки городских властей подчинить торговлю на площади своему контролю, «цивилизовать» ее, а вместе с ней и весь город, можно рассмотреть как практическое выражение тенденций, имеющих место на структурном социальном уровне. Эти тенденции, например, – на первом этапе общая либерализация, позже постепенная стабилизация общества, повышение государственного контроля над общественной жизнью, включение локального торгового мира в сети глобального капитализма, а также последствия этих процессов на повседневном уровне – стандартизация, усреднение жизненных стилей, стабилизация социальных отношений. Однако, как показывает анализ материала, процесс этот не однонаправленный и не необратимый – «антидисциплинарные» практики, такие как торговля с рук и стихийная торговля в неразрешенных местах, постоянно возвращаются на площадь после каждой «зачистки».

Ключевые слова: розничная торговля, Сенная площадь, стихийная торговля, цивилизованная торговля, постсоветская урбанизация, трансформации пространства.

Случай Сенной площади в Петербурге

ВВЕДЕНИЕ

Последние два десятилетия российские, да и все бывшие социалистические, города переживают очевидные трансформации. Меняется все — и социальная организация, и пространство, и архитектура. Самый логичный способ описать эти перемены — обозначить их как «постсоциалистические», связанные с переходом от одного типа общественного устройства страны к новому, капиталистическому¹. Стоящая перед исследователями задача — это предметное описание и объяснение сути городских постсоциалистических трансформаций, в том числе на уровне городской повседневности, урбанистического опыта.

Кроме глобальных перемен в социально-экономической организации общества, — разрешение частной собственности, которая коренным образом меняет городское пространство, — изменяются повседневные практики, «урбанистический опыт» горожан, то, как пространство ежедневно производится в бытовых, рутинных действиях. Кроме того, на этом повседневном уровне мы можем видеть и то, как воспринимаются произошедшие глобальные общественные перемены — как они принимаются, отторгаются, видоизменяются и приспособляются к реальной жизни.

Эти довольно общие рассуждения можно конкретизировать, если рассмотреть историю поздней и постсоветских трансформаций одного места, изучив изменения его архитектурной составляющей, практикуемых там видов деятельности, восприятия места в разные периоды.

В рамках данной статьи мы концентрируемся на торговых пространствах постсоветского города. Во-первых, потому, что именно торговые пространства являются характерной и традиционной составляю-

¹ Урбанистические формы меняются гораздо медленнее, чем городское разнообразие (Szelenyi, 1996: 314). Поэтому те пространственные трансформации, передел пространства и его мутации, которые становятся очевидны сегодня, — результат тех самых постсоциалистических процессов, которые начались еще пару десятилетий назад.

щей городской жизни — они издавна предоставляли пространство для «коммуникации незнакомцев», пространство для публичной жизни в условиях городской анонимности (см., например, Sennett, 2002: 194), во-вторых, поскольку именно на них в первую очередь сказалась последовавшая за падением советской системы общественная либерализация — на повседневном уровне.

Подтверждение последнего тезиса находим, например, анализируя воспоминания переживших «эпоху 90-х» людей. Это десятилетие тяжелых и болезненных перемен представляется прошедшим через них людям как помесь политических демонстраций и очередей в полупустых магазинах, появляющихся «супермаркетов», «секс-шопов» и беспорядочной торговли в ларьках и с рук. Политические демонстрации — предсказуемая ассоциация: политические потрясения и смены режимов не могут обходиться без них. Интереснее то, что ярким свидетельством жестоких перемен в повседневности страны выступают перемены в сфере розничной — как самой очевидной «простому человеку» — торговли. Не только пустота или, наоборот, заполненность прилавков, но и новые типы магазинов, новые способы дифференциации этих магазинов по статусу и доходу покупателей, отсутствие-наличие очередей, качество обслуживания и пр. Например, К. Мурзенко в своем очерке для номера журнала «Сеанс», посвященного эпохе 90-х, начинает повествование именно с удивленно-настороженного описания открывшегося когда-то в 90-е рядом с его домом супермаркета, сильно отличающегося от предшественников: «он уже сильно “взрослый” — в нем есть все и всегда, чисто, просторно и прохладно, продавщицы хотя и тормозят, но никогда не повышают голоса, охранники смотрят на всех с одинаковым подозрением, но коли обращаются с вопросом, то начинают со слов “извините за беспокойство”. Откровенных бомжей, забредающих погреться и что-нибудь украсть, они пасут не меньше пятнадцати минут, перед тем как с теми же словами вывести вон» (Мурзенко, 2006: 152).

Не в последнюю очередь и по этим «повседневным» переменам обыватель приучается к мысли, что

все изменилось — и политический режим, и общественные ценности, и нормы поведения. Один отдельно взятый «пяточок» городского пространства — вокруг дома или «обжитая» центральная улица и площадь, — изменяясь, показывает все общественные перемены, как кинолента; а человек, живя в этом пространстве, практикуя в нем свою повседневность, учится и практически переживает (а возможно, и производит) общественные изменения. Поэтому и для понимания метаморфоз постсоветской городской повседневности логично обратиться именно к изучению торговых пространств. Отличный пример такого «пяточка» с насыщенной и бурной историей — это Сенная площадь в центре Петербурга, старинное торговое и публичное место. Причины выбора этого места заключаются в том, что именно эта площадь, являвшаяся торговым центром дореволюционного Петербурга, показательно изменялась в течение советских лет и снова пережила «торговый» бум в постсоциалистические годы — такая историческая траектория в целом отражает трансформационные процессы в интересующей нас сфере на протяжении последнего столетия.

ПРОБЛЕМЫ И ВОПРОСЫ

В наши задачи входило изучение изменения форм торговли на Сенной площади в течение как минимум последних 20 лет (с конца 1980-х гг.), но также в поле зрения попала и информация о более ранних периодах существования площади — ее изменения в течение всего XX в.² Прежде всего обращалось внимание на пространственную организацию торговых точек (стационарные/стихийные, магазинные/немагазинные, наличие прилавка / самообслуживание), роли продавца и покупателя (профессионализм продавцов, наличие у них специальных навыков), социальный состав покупателей, наличие внешнего контроля (имеется в виду государственный контроль)

² Эти данные хоть и не касаются непосредственно постсоциалистических перемен, однако дают представление о характере объекта — торговой площади — и о том, как ее исторически сложившийся до революции профиль изменила советская действительность.

торговой деятельности и т.п. Одна из задач — это анализ постсоветской дискуссии о торговле, для которой оказалось актуальным разделение на «цивилизованную» и «нецивилизованную» торговлю, возникшее во второй половине 1990-х гг. и повлекшее за собой активное вмешательство администрации в процессы управления торговыми пространствами города.

В данной статье мы хотим проиллюстрировать несколько основных предположений:

— формирование физического облика торговой площади связано с изменением тенденций общественной жизни;

— изменения пространства площади демонстрируют то, что можно назвать вторичной урбанизацией, — т.е. повышением разнообразия, маргинальности, плотности городской коммуникации, анонимности: это эффекты перехода от социализма к капитализму;

— либерализация и диверсификация способов использовать пространство связаны с общей либерализацией общественной сферы (закон 1992 г. о свободе торговли положил начало «разнообразиванию» магазинов, киосков, лотков, челноков и прочего);

— последующая стандартизация жизненных стилей и усиление контроля за торговлей связаны с гомологичными процессами в общественной жизни — причины для них могут быть разные: как экономические, так и политические (имеются в виду общеполитическое усиление государственного контроля за всеми сферами общественной жизни и «естественные экономические процессы», такие как стремление к минимизации расходов и т.п.).

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА

Для анализа трансформаций торгового пространства эффективным кажется сведение воедино двух направлений: изучение постсоциалистических метаморфоз городского пространства и эволюция форм розничной торговли. Эти два направления можно объединить логичным образом, если рассматривать мутации конкретного торгового места — как мы попытались сделать на примере Сенной площади.

В рамках первого направления И. Селеньи (Szelepi, 1996) предложил удачную схему для анализа постсоциалистических городов, которая многое помогает объяснить и в случае метаморфоз Сенной площади. Концепция «недоурбанизированности» советских городов (отсутствие у них таких классических городских черт, как высокая плотность населения, маргинализация, социальное разнообразие, иная экологическая структура, подчинение социалистическому планированию в отличие от «традиционных» городов, в формировании пространства которых участвует множество акторов, достигающих компромисса) позволяет лучше понять болезненность и некоторую хаотичность ломки пространственной структуры постсоветского Петербурга. Разнообразие и буйство торговли и услуг — также показатель уровня урбанизации города. То, что происходит последние 15 лет в Петербурге, в этом свете можно также назвать «новой урбанизацией»: а Сенная площадь, которая всегда была рыночной площадью, «чревом» и сутью города, показывает все эти процессы вполне предметно.

Второе теоретическое направление, которые мы попытались применить к анализу метаморфоз Сенной площади и торговых пространств города в целом, — это экономическая социология, изучение эволюции организационных форм розничной торговли (Радаев, 2006). Высокие скорости перемен в розничной торговле и их кардинальность не могли не обратить на себя внимание (В.В. Радаев называет происходящее не иначе как «торговой революцией»: «Мы становимся свидетелями настоящего переворота, последствия которого становятся все более явными в первые годы наступившего нового столетия — очевидно, перемены достигли некоего качественного рубежа. Сначала реформы в торговле выразились в простой смене вывесок, затем покупатели оказались фактически в новой среде» (Радаев, 2003: 3). Эта новая среда уподобляется и ориентируется на западные стандарты торговли и потребления: мы приобрели новые типы организации торговых пространств — такие как торговые центры, супер- и гипермаркеты, бутики; потребитель оказался в центре маркетинговых исследований; с помо-

щью реструктурирования торговых пространств в городе мы получили также и новую основу для социальной стратификации — для групп разного уровня дохода предназначаются свои «торговые точки», с разным уровнем цен, сервиса и доступности. Повысилась стандартизация стилей потребления в новых торговых форматах — несмотря на их обилие, принципы торговли в разных местах одинаковы, вплоть до расположения магазинов, и предсказуемость и прозрачность организации торговых центров довольно высока.

Из области анализа эволюции торговых форматов мы используем несколько центральных понятий — например, «форма организации торговли», «немагазинные формы торговли» и т.п. — и применяемые В.В. Радаевым способы классификации. Мы используем деление на «магазинные» и «внемагазинные» формы торговли, независимые и сетевые магазины, различие самообслуживания и «торговли через прилавок», классификацию групп потребителей (премиальный, экономичный и т.п. сегменты) и основания (см. классификацию торговых форматов по: Радаев, 2006: 10).

Вместе с «рынком» в городское пространство пришла множественность акторов и мнений, формирующих городское пространство вполне легально. То есть ясность, присутствовавшая в советское время в сфере градостроительства и городского управления и планирования, исчезла. Если раньше город полностью — теоретически — был подчинен централизованному управлению (хотя, конечно, на уровне повседневном и реальном пространство апроприировалось и не выглядело, как на бумаге: тому пример Сенная — периодические материализации скупщиков краденого и мелких торговцев), то в 1990-е гг. в формировании облика городских улиц и площадей стали участвовать частные лица, бизнес, общественные организации и т.п., которые вступали в сложные коалиции и оппозиции по отношению друг к другу. Сохранилась также и неуничтожимая способность горожан использовать места в городе не по назначению, незаконно, договариваться, балансировать интересы — в результате пространство Петербурга сегодня представляет собой сложнейший па-

лимпсест, бесконечный текущий процесс по координации и сглаживанию разнонаправленных интересов и действий. Интересно, что в Петербурге (как, скорее всего, и в других городах РФ) постсоветские перемены так и не привели к полной и окончательной либерализации и полноценному общественному участию в сфере городского планирования: дело в том, что вслед за «межвременьем» вседозволенности и свободы последовал новый виток усиления контроля и стандартизации, на этот раз основанный на других — «капиталистических» — ценностях и стремлениях³. Поэтому хаотичность, свойственная современной ситуации градостроения и городского управления, во многом объясняется переходом от одной системы к другой, задействующей гораздо большее число акторов.

ИНСТРУМЕНТАРИЙ

Источники информации — документы и книги по (современной) истории Сенной, интервью, анализ публикаций и на тематических веб-сайтах (www.retail.ru). Кроме того, использовались интервью с посетителями торговых точек площади, наблюдение и заметки, опубликованные в Интернете. Для последовательного анализа постсоветского периода изначально была избрана газета «Невское время» — поскольку она регулярно выходила в печать на протяжении всего интересующего нас периода. Дополнительно к «Невскому времени» был сделан поиск по ключевым словам «(не)цивилизованная торговля», «мелкорозничная торговля» по базе «КАДИС» (www.kadis.ru), в результате которого были получены публикации на заданную тему, выходившие с 2002 г. в петербургских деловых и публицистических изданиях.

³ Возможно, это объясняется тем, что любая общественная стабилизация влечет за собой большую концентрацию власти и полномочий в небольшом количестве «рук»; в таком случае для повседневных акторов, жителей города, свобода действий сокращается.

СЕННАЯ ПЛОЩАДЬ

В Петербурге в последние годы наблюдаются бешеные темпы развития розничной торговли, что вызвало обширную дискуссию, например, в прессе; также и государство проводит активную политику в этой сфере. Процессы, которые происходят, создают контекст для перемен на Сенной, — это включение постсоветской городской культуры в глобальную капиталистическую систему, иерархизация торговых пространств внутри самого города, установление новых социальных ролей и идентичностей посредством разных способов использования пространства города.

История площади⁴

Сенная площадь появилась на карте города в первой половине XVIII в. Название «Сенная» закрепилось только в конце века (до этого она называлась «Большой» и «Конной» площадью). До 1930-х гг. вся территория площади представляла собой огромный рынок, где были и павильоны, и «толкучая» торговля под открытым небом. Кроме того, площадь выполняла функцию «лобного места» в XVIII — первой половине XIX в. Нужно сказать, что весь окружающий Сенную район — и Садовая улица, и пространство между Вознесенским проспектом и рекой Фонтанкой — также специализировался на торговле: неподалеку находились существующий до сих пор Апраксин двор и исчезнувший огромный Александровский рынок. В результате такой концентрации в разной степени легальной торговли за районом Сенной прочно закрепилась репутация торгового ядра Петербурга-Ленинграда, а сам Сенной рынок многие десятилетия являлся главным источником продуктов питания для всего города. Интересно, что площадь пытались благоустроить и в течение ее

⁴ Для реконструкции истории площади использовались воспоминания современников, фотодокументы Центрального Государственного Архива Кино-, Фильмо- и Фотодокументов (ЦГАКФФД), публикации в городских газетах и журналах («Невское время», «Деловой Петербург» и др.).

«имперского периода» существования — в начале XIX в. предлагались проекты благоустройства с идеями засыпать «дурнопахнущий» Екатерининский канал (канал Грибоедова), проложить аллею со статуями самодержцев, а в 1826 г. возникла идея возвести крытый рынок и несколько фонтанов (Деловой Петербург, 31 января 2005).

Картина, которая наблюдалась на Сенной площади на рубеже XIX–XX вв.? почти ничем не отличается от современной. «Сенная площадь и Сенной рынок — эти два понятия сливались в одно, как “чрево” Петербурга. Мы знавали Сенную площадь с громадными железными застекленными павильонами, в которых было несколько рядов всевозможных лавок со съестными припасами. <...> Снаружи этих павильонов тоже располагались лавочки, которые торговали всем, чем угодно...» (Засосов, Пызин, 1991: 90–91).

В целом торговля на рубеже веков в районе Сенной организовывалась следующим образом: четыре больших железных остекленных павильона (построены они были в 1883–1886 гг. в результате одного из дореволюционных благоустроительных порывов) имели свою «специализацию»: павильон у старой гауптвахты (здание гауптвахты Сенного рынка возведено в 1818–1820 гг. для полицейского надзора на рынке, а позже использовалось как лаборатория по проверке продуктов) специализировался на продаже мяса, также были «рыбный» павильон, в корпусе у церкви Успения (разрушена в 1960-е, сейчас на этом месте вестибюль метро «Сенная площадь») продавали мясо, овощи и фрукты, в корпусе у Таирова переулка — скобяной товар и разного рода «промтовары». Каждый павильон делился на ряды и лавки, каждой лавке присваивался номер. Между павильонами шла торговля под открытым небом, с рук, с земли — поэтому вся площадь торговала и шумела; внутри павильонов «было тише, степеннее» (Засосов, Пызин, 1991: 91). «Специализированные» торговцы в павильонах были одеты одинаково, почти «по форме», а также отличались особой обходительностью (там же, с. 92). Среди толкучки также играли «в наперсток» и устраивали прочие мероприятия разношерстные жулики, торговали краденым,

воровали карманники. Интересно, что уже тогда на Сенной площади имела дифференциация торгового пространства в зависимости от достатка покупателей: «филиал» Сенного рынка у Обуховского моста отличался от «головного» рынка менее качественным и более дешевым товаром, покупатели там были победнее, соответственно падала и обходительность продавцов.

В советские годы рынок с площади был удален в прилегающие к ней кварталы, перестроены некоторые дома, снесена церковь Успения, построены станции метро и устроен автовокзал. Торговля на площади организована в форме традиционных советских магазинов с несколькими отделами, прилавками, незаинтересованными продавцами и т.п. Только в некоторые кризисные моменты советской истории возрождалась немагазинная торговля — в послевоенные годы, киоски появляются в 1960-е. В принципе, на большинстве фотоснимков площади в советские годы наблюдается абсолютно «голое», пустое пространство площади с зелеными насаждениями по периметру.

ПЕРИОД «СТИХИЙНОГО РЫНКА» — 90-Е ГОДЫ: ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ

В конце 1980-х — начале 1990-х к площади вернулся ее стихийно-торговый характер: тогда она открылась тесными рядами маленьких киосков, палаток, а также стала эпицентром «толкучей» торговли с рук. Это связано с общей ситуацией с торговлей в стране: на фоне либерализации торговли⁵, перехода от плановой к рыночной экономике, тяжелого материального положения горожан, а также ослабления государственного контроля над этой сферой процветают немагазинные, нестационарные и нелегальные

⁵ Либерализации и «реабилитации» — в «перестроечные» годы сферу торговли и потребления как будто перестают «презирать» на официальном уровне как вторичную: начинают проводить выставки потребительских товаров, следить за их качеством, отдавать должное практикам потребления как составляющей полноценной жизни даже советского гражданина (публикации в «Огоньке» № 31, июль 1988 и №11, март 1990).

формы торговли⁶. Экономический и политический кризис рубежа 1980–1990-х гг. привел к тому, что в условиях постоянного дефицита продуктов первой необходимости вся реальная торговля переместилась из официально предназначенного для этого пространства магазина в его подсобки, черные ходы, а чаще — на «толкучки» и базары («Огонек», № 37 (3242), сентябрь 1989) (перемещение торговли даже в физическом пространстве из официального торгового зала в разного рода импровизированные торговые точки довольно символично: в социальном измерении торговля перестала быть упорядоченной и прозрачной для государственного контроля; триумф «немагазинных» форм торговли, приучение горожан к новой системе обеспечения собственных потребностей и к новой организации потребительской сферы, потеря значимости традиционного магазина, в котором невозможно стало приобрести необходимые продукты по приемлемой цене, и переход к «толкучей торговле» должны были быть явным практическим индикатором того, что изменилась в целом общественно-политическая система страны).

Одной из «толкучек», на которой закупал продукты практически весь город, стала Сенная площадь. «Стихийная торговля всем, чем угодно, шла в те годы не только по периметру бетонного забора, но и на периферии Сенной — на Московском проспекте и Садовой улице, на внутриквартальный просторах бывшего Октябрьского рынка, еще не подвергнутого кардинальной перестройке, и практически по всей длине улицы Ефимова, а также на прилегающем к ней обширном пустыре, который позже займет железобетонный центр коммерции» (Григорьев, Носов, 2003: 67).

⁶ Показательна в этом плане дискуссия о роли государства в принципе — на волне либерализации и «перестройки» активно стала обсуждаться ненужность государственного планирования, предоставления свободы рынку и т.д. (см. беседу экономистов в «Огоньке» № 37, сентябрь 1989). На повседневном, практическом уровне эти дискуссии и выразились в фактически полном выпадении сферы потребления из ведения государства и ответственных органов.

Пространство площади, с одной стороны загроможденное оставшимися от постройки станций метро конструкциями Метростроя, с другой стороны — «ларечным городом» и барахолкой⁷, было довольно трудно обозримо, хаотично, а потому контролируется скорее неформальными группами, нежели официальными городскими властями (одна из основных претензий к площади, озвученная, правда, несколько позже, во второй половине 1990-х, когда к потребностям выживания прибавились требования комфорта и безопасности — это небезопасность и криминализованность площади, незащищенность потребителя). Более или менее стационарными точками торговли на площади были киоски, большая же часть торговли производилась с рук, с автомобилей, переносных складных прилавков, картонных коробок — при необходимости вся торговля могла быть легко свернута (в конце 1990-х это приобрело особенно большое значение, в период гонений на «нецивилизованную торговлю» стали проводиться рейды милиции). Таким образом, видна явная параллель между обустройством физического пространства площади и социальным миром города и страны — нестабильность, нестационарность, готовность к переменам и большая доля свободы характеризуют обе сферы.

На вновь превратившейся в рыночную площади стали снова проводиться не очень легальные торговые сделки и собираться «подозрительные» люди. «Торговля валютой, краденым, импортным товаром, китайскими шмотками, турецким тряпьем самого нижайшего пошиба, наркотой и оружием на СП, особенно около метро, наверное, была на пике своего расцвета» (воспоминания очевидца с веб-портала <http://dimo.spb.ru/>).

⁷ В то время на площади существовал продуктовый рынок, где продавали и «апельсины из Марокко» (Григорьев, Носов, 2003: 14), и собранные своими руками грибы и ягоды; там же существовал «блошинный рынок», на который горожане несли собственные подержанные и найденные на помойках вещи; также там продавались предметы, привезенные «челноками» из ближнего зарубежья — одежда, техника, детали к ней; расцвела торговля краденым — той же техникой, золотом и т.п.

На Сенную стали стягиваться разного рода жулики, особенно «популярные» в 1990-е «лохотронщики»: «Во второй половине 90-х “лохотронщики” обитали на Сенной, главным образом, в восточной части площади, и далее — по Садовой улице ближе к Апраксину двору. В первой половине 90-х, в пору расцвета барахолки, на Сенной преобладали т.н. “наперсточники” и жулики, промышленявшие игрой в “три листа” (в южной части площади). Дольше всего и практически легально действовала “беспроигрышная лотерея”, представлявшая собой разновидность того же “лохотрона”. Если возле здания метро валютные менялы действовали более-менее честно, то на примыкающей к площади Садовой дежурили те, кто уже “кидал”» (Григорьев, Носов, 2003: 70–71).

Среди «новых черт» площади можно назвать не только ее резкую коммерциализацию и передачу из единых планирующих «рук» государства на откуп разного рода индивидуальным действующим лицам и «мелкому бизнесу», но и то, что на ней стало очевидно присутствие «маргиналов» и «творческих личностей» — во-первых, бездомных, алкоголе- и наркозависимых людей, проституток, «рекетиров» и «лохотронщиков». Можно проинтерпретировать это проявление и в «позитивном» ключе — повысилась «разнообразие» населения города, или, скорее, представленность маргинальных групп в публичном пространстве. Как ни странно, этот процесс указывает на рост «урбанизированности» Петербурга и, опять же, либерализации его публичной сферы (маргинализация и диверсификация жизненных стилей — одна из характерных черт урбанизации, как это описывается в классических текстах, начиная с Луиса Вирта (Wirth, 1938)).

И. Селеньи также указывает на то, что после падения социализма мы можем визуально наблюдать трансформации городов, движущихся в направлении урбанизации западного типа. Поразителен рост городской маргинальности: мы явно видим это на Сенной площади. Количество бомжей, беспризорников и прочих «подозрительных личностей» на площади явно возросло с падением социализма. Бездомность, по Селеньи, связана с облегчением полицейского контроля и является показателем уровня маргиналь-

ности населения (а это в свою очередь — показатель урбанизированности).

Переход к рыночной системе переориентировал систему торговли на новый приоритет — доходность. Поэтому если раньше продавец был чиновником государственной системы, заинтересованным лишь в исполнении плана, а не в удовлетворении покупателя, то в начале 1990-х гг. «отпущенная на волю» и ставшая рыночной торговля поменяла роль продавца. Теперь он стал заинтересованным лицом, и отношения продавец — покупатель стали саморегулирующимися, т.е. не нуждающимися во вмешательстве вышестоящих инстанций. «Народное предпринимательство», как называет возникшее в постсоветские годы явление В.В. Радаев, видоизменило культуру торговли и повседневности в целом.

Торговля на Сенной площади, как и на любой «толкучке», носит «личный характер» — каждый продавец работает на себя, так же как и каждый покупатель (грубо говоря, они не столько выполняют функцию в рамках крупной организации, сколько стремятся к собственному выживанию или обогащению). Однако на площади торговали в то время не только профессиональные продавцы — по свидетельствам очевидцев, торговать мог тогда кто угодно, набравший в своем доме пригодного для продажи старья или грибов в лесу. В стихийную торговлю тогда включилось практически все население города — причем каждый мог оказаться по обе стороны «прилавка» — виртуального, так как реальный прилавок в реальном магазине не был столь значим, как обозначенное в пространстве картонной коробкой, лотком или персоной продавца торговое место на Сенной площади.

Таким образом, доступ к торговле получили все желающие. Одновременно с этим участники процесса купли-продажи на Сенной площади фактически получили возможность формирования ее облика: пространство площади практически заново «произвели» в 1990-е гг., когда государственное планирование закрыло глаза на хаотическую свободную торговую деятельность. Без подавляющего влияния городских властей площадь, снова приобретшая коммерческий колорит, уподобилась своему досоциалистическому

виду. То есть постсоциалистическая трансформация города в данном случае — это процесс возвращения городу его стихийного «урбанистического» характера. Интересно то, что все это стихийное, народное предпринимательство — если говорить языком М. де Серто — это неожиданно количественно и временно победившая тактическая деятельность: в связи с временной дестабилизацией стратега, государства, на период межвременья — пока один стратег сменяет другого.

В данном случае «антидисциплинарная» деятельность выражалась в самостийной коммерции, фактически самовольном захвате площади индивидуальными торговцами; нестационарные формы организации торговли — ящики и «клеенки» вместо прилавков магазинов, сколоченные из подручных стройматериалов ларьки — это полная противоположность спроектированным, специально приспособленным, продуманным пространствам магазинов советского и более позднего постсоветского времени. Подчинение торговли и поведения на стихийном рынке не государственным, официальным, нормам, а скорее неформальным правилам поведения и неформальным и даже криминальным, «теневым» лидерам также создавало особую сферу, не подчиненную и неподконтрольную официальным органам власти. Отсутствие четких барьеров в доступе к торговому пространству (как для покупателей, так и для продавцов), мобильность (легкость в установке и «демонтаже» торгового места), непредсказуемый состав товара (история о покупке мемориальной доски с места дуэли Пушкина, рассказанная в поэме Г. Григорьева «Доска») — это основные черты рынка 1990-х г. При почти полном отсутствии интереса со стороны городских властей, занятых другими делами в период «системного сдвига», самовольный рынок на Сенной процветал.

К концу 1990-х гг., по-видимому, в связи с развитием розничной инфраструктуры и ростом благосостояния горожан, рынок терял размах.

КОНЕЦ 1990-х гг. и РЕКОНСТРУКЦИЯ 2003 г.: СТАБИЛИЗАЦИЯ

Во второй половине 1990-х гг. ситуация в стране и на Сенной площади радикально меняется. На смену потребности купить продукты по сходной цене приходит потребность купить и не быть обманутым, а еще лучше — получить от процесса покупки удовольствие. Возникает дискурс о «цивилизованной торговле». Цивилизованную торговлю в лице сетевых розничных компаний⁸ в 1997–1998 гг. в прессе «рекламировали» как новый уровень торговли, к которому желательно бы перейти. Один из основных элементов — это «западный», «европейский» характер «цивилизованных» форматов. Продолжая вытеснять — разными способами: посредством переманивания клиентов или физического вытеснения в результате договоренностей с городскими властями — рынки и другие «нецивилизованные форматы», ритейлеры представляют собой будущее, «модернизацию», «движение вперед», по мнению в том числе городских властей; кроме того, администрации и налоговым органам с ними явно «легче работать». Благодаря такому тесному сотрудничеству городские власти (правительство города и администрации районов, обладающие юридическими инструментами влияния на ситуацию) и крупный бизнес могут себе позволить «заказывать музыку» — т.е. формировать и городское пространство, и мнение прессы.

Такому положению дел благоприятствует политика администрации города: не всегда последовательная, однако с четко угадываемым направлением. В 1998 г. бывший тогда губернатором Петербурга В. Яковлев объявил «войну ларечникам», но действовал не слишком последовательно. 1 апреля 1998 г. вышло так называемое «11-е постановление»:

⁸ Сложившаяся на Сенной площади ситуация такова, что из-за целенаправленной реконструкции к 300-летию Петербурга на смену стихийному рынку почти сразу пришли торговые центры «Сенная» и «ПИК», хотя в целом по городу процесс был более поступательным (вещевые рынки, крытые торговые ряды и другие формы организации торговли).

«Закон о применении контрольно-кассовых аппаратов», призванный усилить контроль именно за торговлей на рынках, в ларьках и прочих точках частной розничной торговли. Начинается борьба с «базарным произволом», «торговой вакханалией» и «превращением Петербурга в палаточный городок», поскольку «цивилизованная торговля несет с собой не только эстетическую и санитарную красоту, но и деньги в местный бюджет». В 1998 г. увеличивается количество проверок на рынках и ларьках, взимаются крупные штрафы за отсутствие учетной техники — кассовых аппаратов и разного рода лицензий (на торговлю алкогольной и табачной продукцией).

В 1998 г. публикуется решение о реконструкции Сенного рынка — и самой площади — которые превратились в символ и «идеальный тип» ставших неприемлемыми барахолки и неконтролируемой торговли с рук. Основные мотивы проекта — повышение контролируемости (финансовой) розничной торговли, совершенно бессистемно разбросанной по всему городу, по всем общественным местам, пешеходным тротуарам, в том числе вынуждая пешеходов выходить на проезжую часть, чтобы пройти мимо. Реконструкция Сенной преподносится как один из важнейших и амбициозных проектов, посвященных 300-летию юбилею города.

Проект начался с реконструкции Сенного рынка, находящегося в квартале между улицей Ефимова и Московским проспектом, позже была проведена комплексная реконструкция площади (в основе — проект ГУП «Торгпроект»): снесены ларьки, убраны остатки метростроевских конструкций, возведены «приближенные» к дореволюционному облику торговые павильоны, площадь вымощена, устроены «зоны отдыха», поставлены скамейки, опоры которых стилизованы под тележные колеса и т.п. «Системообразующими» элементами на площади теперь стали два огромных торговых центра, появившихся друг за другом с разницей в один год — это ТК «Сенная» на ул. Ефимова и ТРК «Пик», своим зеркальным фасадом доминирующий над всей площадью. Таким образом, формы организации торговли на площади радикально изменились — киоски были вытеснены возведенными павильонами, торговые цен-

тры «Пик» и «Сенная» также пропагандируют новые стили потребления. Эти стили очень сильно приближены к видению «европейских стандартов», присутствующему «ритейлерам» и администрации города.

Таким образом, площадь сохранила свой традиционный торговый характер, поменялась слегка только форма этой торговли — из киосков она переместилась в павильоны и торговые центры, хотя и на улице продолжают собираться скупщики краденого, лоточники и торговцы с рук. Этот разрыв — между задуманным и фактическим — очень ярко виден на примере Сенной. Поскольку помпезная реконструкция практически не привела к полному осуществлению заявленных целей — как пишут в газетах, туда вернулись и грязь, и криминал, и хаос. Избавиться от пороков площади — таких как обилие нелегальных торговцев, мошенников и бомжей — реконструкция не помогла.

Через несколько лет после реконструкции можно попытаться проанализировать произошедшие перемены — с точки зрения того, как пространство «производится» городской администрацией и крупным бизнесом и как оно фактически функционирует на уровне практик (на примере этого нового «конструирования» места мы видим добавившихся акторов, не имевших официального права голоса в социалистические времена — коммерсанты, горожане).

По результатам борьбы с «нецивилизованной торговлей» становится ясно: пространство города переструктурируется таким образом, что все «неудобное» просто убирается из центра на периферию, «прячется» в глубь кварталов, и весь «шанхай» и «бардак» просто переезжает на другие места — конечно, только те, кто смогут вовремя договориться, купить себе место и т.п. Однако «ларечная» и нецивилизованная торговля, которую всячески пытаются изгнать из контролируемого пространства города, теряет свои позиции, но не исчезает полностью. Запрещенные «на официальном уровне» (стратегия городской власти не оставила для них законного места), на уровне «тактик» и антидисциплины они продолжают «крутиться» («торгуют с коробок», которые легко свернуть при рейде милиции, их «гоняют», а они «выползают»). Отноше-

ние к такого рода торговцами продвигается пренебрежительное: они «торгаши», «мерзкие», мешающие, разводящие грязь и заразу.

На территории официально контролируемой площади постоянно выкраивается пространство для неформальной, тактической, «антидисциплинарной» деятельности. Основные проявления бывшего «хаоса» — это скупщики золота и мобильных телефонов, которые постоянно дежурят у входа в метро «Сенная площадь», появляющиеся регулярно вдоль автостоянки перед торговым центром «Пик» мобильные лотки с косметикой, нелегальными CD-дисками, косметикой, одеждой; эти лотки перегородивают пешеходный проход, за который так боролись во время реконструкции площади. Кроме того, осенью пожилые люди продают там свой урожай — яблоки, огурцы и зелень, выращенные на дачах. Они располагаются рядом друг с другом в начале Московского проспекта и Садовой улицы по две разные стороны площади. Милиция периодически проводит рейды, выгоняя «несанкционированных» торговцев. Тем не менее благодаря удобству они продолжают пользоваться успехом у покупателей и совершенно неистребимы: они мобильны, живучи, могут «сбежать» — т.е. они та «стихия», которую очень сложно «укротить».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, мы можем сделать вывод, что в постсоветской истории Сенной площади и розничной торговли, как и в истории города и страны, мы наблюдаем два периода. Эпоха либерализации, маргинализации, повышения интенсивности коммерческой публичной коммуникации — до конца 1990-х гг. Ближе к концу 1990-х наблюдается уже период стабилизации и стандартизации. На смену возвращению «урбанизма» в жизнь Петербурга приходит новое явление — унификация розницы и стилей потребления с большой долей ориентации на «западные» нормы.

Советский город, отличавшийся от западных аналогов своими сравнительно невысокой плотностью населения, коммуникации, отсутствием общегородских публичных и коммерческих пространств, более

высокой гомогенностью населения, в первые постсоциалистические годы резко перешел на типичные для западных «урбанизированных» городов способы организации жизни. В связи с общей либерализацией в стране доля участия горожан в формировании облика города изменилась: если раньше государственный контроль и планирование абсолютно доминировали, то неформальная, «антидисциплинарная», тактическая стихия играла гораздо большую роль в формировании городского пространства в постсоветские годы. Однако по мере стабилизации обстановки в общественно-политической сфере, повышения роли государства в большинстве сфер общественной жизни, а также приходом на рынок крупных игроков бизнеса мы видим, как постепенно повседневное формирование городского пространства неформальными акторами подавляется централизованным и унифицированным планированием — на сей раз в союзе относительно крупного бизнеса и городской администрации.

ЛИТЕРАТУРА

Certeau de, M. *The Practice of Everyday Life* / M. de Certeau. Berkeley; Los Angeles, 1984.

Cities after Socialism. Urban and regional Change and Conflict in Post-Socialist Societies / Andrusz G., Harloe M., Szelenyi I. (eds.). Blackwell, 1996.

Hankins, K. *The Restructuring of Retail Capital and the Street* / K. Hankins // *Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie*. 2002. Vol. 93. No 1. P. 34–46.

Haussermann, H. *From the Socialist to the Capitalist City* / H. Haussermann // *Cities after Socialism. Urban and regional Change and Conflict in Post-Socialist Societies* / Andrusz G., Harloe M., Szelenyi I. (eds.). Blackwell, 1996. P. 214–231.

Nagy, E. *Winners and Losers in the Transformation of City Centre Retailing in East Central Europe* / E. Nagy // *European Urban and Regional Studies*. 2001. 8. P. 340–348.

Sennett, R. *Verfall und Ende des oeffentlichen Lebens. Die Tyrannei der Intimitaet* / R. Sennett. Frankfurt am Main, 2002.

Szelenyi, I. *Cities under Socialism — and After* / I. Szelenyi // *Cities after Socialism. Urban and regional Change and Conflict in Post-Socialist Societies* / Andrusz G., Harloe M., Szelenyi I. (eds.). Blackwell, 1996. P. 286–317.

Wirth, L. Urbanism, as a Way of Life / L. Wirth // *American Journal of Sociology*. 1938. Vol. 44. P. 1–24.

Григорьев, Г. Доска, или встречи на Сенной / Г. Григорьев, С. Носов. СПб., 2003.

Засосов, Д.А. Из жизни Петербурга 1890-х – 1910-х годов. Записки очевидцев / Д.А. Засосов, В.И. Пызин. Ленинград, 1991.

Информационный портал Северо-Запада, дайджест деловой прессы www.kadis.ru.

Мурзенко, К. Отмороженные / К. Мурзенко // *Сеанс*. № 27–28. 2006. С.152–160.

Радаев, В.В. Изменение конкурентной ситуации на российских рынках (на примере розничных сетей). / В.В. Радаев. Препринт WP4/2003/06 – М., 2003. <http://www.hse.ru/science/preprint/>

Радаев, В.В., Эволюция организационных форм в условиях растущего рынка (на примере российской розничной торговли). / В. В. Радаев. Препринт WP4/2006/06. М., 2006. 60 с. <http://www.hse.ru/science/preprint/>.

ABSTRACT

The interest of this topic is based on the metamorphoses that occurred during the 20th century, especially at the turn of the 20th and 21st centuries, on the historical Sennaya Square market place in St. Petersburg. This location reproduces in a physical space all the changes underway in the social space of the country; these changes, described as post-socialist, are deeply connected with changes to the social and political systems. The transformations of the geography of the square, the formation and structure of its trading places, the permanent intention of the administration to “civilize” the square and bring it under control, just as they sought to control the city itself, can be viewed as the practical expression of social-structural tendencies. These tendencies are, for instance, an initial liberalization followed by a stabilization of society and an increase of state control, and the consequences of these processes on the level of everyday life: the standardization and normatisation of lifestyles, and the stabilization of social relations. But as empirical study shows, this process is not irreversible: “antidisciplinary” practices, such as uncontrolled “off-hand” trade in forbidden places, permanently return to places from which they are expunged.

Keywords: retail, Sennaya square, informal trade, civilized retail, post-soviet urbanization, the transformation of space.

ОТРАЖЕНИЕ ГОРОДА

В статье «Отражение города» рассматривается, каким образом классические урбанистические теории могут работать с эмпирическим материалом новой столицы Казахстана – Астаной. Выводы касаются природы и сущности Астаны, в частности обращается внимание на постмодернистский характер архитектуры. Автор с позиции философской антропологии рассматривает город как центр человека, как способность создавать свой проект вписанности в мир. Астана рассматривается как антропологическая игра по созданию нового города.

Ключевые слова: архитектура, власть, город, импрессионизм, экспрессионизм, культура, номад, постмодернизм, символ, степь, отражение, идеальный город.

Мы отражаем город, город отражает нас.

«– ...Город есть город. Увидишь один,
считай, что видел все.

– Неправда! – Обиженно воскликнул Бельведер.
– Я разительно отличаюсь от других городов.
Я уникален!» [1]

Между современным человеком и современным городом существует зазор концептуального видения, который образуется из остатков политэкономических и культурологических теорий, в которых город выглядит как единственно возможная форма цивилизационного развития. Шпенглеровская оппозиция культуры как живого времени творчества и цивилизации как конечного, финитного продукта эпистемологически превращает город в квинтэссенцию культурно-возможного. Город, таким образом, понимается как пространство цивилизации, ее результирующая форма. Но, обретая свободу самотворчества, город перестает подчиняться старым описа-

тельными схемам, каждый новый способ жизни города сталкивается с потребностью новых эпистемных усилий.

В данной статье мы обращаем внимание на два аспекта современного города.

Первое: мы используем понятие «отражение» в значении рефлексии (reflection) как понятие, отсылающее к традиции, в которой полное сомнений и противоречий размышление о себе, своем собственном психическом и культурном Я создает субстанциональные образы города. Поскольку любая попытка мыслить город через проекцию целокупного – физического, экономического, исторического, географического и другого анализа есть позиция философского субстанционализма, берущего свое начало от утверждений Аристотеля о том, что «человек животное общественное». И даже когда о человеке писали с точки зрения его недостаточности («продукт истории» В. Дильтея [1], «неустановившееся животное» Ф. Ницше [3]), в конечном итоге речь всегда идет о поиске того, что можно назвать субстанцией человека. Поскольку человек изначально «вписан» в мир, но лишен понимания своей природы, он вынужден искать себя вне себя. Субстанциональная основа человека и города в том, что человек не просто создает города (что является объектом изучения истории) там, где разрыв с природой оказывается наиболее сильным (объект изучения географии), но и укореняется в городской среде посредством языка денег (объект экономических наук), языка символов (объект семиотики). Наконец, человек заботится о городе (что является объектом изучения урбанистики), город есть «центр» человека, город есть «возможность» быть человеком, поскольку именно город раскрывает потенцию человеческого существования. А это есть объект изучения урбанологии, философско-антропологической теории города.

Второе значение понятия «отражение» (raggu; warding off; raggu; blow) связано с парированием удара. Отражать – значит сопротивляться, иметь свое отличное от общего условие существования. Так, в рамках данной статьи мы рассматриваем Астану – новую столицу Казахстана как город, в котором создается своеобразное интеллектуальное

напряжение и в плане легитимации Астаны языком классической урбанографии, а также в контексте того, каким образом этот город репрезентирует собой новый отличительный почерк города XXI в.

Если представить, что у города как текущей реальности и у теорий как устоявшихся схем анализа есть разная скорость приращения новых знаний, то становится понятным появление все большего интереса к современным городам. Город, постепенно теряя узкую промышленную специализацию, определявшую лицо города в XIX в., в XX в. узурпирует функции культурного таким образом, что превращается в пространство, в котором однозначность политической воли государства сталкивается с плюральными попытками освоения города. То есть мы не можем более выделять доминирующий стиль города или доминирующую функцию города. Нам приходится членить пространство города на зоны, сегменты, районы. Тело города становится слишком большим, чтобы помнить об эйдотическом предназначении города. У современного города нет более той целостности, которая могла быть очерчена крепостной стеной, как нет и патроната со стороны единого правителя. Эта сложность в определении границ сущности и предназначении города и составляет основу современных городских исследований. Каждое новое поколение, выросшее в новых и старых городах, ищет более достоверный способ объяснения феноменальной прочности города.

Эта тема представляет особый исследовательский интерес для казахстанской философии, поскольку актуализация национального самосознания, своей культурной, политической идентичности в Казахстане происходит благодаря активно развивающемуся урбанистическому процессу. Перенос столицы из Алматы в Астану, процесс становления последней в качестве символа государства могут рассматриваться как уникальная антропологическая ситуация. Уникальность ситуации заключается в том, что в один момент времени могут совпасть и процесс созидания города, и процесс становления философской рефлексии если не о самом городе, то о сущностной природе человеческого бытия. В истории философии аналогичный период связан с Миле-

том — городом, который создал прецедент совпадения рефлексии над структурой полиса с рефлексией космоса. И для Анаксимандра и для Гипподама порядок города повторял порядок мира.

Астана как новая столица, как новый город в своей интенции новизны также содержит в себе волю к тому, чтобы в ее структуре отражался мир, и не только мир кочевника номада, но и глобальный мир, транслитерируемый экономикой желаний в структуры номадического сознания. Размышляя о цивилизационных традициях и менталитете казахского кочевого народа, сущностной природе города и традиционных формах трансляции культуры, мы тем самым создаем условие для постижения мира в целом. Амбивалентность городского и традиционного модусов бытия рассматривается здесь не только как современное состояние казахстанской культуры, но и как состояние выхода из локальной изолированности в состояние открытости миру.

Если не обращать внимания на частные методологические моменты, вся палитра городских исследований в конечном счете сводится к вопросу о сущности города и его душе. Для позитивистских и институциональных теорий на первое место выходит вопрос об экономической сущности города; для представителей философских школ и направлений, восходящих к установкам иррациональной философии Ф. Ницше и В. Дильтея, а также субъективистской философии И. Канта — его душе. Для нашего частного исследования Астаны обе традиции важны, поскольку этот город появился на политической карте всего 10 лет назад (1997 год — год передислокации столицы из Алматы в Акмолу, которую позже в 1998 г. переименовали в Астану), и на сегодняшний момент главными в обзорах по Астане пока являются материалы политического плана. Сам факт переноса столицы рассматривается как проявление активной политической воли, но Астана еще не стала объектом культурной и философской рефлексии. В этом плане нам интересно применить уже существующие методики урбанонологического анализа к эмпирическому материалу Астаны и проследить, насколько они работают в иной культурной, временной и пространственной среде.

Мы рассматриваем перенос столицы в Астану как уникальную антропологическую ситуацию: энергия созидания людей направлена на новое пространство для борьбы за власть, за реализацию личных амбиций, вплоть до решения экономических проблем как личного, так и государственного масштаба. Тем самым Астану следует рассматривать не как историческую вынужденность, а как феноменальную возможность нового города, порождающего новый текст культуры. Этим и определяется основное отличие методологии изучения Астаны от классических подходов, существующих в традиционных городских исследованиях. Ни одна из схем, описывающих концепт идеального города, напрямую не работает с материалом Астаны таким образом, чтобы обозначить приоритетное право интерпретации в своем контексте. Астана как полигон для различных мыслительных проекций удачно вписывается в самые разнообразные схемы структурирования, эта амбивалентность заложена хтонической природой настоящего. В Астане так мало прошлого, но так много настоящего, способного к изменению. Внешняя хрупкость теорий подпитывается фонтанирующей энергией созидания, каждый новый проект в городе, архитектурный ли повтор, эстетическая ли провокация, — все это вновь и вновь заставляет исследователей искать новые схемы, новые аналогии и способы осмысления.

Особенностью XX в. является то, что всякий новый город, создаваемый в текущий момент времени, создавался как идеальный город. Пережив стадию хаоса исторического города, подвергнув исторические города грандиозным перестройкам, отражавшим промышленные индустриальные изменения в теле города, новый город по определению не мог быть неидеальным. Интенция идеальности в данном контексте воспринимается как его функциональность, как его жизненность. Кроме того, в XX в. все новые столицы образованы как столицы демократических государств. И если для классических, исторических столиц, построенных на авторитарных решениях правителей, суть репрезентации могла сводиться к артикуляции персонифицированной сильной власти, то в новых столицах XX в. эстетическая

репрезентация решала задачи сложного комплекса идентификации этого государства на мировой арене.

Градостроительная практика Астаны показывает, насколько высокие требования идеологического характера предъявляются к застройщикам. Помимо стратегии привлечения брендовых архитекторов, таких как К. Куракава, Н. Фостер, М. Николети, Р. Бофиле, в прессе постоянно дискутируются вопросы о национальном колорите, о возможности архитектуры с особым национальным почерком. Одним из сильных приемов описания новой реальности является апелляция к тому, что Астана — это одна из самых молодых столиц, в которой будет представлена самая передовая архитектура. И именно эта архитектура покажет всему миру передовой, открытый, новаторский характер Астаны.

Для рассмотрения этого вопроса в рамках данной статьи мы остановимся на некоторых исследовательских традициях, укорененных при анализе европейского города, и применим эти положения к материалу по Астане.

В конце XIX — первой половине XX в. ключевые изменения в методологиях городских исследований в значительной степени были инициированы «антропологическим поворотом в философии». Поскольку сущность человека философская антропология усматривала в его «неукорененности, незавершенности и недостаточности», постольку повсеместно возрастал интерес к тому, каким образом человек укореняет себя в пространстве культуры. В этом контексте именно импрессионистская и экспрессионистская методологии были самыми показательными с точки зрения приближения к человеку.

В импрессионизме человек рассматривается как, возможно, неуверенное в себе, но пробующее свое я в ином; тонкий свет его души озаряет пространства города, а его впечатления — это способ определить себя. Тем самым импрессионизм и следующий за ним экспрессионизм заложили основы такой исследовательской стратегии, в которой на первое место выходят метафоры повседневности, но повседневности, понятой как транзитивность, ритм и отпечаток. Эти метафоры, часто встречаемые в современных городских исследованиях, обращают вни-

мание на то, что город не всегда может быть понят прямым рефлексивным усилием, поскольку город помимо всего прочего есть еще и способ переживания. Таким образом, сформировалась устойчивая пропозиция: с одной стороны, роль исследователя в ней играет творческий, внешне ранимый и испытывающий недоверие к институциональным пространствам человек, а с другой — сам город как некая большая метафора души занят поисками своего собственного смысла.

В импрессионистском анализе субъектом изучения города становится художник или фланер, художник в значении лица, имеющего творческую интенцию к постижению города, фланер в значении человека, посвящающего самого себя, свое свободное время прогулкам по городу. Город и фланер — это центральная тема импрессионистского анализа. Можно проследить своеобразный параллелизм между возрастающим корпусом городских исследователей и концептуализацией понятия «фланер». «Французское слово “flaneur” — любитель праздных прогулок — маркирует особый исследовательский способ постижения города, поскольку именно с фланированием связывается атрибутивная характеристика города, характеристика места, которое распознается через личное усилие. Город — это то, что распознается через персонифицированный интеллектуальными, артистическими, а возможно, и маргинальными усилиями способ жизни. Импрессионизм создал особый тип исследователя города, исследователя, который может разбираться в городском шуме, ритме, потому что он этого хочет сам. Образ фланера — это образ отнюдь не дилетанта. Быть фланером означало иметь сознательную апостериальную направленность, нужно хотеть видеть, нужно хотеть слышать, нужно хотеть быть тем, перед кем город раскроет свои лабиринты. Считается, что подобная чувствительность фланера к городским пространствам, к языкам, на которых говорит город (а в силу его транзитивности эти языки множественны), делает его единственным экспертом города.

Поэтому вопрос о фланерстве — это вопрос о том, для кого этот город, кто его изучает посредством

психологического переживания. Для нашего исследования важно наметить, кто может стать подобным исследователем Астаны. В исторических описаниях Акмолинска XVIII в. речь идет о том, что этот город заселялся солдатами, отслужившими свой срок. В описаниях экономического роста Акмолинска в XIX в. обращается внимание на то, что этот город был центром торговли и соответственно его самым активным слоем населения были купцы. В середине XX в. об Акмолинске заговорили как о столице целинного края, и соответственно город был переименован в Целиноград. Ныне мы можем считать, что Астана — это и город власти, чиновничества, и город многочисленной армии строителей, которые стекаются в столицу не только из отдаленных районов Казахстана, но и из сопредельных стран. Официальные прогнозные цифры прироста населения устаревают за год. Так, по Генеральному плану Кисе Куракавы, рост населения к 2008 г. должен был достичь 500 тыс., но уже в 2005 г. речь зашла о 550 тыс. учтенного населения, тогда как существует и масса неучтенного населения. Особенно это заметно на разнице людского потока в будние и праздничные дни. В будние дни новостройки левого берега, где как раз и сконцентрированы основные знаковые доминанты столицы, выглядят пустынными и безлюдными, но в праздничные дни эспланада левого берега заполняется многочисленной толпой, состоящей в основном из рабочих и гостей столицы. Задаваясь вопросом о возможности исследования (отражения) Астаны как среза казахстанской культуры в целом, необходимо определиться с субъектом этого города, с тем, кто отражает (рефлексирует) этот город.

Для Астаны эта методология может быть применима в определении того, кто готов исследовать город. Поскольку чиновник не готов и не желает стать экспертом города, он может его только подвергать постоянной реконструкции и застройке, то есть придавать городу желаемый идеологический образ, то следует обратить внимание на фигуру приезжего. Действительно, для Астаны характерна следующая ситуация: столица притягивает к себе все больше пассионариев из других регионов Казахстана, можно считать, что первыми исследователями

столицы становятся не коренные жители, и даже не первые, передислоцированные из Алматы чиновники, но те, кто приезжают и ищут в этом городе свою социальную нишу. Открытость властного коридора (Астана постоянно испытывает потребность в новых силах), открытость с точки зрения проживания (в Астане один из самых стремительно развивающихся строительных рынков жилья) привлекают сюда все новых и новых людей. Именно эти люди, привлеченные властью и потенциальным благополучием, прогуливаются по новым проспектам, приглядываясь к возможностям города, именно они, возвращаясь в регионы, создают мифологический контекст Астаны, в основе которого лежит убежденность в том, что Астана может изменить их социальный статус. А если учесть еще и традиционалистские отношения родства, то эти мифологемы обрастают подробностями о своих знакомых, родственниках, приехавших в столицу и сделавших карьеру.

Например, несколько лет в Астане работает программа трудоустройства лучших выпускников казахстанских вузов в центральных органах власти. Кроме этого, до трети от выпуска студентов, окончивших университеты в провинциальных городах, оседают в Астане, даже если им приходится работать не по специальности. Астана привлекает их как раз этой возможностью изменить не только себя, но и внести свой вклад в изменение этого города. Примечательно, что многие родители вкладывают свои средства в покупку квартир для детей, то есть сами не собираются покидать свои дома с устоявшимися условиями жизни, но детей готовы отправить (делегировать) в Астану, потому что именно этот город выглядит как город, в котором можно найти работу, как город, которому можно доверить социальное становление подрастающего поколения. В конечном итоге многих Астана привлекает возможностью созидательных потенциалов. В отличие от первых чиновников, которые были передислоцированы и от этого перенесли своеобразный шок, психологическую травму разрыва с Алматой, эти приезжие сделали свой выбор в пользу Астаны сознательно. Если первые годы на уровне бытовых зарисовок, застольных анекдотов и популистских скетчей формирова-

лось противопоставление между Алматой и Астаной, в котором однозначно Астана проигрывала старой столице, то ныне можно проследить смягчение этого противопоставления, никто уже не шутит о морозах, ветрах и комарах, зато формируется образ города больших возможностей.

Далее в обзоре исследовательских методик XX в. следует обратить внимание на философию экзистенциализма. Одна из значимых форм критической рефлексии XX в. формирует методологическую традицию, в которой заброшенность, потерянности человека в городе (мегаполисе) рассматривается как способ выявления экзистенциалов современного человека. Город экзистенциалиста — это дистопический город-машина. Такой город подавляет, уничтожает, его враждебность есть собственная урбан-интенция, за которой стоит техника, понятая как метафизическая традиция присваивания. Признавая, что экзистенциализм открыл человеческое измерение, тем не менее следует отметить, что в экзистенциализме город неестественен. Его искусственность трагически вытекает из метафизики присутствия. «Здесь-бытие», сталкиваясь с одновременным пребыванием множества людей, рождает чувства заброшенности и потерянности.

Мартин Хайдеггер расширил известные метафоры, в которых архитектура понималась как «воплощение духа», как отражение мировоззрения эпохи, до понимания того, что язык архитектуры — это и есть язык метафизики. Именно поэтому с его точки зрения архитектура играет важную стратегическую роль в философских дискурсах XX в. Кризис философии XX в. для Хайдеггера — это архитектурный кризис оснований, целостности, конструктивности [7]. Поднимая вопрос о возможности новой онтологии, Хайдеггер актуализирует вопросы техники как вопросы возможности иной стратегии существования. Изменение архитектуры могло дать изменение традиционных способов репрезентации, приведших к кризису европейскую цивилизацию. Сама же архитектура не может быть оценена только как репрезентация, она есть и свое основание. Для Хайдеггера искусство укорено в истине, а архитектура укорена в метафизике.

Хайдеггер дает объяснение роли архитектуры через саму архитектурную способность конструировать. Он считает, что архитектура — это своеобразная «парадигма» для философии. Парадигма, в которой универсум есть мироздание, поэтому все попытки архитекторов изменить тип здания привели к философским версиям иной структуры универсума.

Из хайдеггерской темы скрытого влияния архитектуры на метафизические основания философии мы можем сделать вывод о том, что интерес к теме метафизики города — это в конечном итоге интерес к возможностям новых философских рефлексий. Архитектура, создавая современное тело города, его «физику», на уровне простой компиляции скрывает его бессубstantialность. Только та архитектура, которая выходит из мифо-поэтического или праформного состояния, возможна как основа самой себя. В иных случаях архитектура конституирует реальность, но эта реальность может ставиться под сомнение. Всякая основа в стремлении создавать должна отсылать к культурному коду времени.

Первичный код — это создание такой архитектуры, которая использует свой собственный язык взаимоотношения с бытием. Вторичный код — это использование репрезентативного аппарата,работанного другими культурами и в других временах. Языком описания для архитектора являются объемы мироздания, тогда как философ работает объемами сознания, местом написания для архитектора является пространство, а для философа таковым является время. Очевидно, что архитектура Астаны использует вторичный архитектурный код, и, более того, он используется не всегда в лучшей версии, но в целом есть в Астане то, что Хайдеггер назвал бы волей к созиданию. У Хайдеггера есть понятие «дара бытия», которое себя раскрывает в событии мышления. Используя это понятие, вопрос о реальности настоящего можно поставить таким образом, что истинность бытия раскрывается в естественности события мысли. Иными словами, пока мы компилируем, повторяем чужие мысли, мы — неестественны, каких бы высот в профессиональном пересказе при этом не достигали. Истинность как непосредствен-

ность не может быть профессиональна. Иными словами, город по своей природе есть нечто большее, чем теория, которая может его описать. К современному городу следует относиться не только как к кальке с европейских образцов. Поэтому вопрос о стилевом пространстве Астаны должен рассматриваться с учетом того, что Астана (и во всех своих прошлых ипостасях Акмолинска, Целинограда, Акмола) никогда не строилась по этой кальке. Отчасти стилевой код Астаны следует искать не в архитектурных почерках, стиль нового города Астаны следует искать в онтологической потребности создания такого города. То есть то, что бросается в глаза как эклектика стилей, как поиск имен и новых идей при строительстве Астаны, отражает главную идею города: Астана — город новой идентичности для современного Казахстана.

Часто возникающий вопрос, какой же архитектурный стиль доминирует в Астане, ставит в тупик не только неискушенных в исследованиях журналистов, но и профессиональных искусствоведов и архитекторов. С другой стороны, современная архитектура, пережив и осознав функционализм как стратегию творчества, требует иного описания, которое отчасти ближе к журналистским и утилитарным текстам. Архитектура здесь понимается как техника, как здания, в которых живут люди и благодаря которой создаются города, поэтому описание здесь требует иных дефиниций. Описательная стратегия для такого типа текста основана на экономической целесообразности и понятности для простого пользователя архитектурными благами. Те требования, которые предъявляются в описании с точки зрения истории искусств, в утилитарном описании будут казаться фундаментальными, сложными и нагруженными дополнительными смыслами.

Архитектурную концепцию Астаны уже сейчас называют эклектичной или неоеклектичной. Использование понятия эклектики оправдано в той мере, в какой реализуется программа смешения, заимствования архитектурных идей на местную почву. Особенностью эклектики является то, что даже явные формы заимствования из других стилей выглядят как сознательный выбор. Астана — это город, в ко-

тором не работают старые схемы стилевых наименований, но вполне возможно, что через какое-то время появятся исследователи, которые дадут имя этому стилю. Поскольку стиль, если его понимать как материально-пластическое выражение духа времени, неотъемлем от жизненного уклада.

Другое дело, когда речь идет о стилизации. Стилизация — это подражание, умышленное копирование, использование «слишком явных цитат». Стилизации отсылают к прошлым состояниям архитектурных традиций, но не стремятся повторить этот стиль в такой же достоверной по исполнению манере. Наоборот, стилизация — это больше намек, чем точность повтора. Когда стилизация из намека превращается в собственный почерк, то тогда говорят о появлении нового стиля. Возвращаясь к концептам европоцентристской урбанистики, можно ответить, что еще одной стороной реальной истории становления городской цивилизации Запада являлось то, что символическое пространство города зависело от доминирующего стиля, который в свою очередь зависел от уровня технического исполнения.

Астана часто позиционируется как не-Целиноград, при этом происходит противопоставление и на уровне сравнения архитектурного стиля. Целиноград — это советский город с генеральным планом, вошедшим во многие учебные пособия по архитектуре, потому что в нем была отражена идея наркома-архитектора Н. Милютина о зональном городе. То есть в своей предшествующей истории Астана, а тогда Целиноград, уже имел интенции революционной архитектурной политики.

Можем ли мы говорить о том, что у Целинограда был особый стиль? В каком-то смысле да, потому что по истечении времени устоявшаяся и сохранившаяся часть Целинограда создает преамбулу для другой части города, которая напрямую позиционируется как не-Целиноград. Есть такой способ определить необходимый стиль через обозначение того, чего в нем нет. Так, в стилиевой характеристике Целинограда нет стекла, алюкобонда, но есть белый кирпич, камышовые дома, стандартные блочные плиты, крашенные масляной краской деревянные рамы, песочные грибки во дворах, футуристиче-

ские трубы теплоцентрали, пронизывающие город в жилых районах. В Целинограде высотный горизонт заканчивается пятью этажами, в этом городе была плотная квартальная застройка и мозаичные панно со следами соцреализма. Самым сильным знаком Целинограда является надпись на элеваторе «Целина поднята, подвиг продолжается», сам элеватор был той высотной точкой, которая и определяла направление застройки города в 1960-е гг. Когда в начале 2000 г. на левом берегу, тогда еще практически пустынной территории нового административного центра, появилось здание национальной компании КазМунайГаз, его сразу же народ назвал «элеватором». Получается, что на правом и левом берегу в старой и новой части города есть свой «элеватор» — сингулярная точка сборки города. Возможно, это каким-то образом укорено в сознание кочевника номада — иметь такую точку культурной сборки, которая бы превосходила изоморфные свойства пространства степи.

В продолжение хайдеггеровской инверсии о взаимоотноительности языка метафизики и архитектурного языка Ж. Деррида предлагает посмотреть на пространство как на текст [9]. Пространство есть текст, а не место для текста. Так как пространство не вместилище для текста, а действие имеющегося вписывания, оно больше не может быть представлено традицией как пространство субординации, напротив, жест вписывания производит пространство. Метод Деррида, названный деконструкцией, призван переосмыслить онтологическую проблематику и на уровне отношения к «бытию как таковому» и на уровне эпистемных условий, в которых находится сам исследователь. Обладает ли исследователь собственным онтологическим кодом и каким образом может произойти освобождение от этой довлеющей традиции присваивания?

Деррида отвечает на эти вопросы посредством понятия «опространствливания». Опространствливание есть дистанция репрезентации. Она маркирует пространственный интервал между означающими. Опространствливание не есть пространство, а «становление пространства», того, что должно быть беспространственным как презентация, речь, жест,

идея. Опространствливание — это то, что открывает пространство в двойном смысле.

Это одна из самых продуктивных идей в корпусе постмодернистских диагнозов времени. Идея о том, что архитектура скрывает пустоту, существенно оправдывает хайдеггеровскую тревогу о языке собственного основания. Какой смысл искать принципиально новую архитектурную форму, в которую необходимо будет переносить все старые изживающие себя социальные опыты, если можно допустить повтор с самого начала, то есть вернуться к новой метафизике?

В этой связи нередко можно услышать если не критику, то искреннее удивление со стороны западных архитекторов в отношении генерального плана Астаны. Им кажется, что слишком вольная планировочная структура Астаны может быть агрессивной к человеку. Тогда как для К. Куракавы, автора генерального плана, было важно, чтобы Астана всегда имела возможности к росту, к обновлению, чтобы у этой столицы не было тех проблем, которые сами западные критики называют проблемами «деградации мегаполисов». То, что Астана с точки зрения западного наблюдателя создает ощущение расположенности на пустоте, симптоматично показывает постмодернистскую сущность города. Об архитектуре постмодернизма также говорят как об архитектуре Риска. Риск, возникающий из ощущения конца истории, который был декларирован Фукуямой, в более глубокой онтологической привязке конца традиционной метафизики, то, о чем в начале века писал Хайдеггер. Постмодернизм предстает глубинным спонтанным прорывом к иной, противостоящей модернизму образности, началом эксперимента по освоению новой логики мышления, отвергающей монологизм, универсализм, безальтернативность архитектурного дискурса и утверждающей правомерность его «многоголосия».

Первое, из чего мы делаем такой вывод, — это то, что постмодернизм предполагает политическую и культурную плюральность. Алеаторность архитектурных решений Астаны — прямое этому доказательство. В Астане нет доминирующего стиля, есть многочисленные повторы, эклектика и гиперсимволизм.

Второе: постмодернизм предполагает компромисс между техникой и человеком. Философия симбиоза, предложенная Куракавой для Астаны, как раз и предлагает снятие этой проблемы. В своем интервью, озаглавленном как «Мегаполис XXI в. никогда не остановится в росте», Куракава говорит о том, что «философия симбиоза — не религиозный принцип... Мои мысли коренятся действительно в учении буддизма, но я пытаюсь развить и перенести его на архитектуру и город. При этом я занимаю позицию, противоположную по отношению к рационалистическому дуализму Канта и Аристотеля, учение которых исходит из покорения человеком природы. Отсюда вера в технику и в дух изобретений, что составляет ядро западной культуры. Не поймите меня превратно: и в будущем мы не сможем отказаться от этого философского наследия. Но нам нужно привнести новый элемент, нам необходимо всеобъемлющее мышление, которое бы прекратило деление мира на белое и черное, на консервативное и прогрессивное... Нам необходимо нечто общее, которое свяжет все воедино. В этом смысле моя философия симбиоза — это антитеза XX в., веку гегемонии Запада. Будущее за существование различных культур» [13, с. 23].

Третье: постмодернизм не только гиперсимволичен, но и активно аисторичен. Всякое использование истории имеет цель создать новый миф, не реконструировать старые, а именно создавать новые, не бояться апокрифичности и бытовой дидактики.

Отсюда рождается четвертое отличие постмодернизма — его нарративность. Астана — это лучший пример современного типа наррации. Текст культуры переписывается, компилируется, но главное — он созируется.

Пятое: в социальном плане постмодернизм означает «двойное кодирование». Каждый элемент должен иметь свою функцию, дублирующуюся иронией, противоречивостью, множественностью значений. Поэтому Астана многозначна. Она одновременно элитарная и массовая. В ней много риторических повторов, как, например, совершенно рискованное использование элементов римской архитектуры при реконструкции бывшего проспекта Целинников.

Шестым является основной постмодернистский принцип децентрированности. В Астане не только «блуждающий» центр, но это город пустоты. Разреженность городского тела создает удивительное ощущение открытого пространства, степи.

Главная особенность современной ситуации в антропологической оппозиции город — исследователь выражена в относительной ревальвации метафизических моделей. Описанные выше модели в течение XX в. практически шли по пути девальвации классической метафизики. Закономерным итогом этой традиции стал постмодернистский диагноз окончательной смерти автора, субъекта и собственно объекта. Исчерпанность антропологической традиции, в которой человек определяется как Сущность-Субстанция-Субъект, и традиции, в которой человек характеризуется своими актами, своей деятельностью, возвращает нас к более старой традиции, в которой человек, собственно, еще не знает, кто он, каков его проект, но это искреннее незнание есть суть нового. Произшедшее методологическое очищение дает право на новую антропологию, ту, в которой, как у Плеснера, всегда в любой ситуации у человека есть право быть человеком.

Мир понимается здесь как самоистолкование человека. А это прямой выход на символизм. Каждая культура нуждается в пласте текстов, выполняющих функцию архаики. Поскольку за символами сохраняется способность нести в себе в свернутом виде исключительно обширные и значительные культурные тексты, постольку существуют различные подходы к теме символического тела культуры. Вплоть до проидеологизированных попыток создавать современные псевдоархисимволы.

Пример — строительство пирамиды в Астане, автором которой является лидер постмодернистской архитектуры Норманн Роберт Фостер. Лорд Норманн Фостер — дважды лауреат Притцкеровской премии, обладатель более 200 архитектурных наград, снискавший мировое признание как ведущий архитектор современности. Он работал над проектами Трафальгарской площади, Британского музея, берлинского рейхстага, лондонского Millennium Bridge, терминала аэропорта Чек Лап Кок в Гон-

конге, зданий Гонконгского и Шанхайского банков в Гонконге. Приглашение его в Астану отражает общую политику привлечения брендовых архитекторов для строительства объектов с повышенной символической нагрузкой.

Сооружение Пирамиды, или, иначе, Дворца Мира и Согласия, с одной стороны, представлено как воплощение технического и архитектурного гения английского архитектора. В концепции этого здания нашли свое воплощение технические идеи «фулеровского геодезического купола», Фостер активно использовал эти идеи в ряде других своих проектов, в том числе в знаменитом лондонском офисном центре Swiss Re, и в этом контексте Пирамида, сооруженная в Астане, — это новая ступень в общемировой традиции архитектурного авангарда. Фостеру принадлежит принципиально новая концепция высотного здания, которая противостоит традиционным небоскрегам. Его здания с открытыми планами и конструктивными схемами геодезических куполов олицетворяют появление нового метода в архитектуре. Фостер считает, что его здания — не набор визуальных характеристик, а отражение нового метода. Метод заключается в том, что средства новых технологий используются в соответствии с ситуацией места. Это новый экологический подход к архитектуре, основанный на точном расчете не только технической формы здания, но и его исторического, культурного контекста. Фостер является фигурой знаковой в архитектуре модерна. Его сооружения воплощают идеи Мисс ван дер Роэ, который ставил технику во главу угла и считал, что техника, достигая настоящего совершенства, переходит в архитектуру. Фостер в своем творчестве довел до логического конца эти идеи.

Но, с другой стороны, в фостеровской Пирамиде сочетается техническая целесообразность архитектуры хай-тека с символическим содержанием пирамидальной формы. Хай-тек всегда с момента своего возникновения в 80-е гг. прошлого столетия тяготел к символизму и метафорическим «высказываниям». Отсюда возникает вопрос о глубине символической провокации, пирамиды в разных дискурсивных практиках являются объектами с повышенной мифоген-

ностью. В разрезе египтологии мы используем понятие пирамиды как храма скорби и памяти, как вызов вечности. В герменевтической традиции, наоборот, пирамида ассоциируется с храмом зиккуриатом, с местом первой жертвы. Сложность интерпретации этого объекта подчеркивается еще и тем, что в самой кочевой культуре и казахов, и предшествующих им насельников Казахстана не встречается образ пирамиды. Танатологический аспект у кочевников выражен в более мягких шатровых формах, такой четкой пирамидальной геометрии не встретить ни в зейратах (погребальных склепах), ни в бытовой архитектуре.

В то же время с ландшафтной точки зрения Пирамида удачно вписалась в концепцию разнообразных архитектурных объемов нового административного центра. Кроме пирамидальной формы эспланада насыщена сооружениями в виде усеченных конусов, зданиями, с косыми скатами, «танцующими» гранями, в форме «яйца».

Для Астаны Фостером был предложен проект Пирамиды с основанием 62 на 62 метра и такой же высотой в 62 метра. Фасад здания отделан каменными плитами со стеклянными проемами, ведущими во внутренние помещения. Верхняя часть Пирамиды украшена витражами, для росписи которых был приглашен к сотрудничеству художник Брайн Кларк, автор витражей «Северная роза» в Нотердаме.

Как считает Фостер, «хотя пирамида возведена в основном из камня, создается такое впечатление, что она очень воздушная и может взлететь. Она противоположна классической пирамиде, которая тверда, постоянна и очень устойчива. В нашей пирамиде главная концепция — свет и духовность. Самое важное помещение Дворца находится на вершине пирамиды — это конференц-зал для съезда представителей мировых религий. Оно характеризует победу добра над злом» [10]. На совершенно другой аспект архитектурной символики обращает внимание Ле Корбюзье: «Постиндустриальные технологии открывают возможности индивидуализации продуктов промышленного производства и сервиса. Высокие технологии начинают перерабатывать не только материю и энергию, но материю, энергию и инфор-

мацию. Они сделали реальным массовое создание объектов, каждый из которых индивидуален, а качества, закладываемые в них, изменяются от одного к другому в соответствии с заданной программой» [11, с. 56].

В реальности здание пирамиды перегружено символическими цитатами, например, поскольку вход в Пирамиду располагается на уровне подземного этажа, то вы попадаете в холл, окрашенный в черные, серые цвета, и только постепенно, поднимаясь этаж за этажом, вы освобождаетесь от этого гнетущего чувства тяжести, которое вы испытываете на первых этажах.

Для мэтра современной постмодернистской архитектуры Астана в свою очередь интересна тем, что это возможность найти такого заказчика, который оплатит его рискованные проекты, потому что они будут иметь знаковый характер первого в мире, самого оригинального, самого смелого. Так, например, он предложил вариант «крытого города», в котором предлагается накрыть целый микрорайон «стеклянной» крышей, которая летом открывается, а зимой позволяет создать внутри квартала комфортный для жителей микроклимат. Это очень старая идея, которая была артикулирована еще в начале XX в., и до сих пор с технической точки зрения она еще не воплощена в реальность. Таким образом, если удастся воплотить этот проект в Астане, то это будет означать, что город справился со сложнейшей задачей-вызовом, которая стояла перед архитектурой XX в., и символизировать техническую мощь столицы Казахстана.

Еще один проект, реализация которого уже начата, — это крупный торгово-развлекательный комплекс «Хан-шатер», представляющий собой сооружение шатровой формы высотой 200 метров и 200 метров в диаметре. Фостер предложил построить «Хан-шатер» из светопрозрачных материалов, которые будут обеспечивать эргономический режим под куполом, то есть, с одной стороны, здание будет выглядеть как классический образец стеклянной архитектуры, а с другой — в техническом плане в нем будут наконец-то разрешены те недостатки, из-за которых стеклянная архитектура критикуется.

Архитектура стеклянных призм с середины 1960-х держит первенство на признание ее в качестве современной архитектуры. Облегченные фасады, широкая цветовая палитра придают таким зданиям дополнительные смыслы, которые в рамках традиционной архитектуры камня и бетона не могли бы быть актуализированы. Для стеклянной архитектуры Астаны как продолжения традиции Мисс ван дер Роэ и Фуллера характерно преобладание инженерной составляющей, акценты здесь технического характера, эстетика ограничивается выбором цвета фасада. Хотя в последнее время появились новые проекты казахстанских архитекторов, получивших Гран-при на различных международных конкурсах за новые образы в архитектуре. Эксперименты отечественных архитекторов связаны с объединением традиции стеклянной или иначе еще называемой интернациональной архитектуры с символическим багажом казахской культуры. Как пишет журналист А. Токаева: «Силуэты трех высотных зданий разной этажности с закругленными кверху корпусами и вправду напоминают древнетюркские каменные изваяния (балбалтасы), которые обычно изображают богов или легендарных полководцев и встречаются в казахской степи» [12]. Такого рода символизация встречается очень часто в Астане, и хотя существуют попытки качественного перехода к региональной архитектуре, в целом Астана находится под влиянием и в поле технических возможностей постмодернистской архитектуры.

Астана как текст раздвигает наши представления о казахской культуре, открывает новые смысловые перспективы для понимания феноменальной открытости этого текста. Фиксируя поэтапное заполнение столицы новыми архитектурными решениями, новыми скульптурами и новыми градостроительными планами, мы наблюдаем, как этот город репрезентирует собой всю казахстанскую культуру. Таким образом, Астана на сегодняшний момент является своеобразным полигоном, на котором происходит сражение различных методологических подходов как в архитектуре, так и в рефлексивной попытке осмысливать уже построенное.

ЛИТЕРАТУРА

1. Шекли, Р. Город-мечта, да ноги из плоти / Р. Шекли // Утопия и утопическое мышление: антология зарубежной литературы. М., 1991. С. 364–376.
2. Дильтей, В. Введение в науки о духе / В. Дильтей // Зарубежная эстетика и теория литературы XIX–XX вв. Трактаты, статьи, эссе. М., 1987. С. 108–135.
3. Ницше, Ф. Антихристианин / Ф. Ницше // Сумерки богов. М., 1989. С. 17–93.
4. Шелер, М. Положение человека в космосе / М. Шелер // Проблемы человека в западной философии. М., 1988. С. 31–95.
5. Барт, Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры / Р. Барт. М., 2003.
6. Ямпольский, М.Б. Наблюдатель. Очерки истории видения. / М.Б. Ямпольский. М., 2000.
7. Беньямин, В. Московский дневник / В. Беньямин. М., 1997.
8. Хайдеггер, М. Исток художественного творения / М. Хайдеггер // Работы и размышления разных лет. М., 1993. С. 47–119.
9. Лотман, Ю.М. О метаязыке типологических описаний культуры / Ю.М. Лотман // Избранные статьи: в 3 т. Таллин, 1992. Т.1. С. 386–392.
10. Деррида, Ж. Письмо и различие / Ж. Деррида. СПб., 2000. С. 432.
11. Фостер, Н. Интервью казахстанским журналистам. <http://www.irn.ru/news/12880.html>
12. Ле Корбюзье. Декоративное искусство сегодня / Ле Корбюзье // Архитектура XX века. М., 1977.
13. Токаева, А. «Три «балбалтаса» и танцующие дома. Проекты казахстанских архитекторов взяли Гран-при на конкурсе в Москве / А. Токаева // Экспресс-К. № 233 (15891) от 13 декабря 2005.
14. Куракава, К. Мегалополис XXI века никогда не останется в росте / К. Куракава // Проект Россия. 2003. № 4. С. 21–24.

ABSTRACT

This article considers how classic urban theories work with the empirical material of the new capital of Kazakhstan – Astana. The conclusions of the analysis relate to the nature and essence of Astana, and particularly to the post-modern character of its architecture. The author analyses the city, from the viewpoint of philosophical anthropology, as a center of humanity, as capable of creating its own project to

be inscribed in the world. Astana is considered as an anthropological game for creating a new city.

Keywords: architecture, power, city, impressionism, expressionism, culture, nomad, postmodernism, symbol, steppe, reflection, ideal city.

**Р.С. ГОРОДА:
УРБАНИЗАЦИЯ
ПОД ВОПРОСОМ?**

ТАШКЕНТ: ОТ ИСЛАМСКОГО К (ПОСТ)СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМУ И (ПОСТ)КОЛОНИАЛЬНОМУ ГОРОДУ

Данная работа посвящена Ташкенту, бывшей неофициальной столице советского Востока, одному из самых «многослойных» с исторической точки зрения городов Центральной Азии. Опираясь на результаты полевых антропологических исследований (биографические интервью и прогулки с жителями Ташкента), а также мемуарные источники, онлайн-дискуссии, репрезентации города на открытках, туристических буклетах и т.п., автор описывает ключевые «нервные узлы» городской среды Ташкента (физической и социальной), рассматривая их также и в исторической перспективе.

Во-первых, это структурирование Ташкента государством как витрины достижений имперской администрации, советской власти, узбекской нации. Во-вторых, это противостояние двух групп – автохтонной (узбеки) и пришлой (русскоязычные – не только русские, но евреи, волжские и крымские татары, армяне, немцы). В эпоху Российской империи оно выступало как оппозиция двух городов – Нового (русского) и Старого (туземного). Советская власть взяла курс на смешение русскоязычных и узбеков в хрущевских и брежневских новостройках. Однако разделение не исчезло, а лишь утратило четкую географическую привязку и перешло на уровень отдельных кварталов, домов, рынков, мест отдыха, повседневных интеракций.

Ключевые слова: город-витрина, колониализм, невидимая граница, символическая политика, Советский Восток, этничность и город.

Центральная Азия не избалована вниманием урбанистов. Регион не был интересен ни классической традиции (Wirth, 1938; Зиммель, 2002), осмыслявшей

города капиталистического Запада, ни теории исламского города¹, который локализовался на Ближнем и Среднем Востоке. Даже исследования социалистических городов опирались преимущественно на Восточную Европу и РСФСР (Andrusz et al., 1996; French, 1995). Вместе с тем Центральная Азия способна поразить урбаниста своей культурной гибридность: развитая городская инфраструктура Великого шелкового пути; потом, в XIX в., уникальный для Российской империи опыт возведения колониальных городов, аналогичных британским или французским (King, 1995; Wright, 1997), а начиная с 1920-х гг. — вовлечение в социалистическую градостроительную практику, опять же со своей спецификой, прежде всего, неустранимым различием автохтонного и пришлого населения («националы» и «европейцы»). После распада СССР регион не утратил своеобразие (назовем, например, сверхамбициозные политические проекты перестройки городского пространства — новую столицу Казахстана Астану и Ашхабад Туркменбаши), но вместе с тем становится ареной для развертывания процессов, общих как минимум для всего постсоциалистического мира — разрушение и/или коммерциализация городской инфраструктуры, приватизация и сегментация пространства, появление районов «африканских» трущоб и закрытых кварталов богатых².

Данная работа посвящена Ташкенту, одному из главных городов региона. После присоединения Центральной Азии к России он был столицей Туркестанского генерал-губернаторства, в советское время — неофициальной столицей «Красного Востока» (Balland, 1997), а сейчас это главный город независимого Узбекистана, одной из региональных держав-гегемонов (наряду с Казахстаном). При СССР, благодаря высокой концентрации научных, культурных и образовательных учреждений, а также чрезвычайной этнической пестроте своего преимущественно русскоязычного населения, Ташкент стал воистину мукультикультурным («интернациональ-

¹ Ее критический анализ см. в: Abu-Lughod, 1987.

² Эти процессы всесторонне рассмотрены, например, в: Blank, 2004; Bodnar, 2001; Humphrey, 2002: 174–201.

ным») и космополитичным городом³. Ему, равноудаленному от имперского центра и от своей узбекской периферии, привыкшему жить своей жизнью, после 1991 г. пришлось адаптироваться к существованию вне канувшей в Лету союзной экономики, в постколониальном и национализирующемся (Брубейкер, 2000: 10-11) государстве — судьба, сходная с той, что постигла Шанхай в маоистском Китае или Александрию в насеровском Египте (Della Dora, 2006).

Рассказав об истории города, я подробно останавлиюсь на двух ключевых «нервных узлах» городской среды современного Ташкента (как физической, так и социальной). Во-первых, это структурирование его государством: сначала имперской администрацией, потом советскими властями и, наконец, новой национальной элитой. При этом каждый из трех проектов стремится стереть все следы предыдущего, что вызывает у жителей города смешанные чувства — от гордости за новые роскошные здания до ностальгии по разрушаемой среде обитания. Во-вторых, это противостояние двух групп горожан — автохтонной (узбеки и некоторые другие — казахи, таджики, уйгуры) и пришлой (русскоязычные — не только русские, но евреи, волжские татары, армяне; сосланные Сталиным в Узбекистан немцы, крымские татары, дальневосточные корейцы). В эпоху Российской империи это разделение выступало как противостояние двух городов — Нового (русского) и Старого (туземного). Советская власть взяла курс на ликвидацию колониального барьера и на смешивание русскоязычных и узбеков в хрущевских и брежневских новостройках. Однако разделение не исчезло, лишь утратило четкую географическую привязку и перешло на уровень отдельных кварталов, домов, рынков, мест отдыха, повседневных интеракций. В заключение я расскажу о пространствах, существующих параллельно или даже вопреки этим двум си-

³ Лучшее, что написано о советском Ташкенте, написано постфактум: полуавтобиографический роман эмигрантки Дины Рубиной «На солнечной стороне улицы» (М., 2006) и стихи, эссе, воспоминания авторов, принадлежащих к Ташкентской поэтической школе (литературные альманахи «Малый шелковый путь», вып. 1–4)

лам — альтернативных публичных местах городских парков и жилых дворов.

Статья написана на материале полевых исследований, проведенных автором в Ташкенте в 2002 и 2004 гг.: моих собственных прогулок по городу, глубинных интервью с ташкентцами⁴ (что они думают о недавних изменениях городской среды, какие городские проблемы для них наиболее актуальны, на какие районы они делят город и т.п.) и основана на новом гибридном методе go-along (Kusenbach, 2003) — интервью во время прогулок с информантами по наиболее значимым для них местам города.

ОТ ИМПЕРСКОГО МОДЕРНА К СОВЕТСКОМУ ЭГАЛИТАРИЗМУ: ТАШКЕНТ В 1865–1966 гг.

Развитая городская цивилизация в Центральной Азии насчитывает несколько тысячелетий. Базары, мечети и медресе городов, стоявших на Великом шелковом пути, в оазисах Маверранахра (арабское название междуречья Амударьи и Сырдарьи), ни в чем не уступали каирским и багдадским. Однако с упадком этого трансконтинентального торгового пути (с XVI в.) и при непрекращающихся вторжениях кочевников из Великой Степи (начиная с разрушительного монгольского нашествия в XIII в.) среднеазиатская городская экономика постепенно захирела. Окруженный мощными и агрессивными соседями (шиитская Персия с запада, империя Цинов с востока, Россия с севера), в XVIII–XIX вв. регион оказался в почти полной изоляции от внеш-

⁴ По причинам политического характера мне пришлось набирать информантов по методу «снежного кома», что создало некоторый перекоп в сторону: а) русскоязычных; б) культурной элиты (университетские преподаватели и студенты, журналисты, психологи). Такой сдвиг оправдан только тем, что, по мнению культурных географов, представители этих групп наиболее рефлексивны и дают наиболее яркие и артикулированные тексты о городе (личное общение с С. Рассказовым, 2004). Разумеется, я старался быть предельно критичным к мифологиям этих групп. В общей сложности я провел 18 глубинных интервью (в среднем по 90 минут) и 10 прогулок go-along (от 1 до 3 часов).

него мира. В 1865–1875 гг. местные княжества были включены в состав Российской империи.

Начиная с XVIII в., когда «столичные» города региона (Бухара и Самарканд) клонились к упадку, Ташкент активно развивался как центр торговли со Степью (и Россией), находясь под контролем то северных кочевников (казахов и калмыков), то расположенного к югу от него Кокандского ханства (Ходжиев, 1990). Практически сразу же после прихода русских, в 1865 г., Ташкент был назначен столицей Туркестанского генерал-губернаторства — частью в пике традиционным городам региона (где к новой власти было весьма настороженное отношение), частью благодаря его давним торговым связям с Россией. К 1914 г. население Ташкента, нового политического и экономического центра Центральной Азии, выросло с 60 тыс. (1865 г.) до 271 тыс. человек (Balland, 1997: 225), во многом благодаря эмигрантам — чиновникам, торговцам, военным, рабочим, селившимся в так называемом Новом городе. Имперский Ташкент строился по модели классического колониального города: «европейская» часть с четкой планировкой, широкими прямыми улицами, концентрацией военных и административных учреждений, призванная показывать наглядный пример западного порядка и рациональности на фоне «туземной» части с ее запутанными пыльными улочками, глинобитными домиками, базарами, грязью и перенаселенностью⁵ (ил.1).



Ил. 1. Ташкент: Старый и Новый город в XIX в.
Источник: www.tashkent.freenet.uz.

Но еще в XIX в. это идеально-тотальное (территориальное, этническое, политическое, экономическое, культурное) различие начало размываться. К ужасу имперских ревнителей чистоты, «туземцы»

⁵ О колониальном городе см., например: King, 1991, 1995; Nas, 1997.

модернизировались и начали претендовать на ведущие роли в торговле и товарном земледелии, а массы неквалифицированных трудовых мигрантов из Центральной России своими трущобами роняли достоинство белого города (Сахадео, 2004; Sahadeo, 2007: 108–162) (ил. 2).



Ил. 2. Карта Нового города (1890 г.). Старый город – справа, его контуры специально обрисованы нечетко. Господствующая над обеими городами крепость была построена в 1865 г.

В беспокойные годы от революции 1905 г. до Первой мировой войны в отношениях между русскими колонистами и метрополией (которую все больше корили за равнодушие к судьбе «европейской цивилизации» в Туркестане), между русскими и местным населением, а также между консерваторами и «модернистами» среди туземной элиты нарастала напряженность, вылившаяся в ряд открытых конфликтов во время революции и Гражданской войны (1916–1921) (Khalid, 1996; Sahadeo, 2007: 163–207). Советская власть, к середине 1920-х гг. крепко утвердившись в Центральной Азии, сознательно стремилась избавить Ташкент (столицу Узбекской ССР с 1930 г.) от тяжелого дореволюционного насле-

дия — разделения на Старый и Новый город (ил. 3). «С каждым годом все больше стирается во внешнем облике узбекской столицы разница между “старым” и “новым” городом, все явственнее проступают очертания единого социалистического Ташкента — города монументальных ансамблей, воды, зелени и солнца» (Виткович, 1953: 32).



Ил. 3. Мост через канал Анхор, ранее разделявший «туземный» и русский Ташкент
(Источник: В. Виткович, «Путешествие по советскому Узбекистану»)

Однако при Сталине изменения в городской среде Ташкента были скорее символическими — например, снос кафедрального собора на главной площади, уступившего место памятнику Ленину и правительственным зданиям, а также обустройство Шейхантаурской улицы (ныне проспект Навои), объединяющей оба Ташкента и застроенной ключевыми учреждениями (министерства угледобычи, гидроэнергетики, сельского хозяйства; центральный телеграф) и жилыми домами республиканской номенклатуры (Bell, 1999: 189–193). Физический и социальный ландшафт Ташкента в целом оставался достаточно стабильным до землетрясения 1966 г., «благодаря» которому разрушение традиционной среды (как восточной, так и русской одноэтажной застройки), уступившей место широким проспектам и железобе-

тонным 5, 9 и 12-этажкам, многократно ускорилось. (ил.4).



Ил. 4. Разрушения 1966 г. Источник:
www.tashkent.freenet.uz

До сих пор «шестьдесят шестой» в памяти горожан остается крайне противоречивым событием. Официальная версия звучит так: дружная семья народов (русские, украинские, армянские, чешские, немецкие строители) спешит на помощь узбекским братьям, оставшимся без крова, и через 1000 дней на руинах прошлого встает образцовый социалистический город (Ташкент, 1984: 132–134). Однако землетрясение, возможно, не было столь уж разрушительным — есть мнение, что оно было лишь поводом для наступления на «старорежимный» уклад города, а для архитекторов и градостроителей — шансом претворить в жизнь свои амбициозные «лекорбюзьешные» проекты (Абрамов, 2006) (ил. 5).

Некоторые узбеки из числа моих информантов утверждали, что под соусом «братской помощи» союзные власти наводнили Ташкент русскими переселенцами — именно им в первую очередь выделялись квартиры в новых городских районах. Напротив, по словам информантов из числа ташкентских русских старшего поколения, именно Новый город пострадал больше всего (узбекские дома, построенные по древним технологиям, оказались более сейсмоустойчивыми). Кроме того, алкоголики, алиментщики и охотники за длинным рублем, налетевшие в Ташкент со всех концов Союза, нанесли смертельный удар «старому» русскому Ташкенту, которому до этого удавалось сохранять свою высокую дореволюционную культуру.



Ил. 5. Новые жилые районы.
Источник: Ташкент
(буклет для туристов), б.д. (сер. 1970-х)

Однако, при всей противоречивости интерпретаций, землетрясение 1966 г., безусловно, стало травмой для всех ташкентцев: с одной стороны, твой родной дом рушится или срывается бульдозером; с другой — ты въезжаешь в новую комфортабельную квартиру (а также открывается метро, новые стадионы, кафе, театры). С 1960-х гг. площадь и население города постоянно росли, главным образом за счет новых жилых районов (Чиланзар, Высоковольтный, Каракамыш, Сергели): около 626 тыс. горожан в 1950-м г., 2113 тыс. — в 1991-м (Ташкент, 1984: 222-223; Balland, 1997: 225).

Замечу, что, говоря о Ташкенте после 1966 г. (и вообще о послевоенном периоде), едва ли приемлемо определять неузбекских жителей Ташкента чисто этнически, как «русских». Далее в статье я буду называть эту группу «европейцами» — местным (ташкентским) термином для городского, русскоговорящего, мультиэтничного населения, прибывшего в регион в основном в советскую эпоху. Кроме русских, в эту группу входят украинцы, белорусы, еврей-ашкеназы,

немцы, поляки, дальневосточные корейцы, волжские и крымские татары, греки, болгары и др. Несмотря на все этнические, лингвистические и религиозные различия между этими народами, а также все разнообразие дорог, которые привели их в регион⁶, местным населением они воспринимались как относительно гомогенная группа, сформировавшая к позднесоветским годам общую светскую/советскую идентичность (Smith, 1999; Melvin, 1998: 34; Космарская, 2006). Большинство «европейцев» Узбекистана проживают в Ташкенте, который до сих пор остается русскоязычным городом.

На землетрясении 1966 г. заканчивается относительно хорошо документированная (Bell, 1999: 188–198; Sahadeo, 2007; Stronski, 2003) и беспроблемная история Ташкента — ближайшее прошлое города описывается его жителями с разных, нередко полярных точек зрения. Поэтому в оставшейся части статьи я постараюсь показать современный Ташкент глазами его жителей, обращаясь к прошлому от настоящего — через генеалогию (понимаемую по М. Фуко) тех или иных современных явлений, их укорененность в советской эпохе. Промежуточный итог пока таков: лейтмотивы городской жизни Ташкента — это мощное присутствие государства (имперского, советского, узбекского), трансформирующего его ландшафт в своих целях, и дихотомия «европейское» versus «местное» (или, как говорят сейчас, «национальное»), эволюционировавшая от четкого противопоставления двух Ташкентов к более сложным моделям.

ОТ ГОРОДА-ВИТРИНЫ К «ЗАПРЕТНОМУ ГОРОДУ»: ТАШКЕНТ В РУКАХ ГОСУДАРСТВА

Наверное, лучше всего начать прогулку по Ташкенту со сквера имени Амира Темура (бывший сквер Революции). В самом центре возвышается конная статуя этого властелина — последнее звено в длин-

⁶ Немцы, корейцы и крымские татары были депортированы в 1937–1944 гг. (Полян, 2001); греки — политэмигранты 1940-х; болгары приехали для обмена опытом в 1950–1960-е (Этнический атлас Узбекистана, 2002: 52–57, 62–66).

ной череде памятников (среди прочих К. П. фон Кауфману, первому генерал-губернатору Туркестана, и Карлу Марксу). Но парк интересен не только этим (ил.6).

«Место называется Сквер. Именно так, с заглавной буквы.

В Ташкенте, как в любом городе, есть несколько центров. Торговый, конечно — базар, чрево... Есть административный центр, официальный, назначенный. С ним все понятно, хотя и о нем ходят истории, заслуживающие внимания.

А есть еще один центр — не официальный, не лицо города и не чрево его — душа. Душа города, как и души его жителей, деформировалась временем, отражая просветления и преступления переживаемых эпох, но, мне кажется, дается человеку дополнительный шанс в том городе, душой которого оказался парк, сквер, скопище деревьев, скамеек, дорожек, посыпанных красным песком» (Книжник, б.д.: 41).



Ил. 6. Сквер и статуя Тамирлана, 2006
(фото LJ-юзера masquaraboz)

В советское время (впрочем, как и сейчас) парк считался слишком маленьким для проведения массовых мероприятий и выступал в роли главного неофициального публичного места Ташкента. Здесь горожане прогуливались и назначали свидания, здесь собирались хиппи, стилиги и проститутки (в 1970-х гг. место основной дислокации последних сдвинулось восточнее, к новой гостинице «Узбекистан»). В близлежащих кафе можно было съесть мороженое или выпить пива; как вариант — распить бутылку водки на одной из скамеек в более укромных уголках парка.

Сейчас «Сквер» чист и ухожен, но пустынен, за исключением милицейских патрулей и редких бабушек, продающих цветы или предлагающих взвеситься. Тамерлан, считающийся ныне отцом узбекской государственности⁷, господствует над ландшафтом (по соседству сверкает огромный бирюзовый купол его музея).

«Вот смотрите, сейчас в центре — одни стройплощадки, несколько роскошных небоскребов и много новых особнячков за высокими заборами. Какие-то занимают зарубежные фирмы, но в основном это государственные структуры, — рассказывает мне Андрей⁸ (род. в 1955, критик), пока мы идем от «Сквера» к улице Ататюрка (бывшая Кирова). — В Ташкенте брежневского железобетона и этих новомодных тонированных стекол уже не узнать город моего детства, город журчащих арыков и одноэтажных домиков, утопающих в зелени».

Подобные высказывания о Ташкенте мне приходилось слышать чаще всего, и, даже если убрать ностальгический элемент, они не слишком расходятся с фактами. После 1991 г., несмотря на сложную экономическую ситуацию⁹, узбекские власти превра-

⁷ О месте этого правителя в идеологии современного Узбекистана см., напр.: Manz, 2002: 56-66; March, 2002: 374-377.

⁸ Имена информантов изменены из соображений конфиденциальности.

⁹ Доходная часть бюджета страны складывается в основном за счет экспорта хлопка и золота. Диверсификация и рост экономики тормозятся, во-первых, из-за огромного и малорентабельного сельского хозяйства; во-вторых, из-за нежелания правительства проводить масштабные экономические реформы. В 1990-е гг. решение властей сохранить социалистическую систему (т.е. социальные гарантии и государственный контроль над экономикой) воспринималось населением позитивно — «советская Византия» сильно выигрывала в сравнении с соседями, переживавшими шоковые реформы (Россия, Казахстан, Киргизия) или гражданскую войну (Таджикистан). Однако к середине 2000-х госконтроль над экономикой стал восприниматься как нечто бессмысленное и неэффективное — опять же, образцом для сравнения выступает ныне процветающий северный сосед, Казахстан: в 2005 г. ВВП на душу населения там составил 3700\$, тогда как в Узбекистане — 400\$ (Economist, 2006).

тили Ташкент в гигантскую стройплощадку. Ключевые проекты, воспроизводимые на бесчисленных открытках, буклетах для туристов, почтовых марках и т.п., можно разделить на три группы.

Во-первых, это памятники и общественные здания, вписывающие в городской ландшафт идеологию национальной независимости и «узбекскости» (Bell, 1999: 201–205) – статуи Тамерлана, поэта Алишера Навои или новый Олий Маджлис (парламент, ил. 7).



Ил. 7. Олий Маджлис. Фото автора

Во-вторых, это роскошные резиденции государственных мужей – новая городская администрация (хокимият, ил. 8) или президентский дворец. Аура неприступности вокруг этих строений создается когда военными/милицейскими патрулями и блокпостами, когда – высокими заборами, но всегда – золотыми тонированными стеклами, создающими то, что один мой собеседник назвал мафиозностью – «они нас видят, а мы их нет».



Ил. 8. Новый горхокимият. Открытка из набора, выпущенного в 1999 г.

Наконец, это многочисленные отели экстра-класса, бизнес-центры и банки, с точки зрения архитектуры нечто среднее между модернизмом (структура) и постмодернизмом (блестящие, кричаще яркие стройматериалы). Для гостей из-за рубежа, граждан страны, да и для самих власть имущих, эти здания призваны демонстрировать прогрессивное развитие рыночной экономики в Узбекистане. Однако это впечатление оказывается несколько смазанным из-за того, что стоят они в основном незаконченными или полупустыми, и местными жителями воспринимаются как чужеродные вкрапления в привычном городском пейзаже — отсюда клички вроде «Дарт Вейдер» (ил. 9) или «Торт» (ил. 10).



Ил. 9. Отделение Национального банка Узбекистана около метро «Гафур Гулам». Фото автора



Ил. 10. Строящийся отель и бизнес-центр, ул. Шахрисабз. Фото автора

Впрочем, роль потемкинской деревни, выставки государственных достижений Ташкенту не внове.

Для многочисленных гостей с Запада и особенно из стран третьего мира¹⁰ послевоенный Ташкент должен был служить витриной «Красного Востока»: с одной стороны, успехи в здравоохранении, образовании, женской эмансипации, индустриализации; с другой — узбекоязычные театры и опера, несколько тщательно отреставрированных мечетей и единственное действующее советское медресе должны были показать беспочвенность обвинений во враждебности к национальным культурам и к исламу, выдвигаемых против СССР его идеологическими противниками. Похожую роль города гостеприимства и показухи Ташкент играл и в отношениях с Кремлем — негласная снисходительность союзных властей к нелегальной экономической деятельности региональной элиты (в обмен на публичную лояльность и выполнение поставок хлопка) находила свое выражение в роскошных банкетах и музыкальных представлениях в честь делегаций из Москвы.

Во многом из-за растущей, при невмешательстве Центра, реальной власти национальных региональных элит в бурные перестроечные годы здесь не развилось мощного освободительного движения (в отличие, например, от прибалтийских республик). Независимость застала правящие слои врасплох, и они «не только не были дискредитированы из-за своей связи с коммунистическим режимом, но, более того, воспринимались как гарант стабильности в неспокойные времена» (Akiner, 1998: 20). В Узбекистане оппозиционные движения национальной интеллигенции («Бирлик» и «Эрк») были ликвидированы как политическая сила к 1992 г. (Melvin, 2000: 35ff): Ислам Каримов (президент страны, бывший генсек республиканской компартии) переиграл оппозицию на ее же поле, частично взяв националистическую идеологию на вооружение в целях легитимизации собственной власти. Был принят новый закон о языке, провозгласивший узбекский языком межнационального общения (вместо русского) (Bohr, 1998); гра-

¹⁰ В Ташкенте проходили международные кинофестивали (каждые два года после 1968 г.), конференции писателей третьего мира и международные исламские конференции (каждые три-четыре года после 1965 г.) (Balland, 1997: 237).

фика узбекского была переведена с кириллической на латинскую — знак разрыва с советским прошлым и ориентации на Запад; в учебниках истории подчеркивается древность и величие узбекской цивилизации.

Что касается городского ландшафта, то здесь надо вспомнить, что в советские времена господствующее представление о культурах населяющих страну народов как «национальных по форме и социалистических по содержанию» выражалось в ташкентской архитектуре тем, что типовые многоэтажки украшались орнаментальными решетками для защиты от солнца (панджара) — своего рода отсылка к местной архитектурной традиции. Сходным образом «приручали» местную культуру градостроители французской колониальной Северной Африки (Wright, 1997: 330) — однако магрибинцы в итоге потребовали вместо навязанных извне «аутентичных» архитектурных знаков полной культурной (а затем и политической) автономии. Узбекская же элита скорее интернализировала советско-ориенталистскую версию собственной культуры¹¹ и даже после 1991 г. выражает новую национальную идеологию в старых советских формах, от лозунгов (ил. 11) до общественных зданий — словно обретших третье измерение декораций к сталинским постановкам узбекских опер (ил. 12).



Ил. 11. Лозунг, под ним — вывеска бутика (рядом с метро «Хамид Олимджан»). Фото автора

¹¹ Эта идея, на материале современного узбекского театра, активно разрабатывается Лорой Адамс (Adams, 1999).



Ил. 12. Музей Амира Темура.
Открытка из набора,
выпущенного в 1999 г.

Таким образом, официальный образ Ташкента — столица процветающего государства с развитой национальной культурой. Однако изнанка этого образа — разрушение исторического центра города (иначе откуда взять землю для вышеупомянутых проектов?). Первоочередными кандидатами на снос выступают наиболее «русские» публичные здания (театры и библиотеки), а также городские парки (дающие много места под стройки)¹². Такого рода «творческое разрушение» городской среды, осуществляемое капиталистами или государством, знакомо многим современным городам, от Бейрута (Makdisi, 1997) до Гонконга (Abbas, 1999). Что, впрочем, представляется уникально ташкентским в такой городской перестройке, так это острое ощущение присутствия (и воли) одного человека — Ислама Каримова, президента Узбекистана. Несколько центральных улиц полностью перекрыты для блокировки доступа к его резиденции; трамвайные линии скрыты, здания снесены; деревья и кусты в парке около правительственной трассы срублены (так как там могут спрятаться террористы); крыши в разных районах города зарезервированы для сотрудников службы безопасности. Но в то же время районы, которые пересекает президентская трасса, не страдают

¹² Ностальгирующие выходцы из Ташкента и оппозиционеры пытаются вести учет сносимых зданий на своих форумах и сайтах (см., например, тему «Ташкентские страницы» на форуме Ферганы.Ру — <http://forum.ferghana.ru/viewtopic.php?t=16>).

от перебоев с электричеством (город должен выглядеть благоустроенным!).

Неприкрытая неприязнь властей к деревьям, кустам и иного рода бесконтрольным зеленым насаждениям достигла своего пика к середине 2000-х — как следствие нового источника легитимности правительства: паранойя (эксплуатация страха людей перед терроризмом, исламским фундаментализмом и т.п.) вместо государственного патернализма (Liu, 2005: 436). «Зачистка» города от деревьев теперь идет по всему Ташкенту, не только около правительственных зданий — в городе, где температура летом нередко доходит до 40–50 °С. Проекты Ташкента — комфортного города и города-витрины — уходят в тень, уступая приоритет необходимости выкроить в нем безопасное пространство для высших лиц государства¹³.

...Стараясь не привлекать внимание милиции (как меня предупредили, нельзя снимать ничего в городе, а тем паче правительственные здания, не имея разрешения Союза журналистов или художников), мы с Андреем завершаем нашу прогулку на площади Независимости — огромном плацу, окаймленном министерскими зданиями и украшенным «глобусом Узбекистана», вставшим в 1992 г. на место памятника Ленину (ил. 13, 14).

Выжженная солнцем и пустынная (когда там не проходят государственные праздники), эта площадь словно символизирует господство государственного «пространства спокойствия» в центре города. «Центр» Ташкента в современном европейском понимании (место прогулок, общения и потребления) распался и сдвинулся — к безымянным «паркам», слишком незначительным для милицейских патрулей, где можно спокойно погулять, посидеть и даже

¹³ Отношение моих информантов к «творческому разрушению» привычной городской среды колеблется между иронией и гневом. Впрочем, нужно отметить, что современное узбекское правительство, занимаясь безжалостной перестройкой города, лишь продолжает имперские и советские традиции. Однако сейчас она воспринимается в штыки главным образом из-за отсутствия явной «компенсации» за разрушения (в форме массовой постройки жилья, как после землетрясения 1966 г.) и из-за общего ухудшения экономической ситуации в Узбекистане в последние годы (Radnitz, 2006: 659, 667–669).



Ил. 13–14. Площадь Независимости
(Мустакиллик) —
во время и после праздника

выпить; или к периферийным станциям метро, окруженными кафе и супермаркетами, работающими до поздна — вдали от бдительного ока властей.

УЗБЕКИ И «ЕВРОПЕЙЦЫ»: ОТ СКРЫТОГО АПАРТЕИДА К СОЮЗУ СТАРОЖИЛОВ ПРОТИВ ПРИЕЗЖИХ

Обычный путь от площади Независимости к скверу Амира Темура идет по улице Сайилгох, более известной как «Бродвей» (ил. 15) — одно из самых туристических мест города. В смутное время конца 1980-х — начала 1990-х на «Бродвее» обитали уличные художники, артисты и музыканты, но к середине 2000-х улица приобрела более консьюмеристский облик — многочисленные кафе, караоке, ларьки с музыкой, тиры: место, на мой вкус, шумноватое, но не лишенное своего очарования.



Ил. 15. Бродвей в середине 2000-х.
Источник: www.ology.uz

Однако, когда во время одной из наших прогулок я предложил Марии (род. в 1980 г., студентка) пройтись по Бродвею, я был поражен жесткостью ее отказа:

«Там к тебе всё время пристают, затаскивают в эти кафешки... тебя не забрасывают попкорном развеселые узбеки просто потому, что ты идешь по своим делам. Ну да, раньше здесь было культурно, художники и всё такое, а сейчас все узбеки, приезжающие из провинции, считают своим долгом посетить площадь Мустакиллик и прошвырнуться по Бродвею».

Подобные этнически нагруженные высказывания, обычно неожиданно всплывавшие в разговорах, свидетельствуют о том, что напряжение между «европейцами» и узбеками не менее значимо для современного Ташкента, чем противостояние населения и государства. Оппозиция узбеки — «европейцы» остается актуальной, несмотря на уничтожение границы между Старым и Новым городом и вопреки сознательной советской политике стирания различий между русскоязычными иммигрантами и узбекоязычными автохтонами (обе группы должны были селиться бок о бок в новых жилых районах).

Тем не менее узбеки оказались самым крепким орешком: именно ликвидация их личности, воплощенной в исламе, крепких клановых связях и «традициях», была первостепенной задачей советского проекта. В 1989 г. 69% узбеков жили в селах (Kaiser, 1994: 203); тех же, кто переселялся в город, всеми силами старались интегрировать в русскую/советскую городскую культуру. Однако и в индивидуализирующей обстановке новых многоквартирных домов узбеки — выходцы из села или Старого города — заселяли этаж целой махаллэй, отмечали религиозные праздники, держали домашнюю птицу на балконах и т.п.

Разделение Ташкента на «европейский» и «азиатский» не исчезло, оно лишь стало менее видимым, утратило четкую географическую привязку (два города) и перешло на уровень отдельных кварталов, домов, рынков, мест отдыха, повседневных интеракций:

«Ребенком я, мои друзья, мы все знали, что можно ходить только по определенным улицам, и где махалля — всё, нельзя, надают по морде. Если тебя занесло в махаллю — всё, пеняй на себя, тебя сюда никто не звал. А сейчас этого нет: молодежь ходит смешанными компаниями, говорят на двух языках. Как в моем детстве — драки стенка на стенку, школа на школу — уже нет. То был настоящий апартеид среди детей и подростков, причем поддерживаемый с обеих сторон» (Михаил, род. в 1966 г., журналист).

«Сразу за нашей кирпичной четырехэтажкой начиналась махалля. Там жили “узбеки”, с которыми мы, “русские” мальчишки, дружно воевали. Махаллю мы побаивались. В той стороне, куда выходили окна спален, начиналось Неведомое. Махаллинцы жили иначе, нежели обитатели имперских многоэтажек (когда интенсивно разрушали Старый город, а его жителями заселяли Юнусабад и Себзар, те даже в бетонных коробах продолжали жить раз и навсегда утрамбованным укладом: разводили на балконе кур, строили во дворе топчаны, позже создавали махаллинские комитеты...). Их мир был щедро распахнут, как ворота их домов, очевиден, как обстановка внутренних двориков, — и все-таки он оставался загадочен, скрыт, непроницаем» (Янышев, 2001: 49–50).

Итак, в отличие от классических «разделенных городов» (Low, 1996: 388–389) вроде Белфаста или Бейрута, оппозиция «европейцы versus узбеки» не укрепилась ни в политическом дискурсе, ни в публичной сегрегационной политике, а проявляется в сотнях «невидимых границ» (Pellow, 1996). Этот городской феномен отражал процессы союзного масштаба — создание «двухъярусного общества» (Carlisle, 1991: 99ff): параллельное и полунезависимое существование в среднеазиатских республиках современного, городского, индустриального, русскоязычного «яруса» и «традиционного», сельского, торговосельскохозяйственного, автохтонного мира — как результат отказа хрущевской и брежневской власти от жесткой сталинской политики тотального наступления на «феодализм» в пользу компромисса с местными элитами.

В 1970–1980-е «европейско-узбекская» граница в Ташкенте достигла определенной стабильности (т.е. заинтересованные лица знали, какой двор — узбек-

ский, а какой — русский), однако после 1991 г. ситуация усложнилась.

Во-первых, эмиграция «европейцев» оказалась не столь драматичной, как ожидалось в начале 1990-х, в эпоху роста узбекского бытового национализма и общей неопределенности¹⁴. Хотя немало «европейцев» покинуло Узбекистан (прежде всего те, кого была готова принять «историческая родина» — евреи, немцы, в меньшей степени русские), нежелание властей разыгрывать карту антирусского национализма (в конце концов, это была советская элита) и незаменимость русскоязычных кадров в промышленности, сфере услуг и даже на госслужбе привели к тому, что темпы эмиграции к середине 1990-х гг. резко снизились. В 1989 г. в Узбекистане проживало 1653 тыс. русских, в 2000 г. — 1200 тыс. (Этнический атлас Узбекистана, 2002: 188).

Во-вторых, с конца 1980-х гг. всё больше узбеков из провинции переезжает в Ташкент — островок процветания на фоне остальных регионов. Наиболее зажиточные покупают квартиры (особенно освободившиеся после выезда «европейцев»), но большинство сельских мигрантов нанимается мардикерами (поденщиками) — на тяжелую, низкооплачиваемую и лишенную каких-либо правовых гарантий работу. Государство же не только не отменило, но ужесточило советский институт прописки, сделав Ташкент поистине «закрытым городом» — жители других городов и сел не имеют права проживать в столице. Вид на жительство выдается (весьма скупо) специальным комитетом при мэрии, и только в индивидуальном порядке (Кудряшов, 2005а). Такая политика, как нам представляется, проводится не только из соображений безопасности (закрыть потенциальным террористам и прочим нарушите-

¹⁴ «Насилия не было, но общая атмосфера в те годы (1990–1993. — А.К.) была весьма напряженной... В очередях можно было услышать: “Вы, русские, уезжайте в свою Россию!”. Или водитель мог остановить автобус и попросить всех русских выйти. Но скоро всё это кончилось, узбеки сами стали вздыхать по советскому прошлому. Да и брать с нас особо нечего было, ни денег, ни привилегий... В общем, мы все сейчас в одной лодке» (Ольга, род. в 1955 г., психолог).

лям спокойствия дороге в столицу), но и из страха ташкентской узбекской элиты (русифицированной и советизированной)¹⁵ перед напором и конкуренцией со стороны провинциальных узбеков. Ташкентские же европейцы, менее многочисленные, чем раньше, и лишённые привилегий, которые им предоставляло советское государство¹⁶, не только не угрожают, но и по многим параметрам ближе и «роднее» столичным узбекам, чем их сельские «соплеменники». Что характерно, «харыпом» (очень оскорбительное прозвище, примерно означающее «деревенщина»)¹⁷ сначала именно городские узбеки называли сельских, и лишь позднее его стали употреблять европейцы (применительно к узбекам вообще).

Если говорить о городе, сейчас, по нашему мнению, основная «этническая» граница пролегает уже не между русскими и узбеками (и их городами/кварталами), а между теми, кто обладает **правильным городским габитусом**, и теми, кто нет. Вести себя «нормально» (в публичных местах Ташкента) означает говорить тихо, не смеяться и не гоготать во весь голос, не жестикулировать, не задирать прохожих; для мужчин — носить пиджак правильно, а не запахивая его, как халат, для женщин — не носить одежду и макияж аляповатых цветов и т.п. Поведение, обратное предписанному, привлекает к себе

¹⁵ Появление таких культурно смешанных групп — возможно, самый ощутимый результат создания «новой исторической общности» — советского народа. Американец, посетивший Ташкент в начале 1980-х гг., пишет о «городских узбеках из высших слоев общества, которые почти не владеют узбекским. Дома, в семье они говорят по-русски и признают, что их дети, возможно, никогда не выучат узбекский. Тем не менее они считают себя узбеками» (Montgomery, 1983: 142).

¹⁶ В столицах и крупных городах Центральной Азии переселенцев из других республик нередко ставили первыми в очередь на жилье (French, 1995: 152–155; Giese, 1979: 156). Узбекистанские «европейцы» составляли большинство квалифицированных рабочих и ИТР, а также занимали важные посты в структурах союзного подчинения (армия, КГБ, некоторые научные организации).

¹⁷ Этимология этого слова до сих пор остается неясной (часто ее возводят к арабскому «гарип» — странник). См. дискуссию на: http://community.livejournal.com/ru_etymology/546238.html.

внимание, осуждается и приписывается ташкентцами¹⁸ «некультурным» узбекам — здесь сливается этническое и социальное. И если для ташкентцев-старожилов стигматизация «некультурного» поведения — способ утвердить свое символическое господство над городом, то, например, для работников милиции правильное распознавание «сельского» габитуса помогает выделять из толпы «нужных» узбеков (т.е. не имеющих прописки и вынужденных давать взятку).

В завершение — пространная цитата из интервью с информанткой-«европейкой» (Диляра, род. в 1973 г., преподаватель), показывающая, как отношение к определенным формам поведения в городском пространстве структурирует индивидуальную географию Ташкента.

«Я сажусь в метро на “Бируни” — это крайняя станция, рядом с Национальным университетом, где я работаю. Студенты, национальный поток, заходят в вагон, шумят, толкаются, на ноги наступают. Что-то говорить им бесполезно — как горохом об стенку. И так до Амир-Темура (одна из центральных станций. — А.К.). А дальше, к западу уже наши районы, и даже в метро они на глазах становятся скромнее, говорят тихо. При этом в самом Старом городе, на узбекской территории, они тоже ведут себя очень прилично — там всегда есть старшие, которые могут пристыдить. Но эта пограничная зона — всё, кроме Старого города и безусловно европейских районов — весь центр, особенно Бродвей, там происходит непонятно что».

ВНЕ ВЛАСТИ И ЭТНИЧНОСТИ: МЕСТА ПУБЛИЧНЫЕ И ПРИВАТНЫЕ

Хотя государство является главным агентом изменений ташкентского ландшафта, а этничность — основным, по нашему мнению, критерием его деления, в городе существуют менее явные пространства, относительно нейтральные и даже противостоящие этим двум силам. В относительно либеральной (особенно на задворках империи) атмос-

¹⁸ Узбеками — приезжим, «европейцами» — приезжим и «старогородским» узбекам.

фере 1970–1980-х в Ташкенте сформировалось несколько мест, вполне отвечающих западным критериям публичности. Прежде всего это городские парки (ил. 16), где свободно общалась молодежь разных культур (в противовес неявному апартеиду жилых кварталов – см. выше) и где опробовались новые практики потребления¹⁹.



Ил. 16. В летнем кафе в одном из парков Ташкента. Источник: Ташкент (буклет для туристов), б.д. (середина 1970-х)

«Комсомолка – это 20 пирожков уxo-горло-нос [из мяса непонятного происхождения] на рубль + Пепси-кола за 15 коп и в озеро. Парк Максима Горького – это видео-салон за 3 рубля (Брюс Ли, Арнольд и прочие), игровые автоматы по 15 коп., летний кинотеатр “Хива” (многие его уже забыли), летняя дискотека в парке (море мусоров и бухих), карусели. Восточка – родное место, сколько вечеров там было проведено! Кафешка в центре, в середине 80-х работали бассейны (лично купался). Теперь Восточка разбита, кафе не работает, всё запущено. Парк Фурката – великолепное место для прогулок с девушками, запущен. Парк Шумилова – лучше не ходить, ужасное зре-

¹⁹ О таком понимании публичности см., например: Zukin, 1995: 259–260, 189; Желнина, 2006).

лице. Напоминает сцену из звёздных войн. А вот парк Кирова (Бабура), я считаю, в порядке, ухожен, отремонтирован, пруд, аттракционы. На сегодняшний день — лучший парк города. Детский парк — уничтожен, теперь там Каримовская хата (будь он проклят)»²⁰.

«Я разлюбила родной город. Каким он был, каким я его запомнила в разгар нашего “романа”? Мой Ташкент — это парк в центре, где прогуливалось по воскресеньям не одно поколение горожан. Это павильончик из разноцветного стекла — как будто какой-то волшебник взял его из сказочной книжки и поставил в скверике. Это летнее купание на речке с заросшими ивами берегами, золотая осень на Анхоре — пройти по его берегам, глядя на зеленую воду, можно было от Урды до Бешагача. Это майские поездки в горы, это концерты “Яллы” в Свердлова, на которых молодые музыканты просто искрились весельем и радостью. Это приезды “европейских” родственников, походы с ними по базарам, проводы в аэропорту, заваленном дынями, улетающими во все концы нашей общей родины. Это ни с чем и ни с кем несравнимое братство ташкентцев — огромный город, разбросанный, безалаберный и грязноватый, сложенный из таких разных непохожих лиц, излучал тепло, щедрость и веселое гостеприимство. Когда произошло то, что в отношениях между людьми называют “трещиной”? Не могу сказать точно. Может, когда стали уезжать близкие люди — с которыми я училась или дружила, которые учили меня, лечили моих детей, строили и украшали этот город. А может, когда на месте знакомых с детства мест... выросли прочные ограждения, и мне показалось, что идут они не по родной земле, а по моему сердцу. Или когда... снесли здания, которые по прочности не уступали крепостным стенам, и появилось ощущение, что любимый потерял свое лицо»²¹.

Особое внимание в приведенных цитатах обращает на себя утверждение особой надэтнической ташкентской идентичности и неприятие уничтожающих ее (и значимые для нее места) постсоветских трансформаций. Однако было бы неверно считать исторически точным образ Ташкента, вырисовывающийся из воспоминаний моих информантов и из эми-

²⁰ «Родные и любимые места в Ташкенте», тема на «Форуме эмигрантов Узбекистана» (<http://fromuz.com/forum/lofiversion/index.php/t266-50.html>).

²¹ «Роман с городом», эссе анонимного автора (<http://mytashkent.uz/2006/08/27/roman-s-gorodom/>).

грантских блогов/форумов. Всё же основная функция этого ностальгического дискурса, как нам кажется, — утверждение символической власти ташкентских «европейцев» над городом, какой бы эфемерной она сейчас не была. Частный случай колониальной ностальгии: «Общаясь с представителями бывшей городской элиты [Занзибара. — А.К.], нередко можно услышать рассказы о том, как хороша была жизнь до революции [антиколониальной и социалистической революции 1970-х в Танзании, частью которой с 1964 г. является Занзибар. — А.К.]. Их излюбленная тема — урон, который изысканной городской цивилизации нанесли “новые варвары”» (Cunningham Bissell, 2005: 235). Однако в случае Ташкента «варваром» считают не узбеков, а власть — безличную силу, тупо разрушающую «гармоничный» городской порядок.

Другие, более жизнеспособные публичные места появились в полуприватном пространстве городских дворов, когда обитатели многоэтажек в новых жилых кварталах начали высаживать деревья и небольшие палисадники, чтобы спастись от жары (ил. 17). Вот как описывает этот процесс старожил Чиланзара, ташкентских «Черемушек»:

«Первоначально, согласно типовым планам, они (панельные дома. — А.К.) выглядели совершенно безлико и однородно... Палисадников не было. Но они появились вскоре усилиями самих жителей, по договоренности между собой разделивших землю....

Посадкой деревьев занялись в первую очередь семьи, чьи окна и балконы выходили на солнечную сторону. Тонированных стекол и кондиционеров в 60-е годы еще не было, а нужно было как-то защититься от зноя... Наш сосед Исламбек, переехавший в Ташкент откуда-то из-под Гулистана, первым огородил свой палисадник железными прутьями. Соорудил внутри настоящий узбекский топчан, где сидел целыми днями, попивая чай в тени крон. Насадил вокруг виноградник, достававший до 3-го этажа... Мы помогали друг другу собирать урожаи фруктов, часть которых Исламбек относил на Фархадский базар, а лишнее мы просто раздаривали соседям. В пятнадцать лет, городской подросток, я знал, как рыхлить землю по весне, удалять личинки вредителей, ухаживать за цветами, стричь секатором живую изгородь. В этом не было ничего странного — тяга к земле и патриархальному быту оказалась

одинаковой у узбеков, приехавших в Ташкент из сельской глубинки, и у столичных русских, строивших Чиланзар после землетрясения, как мои родители» (Кудряшов, 2005б).



Ил. 17. Ташкентский дворик
с палисадниками (район «Минор»).

Фото автора

Таким образом, для части ташкентцев дворики и палисадники предполагали совместный труд и общение с соседями — своего рода импровизированная дачная жизнь. Кое-кто, впрочем, воспринимал дворы как ничейную землю, огораживал и возводил гаражи и беседки для частного употребления. И если бдительные советские ЖЭКи еще могли угрожать сносом слишком рьяному нарушителю эгалитарных принципов городского пространства, то после 1991 г. приватизация дворов развернулась в полную силу — не только палисадники, но и бассейны, магазинчики, даже «японские сады» перестали быть редкостью. Попытка же властей распространить на жилые кварталы политику полной «зачистки» города (см. выше) — указ хокима (мэра) об уничтожении несанкционированных палисадников и пристроек (Ежков, 2005), оказалась безуспешной. Помимо этого, в махаллях, кварталах одноэтажной застройки, перестройка жилого фонда идет еще более свободно, благодаря чему бывший символ отсталости (с глинобитными домиками и удобствами во дворе) ныне олицетворяет собой джентрификацию — роскошные виллы, украшенные башенками и лоджиями (ил. 18). В таких махаллях пожалуй, только зрелище метущей двор невестки (чтобы заслужить благосклонность свекрови) указывает на то, что это Узбеки-

стан, а не богатый квартал в любом другом постсоветском городе.



Ил. 18. Особняки в махалле (рядом с ул. Шота Руставели). Фото автора

О политической значимости пространства двора говорит и недавняя дискуссия в одном из независимых СМИ (Каким быть Ташкенту, 2005). Один участник активно поддержал указ 2005 г.: хотя многие решения властей несправедливы и ошибочны, конкретно это распоряжение может помочь ташкентцам самим упорядочить свой город по образцу опрятных жилых кварталов Берлина и Варшавы, свободных от хаоса самовольных пристроек. Заставляя вспомнить о борьбе Джейн Джейкобс (Jacobs, 1961) против принципов Ле Корбюзье, другой участник возражает в том духе, что простые люди способны организовать свою жизнь (и пространство) без вмешательства властей, которое (по крайней мере, в Узбекистане) приводит не к порядку, а только к новой серии взяток. Более того, истинная красота Ташкента — не в чахлах кустарниках и подстриженных газонах центра Ташкента, а в уникальной экологии чиланзарского «городского леса».

Тем не менее упорядочивающие меры «сверху» имеют своих сторонников, и дело не только в различной паранойе властей, а еще и в страхе потерять «городской» облик Ташкента. Этот страх подпитывается нарастающей рурализацией Ташкента, символами которой стали многочисленные овцы, козы и коровы, пасущиеся в парках и на улицах города (ил. 19).

Для узбеков (особенно для недавних мигрантов из провинции) свой скот зачастую является единственным источником мяса и свежего молока, а за-



Ил. 19. Скот в городе (улица Фурката).

Фото автора

работок от его продажи — бесценной прибавкой к нищенской зарплате. Для «европейцев» же городское скотоводство — лишнее доказательство постсоветского разрушения «культурного» Ташкента: парки уничтожаются варварской властью или вытаптываются козами. Более того, коровы на улицах города порождают еще более глубокий страх — увидеть Ташкент, последний оазис городской цивилизации в Узбекистане, «затопленным» окружающей территорией, где уже в восемь вечера на улицах темно и пусто, где нет театров, кафе и ресторанов, а люди спят на матрацах из конского волоса и, в отчаянии от голода и нищеты, становятся радикальными исламистами. Отсюда финальный парадокс этой статьи: злесь и иронизируя по поводу паранойи властей и безжалостной перестройки города, ташкентцы-«европейцы» видят в правящем режиме единственный заслон на пути страшного узбекского бунта под знаменем ислама — Андижан 2005 г. в национальном масштабе. Были ли события в Андижане антигосударственным переворотом, организованным международными террористами (официальная узбекская версия), или мирной демонстрацией, жестоко подавленной властями, — в любом случае сожженный городской драмтеатр стал для «европейцев» тревожным символом возможного будущего их культуры в Узбекистане.

Насколько этот страх имеет под собой реальные основания (а не является результатом каримовской

пропаганды), покажет только будущее. Европейцы могут ругать президента за самоубийственную экономическую политику и за уничтожение «приличной», светской оппозиции, но при этом сознают, что они с ним в одной лодке, за высокими стенами охраняемого милицией и спецслужбами Ташкента — каменного города, согласно популярной этимологии.

БИБЛИОГРАФИЯ

Abbas, A. Building on Disappearance: Hong Kong Architecture and Colonial Space / A. Abbas // *The Cultural Studies Reader* / ed. by S. During. London; New-York, 1999.

Abu-Lughod, J. The Islamic City — Historic Myth, Islamic Essence, and Contemporary Relevance / J. Abu-Lughod // *International Journal of Middle East Studies*. 1987. 19. P. 155–176.

Adams, Laura L. Invention, Institutionalization and Renewal in Uzbekistan's National Culture / L.L. Adams // *European Journal of Cultural Studies*. 1999. 2(3). P. 355–373.

Akiner, S. Social and Political Reorganization in Central Asia: Transition from Pre-Colonial to Post-Colonial Society / S. Akiner // *Post-Soviet Central Asia* / ed. by Touraj Atabaki and John O'Kane. London, 1998.

Balland, D. Tachkent, мйтropole de l'Asie centrale? / D. Balland // *Cahiers d'ütudes sur la Mүditerranүe orientale et le monde Turco-Iranien (CEMOTI)*. 24. 1997. P. 225–238.

Bell, J. Redefining National Identity in Uzbekistan: Symbolic Tensions in Tashkent's Official Public Landscape / J. Bell // *Ecumene*. 6(2). 1999. P. 183–213.

Blank, D. Fairytale cynicism in the 'kingdom of plastic bags'. The powerlessness of place in a Ukrainian border town / D. Blank // *Ethnography*. 5(3). 2004. P. 349–378.

Bodnar, J. *Fin de Millenaire Budapest: Metamorphoses of Urban Life* / J. Bodnar. Minnesota, 2001.

Carlisle, D. Power and Politics in Soviet Uzbekistan / D. Carlisle // *Soviet Central Asia: the Failed Transformation* / ed. by W. Fierman. Boulder, 1991.

Cunningham Bissell, W. Engaging Colonial Nostalgia / W. Cunningham Bissell // *Cultural Anthropology*. 2005. 20(2). P. 215–248.

Della Dora, V. The rhetoric of nostalgia: postcolonial Alexandria between uncanny memories and global geographies / V. Della Dora // *Cultural geographies*. 2006. 13. P. 207–238.

French, R.A. *Plans, Pragmatism and People: the Legacy of Soviet Planning for Today's Cities*. London, 1995.

Giese, E. Transformation of Islamic Cities in Soviet Middle Asia into Socialist Cities / E. Giese // *The Socialist City: Spatial Structure and Urban Policy* / ed. by R. A. French and F. Hamilton. Chichester; New York, 1979.

The Economist Intelligence Unit Country Profiles. 2006. Retrieved 04 April 2006. http://www.eiu.com/report_dl.asp?issue_id=1152017300&mode=pdf

Humphrey, C. The Villas of the “New Russians”. A Sketch of Consumption and Cultural Identity in Post-Socialist Landscape / C. Humphrey // *The Unmaking of Soviet Life: Everyday Economies After Socialism*. Ithaca, 2002.

Jacobs, J. *The Death and Life of Great American Cities* / J. Jacobs. New York: Vintage, 1961.

Kaiser, R. *The Geography of Nationalism in Russia and the USSR* / R. Kaiser. Princeton, 1994.

Khalid, A. Tashkent 1917: Muslim Politics in Revolutionary Turkestan / *Slavic Review*. 1996. 55(2). P. 270–296.

King, A. *Urbanism, Colonialism and the World Economy* / A. King. London, 1991.

King, A. Writing Colonial Space. A Review Article / A. King // *Comparative Studies in Society and History*. 1995. 37(3). P. 541–554.

Kusenbach, M. “Street phenomenology: the go-along as ethnographic research tool” / M. Kusenbach // *Ethnography*. 2003. 4(3). P. 455–485.

Liu, M. Hierarchies of Place, Hierarchies of Empowerment: Geographies of Talk about Postsocialist Change in Uzbekistan / M. Liu // *Nationalities Papers*. 2005. 33(3). P. 423–438.

Low, S. The Anthropology of Cities: Imagining and Theorizing the City / S. Low // *Annual Review of Anthropology*, 1996. 25. P. 383–409.

Makdisi, S. Laying Claim to Beirut: Urban Narrative and Spatial Identity in the Age of Solidere / S. Makdisi // *Critical Enquiry*, 1997. 23. P. 661–705.

Manz, B. Tamerlane’s Career and Its Uses / B. Manz. *Journal of World History*. 2002. 13(1). P. 1–25.

March, A. The use and abuse of history: ‘national ideology’ as transcendental object in Islam Karimov’s ‘ideology of national independence’ / A. March. *Central Asian Survey*. 2002. 21(4). P. 371–384.

Melvin, N. The Russians: Diaspora and the End of Empire / N. Melvin // *Nations Abroad. Diaspora Politics and International Relations in the Former Soviet Union*, edited by Ch. King and N. J. Melvin. Boulder, 1998.

Melvin, N. *Uzbekistan: Transition to Authoritarianism on the Silk Road* / N. Melvin. Amsterdam, 2000.

Montgomery, D. Once Again in Tashkent / D. Montgomery // *Asian Affairs*. 1983. 70(2). P. 132–147.

Nas, P. The Colonial City. 1997. (http://www.leidenuniv.nl/fsw/nas/pub_ColonialCity.htm)

Pellow, D. *Setting Boundaries: The Anthropology of Spatial and Social rganization* / D. Pellow. Amherst, 1996.

Radnitz, S. Weighing the Political and Economic Motivations for Migration in Post-Soviet Space: The Case of Uzbekistan / S. Radnitz // *Europe-Asia Studies*. 2006. 58(5). P. 653–677.

Sahadeo, J. *Russian colonial society in Tashkent, 1865–1923* / J. Sahadeo. Bloomington and Indianapolis, 2007.

Smith, G. Transnational Politics and the Politics of the Russian Diaspora / G. Smith // *Ethnic and Racial Studies*. 1999. 22(3). P. 502–525.

Stronski, P. Forging a Soviet city: Tashkent 1937–1966. PhD thesis de fended at the Department of History / P. Stronski. Stanford University, 2003.

Wirth, L. “Urbanism as a Way of Life” *The American Journal of Sociology*. 1938. 44(1). P. 1–24.

Wright, G. Tradition in the Service of Modernity: Architecture and Urbanism in French Colonial Policy, 1900–1930 / G. Wright // *Tensions of Empire: Colonial Cultures in a Bourgeois World* / ed. by F. Cooper, A L. Stoler. Berkeley, CA, 1997. P. 322–345.

Zukin, S. *The Cultures of Cities* / S. Zukin. Cambridge, Massachusetts, 1995.

Абрамов, Ю. Кто расшатал Ташкент? / Ю. Абрамов // <http://mytashkent.uz/2006/09/02/kto-rasshatal-tashkent/>

Брубейкер, Р. «Диаспоры катаклизма» в Центральной и Восточной Европе и их отношения с роинами / Р. Брубейкер // *Диаспоры*. 2000. 3. С. 6–32.

Виткович, В. *Путешествие по Советскому Узбекистану* / В. Виткович. М., 1953.

Ежков, С. Хоким Ташкента как провокатор социальной напряженности / С. Ежков. (<http://www.CentrAsia.org/newsA.php4?st=1109024580>)

Каким быть Ташкенту сегодня и завтра? Полемиические заметки о палисадниках, городском лесе, народе, власти и баранах на трамвайных путях, *Фергана.Ру*, 28.02. (<http://www.ferghana.ru/article.php?id=3499>)

Книжник, М. Ташкент, сквер. Место во времени / М. Книжник // *Малый шелковый путь*. Вып. 2. (<http://xopatlas.uz/library/1.doc>).

Космарская, Н. *Дети империи» в постсоветской Центральной Азии: адаптивные практики и ментальные сдвиги (русские в Киргизии, 1992–2002)* / Н. Космарская. М., 2006.

Кудряшов, А. Ташкент – закрытый город? Жителем столицы сегодня легче родиться, чем стать / А. Кудряшов.

Фергана.Ру, 27.01.2005. (<http://www.ferghana.ru/article.php?id=3416>)

Кудряшов, А. Городской лес будет жить, несмотря на запреты / А. Кудряшов. Фергана.Ру, 28.02.2005. (<http://www.ferghana.ru/article.php?id=3499>).

Полян, П. «Не по своей воле...» *История и география принудительных миграций в СССР* / П. Полян. М., 2001.

Сахадео, Д. «Долой прогресс»: в поисках цивилизации в русском Ташкенте, 1905–1914 / Д. Сахадео // *Культуры городов Российской империи на рубеже XIX–XX веков*. СПб., 2004.

Ташкент. Энциклопедия / гл. ред. С. К. Зиядуллаев. Ташкент, 1984.

Ходжиев, Э.Х. Политическая и экономическая жизнь Ташкента на рубеже XVIII–XIX вв. / Э.Х. Ходжиев // *Позднефеодальный город Средней Азии* / отв. ред. Р.Г. Муминова. Ташкент, 1990.

Этнический атлас Узбекистана / отв. ред. А. Ильхамов. ООФС-Узбекистан и ЛИА <Р. Элинина>, б.м., 2002.

Янышев, С. Ташкент как зеркало неверного меня... / С. Янышев // *Малый шелковый путь*. 2001. Вып. 2. (<http://xonatlas.uz/library/1.doc>).

ABSTRACT

The Central Asian city of Tashkent was the official capital of Turkestan, a province of the Russian Empire, then it went on to be the unofficial capital of the “Soviet East”, and now is the capital of the republic of Uzbekistan, the most populous and arguably the most culturally diverse of all the Central Asian states. Drawing upon my own walks in Tashkent, strolling and life-story interviews with city residents, and similar sorts of texts (blogs, online forum discussions, booklets, tourist guides, etc.), I discuss in detail the key processes and tensions in the contemporary Tashkent cityscape: state-led national reconstruction of the symbolic landscape of the city (and resistance to it) and the evolution of the ethnic divide (autochthons versus Russians) from a clear-cut colonial dual city model to more ambiguous and contextual “invisible borders”. My analysis aims at avoiding both the macrostructural bias of urban geography and sociology’s proclivity to view space as a mere backdrop, and not an actor in social processes and in people’s lives. Therefore, I will focus both on the transformations of post-1991 Tashkent and their role in mediating and shaping the key social divides of the city’s society.

Keywords: colonialism, dual city, invisible border, show-piece city, Soviet East.

НЕФТЬ И ОВЦЫ: ИЗ ИСТОРИИ ТРАНСФОРМАЦИЙ ГОРОДА БАКУ ИЗ СТОЛИЦЫ В СТОЛИЦУ

В статье анализируется динамика социокультурных трансформаций, в контексте которых столица Азербайджана – город Баку, развитие и интенсивный рост которого за последние немногим меньше чем полтора столетия (начиная с 1871–1873 гг.) определяла нефтедобыча, приобрел свою современную специфику. Рассматривается процесс реализации разных проектов – имперского, советского и национального (т.е. постсоветского), результатом которых стало возникновение крупнейшей на Южном Кавказе агломерации.

Автор считает, что в постсоветском Баку в наибольшей степени проявилась ситуация быстрой трансформации культурного пространства. Во многом ситуация была обусловлена быстрой сменой состава населения города. Так, жители Баку, условно обозначенные в статье как представители *бакинской русскоязычной субкультуры*, в большинстве своем покинули город. Массовая эмиграция была вызвана экономическим коллапсом, межэтническим (армяно-азербайджанским) конфликтом, открытием границ СССР и его дальнейшим распадом, национализирующим национализмом постсоветского периода и т.д. Их место заняли сельские жители, т.е. носители сельских поведенческих паттернов, которые в силу вынужденной (межэтнический конфликт) или экономической миграции внезапно оказались в большом городе.

Ключевые слова: социокультурная трансформация (изменение), городская субкультура, урбанизация.

Автор приходит к выводу, что все масштабные трансформации столицы, даже если и были направлены на упрощение пространства, приводили только к увеличению его разнообразия. В заключение упоминается, что, возможно, скоро случится еще одна

попытка трансформации города. Центр Баку будет еще более радикально перестраиваться под город-витрину для интуристов, репрезентирующую собой всю «процветающую» страну. Возможно, не беспочвенны и упорные слухи, что новый президент страны, сын и наследник прежнего, под впечатлением от Астаны всерьез задумывается о переносе столицы в специально для этой цели построенный город. Однако, пока в городе есть нефть, статус экономического и культурного центра Баку вряд ли уступит другому. Ну, а если нефть однажды все же закончится, то, возможно, начнется период безраздельного господства овцы.

*Подобные города росли
с невероятной быстротой.*

Эрик Хобсбаум «Век капитала»
*Как хорошо было бы уехать далеко, —
вдруг сказала она. — Я бы с радостью
уехала бы из этого гнусного города.*
Эрнесто Сабато «О героях и могилах»

Еще в середине XIX в. жителям небольшого городка на берегу Каспийского моря, пожалуй, и в страшном сне бы не приснились все те масштабные трансформации, которые ему предстоит пережить в последующие полтора столетия. Фактически вся неторопливая и размеренная жизнь горожан на протяжении сотен лет привычно протекала в замкнутом пространстве, границами которого были старые крепостные стены, которые к началу позапрошлого века уже никого, впрочем, не могли защитить. Однако процесс быстрого расширения в последующие годы обитаемого пространства города приведет к тому, что весь, практически единственно населенный людьми, привычный мир, прятанный за крепостными стенами, станет только его малой и далеко не самой важной частью, трансформировавшись из собственно города в город только внутренний. Не раз претерпит значительные изменения сам состав населения города. Все эти масштабные трансформации наверняка вызывали прежде и способствуют ныне возникновению чувства ностальгии по «прежнему» городу как пространству воспроиз-

ства специфических поведенческих паттернов *бакинцев* и, как следствие, чувству непоправимой утраты привычного образа жизни для тех, кто в разные периоды будет считать себя его коренными жителями. Однако трансформации продолжаются, и, хотя каждый новый облик города, несомненно, опосредован и связан с его прежней историей, данное обстоятельство не становится преградой для весьма масштабной и быстрой перестройки всего того привычного повседневного мира, который только недавно казался горожанину незыблемым.

Собственно, в данной статье и будет предпринята попытка рассмотреть эту динамику трансформаций, как скорее дискретного, чем последовательного процесса, в контексте которого город приобрел свои современные черты. И здесь важными являются несколько взаимосвязанных аспектов. Прежде всего следует отметить, что расширение пространства обитаемого города, происходившего в контексте реализации разных проектов (имперского, советского и национального), привело к возникновению масштабной агломерации, крупнейшей на Южном Кавказе. В границах этой агломерации, когда запланированно, а когда и нет, реализовывались различные варианты освоения пространства города, что способствовало то ли разнообразию форм его архитектурного облика, то ли определенному их хаосу. Далее, нужно упомянуть, что в пространстве Баку в разные периоды с разной интенсивностью производились не только практики городского образа жизни (индустриальный город, *Gesellschaft*), но и стереотипы сельского, холистского общества (сельский труд, высокая интенсивность поддержания родственных и региональных связей, привычные скорее для сельских сообществ). Это производство разных стилей жизни и стереотипов поведения в пространстве одного и того же города в значительной степени определялось массовой миграцией, в результате которой население города росло взрывными темпами. И, наконец, первые два обстоятельства в той или иной степени способствовали тому, что урбанистическое пространство Баку являлось также территорией производства разных, нередко конфликтных идентичностей (этничность/конфессия) и субкуль-

турных городских сообществ. Все перечисленные аспекты в полной мере проявили себя именно в период интенсивного роста/развития города за последние немногим меньше чем полтора столетия (начиная с 1871–1873 гг.). А начиналось все весьма скромно.

СТОЛИЦА ДВУХ МУСУЛЬМАНСКИХ ХАНСТВ

Еще со времен средних веков нефть, наряду с добычей соли, разведением марены и шафрана, оставалась одной из основ экономики города. Период феодального процветания пришелся на конец XIII–XV вв., «когда Баку становится главным портом на Каспийском море и столицей государства Ширваншахов Дербендской династии»¹. Этот впервые приобретенный статус столицы совпал с ростом значения города для транзитной торговли шелком и был утрачен только в самом начале XVI в., когда Баку был присоединен к государству Сефевидов. В конце того же века начался продолжительный застой в экономической жизни города, связанный с упадком торговли. Эта ситуация некоей стагнации в первой половине XVIII в. усугубилась упадком торговли нефтью, причиной чему стало распространение в странах передней Азии огнестрельного оружия.

Однако в 1747 г. Баку вновь становится столицей теперь уже одноименного небольшого ханства, бывшего в вассальной зависимости от иранского шаха. Период этот длился недолго, и в 1806 г. город был взят российскими войсками под предводительством генерала Булгакова, а Хусейн-Кули, хан Бакинский, бежал в Иран. Однако сам факт присоединения к Российской империи первоначально не предполагал каких-либо масштабных изменений в жизни горожан. Был утрачен статус столицы вассального (полунезависимого) Ирану ханства и приобретен статус административного центра Бакинской губернии. Однако бакинцы еще не один десяток лет все так же жили в окружении привычных крепостных стен, и только со второй половины XIX в. город начинает выходить за их пределы. Примерно тогда же впервые в той или иной степени масштабно обновилась и

¹ Ашурбейли, С. История города Баку. Период средневековья / С. Ашурбейли. Баку, 1992. С. 333–334.

жилая застройка крепости. Как и в конце XX — начале XXI в., происходило это «разновременнo и совершенно стихийно»². В те годы подобное положение дел не вызывало широкого недовольства *коренных* бакинцев, как это происходит в наши дни, и многие постройки второй половины XIX в. ныне воспринимаются как замечательные архитектурные памятники той поры.

Итак, в первые полсотни лет, после присоединения к Империи, изменения происходили очень медленно. Так, мы узнаем, что «1810 г. в Баку и его предместьях был 931 дом, в которых проживало 2235 душ мужского пола. Можно считать, что общее число местных жителей, включая женщин и приезжих, по-видимому, доходило до 6 тысяч человек»³. Город оставался феодальным центром ремесла и торговли. Этими видами деятельности занимались 54,5% его жителей. Здесь в большом количестве проживали представители духовенства. Изменения начались только через несколько десятков лет, но и в момент их начала в 1874 г. в Баку было только 16 тысяч жителей.

НЕФТЯНАЯ СТОЛИЦА ИМПЕРИИ

«Ситуация кардинально изменилась с 1873 г., когда в Российской империи нефтедобыча перестала быть монополией государства»⁴. К этому, впрочем, следует добавить и то обстоятельство, что значимость нефти для мировой экономики быстро возрастала. Нефтедобыча с ее сверхдоходами стала, по сути, единственной основой самой масштабной за всю долгую историю Баку трансформации пространства города. Из небольшого запыленного портового городка на далеко не самом оживленном Каспии Баку становится одним из важнейших не только Империи, но и мировых центров нефтедобычи. «В начале XX в. трудно назвать город, причем не только

² Бретаницкий, А.С. Баку / А.С. Бретаницкий. Ленинград, 1970. С. 92.

³ Ашурбейли, С. Ук.соч. 1992. С. 318–319.

⁴ Юнусов, А.С. Миграция и новый бакинский социум / А.С. Юнусов // Мигранты в столичных городах / под ред. Ж. Зайончковской, М., 2000. С. 64–75, 65.

в России, который можно было бы сравнить с Баку масштабами расширения своей территории или темпами роста населения. <...> В 1826 г. численность бакинского населения составляла 4,5 тыс. человек и было построено 45 новых зданий. К 1903 г. население города возросло до 155 876 жителей, а число построенных зданий достигло 878. Соответственно в 1910 г. население Баку составляло уже 214 679 человек, а количество новых зданий равнялось 1404»⁵.

Пожалуй, не имеет смысла дискутировать по поводу уникальности этого взрывного роста для мира той эпохи. Важно то, что именно в эти годы город становится не только когда более, когда менее важным локальным центром, но трансформируется в некое особенное урбанистическое пространство, все более значимое для развития огромной Империи, а в каком-то смысле и мировой экономики. Именно рост населения Апшерона, полуострова, на котором расположен Баку, сделал территорию, которая впоследствии станет Азербайджанской республикой, одним из самых урбанизированных уголков Российской империи. «В 1913 г. городское население Азербайджана составляло примерно 24% от всего населения, в то время как в остальной части империи 18%»⁶. В этом специфическом пространстве быстро растущего города начинает производиться особая урбанистическая субкультура — «бакинцев», которые и поныне, будучи в массе своей рассеяны в результате эмиграции в конце 1980-х — начале 1990-х гг., все еще ощущают себя как некое единое сообщество.

Важнейшей чертой в репрезентациях этой субкультуры становится ее этническое разнообразие. Население города и почти всего Апшерона, которое застали российские войска в начале XIX в., по сообщению, как ныне принято считать, отца азербайджанской истории Аббас-Кули-ага Бакиханова (1794—1846), имело персидское происхождение⁷. Возможно, что в середине того же века «это был типичный восточный поселок со своей культурой, во многом иранской, ибо основную часть населения со-

⁵ Бретаницкий, А. С. Ук. соч. С. 96.

⁶ Azerbaijan human development report. Baku, 1996. P. 33.

⁷ Бакиханов, А.К. Гюлистан-и Ирам / А.К. Бакиханов. Баку, 1991. С. 24.

ставляли таты»⁸. Или, что тоже вполне правдоподобно звучит, «к моменту завоевания Бакинского ханства Россией местное население ни о какой национальной (этнической) идентичности и не помышляло. Пожалуй, шиитская идентичность определяла тяготение к Ирану и она же отодвигала на второй план поиски идентичности через тюркский язык»⁹. В нашем случае важно не то, какое из этих мнений ближе к ситуации того периода, а то, что этот во многом закрытый для внешнего влияния мир в последующие годы пережил радикальную трансформацию. Уже в конце XIX в., несмотря на то что численность тех, кто ныне являются носителями идентичности азербайджанец, значительно возросла, они стали составлять меньшинство населения города¹⁰. В городе появилось значительное число русских, армян, грузин, быстро увеличивалась численность евреев и пр. С этого момента и по сей день город уже больше не является центром относительно небольшой мусульманской общины шиитов, политически и культурно ориентированной на Персию. Это уже город экономического процветания и экономических депрессий, открытый всему миру, и пространство жестоких социальных, политических и межэтнических столкновений¹¹.

Вместе с тем это и быстро растущий за пределами крепости, в основном в пространстве прежнего форштадта, *внешний* имперский город, в котором возводятся архитектурные сооружения, которые ныне служат предметом гордости за блестящее прошлое.

⁸ Юнусов, А.С. Ук. соч. С. 65.

⁹ Бадалов, Р. Баку: город и страна / Р. Бадалов // Азербайджан и Россия: общества и государства / под ред. Д.Е. Фурмана. М., 2001. С. 256–279, с. 266.

¹⁰ Так, «уже в конце XIX азербайджанцы составляют только 36 процентов всего населения (русские – 35, армяне – 17). Приблизительно такое же положение сохраняется и в начале XX века (по данным на первое января 1913 года, азербайджанцы составляют 38 процентов, русские – 34, армяне – 17 процентов)» (там же, с. 267).

¹¹ О событиях социально-политической жизни города и армяно-азербайджанских столкновениях начала XX в. см.: Swientochowski, T. *Russia and Azerbaijan: A Borderland in Transition* / T. Swientochowski. New-York, 1995. P. 37–42.

Но это и быстро разрастающееся жилое пространство, коренной недостаток которого состоял в том, что новая сетка улиц «совершенно не учитывала перспективу развития города»¹². Впрочем ретроспективно возможно и трудно понять, почему застройщиков той поры столь, видимо, мало волновало будущее развитие города, тем более что они не слишком заботились и о его настоящем. И тогда и теперь центр «Баку был не так велик, а большому автомобилю просто негде было развернуться»¹³. Впрочем, существовали проблемы и поважнее. Практически все те, кто оставил нам свои наблюдения от посещения Баку той поры, передают ощущение непроизвольного ужаса от вида крайне неблагоустроенного и, как это теперь определили бы, чрезвычайно неблагоприятного экологического фона города. «Прежнему внешний облик Баку был неприветлив, и в стихийном его росте отсутствовало какое-либо единство архитектурного замысла. Среди невзрачной рядовой застройки случайно вырастали крупные общественные и административные здания»¹⁴.

СТОЛИЦА НАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА: ПОПЫТКА ПЕРВАЯ

К моменту революции 1917 г. пространство города давно уже было разделено на кварталы, среди которых выделялись мусульманский и армянский (Арменикенд). В тот момент о будущей советской *дружбе народов* никто еще не помышлял, и в марте 1918 г., когда установление власти большевиков в городе сопровождалось жестокими погромами в мусульманских кварталах. Мартовские погромы и резню в мусульманской части города учинили представители армянской националистической партии Дашнакцутюн, которые выступили в союзе с большевистским советом народных комиссаров¹⁵.

¹² Бретаницкий, А.С. Ук. соч. С. 97.

¹³ Банин (Ум-эль Бану). Кавказские дни / Банин (Ум-эль Бану). Баку, 2006. С. 69.

¹⁴ Бретаницкий, А.С. Ук. соч. С. 102. О воспоминаниях известных людей той поры о Баку см.: Там же. С. 93–96, 98–99.

¹⁵ Подробнее об этих см.: Волхонский, М., По следам

Тюркские националисты от партии «Мусават» временно разместили свою штаб-квартиру в городе Гяндже. Борьба за Баку начиналась. Противостояние завершилось только в середине сентября 1918 г., когда османские войска при поддержке военных отрядов, сформированных в Азербайджане, взяли город штурмом. На этот раз сильно пострадало армянское население города¹⁶. Эти две резни/погрома унесли около 20 тыс. жизней горожан¹⁷.

Под протекторатом, то ли османских военных, то ли британских частей (обстоятельство в данном случае не суть важное), Баку впервые за свою историю с сентября 1918 г. приобретает статус столицы национального государства — Азербайджанской Демократической Республики. Однако с этого момента и до сегодняшнего дня Баку, непрерывно оставаясь

Азербайджанской Демократической Республики / М. Волохонский, В. Муханов. М., 2007. С. 76–79; Мустафазаде, Р. Две Республики: Азербайджано-российские отношения в 1918-1922 гг. / Р. Мустафазаде, М., 2006. С. 26-28; Swientochowski, T. Russia and Azerbaijan: A Borderland in Transition. P. 65-67.

¹⁶ Как взаимную жестокость упоминает события противостояния в Баку 1918 г. и Томас де Ваал. «Отряд комиссаров, в основном армянского происхождения, захватил город и создал Бакинскую коммуну, небольшой оплот большевизма на антибольшевистски настроенном Кавказе. Когда в марте 1918 года азербайджанцы подняли восстание против Бакинской коммуны, в азербайджанские кварталы хлынули войска большевиков и устроили настоящую бойню, жертвами которой стали тысячи людей. В сентябре, сразу после вывода британских войск и перед вводом оттоманской армии, пробил час отмщения. На этот раз бесчинствовали азербайджанцы, вырезавшие тысячи бакинских армян. В этом противостоянии в 1918 году с обеих сторон погибло почти 20 тысяч человек». Ваал, де Т. Черный сад. Армения и Азербайджан между миром и войной / Т. де Ваал. М., 2005, С. 144.

¹⁷ Как отмечает Свиентоховский, после взятия османскими войсками при поддержке отрядов азербайджанцев Баку 15 сентября 1918 года «месть за мартовские дни была совершена, и число убитых армян оценивается в 9–10 тыс. человек, что было не меньше общего числа убитых азербайджанцев в ходе предыдущих межнациональных столкновений». (Свиентоховский, Т. Русский Азербайджан 1905–1920) / Т. Свиентоховский. Баку. Т. № 3.1990. С. 33–62, с. 37.

столицей Азербайджана, все же изменял свой статус. После того как в апреле 1920 г. территорию АДР оккупировали советские войска и с момента образования советских национальных республик, Баку являлся уже столицей Азербайджанской ССР. Это очень важный и известный в пространстве Союза город, но далеко не самый главный. Все эти события стали причиной тому, что *бакинцы* той поры, начала XX в., с горечью замечали: «От Баку, который был мне дорог в детстве, не осталось и следа»¹⁸. Эти нотки ностальгии по «старому» Баку мы вновь услышим уже гораздо позже, на закате СССР.

БАКУ — СТОЛИЦА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР

Именно в период СССР город переживает еще один период своей радикальной трансформации. Прежде всего следует упомянуть очередной этап взрывного роста населения города, на этот раз уже связанный с ускоренной советской индустриализацией и урбанизацией. К концу советского периода вместе с городом спутником — Сумгаитом, крупнейшим центром химической промышленности, население превысит 2 миллиона человек. Происходит трансформация Баку из крупного города, основой экономики которого была, по сути, только нефть, в многофункциональную городскую агломерацию. Именно в такой своей новой ипостаси Баку, в духе советского оптимизма Георгия Лаппо, должен был стать «подлинным очагом урбанизации, ареной проявления ее основных процессов, глубокого изменения образа жизни людей»¹⁹.

¹⁸ Банин, Ук. соч. С. 67.

¹⁹ Следует отметить, что, по классификации Г. М. Лаппо, в советские годы Баку является основой Апшеронской агломерации, которая относится к типу моноцентрических агломераций, формирующихся на базе крупнейших городов. «Роль экономико-географического положения исключительно велика. Основа формирования многофункциональна. Агломерация развивается в направлении от города-центра к району. Спутники возникают и как дополнение большого города (обслуживание его потребностей), и как его младшие партнеры в выполнении профилирующих функций. Среди моноцентрических агломераций преобладают многофункциональные с преиму-

Впрочем, изменения были действительно в чем-то масштабными и привели, например, к возникновению понятия «Большой Баку»²⁰. В 1960-е – 1980-е гг. Баку в самом деле становится многофункциональным городом. «Баку когда-то называли “Нефтяной Академией Советского Союза”. “Нефть”, “нефтяник” стали символами Азербайджана. В Баку было открыто множество научно-исследовательских институтов, связанных с нефтью, были построены (и продолжали строиться) нефтехимические заводы и заводы нефтяного машиностроения. Высокий общесоветский рейтинг имел учебный Институт нефти и химии»²¹. И не только все, что связано с нефтью. Были построены, например, крупнейший в Союзе завод холодильников и единственный в СССР завод кондиционеров. В столице советской республики открывались все новые вузы, и город становился важнейшим центром для получения образования в регионе.

Естественно, все эти изменения сказались на еще одной масштабной перестройке города. Прежний, доставшийся в наследство от Империи центр промышленности, получивший название «Черный город», заметно расширился. Пространство жилого Баку теперь уже вмещало в себя в дополнение к средневековому Ичери Шехер (Внутреннему городу) и имперскому центрам *несколько советских городов*. Часть города, построенная в годы правления Сталина, соседствует с так называемыми спальными районами, застроенными печально известными

шественно обрабатывающей промышленностью. Таковы, например, столичные и портово-промышленные агломерации». Лаппо, Г.М., Городские агломерации в СССР и Зарубежом / Г.М. Лаппо, В.Я. Любовный. М., 1977. С. 3, 15–16.

²⁰ Как указывалось в Большой Советской Энциклопедии, это был уже город, «состоящий из 10 административных районов с 46 поселками городского типа, образует обширную агломерацию, занимающую значительную часть Апшеронского полуострова и примыкающие участки нефтяных морских и наземных промыслов; в его территорию включены также острова Апшеронского (Жилой, Артем и др.) и Бакинского (Була, Свиной, Дуванный) архипелагов» (БЭС. 1970. М., Т. 2. С. 632).

²¹ Бадалов, Р. Ук. соч. С. 264.

хрущевками и бетонными многоэтажками позднесоветской поры в микрорайонах, а также в огромном, в масштабах Баку, поселке Ахмедлы. Перефразируя Джеймса Скотта, можно сказать, что нынешний Баку представляет собой некий исторический сплав переднеазиатского Брюгге с советским Чикаго²².

Однако именно в период расцвета советской многофункциональности города рядом с жестко запланированным в духе зональности пространством так называемых спальных районов возникает незапланированный нахалстрой. Поселки сквоттеров, привычно обозначаемые в советском Баку как нахалстрои быстро, разрастались практически по всему городу. Однако если во всем мире эти поселки-трущобы были объектом пристального внимания исследователей, то в СССР они оставались скорее невидимыми не только для социальных исследователей, но и для власти. Это, естественно, была игра по правилам. Советские законы, ограничивавшие миграцию в город, становились тормозом для развития его быстро растущей экономики²³. Неформальные же практики миграции позволяли во многом нивелировать вред от законов, ограничивающих мобильность населения²⁴. В этой ситуации все заинтересо-

²² Д. Скотт указывает на то, «что частичное проектирование становится обычным. Центральное ядро многих старинных городов похоже на Брюгге, а новые предместья несут в себе черты одного или нескольких проектов. Иногда такое несоответствие закрепляется официально, как в случае резко различных старого Дели и новой столицы Нью-Дели» (Скотт, Д. Благими намерениями государства. Почему и как провалились проекты улучшения условий человеческой жизни / Д. Скотт. М., 2005. С. 104). В случае с Баку эта ситуация закреплена скорее неофициально в привычных обозначениях внутреннего (условно средневекового) и внешнего Города.

²³ В некоторых случаях значимость сквоттерских поселений для экономики того или иного города является крайне высокой. См., например: Бернер, Э. Глобализация, несостоятельность рынка и стратегии самостоятельного решения жилищных проблем городской бедноты: уроки Филиппин / Э. Бернер // Социология и социальная антропология. Т. 3. № 4. М., 2000. С. 140–158, 144.

²⁴ Впрочем, государственное планирование, как это убедительно показал Д. Скотт, как правило, не в состоянии контролировать возникновение незапланированных и не-

ванные стороны предпочитали делать вид, что ничего незапланированного не происходит.

Сама же игра по правилам включала в себя что-то из общепринятого по всему миру от набора практик сквоттеров, а что-то, видимо, уже и от сугубо советской специфики. Благо, к тому времени уже насквозь коррумпированные органы власти не стояли неодолимой преградой на пути мигрантов. Протекал процесс обустройства в городе следующим образом: главе жилищно-коммунального хозяйства соответствующего района давалась взятка в размере 200–300 рублей. За ночь на выделенном участке земли вырастала «хибарка». Строение, которое обязательно должно было быть покрыто крышей, — таковы были условия игры. *«Дома такие низкие, как хлеб, потому что за ночь не успевали построить высокие. Стройматериалы были проблемой. А условия были такие, что должна быть крыша. По закону, если есть крыша, то не имели права выселять»* (муж., 62 года)²⁵. Затем необходимо было быстро подключить к постройке электричество и провести воду. И дело было не только в необходимости элементарных условий для жизни. А в том, что *«очень трудно было получить прописку. Ордер не выдавался. Приходили и смотрели, что у тебя есть дом, смотрели квитанции на свет, газ и воду. Свет, газ и воду по цепочке от соседа к соседу за ночь проводили. Все это были, конечно, незаконные линии. Все делалось ночью»* (муж., 62 года). Качество такого жилья, построенного за одну ночь (вариант известного турецкого Gecekondu), естественно, оставляло желать много лучшего, и фактически эти постройки представляли собой советский вариант трущоб. Ситуация наличия трущоб в стране, где, если верить идеологическим клише, их быть никак не могло, породила вокруг себя определенный фольклор, который посредством выдержанных в духе горькой иронии метафор демонстрирует нам неблагоприятные условия

редко весьма масштабных сквоттерских поселений. См.: Скотт, Д. Ук. соч. С. 206–210.

²⁵ Данная и все последующие приводящиеся в тексте цитаты взяты из биографических интервью, которые автор проводил в качестве стипендиата Фонда им. Генриха Белля (Германия).

жизни в сквоттерских поселках. Так, одна из былей/легенд рассказывает нам, что однажды мимо Хутора (один из районов города, наряду с поселками Баилово, Воровский и пр., где значительные площади были застроены под сквоттерские поселки) проезжала японская делегация. Один из любознательных японцев не преминул спросить, а что это за дома такие странные в процветающем СССР? На что сопровождающий его чиновник быстро нашелся и ответил: «Это наши свинарники». Но японца не просто было удовлетворить таким ответом, и он в свою очередь заметил: «Это, наверное, те свиньи, которые, смотрят телевизор». Конечно, эта, как, наверное, сказал бы Морис Хальбвакс, эпитафия давних событий не может передать всю специфику жизни в поселках сквоттеров. И здесь следует еще добавить, что эти *свиньи* не только смотрели телевизор, но иногда работали инженерами на заводах, преподавателями в вузах или научными сотрудниками в исследовательских институтах. И это было уже скорее от специфики советских трудоб.

Однако главной проблемой для переселенцев были даже не столько условия жизни, в конце концов ко всему можно привыкнуть, а именно *ублюдочная норма* закрепленности советского гражданина за определенным местом — прописка в городе²⁶. Выход из этой ситуации был следующим: жители нахалстроя платили за коммунальные услуги (решение, выдержанное в духе оксюморона — незаконные поселенцы исправно вносят предусмотренные законом налоги), и набор платежных квитанций за определенный период времени становился важным документальным свидетельством, удостоверяющим их право на жизнь в черте города. Собственно, подшивка из оплаченных квитанций была необходима

²⁶ По меткому замечанию Анатолия Вишневского, «вообще, прописка служит хорошей иллюстрацией ублюдочных, как сказал бы Маркс, форм, сочетающих в себе новейшие достижения урбанизации (миллионные города — индустриальные центры) со средневековой архаикой (прямое распределение в натуральной форме, отсутствие свободы передвижения и пр.)» (Вишневский, А.Г. Серп и рубль. Консервативная модернизация в СССР / А.Г. Вишневский. М., 1998. С. 102).

при получении прописки и формальном узаконивании незаконной постройки. Впрочем, нередко и до узаконивания постройки мигрантам просто необходимо было всеми возможными способами добыть себе прописку, чтобы иметь возможность устроиться на работу. Нередко спасала временная прописка в каком-нибудь общежитии при, например, заводе.

Но здесь дал о себе знать и некий новый феномен, который в то же время, как это принято ныне считать, определяет всю специфику построения вертикали власти в Азербайджане. Очень тесные родственные и земляческие связи, привычно реализующиеся в пространстве сельской общины, оказались вполне действенными и в пространстве столицы. Прописка у родственников стала весьма действенной практикой, облегчавшей мигранту обустройство в городе. Можно предположить, что тесные родственные и общинные связи, перенесенные новыми мигрантами в город, определяли и то, что способы расселения в черте поселков сквоттеров могли даже носить в определенном смысле компактный для представителей той или иной сельской общины характер. Обустройство одного или нескольких мигрантов заметно облегчало другим представителям общины переезд в город. Собственно перенос сельских практик в пространство города и предоставлял многим мигрантам шанс остаться в городе, так как расширял меню возможных практик социализации в столице. В результате в одной квартире могло быть прописано в два раза больше людей, чем в ней реально постоянно проживало, а по неофициальным данным МВД того времени цифра подобных переселенцев достигала, возможно, 450 тысяч человек.

Конечно, среди мигрантов далеко не все были этническими азербайджанцами. В Баку из сельской местности переселялось и немало армян, русских, лезгин или горских евреев. Однако именно этот период переселения в 1960–1970-е принято считать временем радикального изменения этнического состава населения города в пользу азербайджанцев. В Баку хоть и довольно медленно и неоднозначно, но развивается процесс трансформации из мультиэтнического и, как убеждены нынешние *коренные* бакинцы, космополитического города в столицу буду-

щего национального государства с гораздо более гомогенным в плане этнического состава населением, чем в период с конца XIX, первой половины XX в. В этом, несомненно, было что-то от официальной политики Москвы, проводившейся в союзных республиках. Так, например, практика коренизации национальных элит, несомненно, способствовала усилению в столице позиций этнических азербайджанцев и, шире, той части населения республики, которая традиционно идентифицировалась с исламом²⁷. В поздние советские годы по паспорту было нелегко отделить талыша или курда от азербайджанца, так как уже с 1937 г. «национальности, которым были даны территории-эпонимы <> включают в себя большое число других народов»²⁸. В то же время процесс роста числа азербайджанцев в городе протекал и во многом стихийно. Экономика города требовала рабочих рук, которые в 1960-е — 1970-е гг. могла предоставить только сельская местность самой республики.

Впрочем, было бы большой ошибкой пытаться в неких однозначных категориях определить процессы, происходившие в Баку того времени. Это был крайне противоречивый момент в истории города. В этот период пространство Баку вмещало в себя сразу несколько контрастных ситуаций. Видимая этническая пестрота и интернационализм сохранялись на фоне быстрого усиления числа и роли азербайджанцев²⁹.

²⁷ Кроме того, по справедливому замечанию В. М. Алпатова, ассимиляторская политика проводилась и в самих национальных республиках, в том числе и в Азербайджане (150 языков и политика 1917–2000 // Социолингвистические проблемы СССР и постсоветского пространства. М., 2000. С. 123–126).

²⁸ Подробнее см.: Блюм, А. Бюрократическая анархия: Статистика и власть при Сталине / А. Блюм, М. Меспуле. М., 2006. С. 209–212.

²⁹ «В 1959 г. по данным переписи в Баку проживало 897 тыс. чел., и азербайджанцы уже преобладали, составляя 38% населения, тогда как русских было 34%, а армян — 17%. Добившись численного превосходства, азербайджанцы стали увеличивать разрыв, чему во многом способствовал рост профессиональных национальных кадров, а также промышленный и строительный бум в 70–80-х гг. В результате через 20 лет по данным переписи 1979 г. в Баку проживало 1,5 млн чел., из них

Однако последнее обстоятельство никак не мешало широкому русскоязычию населения города. Как не возникало и преград производству *русскоязычной* городской *субкультуры бакинцев*, в значительной степени состоявшей в том числе и из этнических азербайджанцев, фактический распад которой в постсоветский период стал причиной ностальгии *коренных бакинцев* по старому Баку. По сути, сегодня широко распространено убеждение, что вся специфика ситуации того *золотого периода* существования бакинской городской русскоязычной субкультуры проходила по линии разлома двух конфликтных идентич-

почти 56% составляли азербайджанцы, русских было уже лишь 22%, а армян – 14%» (Юнусов, А.С. Ук. соч. С. 65). Представления об азербайджанцах как целеустремленном сообществе, увеличивающем разрыв, может вызвать разве что ощущение здорового скептицизма. Однако цифры, приводимые Юнусовым, реально демонстрируют ситуацию быстрого изменения этнического состава населения города. Безусловно, к любым данным как советских, так и постсоветских переписей следует относиться очень осторожно. В любом случае приводимые цифры не учитывают, например, значительную часть жителей сквоттерских поселков. Кроме того, нужно понимать, что разрыв увеличивался не только вследствие миграции, но и благодаря более высокому уровню рождаемости у азербайджанцев. Кроме того, следует иметь в виду и другую сторону этих процессов. Если численность азербайджанцев по отношению ко всему населению республики на протяжении второй половины XX в. постоянно увеличивалась, то в отношении вклада азербайджанцев в рост городского населения перемены вплоть до конца 1980-х – начала 1990-х гг. были, видимо, не столь впечатляющи. В 1959 г. азербайджанцев, проживающих в городах, по отношению к их общей численности, было только 36,4%, а по отношению ко всем горожанам – 51,3%, т.е. в тот год население городов республики наполовину состояло из неазербайджанцев. Это, прежде всего, были русские – 24,8% и армяне – 15,2%, хотя по отношению ко всему населению их процент был заметно ниже – 13,6 и 12,0% соответственно. К 1970 г. численность азербайджанцев, проживающих в городах, по отношению к их общему числу, немало увеличившись, достигла отметки только в 39,7%. См.: Козлов, В.И. Национальности СССР. Этнодемографический обзор / В.И. Козлов. М., 1989. С. 89, 93, 100.

ностей: городской (*бакинец*) и сельской (пейоративное обозначение — *районский, чушка*).

Какой-либо серьезной дискуссии и исследований по специфике этой субкультуры пока не проводилось. И здесь можно только согласиться с Рахманом Бадаловым, который пишет, что «четко определить “бакинцев” очень трудно, если вообще возможно. Любой фактор — язык, этническая принадлежность, социальное положение, даже то, в каком колене стал бакинцем, — в данном случае оказывается размытым и не конститутивным <>. Возможно самое существенное — это четко выраженный хронотоп, в котором сходятся конкретное городское “географическое” пространство и конкретное историческое время»³⁰. Конечно, можно было бы заметить, что точно так же трудно *четко* определить «тбилисцев» или «сухумчан». Но в этой попытке признаться в бессилии обозначить четкие границы этой субкультуры есть важное для нас упоминание конкретности пространства и времени. Только в этом пространстве и только в это время производились *бакиницы*, и, учитывая, что время ушло, вместе с ним прекратила существование и данная субкультура. Или, по крайней мере, субкультурные стереотипы *бакинцев* доживают свои последние дни вместе со своими последними носителями.

В годы процветания бакинской русскоязычной городской субкультуры, т.е. 1960–1970-е, именно она определяла, как верится теперь ее носителям, всю жизнь города. Была тем смыслом, который определял исключительную его специфику. Как ретроспективно воображается, это был Баку — интернациональный, город-космополит, истинное урбанистическое пространство, в отличие даже от Москвы — *большой деревни*, подобного которому нигде больше не существовало. Это был город особых людей — *бакинцев*, и «именно в те годы возникло представление о “бакинцах” как об особой “нации” и, следовательно, отличающихся не только от тех, кто “не азербайджанцы”, но и от самих “азербайджанцев”, которые “не городские” жители»³¹. Это внима-

³⁰ Бадалов, Р. Ук. соч. С. 272.

³¹ Там же. С. 272. Подобная идентификация себя в качестве особой «нации» в среде тех, кто причислял себя к

ние к этничности носителей бакинской субкультуры (и особенно к тому, кем же являлись те русскоязычные бакинцы, которые были азербайджанцами), безусловная ретроспекция из современной перспективы.

В нынешней ситуации нациостроительства, когда Баку фактически трансформировался в столицу национального государства, становится важным определить, кто были те, *другие* азербайджанцы. Если русскоязычие армян, русских или евреев не вызывает особой рефлексии, то русскоязычие азербайджанцев воображается как некая особая ситуация. И теперь, описывая специфику этой субкультуры, как представляется социальным исследователям, *следует* задуматься над этим феноменом. И мы узнаем, что «многие бакинцы — азербайджанцы стыдились говорить на родном языке, и в тот период население Баку говорило, по сути, только на русском. Основная часть русскоязычных азербайджанцев проживала в Баку и предпочитала именовать себя “бакинской нацией”, нежели азербайджанцами»³². Стереотип, определяющий бакинцев как особую нацию, безусловно, был распространен на бытовом уровне, но рассматривать его следует скорее как метафору, а не пытаться конструировать некую реальную группу, обладающую ясным набором маркеров, жестко отличающим ее от других подобных же групп. Безусловно, в пространстве города было широко распространено русскоязычие, но это была скорее естественная ситуация, когда этнически пестрое население выбирает в качестве языка межэтнического общения тот, который еще и навязывается метрополией. Это был не только язык быта, но и язык возможной успешной карьеры в СССР. Русский считался в советском Баку престижным языком, но утверждение, что русскоязычные азербайджанцы стыдились говорить на азербайджанском, безусловное преувеличение. Азербайджанский был широко распространен в среде бакинцев этнических армян и горских евреев, которые, как правило, владели и своими «родными» языками, армянским и татским. Многие русские, особенно из числа родившихся в

бакинцам, была весьма распространена еще в 1990-х гг.
³² Юнусов, А. С. Ук. соч. С. 65.

1950–1960-е гг., также свободно владели азербайджанским. В любом случае — это был второй по значимости язык в городе, в котором был довольно широко распространен билингвизм³³.

В той, качественно отличной от нынешней ситуации главными критериями различения *бакинцев* и не *бакинцев*, безусловно, выступали не маркеры этничности, а поведенческие паттерны, связанные с социализацией всех *бакинцев* в пространстве одного и того же города, в противовес тем, кто социализировался в пространстве *районов*. Под последними понималась практически вся территория республики, включая районные центры и другие города Азербайджана. Фактически все те, кто из района, — это не *мы*, это не городские люди, они сильно отличаются от *нас*, *они*, — это те, кто на уровне бытового дискурса, — *районские*, *чушки*. И в этом смысле советский Баку как бы становился *подлинным очагом урбанизации*, каким бы его, наверное, и хотел бы видеть Георгий Лаппо. Однако Баку в качестве *арены проявления основных процессов урбанизации* так и не трансформируется в некое пространство, производящее только особый, городской образ жизни. Советский Баку 1960–1970-х гг. — это, скорее, простран-

³³ Эта ситуация, которая воспринимается как некая сугубо Бакинская специфика, видимо, была вполне типичной и для других многонациональных городов Южного Кавказа, таких как Сухуми или Тбилиси. Так, например, тбилиска вспоминает советский Тбилиси: «Даже любой азербайджанец говорил на езидском языке. Потому что они детьми вместе игрались. Кстати, очень важно отметить, что любой подросток любой национальности мог владеть несколькими языками: армянским, грузинским, русским, естественно, и если они жили в Езидском районе, то и езидский. Это были такие языки, которые были необходимы в этой части Грузии. Грузины, естественно, не вдавались в эти подробности. Но езиды знали все эти языки. Это достигалось через общение. Почему я все это говорю, что, например, я не говоря по-армянски, так часто слышала эту речь, что свободно могу переводить» (жен., 41 год). Интервью проводилось автором в 2006 г. в ходе исследования положения грузинских азербайджанцев при поддержке Кавказского Ресурсного Исследовательского центра (Caucasus Research Resource Center (CRRC)).

ство *урбанизации по-деревенски*³⁴. Пространство торжества *панслободы*, которое воспроизводило некое *промежуточное полугородское – полудеревенское* общество³⁵.

С одной стороны, «в те годы в Баку появился какой-то особенный, художественно-изысканный стиль жизни и в городском убранстве, и в одежде, и в формах раскрепощенной публичной жизни непосредственно на улицах города, и в иронично-доверительном стиле общения, и во многом другом (включая свой бакинский джаз и бакинских джазменов), который и стал основой бакинского мифа о “неповторимости” этого города и “неповторимости” “коренных” (!) бакинцев». Это была ситуация, которая может теперь вспоминаться, как «сугубо Бакинская атмосфера дружелюбности, когда все всех знают и все возвращаются на небольшом городском пятачке»³⁶. Однако, как тот же Р. Бадалов и указывает, этим привычным для *русскоязычных бакинцев языком тротуара*, видимо, владели далеко не все, постоянно проживающие в пространстве города люди, ведь был и другой Баку. Это был город мигрантов и сквоттерских поселков³⁷. Другой город, где в большом количестве компактно селились *районские*. Здесь *изысканный стиль жизни бакинцев* вряд ли получал широкое распространение. В то же время был и еще один *другой* Баку, о котором уже не упоминает и Рахман Бадалов.

Это тоже был город трущоб, пространство *ветхих одноэтажных строений*³⁸, многим из которых было к тому времени уже под сто лет и которые располагались в ныне весьма престижных районах города. По сути, большая часть территории современного Баку застроена одноэтажными или двухэтажными домиками еще конца позапрошлого и начала прошлого века. Условия жизни в них не намного лучше, чем в сквоттерских поселках 1960–1970-х гг. Вполне обыч-

³⁴ Блестящий анализ процесса урбанизации в советском его варианте см.: «Серп и рубль: Консервативная модернизация в СССР» (Вишневский, А.Г. Ук. соч. С. 78–111).

³⁵ Там же. С. 110.

³⁶ Бадалов, Ук. соч. С. 272–273.

³⁷ Там же. С. 273.

³⁸ Бретаницкий, А.С. Там же. С. 102.

ной является ситуация, когда «удобства» расположены в маленьком душном дворике, куда выходят и небольшие окошки таких квартирок. Фактически все эти постройки представляют собой те же трущобы, только гораздо более ранней застройки жилого пространства города. Несмотря на низкое качество этих домов, нередко жители их вполне довольны своим жильем. В советский период многие из них получали квартиры в новостройках, которые при всех минусах советского жилищного фонда все же были для этих людей огромным шагом вперед. Но и это случалось очень часто, многие предпочитали не переезжать и, обустроивая на всякий случай полученные квартиры, оставались жить на прежнем месте³⁹. Автору в процессе проведения исследования приходилось сталкиваться с подобными случаями и в наши дни. «Хотят купить у нас квартиру, но я не хочу продавать. Где я еще такое найду!» (муж., 65 лет) — с гордостью произнес *бакинец* — хозяин квартиры, обводя ее потеплевшим взглядом. Речь шла о маленькой (не больше 30 кв. метров) двухкомнатной квартирке с кухней, располагавшейся на третьем этаже, фактически полуразвалившегося от старости дома, с удобствами на первом этаже, в таком же маленьком, как и квартирка, дворе, колодце, добрую половину которого занимало место для сбора мусора.

В конце концов, все определяла и определяет близость к центру города. Кроме того, подобные кварталы (или в местном варианте «мяхля») весьма комфортны для их жителей в плане присутствия рядом старых и хорошо знакомых соседей, а то и родственников, живущих по соседству. Можно выйти вечером на улицу посудачить друг о друге или обсудить за чашкой чая (хотя в национальном варианте это будет скорее не чашка, а «армуд»), партией в домино или нарды политическую ситуацию в стране и в мире. Эти кварталы имеют массу общих черт, по крайней мере в том, что касается досуга их обитателей, с поселками и городскими *мяхля* в *райо-*

³⁹ Это была еще одна неформальная практика, распространенная в советском Баку, так как после получения квартиры сдача государству прежней была обязательной. Однако за выполнением этого условия чиновники особенно не следили.

нах⁴⁰. В советское время современное городское пространство, если, конечно, таковым считать, например, спальные районы, так и не распространилось на эти оазисы во многом сельского по сути бытия.

И здесь следовало бы задуматься о том, что жители описанных выше «мяхля», которые нередко расположены в самом центре города (старый и имперский части Баку), в большинстве своем могут считаться так называемыми «коренными» бакинцами. И в действительности это особая городская субкультура, которая ныне переживает второе пришествие внешнего мира. Именно эти ветхие дома скупаются, а жители расселяются по всему городу или эмигрируют. Естественно, что населяют эти *мяхля* носители разной этничности и поведенческих паттернов.

Однако значительному большинству жителей этих *мяхля* присущ высокий уровень религиозности (бытовой ислам, который не следует путать с высоким, книжным исламом). Религиозность присуща как жителям практически всех старых селений Апшерона (таких как Нардаран, Маштаги, Бузовны, Сарай, Фатмай и др.), так и жителям этих бакинских *мяхля*, уже позабывшим, в каком поколении проживающим в городе. Обозначим, впрочем, некоторые из районов города, чтобы как-то конкретизировать в пространстве этот *другой* Баку. Это, несомненно, старый город (Ичери Шехер), так называемая Кубинка, районы улиц Советской и Завокзальной (т.е. так называемая нагорная часть города) и др. Высокая степень религиозности, видимо, тот фундамент, на котором держится жесткий консерватизм повседневных стереотипов в отношении женщин, старших, родителей и пр. Этот консерватизм, безусловно, проявляется и в отношении одежды, которую можно и нельзя носить. Довольно типичным является случай, когда вышедшего выбрасывать во двор мусор подростка, иностранца из Индии, собравшиеся во дворе жители окрестных домов подвергли избиению за то, что он осмелился сделать это в шортах. *«Вдруг моя сестра или мать в этот мо-*

⁴⁰ Обозначение, хорошо передающее факт довольно жесткого деления страны на две совсем не равновеликие части. Все, что не столица, — это район.

мент во дворе была бы, а он там в шортах ходит» (муж., 28 лет)⁴¹.

То же относится и к женщине. Девушка в мини-юбке или с сигаретой в руке безальтернативно воспринимается как особа легкого поведения. При этом контроль за *нравственностью* женщин очень плотный, хотя женщина, скорее, человек «второго сорта», за исключением матери. Специфика данной субкультуры проявляется в стереотипах о *правильном* поведении мужчины. Ударить в драке кого-либо ножом, а затем отсидеть за это положенный срок для *даглинца*⁴² считается весьма почетным делом. Обидчика, особенно если он посмел неуважительно отозваться о какой-либо улице или районе, т.е. о *нашем мяхля*, следует наказывать всем миром. Автор был свидетелем участия в подобной акции людей весьма преклонного возраста (аксакалов). Иногда именно они и утихомиривают страсти. В этой среде и теперь значение высшего образования невысокое, и широко распространены бандитизм, воровство, торговля наркотиками и прочие варианты криминального бизнеса.

Места сбора мусора нередко занимают значительную часть пространства внутренних маленьких двориков домов в этих кварталах. В эти дворiki выходят окна квартир и, особенно в летнее время, постоянно открытые входные двери. Возможно, эта привычка жить в непосредственной близости от места сбора мусора является одной из причин весьма вольного обращения с бытовыми отходами и при жизни в советских высотках. Еще в советское время представителей данной субкультуры нередко целыми кварталами переселяли в современные по тем временам пяти-девятиэтажки. Так, в Бинагадинском районе Баку (тогдашнем Кировском) располагалась известная на всю округу хрущевка — 20-й дом в 8-м микрорайоне. Как раз он и был полностью заселен *да-*

⁴¹ Известны случаи, когда за подобную вольность в одежде в общественных местах убивали.

⁴² Их, прежде всего, и следует отнести к данной субкультуре. Перевести это слово можно как «горцы». Возможно, они потомки татов, живших на территории Апшерона, по крайней мере, со средних веков.

*глинцами*⁴³. Практически все его жители мужского пола были задействованы в той или иной степени в криминальной деятельности (бандитизм, воровство и т.п.). А вокруг самого дома, став одной из приметных черт его, были разбросаны горы мусора. Привычку выбрасывать мусор из окна жители подобных домов сохраняют по прошествии десятков лет жизни в высотках. Интересно, что сейчас проблему с бытовыми отходами подобным простым и *изящным* способом решают также некоторые жители из сельских местностей, переселившиеся в Баку в постсоветский период. В частности, это относится к беженцам и вынужденным переселенцам.

Таким образом, данная субкультура *бакинцев даглинцев* отличается высоким уровнем консерватизма, весьма устойчивыми перед влиянием внешнего мира стереотипами поведения и целым рядом других особенностей, таких как, например, особый говор и использование в быту одного из диалектов фарси. Все эти маркеры и ныне присущи данному сообществу, которое весьма успешно пережило, не распавшись на отдельные атомы и не утратив свою коллективную идентичность, как массовую урбанизацию советского периода, так и быстро развивающуюся джентрификацию центра города, а также экономический кризис, способствовавший массовой эмиграции русскоязычных жителей Баку, в постсоветском Азербайджане. Агломерация как бы выросла вокруг них, в очень слабой мере повлияв при этом на их быт и стереотипы поведения. И этот мир сосуществовал в одном пространстве с современной, русскоязычной, космополитической культурой тоже *бакинцев*.

Однако это разнообразие субкультур — *русскоязычные бакинцы* с их претензией на космополитизм

⁴³ Причины этих переселений, как правило, были связаны с попытками модернизации центральных частей города. Ныне эта ситуация переселения может вспоминаться следующим образом: «Наш дом был в районе Папанино [расположенный недалеко от центра города район, застроенный одно и двухэтажными ветхими постройками известный в поздний советский период, как центр торговли наркотиками в городе] и когда там проводили трамвай, то дом как раз на дороге его оказался. Тогда ни у кого не спрашивали. Просто выселили всех, переселили и все» (муж., 52 года).

и интернационализм / мигранты из сельской местности в первом поколении / *даглинцы* с их консервативными стереотипами поведения – только одна сторона интересной специфики того периода. Видимо, на те же 1960–1970-е, т.е. на момент расцвета *бакинской русскоязычной субкультуры*, пришелся и расцвет регионализма/трайбализма в советском Баку и, шире, в Азербайджане. Эти сельские практики производства сетей по принципу родства и происхождения из одного и того же региона окончательно установились, видимо, при Гейдаре Алиеве, выходеце из *района* в первом поколении, в его бытность первым секретарем ЦК компартии Азербайджанской ССР (1969–1972 гг.). В тот период, по мнению Вагифа Гусейнова, в самой «республике очень быстро убедились, что новое руководство ведет дело к утверждению у руля страны представителей одного региона – Нахичевани, где родился и вырос согласно официальной биографии Г. Алиев. Дабы как-то замаскировать очевидную “нахичеванизацию” проводимой кадровой политики, был сформирован своеобразный “трайбовый” альянс в результате привлечения к руководству страной выходцев из Армении (пейоративное обозначение – *еразы*, т.е. ереванские азербайджанцы) и Грузии (пейоративное обозначение соответственно – *гразы*)⁴⁴. Однако этим ходом можно было убедить в отсутствии земляческих пристрастий партийных контролеров из Москвы. В Азербайджане же не надо быть этнографом, чтобы знать – азербайджанское население Нахичевани и Армении, так же как и Грузии, – активно общающиеся общины, спаянные издревле множеством родственных, деловых, дружеских и иных связей»⁴⁵.

Следует отметить, что для нашей темы не имеет особого значения, насколько адекватно подобная оценка отражает феномен *регионализма/трайбализма* в советском Азербайджане. Однако следует все же принять факт того, что «требование центральных органов о “коренизации” местного управленче-

⁴⁴ В своем большинстве это были жители сельских районов.

⁴⁵ Гусейнов, В. Алиев после Алиева: наследование власти как способ ее удержания / В. Гусейнов // Независимая газета. 19. 03. 2004. Адрес в Интернете: http://www.ng.ru/ideas/2004-03-19/10_aliev.html

ского аппарата выполнялось весьма успешно — примерно половину управленческих работников составляли представители местного населения»⁴⁶, и эта половина управленческого состава при Гейдаре Алиеве в значительной своей части состояла не из *русскоязычных бакинцев* или тех же *даглицев*, а выходцев из определенных сельских местностей в первом поколении⁴⁷. Видимо, уже в те годы *бакинцы* проиграли борьбу за власть в столице (если серьезная борьба вообще имела место), а значит, и в республике. Баку уже в те годы постепенно утрачивает статус пространства воспроизводства городского образа жизни и постепенно трансформируется в пространство воспроизводства поведенческих паттернов села, но не города. Успех карьеры в столице на

⁴⁶ Котов, В.И. Народы Союзных республик СССР. 60-80-е годы. Этнодемографические процессы / В.И. Котов. М., 2001. С. 33.

⁴⁷ На мой взгляд, конструируемые экспертами региональные группировки или трайбы, как обладающие весьма жесткими границами и действующие, в качестве реальных групп, отражают скорее ситуацию отсутствия каких-либо серьезных исследований данного феномена. Однако для нас важно другое. Бесспорный факт переноса сельских практик в пространство современной городской агломерации (звание, на которое претендует Баку) и их успешное воспроизводство в городе реально демонстрирует бакинский вариант урбанизации по-деревенски. Что же касается проблемы регионализма/трайбализма, то предпринималось только несколько попыток определить ситуацию, и все они основаны скорее не на полевых исследованиях, а на здравом смысле и наблюдениях на уровне образованного обывателя. См., например: Кулиев, Г.Г. Архетипичные азери: лики менталитета / Г.Г. Кулиев. Баку, 2002. С. 105–111. Это «этноладшафтная работа», в которой автор рассматривает архетип «харалысан» (откуда родом?) в духе, как наверняка оценил бы Валерий Тишков, ссылок на генетические коды и психоментальности. Тексту Бахадура Сидикова, претендующего на социологический анализ, остро не хватает полевых материалов, что легко объясняется трудностью доступа к полю. См.: Сидиков, Б. Новое или традиционное? Региональные группировки в постсоветском Азербайджане / Б. Сидиков // АСТА EURASICA. № 2 (25). 2004. С. 151–169. Цитированный выше Гусейнов основывается на личных наблюдениях бывшего в тусовке и больше отражает стереотипы автора, чем реальное положение дел.

чинает в значительной степени зависеть от сопричастности или нет к успешной *региональной группировке* или *трийбу*, в значительной степени приватизировавшему власть. Идентификация себя с малой родиной теперь и в пространстве Баку играет гораздо большую роль, нежели сопричастность жизни городской субкультуры. Актуализировалось региональное происхождение. Значимым для успешной карьеры местом ни в коей мере уже не являлся единственный в республике город с претензией на статус пространства производства современной городской субкультуры, на центр *подлинного очага урбанизации*. Этим значимым для успешной карьеры пространством стало *село* или, шире, *район/регион*. Холлизм сельской общины успешно пережил свое пришествие в пространство города — столицы Азербайджанской ССР, а позже, в современный период независимости, только упрочил в нем свои позиции. Оппозиция *центр — периферия* как противопоставление паттернов городского образа жизни и стереотипов сельского бытия постепенно утрачивала свою значимость еще в советские годы. Залогом успешной карьеры в столице являлась не социализация в пространстве, например, *бакинской русскоязычной культуры*, а происхождение из соответствующего региона/села. Впрочем, в 1960–1970-е гг. носители городской *русскоязычной субкультуры бакинцев* пока еще не ведали, что уже в конце 1980-х, — начале 1990-х гг. превратятся в немногочисленных маргиналов. Однако очередная масштабная трансформация культурного пространства Баку была уже не за горами.

СТОЛИЦА НАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА: ПОПЫТКА ВТОРАЯ И ВСЕ ЕЩЕ ПОСЛЕДНЯЯ

В конце 1980-х Баку, еще оставаясь столицей советского Азербайджана, становится вместе с тем центром политического движения, направленного против сепаратизма карабахских армян, а затем и против нерешительности метрополии в разрешении нарастающего армяно-азербайджанского конфликта. Уже в 1988 г. в город устремляются десятки

тысяч азербайджанцев беженцев — из Армении. В январе 1990 г. город потрясают жестокие армянские погромы, вслед за которыми в ночь на 20 января происходит не менее жестокий разгром Баку советскими войсками. Распад СССР, начало масштабной войны с соседней Арменией за контроль над Карабахом⁴⁸, резкий экономический спад привели к заметному изменению облика Баку, который в результате коллапса Союза становится теперь уже столицей национального государства — Азербайджанской республики.

⁴⁸ Карабахский конфликт был наиболее кровопролитным из тех, которые разразились на Южном Кавказе в ходе коллапса СССР. Этот конфликт в полной мере отражал политический принцип национализма, «суть которого, — по замечанию Эрнеста Геллнера, — состоит в том, что политическая и национальная единицы должны совпадать» (см.: Геллнер, Э. Нации и национализм. М., 1991. С. 23). Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО), населенная в основном армянами, входила в состав Азербайджанской ССР. Конфликт за контроль над Карабахом имел определенную предысторию еще с начала XX в. и вновь актуализировался уже в 1987 г. «Армяне впервые открыто вновь подняли опасную карабахскую проблему. Первая петиция об этом (о передаче НКАО в состав Армении), подписанная сотнями тысяч армян, была направлена М.С. Горбачеву в августе 1987 г.» (см.: Шнирельман, В. Войны памяти: мифы, идентичность и политика в Закавказье / В. Шнирельман. М., 2003. С. 114). В ходе быстро нарастающего противостояния последовали тотальные депортации, сопровождавшиеся погромами, азербайджанцев с территории Армении и армян с территории Азербайджана. После распада СССР конфликт принял характер полномасштабной войны между в тот момент уже независимыми Арменией и Азербайджаном. В ходе военных действий уже за пределами НКАО армянскими войсками были оккупированы 5 районов полностью и 2 частично, в результате чего к беженцам в Азербайджане присоединились и сотни тысяч вынужденных переселенцев. Только в мае 1994 года было заключено перемирие, которое сохраняется до сих пор. Подробнее о конфликте см.: Ваал, де Т. Ук. соч. С. 17–73, 122–138, 219–320; Шнирельман, В. Ук. соч. С. 106–118; Корнелл, С. Конфликт в Нагорном Карабахе: динамика и перспективы решения / С. Корнелл // Азербайджан и Россия: Общества и государства / ред.-составитель Д. Е. Фурман. М., 2001. С. 435–477.

Именно в Баку в наибольшей степени дала о себе знать ситуация изменения культурного пространства. И здесь просто напрашиваются оправданные аналогии, на которые давно уже обратил внимание Роджерс Брубейкер, указывая на ситуацию постимперского разъединения народов. Ведь если, как в свое время и в городах Австро-Венгерской империи, в Баку «смешивались и взаимодействовали друг с другом культуры» разных этнических сообществ, то «парадоксальным образом здесь же, в космополитических городах» советского Южного Кавказа, «кипели национальные страсти». И во многом, так же как и в политическом пространстве власти Габсбургов, в пространстве власти советских бюрократов помимо искусства жить и подданным <> было необходимо овладеть куда более сложным *искусством — жить вместе*»⁴⁹. Этим искусством армянам и азербайджанцам так пока и не удалось овладеть, и в результате коллапса СССР, как и после распада империй в конце Первой мировой войны, «национальный принцип был применен на этот раз с безжалостной неукоснительностью посредством перемещения групп населения»⁵⁰. Одной из этих групп населения были армяне, проживающие в Баку и представлявшие собой значительную прослойку в среде *русскоязычной бакинской субкультуры*. Собственно последним актом коллективной воли представителей этой субкультуры стала спонтанная массовая помощь армянам — соседям, родственникам или коллегам, т.е. носителям той же городской идентичности⁵¹ — в спасении от погромщиков. Многие из *русскоязычных азербайджанцев* спасали в ситуации погромов армян, нередко в весьма рискованных ситуациях.

⁴⁹ См.: Шимов, Я. Австро-Венгерская империя, М., 2003. С. 608.

⁵⁰ Арон, Р. История XX века: Антология / Р. Арон. М., 2007. С. 27.

⁵¹ На это указывают также О. Бредникова и Е. Чикадзе, которые выделяют в отдельную группу армян, выросших в «интернациональной среде. Для них земляческая («кавказская») идентичность более значима или заменяет этническую» (Армяне Санкт-Петербурга: карьеры этничности // Конструирование этничности) / под ред. В. Воронкова и И. Освальд. СПб., 1998. С. 227–259, 255).

«По данным переписи 1989 г., в тот период в Баку проживало около 146 тыс. армян, а с учетом поселков вокруг города — около 180 тыс. чел. При этом больше всего армян проживало в центре Баку <>. И именно в эти районы в 1988–1989 гг. хлынул основной поток беженцев из Армении (более 200 тыс. чел.)...»⁵². В 1992 г. в город стали приезжать десятки тысяч вынужденных переселенцев из Карабаха и сопредельных, оккупированных районов. По данным Арифа Юнусова на 1 апреля 1998 г. численность беженцев и вынужденных переселенцев в Баку составляла 228 404 человек⁵³. Как и любые другие возможные цифры, эти данные должны восприниматься весьма осторожно. Безусловно, значительное число, например, вынужденных переселенцев, официально закрепленных за различными *районами*, постоянно проживают в Баку или его пригородах. В массе своей это сельские жители, которые в силу вынужденной миграции внезапно переселились в город. При этом Баку, кроме подавляющего большинства армян, покинули также десятки тысяч русских, евреев, русскоязычных азербайджанцев, лезгин и пр., т.е. те, кто создавали, по выражению Рахмана Бадалова, *особую ауру этого города, носители бакинской русскоязычной субкультуры*. Их место заняли жители районов, в том числе и экономические мигранты 1990–2000-х гг., носители сельских поведенческих паттернов.

Возможность социализироваться в качестве горожан была им недоступна, и не только в силу их многочисленности. В момент этого массового переселения была в значительной степени разрушена, как это выяснилось, весьма хрупкая урбанистическая среда *русскоязычных бакинцев*, которая либо не успела, либо просто не обладала реальным потенциалом для того, чтобы *переварить* даже сельских переселенцев 1960–1970-х гг., не говоря уже о новой волне мигрантов. Эта новая волна мигрантов значительно умножила ряды сельских жителей в первом поколении оказавшихся в Баку. В то же время, указывает Ирада Гусейнова в своей эмоциональной статье, как в результате массовой эмиграции из го-

⁵² Юнусов А. С. Уч. соч. С. 66.

⁵³ Там же. С. 67.

рода, так и «по мере захвата выходцами из Армении сфер влияния в Баку, коренные бакинцы с грустной иронией стали именовать себя «биразы – аббревиатура слов “бир” – единица и “азербайджанец”, что означает “единицы азербайджанцев”, вкладывая в это понятие, что их остались единицы»⁵⁴. Произошло обратное: относительно немногочисленные оставшиеся в городе носители *русскоязычной бакинской субкультуры* оказались рассыпаны в среде куда более многочисленных мигрантов из сельской местности. Кроме того, город был не в состоянии переварить этот массовый поток еще и в силу экономического коллапса. Никаких новых, *городских* вариантов экономической занятости Баку предложить в 1990-е просто не мог, и это обстоятельство также стало причиной быстрой рурализации столицы национального государства.

Многие беженцы и вынужденные переселенцы в пространстве городской агломерации, *очаге урбанистической культуры*, продолжали привычно заниматься сельским трудом. Хотя, конечно, в условиях города эти практики были неизбежно ограниченными нехваткой, например, ресурса земли. Эпифанией тех событий, практически мгновенной рурализации Баку является то ли быль, то ли анекдот, рассказывающий нам о том, что весьма недовольные поведением соседей, беженцев с верхнего этажа, постоянно заливающих их квартиру, *коренные бакинцы*, проживавшие этажом ниже, явились к ним в гости с представителями соответствующих органов. Каково же было их удивление, когда они увидели, что одна из комнат в квартире занята под огород. Рачительный сельчанин набрал полную комнату земли и пытался выращивать в квартире девятиэтажного дома зелень на продажу.

Некоторый ресурс для рурализации города предоставили нередко обширные *пустующие* территории вокруг пяти- и девятиэтажных домов в спальнях районах города, предназначенные для зеленых насаждений и будущих парков. Эти пространства были

⁵⁴ Гусейнова, И. Беженцы, их положение и роль в современном азербайджанском обществе / И. Гусейнова // Азербайджан и Россия: общества и государства / под ред. Д. Е. Фурмана. М., 2001. С. 323–336, с. 334.

быстро освоены под огороды и фруктовые сады. Причем раздел этого пространства нередко осуществлялся коллективно, всеми жителями того или иного дома, пожелавшими стать владельцами участка. «Даже когда все захватывали огороды, я не стала брать участок. У меня в первом блоке родственница живет — А. Я вышла в этот момент, когда все делили участки на огороды, на балкон и смотрю, она тоже стоит. Она азербайджанка, естественно. И она мне кричит, давай, ты тоже захватывай участок. Я ей рукой махнула, мол, нет. А она пришла и говорит, ты почему не захватываешь себе участок? А я ей говорю, как я могу такую вещь сделать. Чтобы мне сказали, там мы воюем, а ты здесь наглоть имеешь еще нашу землю захватывать. Нет, и отказалась» (жен., 57 лет)⁵⁵. Далеко не все городившие огороды были вынужденными/экономическими мигрантами конца 1980-х — начала 1990-х гг. Скорее наоборот. Большинство захватов этой по сути муниципальной собственности осуществлялось давними жителями Баку, в числе которых было немало и *коренных бакинцев*. Естественно, что выгоднее всех было положение тех, кто жил на первых этажах советских высоток. На землю под окнами их квартир никто другой не претендовал⁵⁶.

Захваты эти носили столь массовый характер, что в некоторых районах города все *свободное* пространство между домами было практически полностью разделено на частные участки — огороды. «Я машину как раз собирался купить. Приехал как-то домой, выхожу на балкон и смотрю, перед домом ме-

⁵⁵ Это интервью с бакинской армянкой было мне любезно предоставлено Севиль Гусейновой. Данное интервью проводилось ею в 2006 г. в качестве стипендиатки Фонда им. Генриха Белля, в ходе проведения исследования в среде бакинских армян. С некоторыми результатами этого интересного исследования можно познакомиться в следующих статьях: Гусейнова, С.М. Бакинские армяне: этническая идентичность в контексте повседневности / С.М. Гусейнова // Южный Кавказ: Территории. Истории. Люди. Тбилиси, 2006. С. 106–131; Проблематика «приписываемой» идентичности (Бакинские армяне). М., 2006. № 4. С. 116–149.

⁵⁶ Эти пространства под окнами нередко огораживались еще в 1980-е гг.

ста свободного нет. Сплошь все в огородах. Раньше как-то внимания не обращал. А как машину собрался купить, думаю, а куда я ее ставить-то буду?» (муж., 30 лет). Территория, разделенная на *огороды*, нередко использовалась для содержания домашней птицы (в основном кур, но нередко также гусей, уток или индюшек). При этом следует отметить, что практика содержания домашней птицы в пространстве спальных районов и городских *мяхля* была довольно широко распространена в городе и в советские годы. В период независимости эти практики получили только еще более широкое распространение. В начале 2000-х власти вновь в связи с поднятием цен вспомнили о ценности этих муниципальных земель и предприняли попытку ликвидировать хоть и неформальное, но вполне реальное разделение их на *огороды*. Эта политика имела только частичный успех, и перед многими пяти-, девятиэтажными домами советской постройки и теперь можно видеть *огороды* с содержащейся на них птицей.

Однако наиболее успешным было и есть разведение домашнего скота — овец и коров. В основном крупный рогатый скот (мне известен, например, и случай содержания коня в *огороде* около девятиэтажного дома) в пространстве города все же не прижился, и разведение коров и телят — это процветающая сфера производства в дачных поселках, расположенных вокруг города, и, естественно, в поселках, вписанных в пространство Апшеронской агломерации, которые во многом сохранили сельский уклад жизни во времена всех трансформаций. В пространстве собственно города наиболее рентабельным было и есть разведение овец. Конечно, период расцвета этого способа обеспечить себя и семью давно прошел. Если в самом начале 1990-х *русскоязычные бакинцы* испытали шоковое ощущение внезапной и полной трансформации городского культурного пространства в сельское, когда увидели коров на приморском бульваре — любимой многими территории отдыха, уже и некоего символа его, предмета гордости за красоту родного города, то этот период довольно быстро завершился. В то же время, хотя коров с бульвара выдворили почти сразу же, после их там появления, но еще в конце 1990-х студенты, поки-

дая стены Государственного университета, нередко должны были лавировать между мирно пасущимися баранами. Ныне овцеводство, видимо, надолго перекочевало в спальные и пригородные районы города, где бараны пасутся на фоне теперь уже массовой новой застройки, в очередной раз весьма радикально изменившей культурный облик Баку — столицы национального государства.

Феодалный и имперский центр, переживающие период очередной иногда весьма радикальной застройки, вместе с тем находятся и в стадии дольно быстрой джентрификации. Подъем цен на нефть сопровождался не менее быстрым ростом стоимости земли и жилья. Все чаще, нарушая сложившийся за последние полтора столетия горизонт имперского центра, в городе вырастают новые 16–18 этажные дома. При этом плотная как в ширину, так и в высоту застройка не приводит к понижению цен. Вместе с тем еще более скорая джентрификация происходит не только в центре, но и в районах нахалстра, которые быстро трансформируются в пространства, застроенные элитными особняками. Всю эту быструю трансформацию дополняют дорогие иномарки, заполнившие улицы города. Последние — предмет особой гордости *коренных* и *не коренных* жителей столицы, которые не преминут при случае восхититься тем, что в Баку можно увидеть больше автомобилей дорогих марок, чем в Лондоне или Париже. Это благополучие на показ, заполняющее конструируемую постсоветскими бакинцами пространственную среду города — новые высотки и гостиницы, новые люди, но все так же идущие гулять в маленький центр города, вновь отстроенные дороги, заполненные иномарками, — формируют пространственные кластеры этого *города* — *витрины*. Пространственная организация этого нового Баку по-прежнему хаотична, а случайная ситуация нефтяного процветания обретает свой смысл в карнавале разноцветных высоток и шикарных иномарок. Только овцы выглядят в этом пространстве шального процветания высокомерно безразличными, возможно, догадываясь о том, что нефть преходяща, а они навсегда⁵⁷.

⁵⁷ Эта ситуация очередной перестройки города восприни-

ГОРОД, КОТОРОГО КОГДА-ТО НЕ БУДЕТ

Ситуация постоянных контактов и взаимоотношений всех со всеми в пространстве одного города ни в коем случае не предполагает, что выделенные нами субкультурные группы обладают некими четкими и непроницаемыми границами. В повседневной жизни эти границы пористы, а контакты и взаимоотношения представителей разных поведенческих паттернов нередко носят весьма интенсивный характер. И в этом смысле город — это не несколько разных субкультурных групп, случайно сведенных в одном пространстве, а ситуация постоянного производства с каждой новой трансформацией все более разнообразного культурного пространства. Город всегда сохраняет в себе свидетельства прежних ситуаций. Многие *коренные бакинцы* — жители крепости могут вспомнить давнюю родословную своей семьи, *всегда* жившей в Баку. *Разные* русские и украинцы — от сельских переселенцев XIX в. (в основном сектантов, бежавших от притеснений)⁵⁸ до рабочих, приехавших поднимать индустрию братской советской республики, пополнили ряды *русскоязычных бакинцев* и теперь нередко ощущают себя *другими* русскими, не такими, как те, которые остались на «исторической родине». *Даглицы*, которые помнят о своем переселении из района Хызы, соседствуют с *коренными* жителями поселка Суруханы, для которых вся специфика их локальной идентичности связана только с употреблением диалекта фарси в быту. Консервативные жители бакинских сел (шииты) — таких как Нардаран или Маштаги — соседствуют с так и не уехавшими в годы последней трансформации *русскоязычными азербайджанцами*. Армяне — бакинцы, вынужденные жить в ситуации аскриптивной иден-

мается многими коренными бакинцами как, скорее, трагедия его разгрома. Наиболее ярким примером подобного отношения может послужить постоянная рубрика в русскоязычной газете «Реальный Азербайджан» (весной 2007 г. редактор был арестован, а газета закрыта) под названием «Геноцид Баку», где рассказывалось о новой застройке старой части города и спальных районов.

⁵⁸ См.: Исмаил-Заде, Д.И. Русское крестьянство в Закавказье (30-е годы XIX начало XX в.) / Д. Исмаил-Заде. М., 1982.

тичности⁵⁹, соседствуют с еврейской общиной, которая превратилась в некий символ непреходящей толерантности азербайджанцев. Хозяева жизни — служащие нефтяных компаний делят город с чиновниками, приватизировавшими страну. Клан, трайб или региональные группировки, успешно удерживающие власть в стране и в столице, сосуществуют с кланами, трайбами или региональными группировками, контролирующими остатки оппозиции. Молодые специалисты, набравшиеся лоска в Европе или Турции, соседствуют с кое-как читающими и пишущими мигрантами из сельских областей.

Все это разнообразие практик и стереотипов существует в пространстве, наполненном символической разных трансформаций. Символ города — средневековая Девичья Башня или минарет XI в. в Ичери Шехер, называемый Сыных-кала, соседствуют с доходными домами и административными зданиями времен Империи — символами былого ее нефтяного центра. Памятники деятелям-коммунистам и спальные районы советской поры соседствуют с массивами новых многоэтажных домов и символами периода независимости — бесчисленными изображениями и памятниками покойного президента Гейдара Алиева или почетной аллеей захоронения шехидов (героев). Все предыдущие трансформации, даже если и были направлены на упрощение пространства, приводили только к увеличению его разнообразия.

Возможно, скоро случится еще одна попытка трансформации города. Центр Баку будет еще более радикально перестраиваться под город-витрину для интуристов, репрезентирующую собой всю «процветающую» страну. Ходят и упорные слухи, что новый президент, сын и наследник прежнего, под впечатлением от Астаны всерьез задумывается о переносе столицы в специально для этой цели построенный город. Впрочем, пока в городе есть нефть, статус экономического и культурного центра Баку вряд ли уступит другому. Ну, а если нефть однажды все же закончится, то, возможно, тогда и наступит время безраздельного господства овцы.

⁵⁹ См.: Гусейнова, С.М. Проблематика «приписываемой» идентичности (Бакинские армяне). С. 116–149.

ABSTRACT

The article analyses the dynamic of socio-cultural transformations in the context of which the Azerbaijani capital Baku, whose development and intensive growth in the past almost 150 years (starting from 1871–73) has been determined by oil extraction, has acquired its specific present-day features. The author analyses several inter-related aspects. First of all, the author looks into the process of the expansion of the space of the inhabited city which took place within the context of the implementation of various projects – the Imperial, the Soviet and the National (i.e. post-Soviet), which resulted in the emergence of the South Caucasus's largest agglomeration.

Within the boundaries of this agglomeration, various options for the expansion and use of the space of the city materialized in ways both planned and unplanned, facilitating either the diversification of its architectural forms or a certain chaos to them. In the space of Baku, with differing intensity in different periods, were produced not only the practices of an urban lifestyle (industrial town, *Gesellschaft*), but also stereotypes of a rural, holistic society (rural labour, high intensity of maintaining kindred and regional ties). And, finally, the urban space of Baku has also been a territory of the production of different, quite often conflicting, identities (ethnicity/faith) and sub-cultural urban communities.

The author believes that a quick transformation of cultural space has manifested itself in post-Soviet Baku to an extreme degree. This situation was largely conditioned by the rapid change of the composition of the population of the city. Thus, most residents of Baku, tentatively described in this article as representatives of the Baku Russian-speaking sub-culture, left the city. The mass emigration was caused by economic collapse, inter-ethnic (Armenian-Azerbaijani) conflict, the opening up of the USSR's borders and this entity's subsequent dissolution, the nation-shaping nationalism of the post-Soviet period, etc. Their place was taken by rural residents, i.e. carriers of rural behavioural patterns, who due to forced (inter-ethnic conflict) or economic migration suddenly found themselves in a big city.

The relatively few remaining carriers of the social identity of Russian-speaking Bakuvians that remained in the city were scattered within an environment of far more numerous migrants from rural areas. A quick ruralization of the city took place in a situation of economic collapse and mass emigration. Thus, for example, sheep-breeding has become profitable in the space of the city. Sheep-breeding now has moved from areas close to the city centre to dormitory and suburban areas, where sheep still graze against the background of the current

mass-scale construction of high-rise buildings which is changing the post-Soviet architectural image of Baku very radically.

The author arrives at the conclusion that all the large-scale transformations of the capital, even if they aimed at simplifying the space, only led to an increase in its diversity. In conclusion, the author mentions that one more attempt to transform the city may soon take place. The centre of Baku will be even more radically rebuilt into a city-cum-shop window representing a “prosperous” country for foreign tourists. Probably there is substance to persistent rumour that the new president of the country, the son and heir of the previous one, was impressed by Astana and is seriously thinking of moving the capital to a city specially built to this end. However, as long as there is oil in the city, Baku is unlikely to give up the status of economic and cultural centre easily. However, if the oil does run out one day, then, probably, the time will come of the complete rule of sheep.

Keywords: socio-cultural transformation, urban sub-culture, migration, ruralisation.

ПРОЦЕССЫ УРБАНИЗАЦИИ В КАЗАХСТАНЕ В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД (демографический аспект)

Предлагаемый в статье демографический аспект урбанизации сфокусирован на проблемах развития городов Казахстана: повышении удельного веса городского населения республики (так называемом процессе урбанизации населения), а также этнодемографической характеристике как городского населения в целом, так и населения отдельных городов.

Ключевые слова: возрастно-половая структура, демографические процессы, миграция, рождаемость, средний возраст, средняя продолжительность предстоящей жизни, смертность, урбанизация.

Урбанизация является одним из глобальных процессов современного мира. На сегодняшний день практически все страны столкнулись с этим явлением в различных формах в зависимости от уровня социально-экономического развития, географической расположенности и специфики протекающих демографических процессов. Кроме того, урбанизация представляет собой многосторонний процесс, при изучении которого важен учет различных аспектов. Предлагаемый демографический аспект урбанизации сфокусирован на проблемах развития городов Казахстана (больших и малых), повышении удельного веса городского населения республики (так называемом процессе урбанизации населения), а также на этнодемографической характеристике как городского населения в целом, так и населения отдельных городов.

Анализ демографических аспектов процесса урбанизации принято основывать на данных о росте урбанизированности населения, иначе говоря, увеличении удельного веса городского населения.

По данным Всесоюзной переписи населения 1970 г., удельный вес городского населения республики составлял 50,3%. Именно с этого времени численность городского населения начинает составлять большую часть населения Казахстана. В дальнейшем процесс пошел по нарастающей — доля городского населения медленно, но неуклонно увеличивалась (табл. 1). С начала 1990-х гг. данная тенденция изменилась. Численность городского населения Казахстана ежегодно сокращалась с 1992 г. вплоть до 2000 г. За данный период численность горожан уменьшилась на 1 млн человек (см. табл. 1). Наряду с сокращением численности снизился и удельный вес городского населения, хотя и незначительно — всего на 0,8 пункта. Сокращение численности городского населения на протяжении 1990-х гг. было вызвано двумя факторами: эмиграцией за пределы Казахстана и процессом снижения рождаемости в городах. Распад СССР, обретение суверенитета, трудности социально-экономического характера привели к сокращению численности городского населения (наряду с сокращением общей численности населения) и некоторому снижению его доли.

С 2000 г. начинается постепенное увеличение численности городского населения (см. табл. 1). К началу 2007 г. численность городского населения Казахстана составила 8833,2 тыс. человек (примерно уровень 1995 г.), и, хотя удельный вес горожан на сегодняшний день составляет 57,4% от всего населения страны, численность городского населения не достигла еще уровня 1989 г. (последняя Всесоюзная перепись населения). Соотношение городского и сельского населения Республики Казахстан также менялось незначительно (рис. 1), и основной тенденцией как на протяжении 1990-х гг., так и в начале 2000-х гг. являлось численное преобладание горожан над сельчанами. На сегодняшний день процесс урбанизации в Казахстане идет достаточно динамично (о чем свидетельствует рост численности населения в крупных городах), хотя по данным официальной

Таблица 1.
Динамика численности населения Республики
Казахстан на начало года

Год	Все население (тыс. чел.)	Городское население		Сельское население	
		абс. числ. (тыс. чел.)	уд. вес (%)	абс. числ. (тыс. чел.)	уд. вес (%)
1970	13009,7	6538,7	50,3	6470,1	49,7
1979	14684,6	7855,2	53,5	6829,1	46,5
1989	16464,5	9402,6	57,1	7061,9	42,9
1993	16426,5	9343,2	56,9	7083,3	43,1
1994	16334,9	9162,6	56,1	7172,3	43,9
1995	15956,7	8884,4	55,7	7072,3	44,3
1996	15675,8	8730,3	55,7	6945,5	44,3
1997	15480,6	8635,2	55,8	6845,4	44,2
1998	15188,2	8499,4	56,0	6688,8	44,0
1999	14955,1	8414,5	56,3	6540,6	43,7
2000	14901,6	8397,6	56,4	6504,1	43,6
2001	14865,6	8413,4	56,6	6452,2	43,4
2002	14851,1	8429,3	56,8	6421,7	43,2
2003	14866,8	8457,2	56,9	6409,7	43,1
2004	14951,2	8518,2	57,0	6433,0	43,0
2005	15074,8	8614,7	57,1	6460,1	42,9
2006	15219,3	8696,5	57,1	6522,8	42,9
2007	15396,9	8833,2	57,4	6563,6	42,6

Источники:

Статистический сборник по отдельным показателям Всесоюзных переписей населения 1939, 1959, 1970, 1979 и 1989 гг. Алма-Ата, 1991. С. 7, 9, 11.

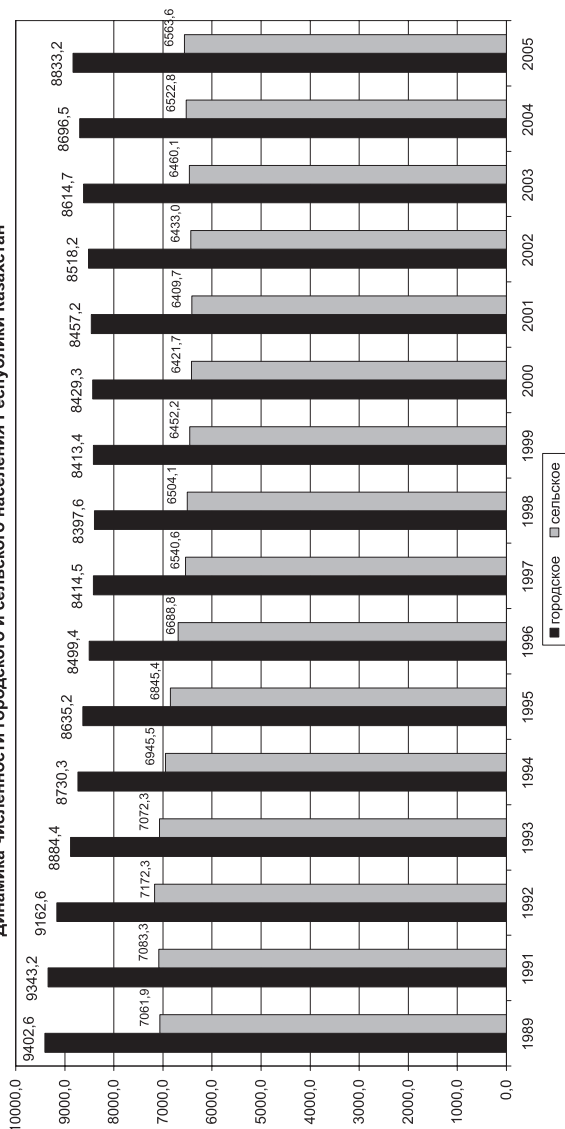
Демографический ежегодник Казахстана. 2000. Стат. сб. Алматы, 2002. С. 10.

Демографический ежегодник Казахстана, 2005. Стат. сб. Алматы, 2005. С. 5.

Об уточненной численности населения Республики Казахстан на начало 2007 года // Экспресс-информация Агентства по статистике Республики Казахстан. 10 апреля. 2007.

Демографический ежегодник регионов Казахстана. Стат. сб. Алматы, 2006. С. 5.

Рисунок 1
Динамика численности городского и сельского населения Республики Казахстан



статистики удельный вес городского и сельского населения республики изменяется несущественно.

Для Казахстана достаточно высокий уровень урбанизации населения был характерен еще со времен существования в рамках СССР. Особенно выделялся

Казахстан среди республик Средней Азии, в которых доля урбанизированного населения была гораздо ниже. Так, к началу 1990 г. удельный вес городского населения составлял: в Казахской ССР — 57,4%, в Туркменской ССР — 45,2, в Узбекской ССР — 40,8, в Киргизской ССР — 38,1, в Таджикской ССР — 32,2% [1]. По существу, Казахская ССР к концу советского периода являлась единственной республикой в регионе, в которой больше половины населения проживало в городах. Та же ситуация фиксируется и на сегодняшний день — из пяти Центрально-Азиатских государств только в Казахстане городское население составляет более 50% всего населения республики. А в таких государствах, как Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан, доля городского населения даже уменьшилась [2].

Опережающий рост городского и несельскохозяйственного населения по сравнению с сельским и сельскохозяйственным — наиболее характерная черта современной урбанизации. Для урбанизации характерна концентрация населения в больших и сверхбольших городах. Именно рост больших городов (с населением свыше 100 тыс. человек), связанные с ними новые формы расселения и распространение городского образа жизни наиболее ярко отражает процесс урбанизации населения [3].

К моменту переписи населения 1989 г. в Казахстане насчитывалось 84 города, из них только 2 города (Алматы и Караганда) имели численность населения более 500 тыс. чел. Абсолютное большинство городов (51 город) имели численность от 3 до 50 тыс. человек. В общей сложности в 1989 г. число больших городов (с численностью населения свыше 100 тыс. человек) составило 21 город, или 25% городов Казахстана, однако в них проживало 53,3% городского населения Казахстана [4]. В советское время рост числа городов в Казахстане происходил за счет доминирующего значения градообразующих промышленных факторов. Среди них можно отметить разработку и освоение природных ресурсов, развитие транспортной инфраструктуры (на железнодорожных магистралях, станциях возникали как малые, так и средние города).

К 1999 г. число городов осталось прежним (84 города), однако изменилась их группировка по численности: остался лишь 1 город с численностью населения более 500 тыс. человек (г. Алматы, численность населения г. Караганды сократилось), 58 городов имели численность населения от 3 до 50 тыс. человек. Сократилось также и число городов с численностью населения свыше 100 тыс. человек (19 городов), их доля стала составлять 22,6% (Жезказган и Талдыкорган «выбыли» из списка), однако в них уже было официально зарегистрировано 57,7% горожан Казахстана [4]. К началу 2006 г. в Казахстане насчитывалось 86 городов, из которых лишь 3 города имели численность населения свыше 500 тыс. человек (Алматы, Астана, Шымкент). Количество городов с численностью населения свыше 100 тыс. человек осталось прежним – 19 городов, в которых было зарегистрировано 5917,7 тыс. человек (или 68,0% всех горожан РК) [5].

Абсолютное большинство городов Казахстана на сегодняшний день представлено так называемыми «малыми» и «средними» городами (с численностью населения менее 100 тыс. жителей). К началу 2006 г. количество малых городов (с численностью населения менее 50 тыс. человек) составило по Казахстану 59 городов. Численность населения более 50 тыс. человек, но менее 100 тыс. человек на сегодняшний день имеют такие города областного значения, как Жезказган, Туркестан, Балхаш, Жанаозен, Сатпаев, Кентау, Риддер [6].

Практически для всех «малых» и «средних» городов было характерно сокращение численности населения на протяжении 1990-х гг., в основном за счет активной миграции в связи с ухудшением экономической ситуации и социально-бытовых условий жизни (численность населения небольших городов, как правило, напрямую зависит от состояния градообразующего предприятия). С 2002 г. в ряде таких городских поселений наметился рост численности населения (например, города Степногорск, Балхаш, Жезказган, Сарань, Лисаковск, Туркестан, Щучинск и др.). Однако на современном этапе существуют города областного и районного значения, в которых численность населения продолжает сокращаться

Таблица 2.
Динамика численности населения крупных городов Казахстана

	1989	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Астана	276003	326939	380990	440209	493062	501998	510533	529335	550438	574448
Алматы	1121395	1128989	1130439	1128759	1132424	1149641	1175208	1209485	1247896	1287246
Актобе	252978	253088	248930	244360	245341	247006	249759	253952	258014	...
Атырау	147234	142497	141795	142040	143197	143693	145100	147442	152294	...
Ақтау	160744	143396	142005	143465	146978	150594	154718	159227	164547	...
Жезказган	107053	90001	89166	88615	89240	89826	90364	90925	91691	...
Караганда	507318	436864	431893	425480	422035	423512	428867	435953	446139	...
Кокшетау	135424	123389	122445	122173	121052	121661	123640	125455	127317	...
Костанай	223558	221429	213497	207813	204016	203446	204243	205968	207802	...
Кызылорда	150425	157364	157306	156226	155732	156335	157719	158592	161539	...
Павлодар	329681	300503	294291	287882	284919	283356	286538	291408	295696	...
Петропавловск	239606	203523	200517	197779	194720	192820	192320	189830	190092	...
Семипалатинск	317112	269574	267107	265648	265713	266620	268998	273781	277261	...
Талдыкорган	118623	97996	96794	95043	94830	97574	100577	103041	106900	...
Тараз	303961	330125	327157	323479	321683	323301	327911	332204	336057	...
Уральск	199522	195459	189950	186118	188903	193041	195811	198137	201970	...
Усть-Каменогорск	322221	310950	307526	303047	299979	296880	294507	291518	288509	...
Шымкент	380091	360078	435277	482923	502702	506663	513110	521358	526140	...

Источники:

Статистический сборник по отдельным показателям Всесоюзных переписей населения 1939, 1959, 1970, 1979 и 1989 гг. Алма-Ата, 1991. С. 70.

Демографический ежегодник Казахстана, 2005. Алматы, 2005. С. 76.

Об уточненной численности населения Республики Казахстан на начало 2007 года // Экспресс-информация Агентства по статистике Республики Казахстан. 10 апреля. 2007.

Демографический ежегодник регионов Казахстана. Стат. сб. Алматы, 2006. С. 10.

(например, Шахтинск, Аксу, Аркалык, Аягоз, Зыряновск, Риддер, Абай, Каркаралинск, Аральск) [6].

На сегодняшний день в Казахстане имеется единственный город-«миллионер» — Алматы. Численность свыше 1 млн человек сформировалась в Алматы к началу 1982 г. [7]. Таким образом, вот уже четверть века Алматы является единственным мегаполисом в Казахстане. За период с 1989 по 2007 г. численность населения Алматы увеличилась с 1 121 395 до 1 287 246 человек (или на 14,8%). Особенно динамично Алматы развивается с 2001 г. (табл. 2). Доля населения Алматы в численности городского населения Казахстана также увеличивалась: если в 1989 г. она составляла 11,9%, то с 1999 по 2002 г. — 13,4%, в 2003 г. — 13,6, в 2004 г. — 13,8, в 2005 г. — 14,0, в 2006 г. — 14,3, в 2007 г. — 14,6% [8]. Мы приводим данные официальной статистики, но не нужно забывать, что в Алматы сосредоточено достаточно большое количество незарегистрированного населения (мигранты из других регионов и сельской местности, трудовые мигранты из соседних стран, нелегалы, беженцы и т.д.).

Немалый рост числа горожан Алматы происходил за счет пригородов. Высокая плотность размещения сельских поселений, их близкое расположение и разрастание вокруг ареала Алматы сыграли решающую роль при решении вопроса о включении сел и поселков в черту города, а их жителей — в число алмаатинцев. Активное освоение окрестностей Алматы путем постройки жилых домов, коттеджей также сыграло свою роль в получении близлежащими селами статуса города. Особенно эти процессы динамично развивались последние 5–7 лет, что способствовало расширению пределов городской

агломерации. Только в 1999 г. расширение границ Алматы привело к росту населения на 8,7 тыс. человек. В Алматы и в дальнейшем планируется присоединение к черте города новых сельских населенных пунктов [9].

Особый интерес представляет динамика численности населения г. Астана. В 1997 г. Астана становится столицей Республики Казахстан. Именно с этого времени город переживает, если можно так выразиться, «урбанистический бум». Постоянный приток населения в Астану приводит к тому, что численность населения города растет очень быстрыми темпами. Так, с 1989 по 2007 г. численность населения Астаны возросла в 2 раза (с 276 003 до 574 448 человек) (см. табл. 2). Соответственно увеличилась и его доля в составе городского населения Республики: 1989 г. — 2,9%, 1999 г. — 3,9, 2000 г. — 4,5, 2001 г. — 5,2, 2002 г. — 5,8, 2003 г. — 5,9, 2004 г. — 6,0, 2005 г. — 6,1, 2006 г. — 6,3, 2007 г. — 6,5% [8]. Столичный статус придает Астане дополнительную привлекательность как для внутренних мигрантов, так и для трудовых мигрантов из других стран, иностранных инвесторов, предпринимателей разного уровня и туристов. Сосредоточение в городе большого количества населения молодых возрастов способствует увеличению его численности и за счет рождаемости. Кроме того, люди изыскивают различные варианты переселения в саму столицу. Например, резко возросла рыночная стоимость на сельскохозяйственные угодья, закрепленные за арендаторами, после реоформления их под индивидуально-жилищное строительство. Многие жители окраин и отдаленных районов воспользовались этой ситуацией — продали земли и купили квартиры в самой Астане, т.е. перешли на более высокий уровень социализации [10].

Необходимо отметить, что только с 2005 г. Астана становится вторым по численности населения городом Казахстана. В период с 2000 по 2004 г. включительно второе место по численности населения занимал г. Шымкент. С 2000 г. Шымкент по численности населения переместился на второе место по республике, «вытеснив» на третье место г. Караганду, который долгие годы считался вторым городом Казахстана как по численности населения, так

и по уровню социально-экономического развития (с 2001 г. численность населения Караганды становится меньше численности населения Астаны). К началу 2003 г. численность Астаны превысила 500 тыс. человек (см. табл. 2). Хотя при составлении генерального плана застройки столицы предполагалось, что полумиллионной отметки город достигнет лишь к 2010 г. и все проекты были связаны с этой прогнозной численностью населения [11].

Хотя в первые годы переноса столицы (1997–2000 гг.) ряд сельских населенных пунктов был введен в городскую агломерацию, в ближайшем будущем заметного роста численности горожан за счет включения новых сельских поселений не предполагается. В данное время вокруг Астаны нет пояса близко расположенных сельских поселений. Тем не менее по сравнению с 1997 г. наблюдается увеличение городской площади в 2,7 раза, которая достигалась путем освоения новых, незаселенных площадей [11].

На сегодняшний день динамично развивающимися большими городами Казахстана (помимо городов Алматы и Астана) являются Караганда, Шымкент, Атырау, Тараз, Уральск, Усть-Каменогорск (см. табл. 2).

Население представляет собой весьма сложную совокупность, которая характеризуется различными структурами. Одной из важнейших является возрастно-половая структура. С одной стороны, она оказывает огромное влияние на все демографические процессы (рождаемость, смертность, брачность и т.д.); с другой стороны, является производной от них и отражает предшествующие этапы демографического развития. Возраст-половая структура населения является той основой, без которой невозможно проведение качественного анализа демографических процессов [12].

В период с 1989 по 2005 г. изменилась возраст-половая структура населения городских поселений. Так, удельный вес детского населения городов сократился с 28,2 до 21,9% соответственно. Однако доля населения трудоспособного возраста и населения старше трудоспособного возраста увеличилась (табл. 3). Следует отметить одну особенность: не-

смотря на рост рождаемости в городах, доля детского населения здесь уменьшается. Напротив, доля населения трудоспособного возраста увеличивается, что объясняется как миграцией сельского населения в городские поселения, так и пополнением (на протяжении 1990-х — начала 2000-х гг.) трудоспособного населения за счет числа родившихся в первой половине 1980-х гг. Доля населения старше трудоспособного возраста хотя и увеличивалась вплоть до начала 2000-х гг., но в связи с увеличением удельного веса населения трудоспособного возраста на современном этапе уменьшилась: 1989 г. — 9,7%, 1999 г. — 11,7, 2001 г. — 12,2, 2005 г. — 11,1%. Подобные тенденции характерны и для сельской местности, только с несколько иным процентным соотношением основных возрастных групп (см. табл. 3).

Таблица 3.

Удельный вес возрастных групп в составе населения Казахстана, %

	1989		1999		2001		2005	
	Город	Село	Город	Село	Город	Село	Город	Село
0–14	28,2	36,7	25,3	33,1	24,1	31,5	21,9	28,1
15–59	62,1	54,9	62,9	57,6	63,8	58,7	67,0	62,5
60+	9,7	8,4	11,7	9,3	12,2	9,8	11,1	9,4

Таблица рассчитана и составлена на основе данных:

Статистический сборник по отдельным показателям Всесоюзных переписей населения 1939, 1959, 1970, 1979 и 1989 гг. Алма-Ата, 1991. С. 134–135.

Демографический ежегодник Казахстана, 2005. Алматы, 2005. С. 7–8.

Основная масса детского населения Казахстана на протяжении 1970-х гг. приходилась на сельскую местность: 1970 г. — 58,5%, 1979 г. — 55,5%. В данном случае необходимо учесть этнический фактор — более 2/3 казахского населения в 1960–1970-е гг. было сосредоточено в сельской местности и имело высокие показатели рождаемости [13]. К 1989 г. соотношение изменилось в пользу городских детей: 1989 г. — 50,6%:49,4%. Но в 1999 г. перевес, хотя и

незначительный, пришелся вновь на детское население сельской местности (табл. 4). В масштабах республики это было связано с активным снижением рождаемости в городах на протяжении 1990-х гг. Обозначившийся с начала 2000-х гг. рост рождаемости в городских поселениях вновь привел к изменению соотношения в пользу городского детского населения (см. табл. 4).

Следует отметить, что как по республике в целом, так и по регионам в частности удельный вес детей в составе сельского населения был выше, чем в составе городского (хотя в обоих случаях показатель постоянно уменьшался). Об этом свидетельствуют цифровые данные. Если в 1989 г. доля детей в составе городского населения составила 28,2%, а в составе сельского населения — 36,7%, то в 1999 г. — 25,3 и 33,1%, в 2001 г. — 24,1 и 31,5%, в 2005 г. — 21,9 и 28,1% соответственно (см. табл. 3).

На территории Казахстана большая часть трудоспособного населения проживала в городах с 1970 г. Процентное соотношение городского и сельского населения трудоспособного возраста было следующим: 1970 г. — 56,9:43,1, 1979 г. — 58,4:41,6, 1989 г. — 60,1:39,9, 1999 г. — 58,7:41,3, 2005 г. — 58,8%:41,2% (см. табл. 4). Снижение доли трудоспособного населения в городах в 1990-е гг. было обусловлено спадом производства и миграцией населения за пределы республики. На современном этапе соотношение изменилось незначительно по сравнению с 1999 г., однако динамика численности городского населения позволяет предположить существенные подвижки в подобном соотношении в ближайшие годы.

Доля населения трудоспособного возраста в составе городского населения Казахстана была достаточно высокой: 1989 г. — 62,1%, 1999 г. — 62,9, 2001 г. — 63,8, 2005 г. — 67,0% (см. табл. 3). Увеличение доли трудоспособного населения происходило как за счет снижения доли детей в составе городского населения, так и за счет достижения трудоспособного возраста достаточно большими когортами 1970–1980-х гг. рождения. Доля сельского населения трудоспособного возраста также увеличивалась: 1989 г. — 54,9%, 1999 г. — 57,6, 2001 г. — 58,7, 2005 г. — 62,5% (см. табл. 3). Заметим, что темпы ро-

Таблица 4.
Структура населения Казахстана по основным возрастным группам

	1989		1999		2001		2005	
	Город	Село	Город	Село	Город	Село	Город	Село
Всего	9402582	7061882	8414472	6540634	8413399	6452211	8614651	6460116
0-14	2654530	2592395	2131526	2164166	2023927	2032456	1886387	1814148
15-59	5834472	3876032	5295991	3770067	5367006	3788328	5772214	4037765
60+	913580	593455	986955	606401	1022466	631427	956050	608203

Источники:

Статистический сборник по отдельным показателям Всесоюзных переписей населения 1939, 1959, 1970, 1979 и 1989 гг. Алма-Ата, 1991. С. 134–135;
Демографический ежегодник Казахстана, 2005. Алматы, 2005. С. 7–8.

ста сельского населения трудоспособного возраста были выше, чем городского. Во многом это было обусловлено более «молодой» возрастной структурой села, которая давала возможность более широкого замещения поколений.

Большое значение при изучении возрастной структуры населения с позиций его участия в производстве имеют показатели демографической нагрузки, которые рассчитываются на численность населения трудоспособного возраста. Так, в городских поселениях Казахстана в 1989 г. на 100 человек в возрасте 15–59 лет приходилось 15,7 человека пожилого возраста и 45,5 детей, в 1999 г. — соответственно 18,6 и 40,2, в 2001 г. — 19,1 и 37,7, в 2005 г. — 16,6 и 32,7 (табл. 5). Причем нагрузка детьми на население трудоспособного возраста постепенно снижается. Показатель нагрузки людьми пожилого возраста увеличивался до начала 2000-х гг., а затем начал снижаться (на современном этапе некоторое сокращение численности и удельного веса населения в возрасте 60 лет и старше происходит, во-первых, по причине достижения трудоспособного возраста людьми, рожденными во второй половине 1980-х — начале 1990-х гг., во-вторых, «переходом» в пенсионный возраст малочисленных возрастных когорт, рожденных в конце 1930-х — начале 1940-х г.).

На современном этапе население пожилого возраста играет важную роль в социально-экономической жизни общества. С точки зрения демографической науки изучение пожилого населения является одним из приоритетных направлений, так как позволяет определить этап демографического развития общества. В Казахстане на протяжении 1989–2001 гг. наблюдалось увеличение как абсолютного числа, так и удельного веса населения пожилого возраста (60 лет и старше). Если в 1989 г. их доля составляла 9,2%, то в 1999 г. — 10,5%, в 2001 г. — 11,1, в 2005 г. — 10,4% (см. табл. 4). Основная часть пожилого населения Казахстана на протяжении 1960–1970-х гг. проживала в сельской местности. Лишь к началу 1980-х гг. большинство населения в возрасте 60 лет и старше сосредоточилось в городах с тенденцией к дальнейшему росту, что было обусловлено высокими темпами роста численности

городского населения в предыдущие годы. Причем численность женского населения пенсионного возраста была практически в 1,5–2,0 раза больше мужского.

Таблица 5.

Индексы нагрузки на население трудоспособного возраста

Индексы нагрузки		1989	1999	2001	2005
Число детей в возрасте 0–14 лет на 100 человек в возрасте 15–59 лет	Город	45,5	40,2	37,7	32,7
	Село	66,9	57,4	53,7	44,9
Число людей в возрасте 60+ на 100 человек в возрасте 15–59 лет	Город	15,7	18,6	19,1	16,6
	Село	15,3	16,1	16,7	15,1
Число детей в возрасте 0–14 лет и людей в возрасте 60+ на 100 человек в возрасте 15–59 лет	Город	61,2	58,9	56,8	49,2
	Село	82,2	73,5	70,3	60,0
Соотношение молодого и пожилого населения*	Город	34,4	46,3	50,5	50,7
	Село	22,9	28,0	31,1	33,5

* Численность населения 60 + лет на 100 человек в возрасте 0–14 лет.

Динамика возрастно-половой структуры на протяжении последних полутора десятилетий демонстрирует процесс постепенного старения населения Казахстана. В соответствии со шкалой степени старения населения [14] для Казахстана в 1989 г. была характерна стадия «преддверие старости», а в 1999 г. наступил этап «собственно старение», который длится по сей день.

Для оценки уровня старения населения также используют показатель, рассчитанный французским демографом А. Сови. Этот показатель характеризует соотношение в населении между стариками и молодежью. Если в 1989 г. в городах Казахстана на 100 человек в возрасте 0–14 лет приходилось 34,4 человек в возрасте 60 лет и старше, то 1999 г. – 46,3 человек, в 2001 г. – 50,5 человек, в 2005 г. – 50,7 человек (табл. 5). В целом процесс демографического

старения населения Казахстана происходит очень быстро как в городских поселениях, так и в сельской местности.

Процесс демографического старения в Казахстане происходил под воздействием совокупности факторов — динамики рождаемости, смертности, миграционного движения. Главный из них — изменение рождаемости. Именно ее снижение привело в 1990-е гг. к сокращению пополнения молодых возрастов за счет новорожденных и, при прочих равных условиях, к увеличению доли людей старших возрастов. Снижение показателей младенческой и старческой смертности в 1960–1990-е гг. также повлияло на ускорение процесса старения населения. Обострение экологических и социально-экономических проблем привело к усилению миграционной активности населения трудоспособных возрастов, что повлияло на изменение демографической структуры.

Одним из показателей процесса демографического старения является динамика среднего возраста населения. Так, в период с 1989 по 2005 г. средний возраст городского населения Казахстана увеличился с 28,7 лет до 32,8 лет (табл. 6). То есть средний возраст казахстанского горожанина переместился с возрастной когорты 25–29 лет в возрастную когорту 30–34 года. Это говорит о том, что наряду с процессом урбанизации идет процесс демографического старения городского населения республики. При этом средний возраст женского населения городов выше мужского: 1989 г. — 30,1 и 27,2; 1999 г. — 33,6 и 30,1; 2005 г. — 34,6 и 30,8 года соответственно (причем в обеих половых группах он увеличивается). Для сравнения необходимо отметить, что сельское население в обеих половых группах моложе городского как минимум на одну возрастную когорту (см. табл. 6). Тем не менее и в сельских поселениях является очевидным процесс постепенного старения населения.

За период с 1989 г. изменилась и этническая структура городского населения Казахстана. В 1989 г. большая часть городского населения республики была представлена русскими — 51,3%, удельный вес казахов среди горожан составлял 26,7%,

далее шли украинцы – 6,2%, немцы – 5,0 и татары – 2,7% [15].

Таблица 6.
Средний возраст населения Казахстана

Год	Все население			Городское население			Сельское население		
	всего	муж	жен	всего	муж	жен	всего	муж	жен
1989	27,4	26,0	28,7	28,7	27,2	30,1	25,7	24,5	26,9
1990
1991	...	27,2	30,6	...	28,3	31,7	...	25,9	29,0
1992	...	27,4	30,7	...	28,5	31,8	...	26,0	29,1
1993	...	27,5	30,8	...	28,7	32,0	...	26,1	29,1
1994	...	27,7	31,0	...	29,0	32,3	...	26,2	29,2
1995	...	27,9	31,1	...	29,2	32,5	...	26,4	29,3
1996	...	28,0	31,2	...	29,3	32,7	...	26,5	29,4
1997	...	28,2	31,4	...	29,5	32,8	...	26,7	29,5
1998	...	28,4	31,6	...	29,7	33,1	...	26,8	29,6
1999	30,3	28,7	31,8	32,0	30,1	33,6	28,3	27,1	29,4
2000	30,6	29,0	32,1	32,2	30,3	33,8	28,5	27,3	29,7
2001	30,8	29,2	32,3	32,4	30,5	34,0	28,7	27,6	29,9
2002	31,0	29,4	32,5	32,5	30,6	34,2	29,0	27,8	30,2
2003	31,2	29,6	32,7	32,7	30,8	34,4	29,2	28,1	30,4
2004	31,4	29,7	32,9	32,8	30,8	34,5	29,5	28,3	30,6
2005	31,5	29,8	33,0	32,8	30,8	34,6	29,7	28,6	30,8
2006	31,6	30,0	33,2	32,9	30,9	34,6	30,0	28,8	31,1

Источники:

Демографический ежегодник Казахстана, 2005. Алматы, 2005. С. 6.

Демографический ежегодник Казахстана. 2000. Алматы, 2002. С. 25.

Статистический сборник по отдельным показателям Всесоюзных переписей населения 1939, 1959, 1970, 1979 и 1989 гг. Алма-Ата, 1991. С. 133–135 (рассчитано самостоятельно).

Демографический ежегодник регионов Казахстана. Стат. сб. Алматы, 2006. С. 17–18.

В 1999 г. ситуация изменилась — активная миграция населения различной этнической принадлежности за пределы Казахстана привела к значительному увеличению удельного веса казахов в составе городского населения. Свою роль сыграла и активная миграция казахского населения из сельской местности в города. В города предпочитают переселяться и оралманы (этнические казахи, вернувшиеся на свою историческую родину). Таким образом, в 1999 г. значительно увеличилась численность казахского населения в городах (почти в 1,5 раза), и их доля в структуре городского населения Казахстана составила 43,2%. Русские переместились на второе место — 41,1%, и хотя их доля среди горожан оставалась значительной, сокращение численности русского населения городов в абсолютных цифрах произошло на 28,6%. Сокращение численности населения в абсолютных цифрах (и соответственно их удельного веса) в период с 1989 по 1999 г. произошло в основном во всех этнических группах (исключение составили уйгуры и турки). Так, удельный вес украинцев среди горожан в 1999 г. составлял 4,0%, немцев — 2,2; татар — 2,3% [16]. Самым значительным в период с 1989 по 1999 г. было сокращение численности русского населения — на 28,6% (в 1,4 раза), украинского — на 42,0% (или в 1,7 раза), немецкого — на 61,3% (в 2,6 раза), белорусского — на 42,1% (в 1,7 раза), татарского — на 23,6% (в 1,3 раза).

К сожалению, проанализировать национальный состав городского населения республики на современном этапе не представляется возможным, так как официальная статистика фиксирует этническую структуру городского и сельского населения только в переписях. Текущая статистика дает общие сведения по национальному составу по республике в целом и по регионам в частности.

Особенно интересно проследить изменение этнической структуры населения крупных городов Казахстана. Так, в 1989 г. более половины населения г. Алматы (59,1%) составляло русское население (663 251 человек), доля казахского населения составляла 22,5%, а их численность — 252 072 человека. Значительной была численность украинцев (45 598 человек — 4,1%), уйгуров (40 880 человек — 3,6%), немцев

(20 117 человек – 1,8%) [17]. Таким образом большая часть населения Алматы была представлена европейским населением. В последующие годы ситуация изменилась. Так, в 1999 г. численность казахского населения увеличилась до 432 335 человек (что составило 38,3%) с устойчивой тенденцией к дальнейшему росту: в 2000 г. – 442 462 человека (39,1%); в 2003 г. – 486 041 человек (42,3%); к началу 2004 г. казахское население Алматы превысило полмиллиона и составило 512 085 человек (43,6%), в 2005 г. – 544 460 (45,0%), в 2006 г. – 579 796 человек, или 46,5% [17]. Увеличение удельного веса казахского населения Алматы объясняется активной миграцией казахов из сельской местности и других регионов Казахстана в южную столицу и более высокими показателями рождаемости среди казахов. В то же время численность и удельный вес населения таких наций, как русские, украинцы, немцы и белорусы, на протяжении последних полутора десятилетий сокращалась. Основными причинами явились снижение рождаемости и активная миграция за пределы Казахстана представителей данных этнических групп (особенно на протяжении 1990-х гг.). Так, к 1999 г. численность русского населения Алматы сократилась до 511 880 человек (45,3%), а к 2001 г. стала меньше чем полмиллиона (491 774 человека – 43,6%) с тенденцией к дальнейшему сокращению; к 2006 г. численность русского населения составила 466 867 человек, или 37,4%. С 1999 по 2006 г. численность украинского населения Алматы сократилось с 22 934 до 18 605 человек немецкого населения – с 9560 до 7083, белорусского населения – с 3462 до 2907 человек. В то же время возросла численность узбеков (с 4323 до 5371 человек), уйгуров (с 60 377 до 71 377 человек), корейцев (с 19 000 до 23 311 человек) и некоторых других национальностей [17]. Следует обратить внимание, что представленные данные являются официальными и не учитывают нелегальных мигрантов из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Процесс изменения этнической структуры Астаны идет по аналогии с южной столицей. С 1989 по 1999 г. численность казахского населения столицы увеличилась в 2,7 раза (с 49 798 до 135 456 человек), что было связано как с развитием демогра-

фических и миграционных процессов, так и с обретением столичного статуса. Если в 1989 г. доля казахов, проживавших в г. Целинограде (нынешний г. Астана) составляла 17,7%, то в 1999 г. — 41,4, а в 2006 г. — 58,7% (323 021 человек) [18]. То есть на сегодняшний день большая часть населения г. Астана представлена казахами. Динамика численности русского населения города выглядит волнообразно: если в 1989 г. русские составляли большинство — 152 147 человек, или 54,1% населения г. Целинограда, то к 1999 г. их численность сократилась до 133 130 человек, а удельный вес составил 40,7%. Однако к следующему, 2000 г., численность русских вновь начинает увеличиваться вплоть до 2002 г. На протяжении 2002 и 2003 гг. численность русских вновь сокращается, а с 2004 г. начинает понемногу увеличиваться. К 2006 г. численность русского населения Астаны составила 158 278 человек, или 28,8% [18]. Таким образом, несмотря на колебания численности русского населения, удельный вес его постоянно сокращается. На сегодняшний день (данные на начало 2006 г.) наряду с казахами и русскими достаточно большими этническими группами населения Астаны являются украинцы (3,5%), татары (2,0%), немцы (1,7%) [18]. Конечно, приведенные данные относятся только к официально зарегистрированному населению. В условиях «строительного бума», активного социально-экономического, культурного и финансового развития в Астане очень много трудовых мигрантов, в том числе и нелегальных.

По мере развития процесса урбанизации уровень рождаемости городского населения по сравнению с сельским падает, в дальнейшем происходит падение рождаемости и в сельской местности. В некоторых случаях это может привести к тому, что уровень рождаемости в городах становится выше, что объясняется рядом социально-экономических, демографических и религиозных факторов, в частности тем, что в городах более сбалансированное соотношение полов. Как правило, уровень рождаемости у городских жителей, недавно переехавших из сельской местности, выше, чем у давно живущих в городах [19].

Пик рождаемости в Казахстане пришелся на 1987 г. — именно тогда родилось наибольшее количество детей в республике. Но уже со следующего 1988 г. начался процесс постепенного сокращения числа родившихся, длившийся до 2001 г. включительно. С 2002 г. в Казахстане наблюдается рост рождаемости. Данная общереспубликанская тенденция была во многом характерна и для сельского населения Казахстана: здесь также сокращение количества родившихся продолжается вплоть до 2001 г., а с 2002 г. начинается рост (табл. 7). Несколько иная ситуация сложилась в городах республики. Так, с 1989 по 1999 г. количество родившихся в городах ежегодно сокращалось, причем достаточно стремительно. Подъем рождаемости в городах начался с 2000 г. Нужно отметить, что с 1998 г. количество родившихся в городах численно превосходило количество родившихся в сельской местности: если в 1998 г. в городах родилось всего на 1,4% больше детей, чем в сельской местности, то в 2002 г. — на 14,0%, в 2003 г. — на 21,2, в 2004 г. — на 25,0, 2005 г. — на 29,7, 2006 г. — на 28,3% (см. табл. 7), причем данная тенденция сохраняется и по сей день. В сельской местности процесс снижения рождаемости носил более затяжной характер. Табл. 7 наглядно иллюстрирует, каким образом происходила смена показателей рождаемости в городах и сельской местности.

Как известно, рождаемость характеризуется сравнительно высокой степенью эластичности по отношению к социально-политическим и экономическим изменениям. Развитие перестроечных процессов, осложнение социально-экономических условий жизни, смена поведенческих стереотипов, появление и широкая доступность различных средств контрацепции — все это сыграло определенную роль в процессе снижения рождаемости в 1990-е гг. В некоторых семьях (особенно молодых) произошла переориентация на желаемое количество детей, все чаще супруги стали откладывать рождение очередного ребенка на неопределенный срок. Отказ от рождения большего числа детей привел к изменению графика рождений, что способствовало увеличению доли первенцев среди новорожденных в 1990-е гг. При этом наблюдались существенные различия между ситуа-

цией в городской и сельской местностях. В городах все более укреплялась ориентация на рождение первого ребенка, в сельской местности еще поддерживались традиции многодетности – доля детей третьей и более очередности рождения хотя и сокращалась, все же оставалась значительной. Таким образом, показатели рождаемости к концу 1990-х гг. поддерживались в основном за счет рождаемости в сельской местности значительного числа детей третьей и более очередности рождения.

Таблица 7.
Показатели рождаемости населения Казахстана

год	Все население		Городское население		Сельское население	
	число родившихся	общий коэффициент рождаемости	число родившихся	общий коэффициент рождаемости	число родившихся	общий коэффициент рождаемости
1989	382 269	23,0	193 394	20,3	188 875	26,7
1990	363 335	21,7	181 038	18,8	182 297	25,6
1991	353 174	21,5	169 947	18,1	183 227	26,1
1992	337 612	20,5	159 679	17,0	177 933	25,2
1993	315 482	19,3	143 825	15,5	171 657	24,1
1994	305 624	18,9	138 637	15,4	166 987	23,4
1995	276 125	17,5	125 698	14,3	150 427	21,5
1996	253 175	16,3	119 003	13,7	134 172	19,5
1997	232 356	15,2	112 402	13,1	119 954	17,7
1998	222 380	14,8	112 002	13,3	110 378	16,6
1999	217 578	14,6	110 167	13,1	107 411	16,5
2000	222 054	14,9	114 505	13,6	107 549	16,6
2001	221 487	14,9	115 316	13,7	106 171	16,5
2002	227 171	15,3	122 151	14,5	105 020	16,4
2003	247 946	16,6	138 680	16,3	109 266	17,0
2004	273 028	18,2	155 997	18,2	117 031	18,2
2005	278 581	18,4	163 556	19,0	115 025	17,6
2006	299 233	19,6	174 286	19,9	124 947	19,1

Источники:

Демографический ежегодник Казахстана, 2005. Стат. сб. Алматы, 2005. С. 29.

Демографический ежегодник Казахстана. 2000. Алматы, 2002. С. 27–29; 36–39.

Естественное движение населения Республики Казахстан за январь-декабрь 2006 г. Алматы, 2007.

На современном этапе рост рождаемости в Казахстане обусловлен также несколькими факторами.

Во-первых, репродуктивного возраста достигли многочисленные поколения, родившиеся в 1980-е гг. Во-вторых, некоторое улучшение социально-экономических условий жизни привело к реализации эффекта так называемых «отложенных рождений». В-третьих, достаточно четко прослеживается ориентация молодых семей на сокращение интервалов между рождениями, особенно первого и второго ребенка.

Неустойчивая динамика показателей рождаемости последних полутора десятилетий проходила параллельно с процессом увеличения показателей смертности.

С конца 1980-х гг. в Казахстане обозначился активный рост показателей смертности: если в 1989 г. величина общего коэффициента смертности составляла 7,6%, то в 2004 г. — 10,1%, в 2005 г. — 10,4%, в 2006 г. — 10,3% (табл. 8). Растущие показатели смертности в республике во многом обусловлены «стареющей» моделью возрастной структуры. Наиболее высокие коэффициенты смертности характерны для этнических групп со «старой» возрастной структурой — украинцев, белорусов, русских, татар. У казахов показатель достаточно низкий [20]. Кроме того, рост смертности связан с ухудшением социальных условий и уровня жизни населения в 1990-х гг. Снижение качества медицинского обслуживания, дороговизна лекарственных препаратов и процесса лечения, а также обострение экологической обстановки во многих регионах Казахстана — все это нашло свое отражение в повышении коэффициента смертности.

Следует отметить, что показатели смертности городского населения Казахстана всегда были выше, чем у сельского населения, что объясняется более молодой возрастной структурой сельского населения. Но и здесь были некоторые особенности — в 1980-е гг. разница в показателях смертности городского и сельского населения была небольшой: 1980 г. — 0,3 пункта, 1985 г. — 0,0 пункта (показатели были одинаковые), 1989 г. — 0,3 пункта. То есть коэффициенты смертности городского и сельского населения были практически одинаковые. В 1990-е гг. ситуация изменилась — повысились коэффициенты смертности и в городах, и в сельской

местности (см. табл. 8). Причем в сельской местности незначительно: с 1990 по 1993 г. показатель повысился с 7,3 до 8,8%, а в период с 1993 по 1995 г. показатель колебался в пределах 8,2–8,9%. То есть

Таблица 8.

Показатели смертности населения Казахстана

Год	Все население		Городское население		Сельское население	
	число умерших	общий коэффициент смертности	число умерших	общий коэффициент смертности	число умерших	общий коэффициент смертности
1989	126 378	7,6	73 598	7,7	52 780	7,4
1990	128 787	7,7	76 509	7,9	52 278	7,3
1991	134 324	8,2	79 331	8,5	54 993	7,8
1992	137 518	8,4	81 668	8,7	55 850	7,9
1993	156 070	9,5	93 286	10,1	62 784	8,8
1994	160 339	9,9	97 183	10,8	63 156	8,9
1995	168 656	10,7	103 312	11,7	65 344	9,3
1996	166 028	10,7	102 939	11,9	63 089	9,1
1997	160 138	10,4	99 662	11,6	60 476	8,9
1998	154 314	10,2	96 878	11,5	57 436	8,7
1999	147 416	9,9	92 526	11,0	54 890	8,4
2000	149 778	10,1	94 594	11,3	55 184	8,5
2001	147 876	10,0	94 166	11,2	53 710	8,3
2002	149 381	10,1	95 470	11,3	53 911	8,4
2003	155 277	10,4	99 595	11,7	55 682	8,7
2004	152 250	10,1	98 025	11,4	54 225	8,4
2005	157 805	10,4	101 208	11,8	56 597	8,6
2006	157 357	10,3	100 490	11,5	56 867	8,7

Источники:

Демографический ежегодник Казахстана, 2005. Стат. сб. Алматы, 2005. С. 29.

Демографический ежегодник Казахстана. 2000. Алматы, 2002. С. 30–32; 39–42.

Естественное движение населения Республики Казахстан за январь – декабрь 2006 г. Алматы, 2007.

как увеличился коэффициент смертности в 1993 г., так и остался на этом уровне (с некоторыми колебаниями), вплоть до 2006 г. А вот коэффициент смертности среди горожан увеличился значительно: 1990 г. — 7,9%, 2006 г. — 11,5% (на 3,6 пункта). Соответственно на протяжении 1990-х — начала 2000-х гг. увеличилась и разница между показателями смертности городского и сельского населения. Если в 1990 г. разница составляла 0,6 пункта, то в 2006 г. — 2,8 пункта (см. табл. 8).

Высокие показатели смертности среди горожан на современном этапе обусловлены, с одной стороны, особенностями возрастной структуры городского населения («стареющая» демографическая модель), с другой стороны, наличием *дополнительных рисков* в городских поселениях (криминогенная обстановка, многочисленные дорожно-транспортные происшествия, производственный травматизм, психо-эмоциональные перегрузки, регулярные стрессы, распространение опасных заболеваний, возможный доступ к наркотикам и т.д.).

Высокие показатели смертности, особенно населения трудоспособного возраста, привели к снижению показателей средней ожидаемой продолжительности предстоящей жизни в период с 1989 по 2006 г. Особенно сократилась продолжительность жизни городского населения. Если в 1989 г. средняя ожидаемая продолжительность жизни горожан составляла 68,4 года, то в 1999 г. она спустилась до отметки 65 лет, а в 2000 г. — до 64,8 года (табл. 9). С начала 2000-х гг. показатель начал понемногу увеличиваться: 2001 г. — 65,1 года; в 2002 г. — 65,3, 2006 г. — 65,3 года. Низкий показатель средней ожидаемой продолжительности предстоящей жизни существует параллельно с большой разницей между продолжительностью жизни мужчин и женщин в городах: 1999 г. — 59,3 и 70,8, 2003 г. — 58,9 и 71,2; 2006 г. — 59,0 и 71,9 года соответственно (см. табл. 9). Следует отметить, что продолжительность жизни горожан на 2-3 года ниже продолжительности жизни сельчан. Особенно ощутима разница в продолжительности предстоящей жизни среди городских и сельских мужчин. Продолжительность жизни сельских мужчин выше (см. табл. 9).

Таблица 9.
Средняя продолжительность предстоящей жизни населения Казахстана, лет

Год	Все население			Городское население			Сельское население		
	всего	муж.	жен.	всего	муж.	жен.	всего	муж.	жен.
1989	68,2	63,4	72,7	68,4	68,0
1990	68,1	63,2	72,7	68,0	68,3
1991	67,6	62,6	72,4
1992	67,4	62,4	72,3
1993	65,4	60,1	70,8
1994	64,9	59,7	70,3
1995	63,5	58,0	69,4
1996	63,6	58,0	69,7
1997	64,0	58,5	69,9
1998	64,5	59,0	70,4
1999	65,7	60,6	70,9	65,0	59,3	70,8	66,7	62,6	71,1
2000	65,5	60,2	71,1	64,8	58,9	71,0	66,6	62,2	71,4
2001	65,8	60,5	71,3	65,1	59,1	71,2	67,0	62,7	71,6
2002	66,0	60,7	71,5	65,3	59,4	71,3	67,3	62,8	72,0
2003	65,8	60,5	71,5	65,0	58,9	71,2	67,3	62,9	71,9
2004	66,2	60,6	72,0	65,3	59,0	71,8	67,6	63,2	72,4
2005	65,9	60,3	71,8	...	58,7	71,6	...	62,9	72,2
2006	66,19	60,6	72,0	65,3	59,0	71,85	67,5	63,1	72,5

Источники:

Демографический ежегодник Казахстана, 2005. Алматы, 2005. С. 31.

Демографический ежегодник Казахстана. 2000. Алматы, 2002. С. 58.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении населения Республики Казахстан за 2006 год // Экспресс-информация Агентства Республики Казахстан по статистике. 17 апреля. 2007.

Шокаманов Ю.К. Тенденции человеческого развития в Казахстане. Алматы, 2001. С. 108.

Женщины и мужчины Казахстана: Краткий стат. сборник. Алматы, 2005. С. 7–8.

Таким образом, в постсоветский период процессы урбанизации в Казахстане претерпели значительные изменения — сократилась численность городского населения в целом, процессы роста и развития городов протекали неравномерно в различных регионах, в кризисном состоянии оказались «малые» и «средние» города, стремительно происходил процесс демографического старения в городах, коренным образом изменилась этническая панорама

городов. В конечном счете это оказало влияние на возрастную-половую структуру и процесс воспроизводства населения в городах.

На современном этапе процессы урбанизации в Казахстане являются многовекторными и характеризуются целым спектром проблем, специфичных для каждого городского поселения. На сегодняшний день содержание процесса урбанизации видится уже не только в увеличении количества городов и численности их жителей, но и в возрастании роли городского населения во всех жизненно важных сферах общества, в формировании новых видов экономической деятельности, основная доля которых приходится на городские поселения; в позитивных структурных сдвигах, таких как изменение образа жизни, труда и быта проживающего в городах населения.

ЛИТЕРАТУРА

Демографический ежегодник СССР. 1989. Стат. сб. М., 1990. С. 7–13.

http://demoscope.ru/weekly/app/world2006_2.php

Народонаселение. Энциклопедический словарь. М., 1994. С. 534–538.

Численность и размещение населения в Республике Казахстан (Итоги переписи населения 1999 года в Республике Казахстан). Стат. сб. Алматы, 2000. С. 28, 30.

Демографический ежегодник регионов Казахстана. Стат. сб. Алматы, 2006. С. 11.

Там же. С.11–12.

Народное хозяйство Казахстана в 1982 году. Σταистический ежегодник. Алма-Ата, 1983. С. 4.

Подсчитано на основе данных табл. 1 и табл. 9.

Гали, Д. Кластерное развитие экономики и особенности процессов урбанизации населения Казахстана (на примере г.Астаны) // Экономика и статистика. 2006. № 2. С. 107.

Там же. С. 107–108.

Там же. С. 108.

Population Development in the Czech Republic. Prague: Charles University, 1999. С. 9;

Валентей Д.И., Кваша А.Я. Основы демографии. М., 1989. С. 83.

Статистический сборник по отдельным показателям Всесоюзных переписей населения 1939, 1959, 1970, 1979 и 1989 гг. Алма-Ата, 1991.С. 7–12.

Статистика населения с основами демографии. М., 1990. С. 81.

Статистический сборник по отдельным показателям Всесоюзных переписей населения 1939, 1959, 1970, 1979 и 1989 гг. Алма-Ата, 1991. С. 9.

Национальный состав населения Республики Казахстан. Т. 1. Итоги переписи населения 1999 г. в Республике Казахстан. Стат. сб. Алматы, 2000. С. 9–11.

Статистический сборник по отдельным показателям Всесоюзных переписей населения 1939, 1959, 1970, 1979 и 1989 гг. Алма-Ата, 1991. С. 70; Демографический ежегодник Казахстана, 2005. Стат. сб. Алматы, 2005. С. 93; Демографический ежегодник регионов Казахстана. Стат. сб. Алматы, 2006. С. 30.

Национальный состав населения Республики Казахстан. Т. 1. Итоги переписи населения 1999 г. в Республике Казахстан. Стат. сб. Алматы, 2000. С. 195–196; Демографический ежегодник Казахстана, 2005. Стат. сб. Алматы, 2005. С. 92; Демографический ежегодник регионов Казахстана. Стат. сб. Алматы, 2006. С. 30.

Народонаселение. Энциклопедический словарь. С. 534–538.

Демографический ежегодник Казахстана. Стат. сб. Алматы, 1998. С. 42–43; Демографический ежегодник Казахстана, 2005. Алматы, 2005. С. 31.

ABSTRACT

In exploring the demographic aspect of urbanisation, this article is focused on the problems of the development of Kazakhstan cities: an increasing share of the urban population of the Republic (the process of urbanization of the population) and ethno-demographic characteristics of both the urban population as a whole, and of the populations of individual cities.

Keywords: age structure of the population, demographic processes, migration, fertility, average age, life expectancy at birth, mortality, urbanisation.

**Р.С. ГОРОДА:
ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ
ВИЗУАЛЬНЫХ МЕДИА**

ПАМЯТНИКИ В ПОСТСОВЕТСКОМ ГОРОДЕ И ТУРИСТСКАЯ ФОТОГРАФИЯ

Статья посвящена туристским практикам, связанным с потреблением достопримечательностей. Городские памятники досоветского и советского периодов предлагали их потребителям такие практики, как возложение цветов, круговой обход, фотографирование издалека. Постсоветские памятники формируют новую городскую среду, которая «обучает» туриста, как с ними взаимодействовать. Новый тип городской скульптуры способствует появлению новых способов фотографироваться (туристы повторяют позы скульптур или занимают отведенное им свободное место, становясь частью фотографируемой мизансцены) и новых практик «освоения» достопримечательностей (туристы бросают монетки и касаются/трут выступающие части памятника). Все эти практики используются, чтобы сконструировать связь туристов с посещаемым городом.

Ключевые слова: постсоветские памятники, любительские фотографии, туристские фотографии.

Цель настоящей статьи – рассмотреть роль памятников в постсоветском городе (на примере Санкт-Петербурга) через призму туристских фотографий. Материалом для статьи послужили любительские фотографии с сайта <<http://photofile.ru/>> (более 200 цифровых туристских фотоальбомов о путешествии в Санкт-Петербург), наблюдение в местах, где установлены памятники, и интервью.

В наше время туристы являются основными потребителями городских достопримечательностей. Первый и главный способ потребления достопримечательности туристами – сфотографировать ее или сфотографироваться на ее фоне. Практики обращения туристов с достопримечательностями, прежде

всего практики фотографирования на их фоне, позволяют увидеть различия советского и постсоветского городского пространства.

Памятники досоветского и советского города подразумевали дистанцию между памятником и тем, кто на него смотрит. Эта дистанция создавалась с помощью высокого постамента и высоты самого памятника по сравнению с ростом человека. Дистанцированию способствовала также ограда памятника. В Санкт-Петербурге этот тип памятника представляет, например, «Медный всадник» — памятник Петру I работы Фальконе (1782), который является одним из символов города и входит в обязательную программу туриста. Такого рода памятник не допускает никакого взаимодействия туристов с ним; он позволяет только фотографироваться на его фоне, причем фотографирующийся человек отделен от достопримечательности такой же невидимой пропастью, как и при фотографировании на фоне живописной панорамы. В крайних своих проявлениях подобные памятники ограничивают даже этот и без того ограниченный способ потребления достопримечательности. Входящая в число самых высоких статуй мира скульптура «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане в Волгограде (1967) представляет собой памятник, у которого трудно фотографироваться. Согласно канону туристской фотографии, на снимке достопримечательность должна быть представлена целиком и турист тоже целиком. Это требование связано с тем, что туристские фотографии должны передавать тем, кто их смотрит, сообщение о том, что турист посетил данный город, а потому на снимке должны быть видны и тот, кто посетил город, и достопримечательность — узнаваемый знак, способный метонимически замещать весь город или даже страну; именно в качестве такого знака достопримечательность должна помещаться в кадр целиком. Скульптура «Родина-мать зовет!» представляет для фотографирующего туриста проблему, поскольку она не помещается в кадр, если вы к ней приближаетесь. Приблизиться к памятнику для того, чтобы почтить память, возложить цветы и т.д., — распространенная практика обращения с памятником, которая здесь вступает в конфликт с туристской практикой фото-

графирования: человек может сфотографироваться на фоне скульптуры лишь на значительном расстоянии от нее. Отметим, что другой распространенный элемент советских мемориальных комплексов — вечный огонь — тоже не поддается туристской практике фотографирования на фоне достопримечательности, поскольку человек, стоя на фоне вечного огня, закрывал бы его собой. На Марсовом поле в Санкт-Петербурге можно наблюдать, как туристы выходят из этого затруднения, фотографируясь не на фоне, а рядом с вечным огнем. Советские памятники создавались как предназначенные прежде всего для исполнения ритуалов — возложения цветов и венков, кругового обхода и т.д. (не случайно С.Б. Адоньева называет эти комплексы «ритуальными площадками» (Адоньева, 2001)), а не для потребления туристами.

В Санкт-Петербурге скульптурами, слишком большими, чтобы попасть в кадр целиком, являются атланты у Нового Эрмитажа (скульптор Терехнев, 1840-е гг.). При невозможности запечатлеть скульптуру целиком и самим тоже попасть в кадр туристы находят выход из положения — трогают гигантские пальцы ног атлантов (единственную часть тела, до которой легко дотянуться) и фотографируются в этом положении. Для обоснования этого действия возникла примета: подержаться за пальцы ног атлантов — к счастью или к исполнению загаданного желания. Другой способ сфотографироваться с атлантами — повторить их позу, сделав вид, что поддерживаешь что-то. Этот способ современные туристы применяют тогда, когда нет возможности взаимодействия с памятником (например, памятник находится за оградой или на высоком постаменте) и при этом для имитации не требуется специального реквизита (позу «Медного всадника» турист без коня повторить не сможет). Повторение позы памятника при фотографировании — способ придать фотоснимку ритм, являющийся одним из основных элементов «наивного дизайна» и современной визуальной грамотности и доступный составителю фотоальбома, который может поместить на одной странице или развороте в альбоме фотографии с повторяющимися элементами.

В постсоветском городском пространстве появляются новые памятники, которые, во-первых, пропорциональны человеку. Если это антропоморфные фигуры, то их размер соответствует человеческому росту. Во-вторых, они не имеют ограждения и становятся доступны для туристов: на них можно залезть, их можно потрогать. В-третьих, они избавлены от высоких постаментов и таким образом спускаются на уровень человека¹. (Если они расположены значительно выше или ниже уровня пешеходов, их недоступность не исключает их из «коммуникации» с туристами, а в сочетании с их соразмерным человеку масштабом порождает новые формы взаимодействия людей с памятниками, о которых будет сказано ниже.) В-четвертых, в рамках памятника может быть предусмотрено место для фотографирующихся, например сиденье, на которое может присесть желающий сняться. Используя химический термин, можно сказать, что новые городские скульптуры имеют разную валентность в зависимости от того, сколько человек может фотографироваться рядом с ними одновременно: с этой точки зрения фигура с одним пустым сиденьем будет одновалентной, а фигура, которую можно взять под руки с двух сторон — двухвалентной. Кроме места для туриста, памятник может иметь выступающие части, за которые можно взяться. Выступающие части используются туристами при фотосъемке (во время позирования с «Остапом Бендером» сидящий на стуле рядом с «Остапом» оглянулся вокруг себя в поисках дополнительной опоры, а его друг отметил, что «не выпирает ничего» (Полевой дневник 27.05.2007)). При фотографировании туристы стараются положить руку на скульптуру или облокотиться о нее

¹ Тенденция к снижению постамента и отказу от ограды возникает уже в позднесоветский период. Н.В. Воронов называет ее среди основных черт новой концепции монументальной скульптуры (Воронов, 1984: 67), оговариваясь, что «в этом есть известная опасность. Если скульптура будет недостаточно обобщена, излишне натуралистична, она превратится в муляж, не будет восприниматься как произведение искусства, а тем более как памятник. <...> Скульптура без постамента должна особенно ощутимо “держаться дистанцию” по отношению к зрителю» (Там же, с. 45).

для того, чтобы, с одной стороны, прикоснуться к памятнику и создать на снимке значение более тесной связи с ним, чем при съемке просто на фоне памятника, а с другой стороны, чтобы принять более непринужденную позу, чем универсальная фотографическая поза «стоять прямо, глядя в камеру», которая в нашей культуре имеет нежелательное для туристов значение «стоять по стойке смирно» (ср. «Встать навтыжку» (Григорьева, Григорьев, Крейдлин, 2001: 43–44)); если нет возможности коснуться памятника, потому что он огражден, туристы опираются о его ограду.

Можно сказать, что новая городская скульптура специально предназначена для потребления туристами прежде всего с помощью фотографирования: она максимально облегчает туристу его задачу. С появлением новой городской скульптуры возникают и новые практики фотографирования. На туристских фотографиях советского времени мы редко увидим отклонения от универсальной фотографической позы: туристы на них чаще стоят прямо на фоне достопримечательности. Как представляется, форма и внешние особенности новых памятников влияют на изменение практик потребления достопримечательностей туристами больше, чем характер тех персонажей, которых скульптуры изображают (это представители городских профессий, литературные герои и т.п. в отличие от аллегорий и собирательных образов советской монументальной скульптуры). В Советском Союзе тоже существовала садово-парковая скульптура, хотя бы пресловутая «Девушка с веслом», но высокие постаменты препятствовали интеракции с ней, а кроме того, она была автономна от человека — не предоставляла фотографирующимся места для заполнения.

Новая городская среда позволяет туристу «вписаться» в нее, дает ему место для заполнения. Широко распространенная сейчас практика «вписывания» себя в среду при фотографировании, как представляется, является результатом возникновения этой среды. При позировании для фотографии скамейка или стул провоцируют туриста сесть на них, руль — покрутить его, спасательный круг — просунуть в него голову, подножка — поставить на нее

ногу и т.д. Окружающая среда диктует туристам определенные действия, обучает, социализирует их (ср. у Б. Латура о том, что «нечеловеки» предписывают людям социальные отношения (Латур, 2004)). Туристы, овладевшие новой практикой фотографирования, переходя от памятника к памятнику, осваивают их, уже не просто позируя на их фоне, а стараясь «слиться» с ними на снимке: берутся за выступающие части, занимают сиденья и т.д. Турист учится обращаться с памятником, как актер с партнером по сцене, которая будет запечатлена фотоаппаратом. Навыки подобного обращения с памятниками входят в компетенцию современного туриста.

Рассмотрим несколько памятников Санкт-Петербурга, появившихся в городе в постсоветский период. В 1991 г. в Петропавловской крепости был установлен памятник Петру I работы Михаила Шемякина, называемый в народе «Медный сидень». Вначале он был неприязненно принят горожанами (см., например: Петр четвертый, 1991; Тимченко, 1991). Памятник сделан в ином стиле, чем последовавшие за ним скульптуры «Городовой» (1998), «Фонарщик» (1998), «Водовоз» (2003), «Дворник» (2007), памятник бомбардиру Василию Кормчину (2003), памятник храброму солдату Швейку (2003) и др. (см. о них: Забавные памятники; Борисов, 2007; <<http://funny-monuments.narod.ru/pam.html>>), но использование его для фотографирования туристами совершенно такое же². Его функционирование связано с теми характеристиками, которые включают его в группу новой городской скульптуры: доступность, соразмерность человеку и наличие свободного места, которое фотографирующий турист может заполнить. Памятник несколько больше человеческого роста (в сидячем положении 194 см), но он позволяет взять его «за руку»; его постамент выше, чем у городских памятников, появившихся позднее, но на него можно без труда забраться. Непропорциональность Петра, за которую его называют «шемякинским уродом» («огромные ноги, ступни-ласты, непомерные руки, пальцы, словно извивающиеся

² М. Золотоносов отнес новую городскую скульптуру в рубрику «натурализм» или «кич», а Петра I работы Шемякина к «постмодернизму» (Золотоносов, 2005).

щупальцами, маленькая голова» (Петр четвертый, 1991)), для фотографирующегося туриста становится достоинством: длинные пальцы провоцируют взяться за них при съемке, а слишком сильно выдающиеся вперед колени — присесть на них. Как представляется, его признание туристами (см., например: Егорова, 2004) связано именно с его удобством для фотографирования. Сразу же после установки памятника высказывались опасения, что он «превратится в садово-парковую скульптуру» (Петр четвертый, 1991). Сам Михаил Шемякин хотел, «чтобы дети могли подходить и забираться на колени» монумента (Шевчук, 1991). Судя по фотографии В. Голубовского, опубликованной в газете «Вечерний Ленинград» за 9 июля 1991 г., уже через месяц после установки скульптуры туристы фотографировались на коленях «царя». Сейчас рядом с монументом можно наблюдать очередь из желающих сфотографироваться с ним, которые сменяют друг друга на коленях у «Петра» быстро, как на конвейере. Скульптура является двухвалентной: с ней одновременно фотографируется максимум два человека. Надо отметить, что около этого памятника не возникает других практик и других форм активности, кроме взаимодействия с ним в виде прежде всего фотографирования; здесь не практикуются круговой обход или возложение цветов (к «Медному всаднику», в отличие от «Медного сидня», возлагают цветы). Можно сказать, что этот памятник сейчас используется только туристами и только в рамках специфических туристских практик, возникших в постсоветский период.

Памятник Петру I, известный как «Царь-плотник» (копия скульптуры Леопольда Бернштама 1910 г.), был установлен на Адмиралтейской набережной в 1996 г. Он больше человеческого роста, его позу нельзя повторить, поскольку у него в руках топор и доска, рядом с ним нет специально предусмотренного для туристов места, чтобы «вписаться», но постамент достаточно низкий, чтобы залезть на него³, а у скульптуры много выступающих частей

³ Примечательно, что изначально «Царь-плотник» Л.А. Бернштама стоял на высоком постаменте (Золотосов, 2005: 76, прим. 129).

(борта лодки, которую «делает» «Петр», руки). Туристы фотографируются как позируя перед постаментом, так и на нем, а детей для съемки ставят и сажают в лодку.

Бронзовый памятник Остапу Бендеру (скульптор Альберт Чаркин) появился в центре города на Итальянской улице у ресторана «Золотой Остап» в 2000 г. «Остап» высотой 2 м, его постамент совсем невысокий, ограды у него нет, а любому желающему сфотографироваться с ним он «предлагает» место на стуле, о который опирается. Если фотографирующихся двое, второй из них может занять место за спинкой стула с другой стороны, взявшись за нее на манер самого «Остапа»; таким образом, памятник является двухвалентным. Как показывает наблюдение и анализ туристских фотографий, вариативность поз фотографирующихся с «Остапом» небольшая: так, на сиденье бронзового стула туристы могут не садиться, а становиться на колени.

Скульптура «Фотограф», отлитая из бронзы (скульптор Борис Петров), была установлена в 2001 г. по инициативе историка С.Ю. Лебедева рядом с домом, где располагалась фотоателье Карла Буллы, на пешеходной Малой Садовой улице, где всегда много туристов (о ней см.: Желнина, 2006). «Фотограф» высотой в человеческий рост расположен на низком постаменте, не имеет ограды, а его поза провоцирует фотографирующихся занять место рядом с ним: его локоть отставлен в сторону, позволяя взять его под руку, а бронзовый английский бульдог у его ног приглашает присесть и погладить его. Впрочем, как показывает наблюдение, рядом с ним могут одновременно фотографироваться до четырех человек: взяв его за палец, под руку, за руку, обняв за шею, облокотившись о правый или левый локоть, держась за объектив, за фотоаппарат, за треногу, за ручку зонтика, положив руку на фотоаппарат, на голову собаки или касаясь его шляпы.

И «Остап», и «Фотограф» позволяют фотографирующемуся туристу повторить их позу лишь при наличии специального реквизита: шарфа и/или фуражки в первом случае, зонтика и/или фотоаппарата во втором, поэтому имитация позы обоих памятников не очень распространена. Фотографирова-

ние на их фоне без какого-либо взаимодействия с ними не встречается: памятники, с одной стороны, слишком явно артикулируют свое приглашение к коммуникации, чтобы туристы их не услышали, а с другой — конформизм туристов играет роль в том, что следующие в очереди на фотографирование (у «Остапа» очереди почти нет, а у «Фотографа» в выходной день образуется очередь) снимаются так же, как предыдущие. Такие памятники провоцируют на то, чтобы сняться с ними, даже тех туристов, которые не фотографируются сами на фоне достопримечательностей, а снимают достопримечательности без людей.

Новые городские памятники поощряют и другой способ потребления памятника туристом — прикоснуться к нему/потереть какую-либо его часть или бросить ему/в него монетку. Оба эти способа освоения городской скульптуры являются новыми и возникают именно в связи с тем, что памятники в постсоветском городе спускаются к людям и становятся доступными. (Впрочем, у курсантов Высшего военноморского инженерного училища имени Ф.Э. Дзержинского была традиция в день выпуска натирать до блеска гениталии коня «Медного всадника», но это действие было связано с обрядом перехода определенной группы именно потому, что оно воспринималось как нарушение запрета). Если первое действие совершается как с антропоморфными, так и с зооморфными памятниками, то второе чаще применяется к скульптурам меньше человеческого роста, например, изображающим животных. То и другое делается «на счастье»/«на удачу» (про «Фотографа»: «Держаться за палец — желание загадывать, ты что, не знаешь?» (Полевой дневник 27.05.2007)), но с отдельными памятниками бывают связаны дифференцированные приметы: например, считается, что если взяться за длинные пальцы Петра I работы Шемякина, то найдешь денежку, а если потереть его колено, то не будет проблем с суставами (Егорова, 2004) (однако за пальцы Петра держатся и просто загадывая желание (Полевой дневник, 27.05.2007)).

Новые традиции вокруг памятников возникают быстро: так, с 26 мая по 20 августа 2007 г. в Санкт-Петербурге в пешеходном Соляном переулке прохо-

дила выставка скульптур Александра Бурганова, и меньше чем через месяц после ее открытия можно было наблюдать, как «Горбуну» Бурганова на постамент кладут монетки. Это наблюдение показывает, что «положить монетку» становится универсальным туристским навыком обращения с памятником и может применяться к любым городским скульптурам, которые позволяют это сделать. Характер самого памятника тоже играет роль в складывании традиции: труднодоступные скульптуры, такие как «Чижик-Пыжик» (скульптор Габриадзе, 1994), помещенный на реке Фонтанке на небольшом выступе у самой воды, и «кот Елисей» (скульптор Петровичев, 2000), расположенный на высоком карнизе на Малой Садовой улице, превращают бросание монетки в увлекательный аттракцион «попадешь – не попадешь». Любопытно, что монетки кладут или бросают неантропоморфным памятникам: так, у «Фотографа» на Малой Садовой улице монетку пытаются положить в рот собачке или кладут перед ней на постамент. Вероятно, бросание монетки антропоморфной скульптуре имело бы коннотации милостыни, которые во взаимодействии туриста с городскими достопримечательностями нежелательны (однако, возможно, именно эти коннотации и сыграли роль в том, что монетки из всех скульптур Бурганова стали класть «Горбуну»). Происхождение практики бросания монетки памятнику может быть связано с обычаем путешественников бросать монету в водоем или фонтан для того, чтобы вернуться на это место.

«Прикоснуться/взяться/потереть скульптуру» является таким же универсальным навыком обращения с новыми городскими памятниками, как и «бросить монету», и применяется прежде всего к скульптурам с выступающими частями. Расположение памятника тоже играет роль в складывании новой традиции, но если бросание монетки является формой потребления труднодоступной скульптуры, то прикосновение, наоборот, применяется к доступной. Например, у «Остапа» можно потереть на счастье нос, который и так уже отполирован до блеска.

В передаче новых традиций участвуют гиды, которые сообщают туристам, что им следует сделать с памятником и какая примета существует по поводу

той или иной скульптуры, но играет также роль и конформизм самих туристов: видя монетки на постаменте памятника, туристы считают своим долгом внести лепту, а отполированную до блеска часть тела скульптуры непременно хотят тоже потереть.

Будучи потребителем достопримечательностей, современный турист путешествует от памятника к памятнику как от декорации к декорации, весь мир является для него декорациями, в которых можно сфотографироваться: хотя памятники — его партнеры на сцене, турист всегда будет выступать в главной роли в пьесе, которая будет запечатлена его фотоаппаратом. Современные городские скульптуры в функции декораций для туристских фотоснимков оказываются аналогичны восковым фигурам, с которыми туристы могут сфотографироваться в соответствующих музеях, или фигурам, необязательно антропоморфным, выставленным перед магазинами в рекламных целях, или костюмированным персонажам (в Санкт-Петербурге это «Петры» и «Екатерины», которые дежурят у «Медного всадника», кунсткамеры и др. и предлагают за определенную плату сфотографироваться с ними), которые, будучи живыми, ведут себя как неживые, принимая застывшую позу. Ко всем перечисленным элементам городской среды турист применяет одни и те же навыки фотографирования: становится рядом, берет «под руку» и т.д. — то есть обращается с фигурой, соизмеримой человеку, как с человеком.

Художественные истоки такого рода туристской фотографии лежат не в иллюстрациях из брошюр для путешественников («герменевтический цикл» (Уггу, 2002: 129)), а в тамаресках — жанре, где фотографируемому требуется лишь просунуть голову в отверстие; все остальное, что нужно, уже нарисовано на холсте. Цель туристов при такого рода фотографировании — «вписаться» в среду, соединить себя с пейзажем, стать естественной частью и продолжением городского ландшафта. Туристы, осваивая город, стремятся сконструировать связь с ним хотя бы на фотографии. При имитации позы памятника турист соединяется с пейзажем с помощью сходства (принцип метафоры), а при «вписывании» себя в памятник становится частью пейзажа благо-

даря смежности (принцип метонимии), но результат получается один: видимая на снимке связь человека с достопримечательностью.

Таким образом, подобно тому как реконструкция городского пространства порождает новые способы видеть и быть увиденным (Urry, 2002: 125–127), новый тип городской скульптуры способствует появлению новых способов фотографироваться. Возникающие в постсоветском городе практики обращения с памятниками включают активное взаимодействие с ними, которому туристов учит сама городская среда.

ЛИТЕРАТУРА

Адоньева, С.Б. Ритуальные площадки / С.Б. Адоньева // Категория ненастоящего времени. СПб., 2001. С. 125–153.

Борисов, Д. Маленькие памятники большого города / Д. Борисов // Независимая газета. 9 апреля 2007 г.

Воронов, Н.В. Советская монументальная скульптура. 1960–1980 / Н.В. Воронов. М., 1984.

Григорьева, С.А. Словарь языка русских жестов / С.А. Григорьева, Н.В. Григорьев, Г.А. Крейдлин. М., 2001.

Егорова, И. Медный сидень нравится невестам / И. Егорова // Смена. 9 июля 2004 г.

Желнина, А. Малая Садовая улица в Санкт-Петербурге: опыт становления публичного пространства / А. Желнина // *Communitas/Сообщество*. 2006. № 1. С. 53–71 <http://www.con-text.ru/files/6-communitas_1_2006_zhelnina_1.pdf>.

Забавные памятники Санкт-Петербурга // Русское искусство <<http://www.rusiskustvo.ru/news/a664/>>.

Золотоносов, М. Бронзовый век: иллюстрированный каталог памятников, памятных знаков, городской и декоративной скульптуры Ленинграда-Петербурга 1985–2003 гг. / М. Золотоносов. СПб., 2005.

Латур, Б. Где недостающая масса? Социология одной двери / Б. Латур // *Неприкосновенный запас*. 2004. № 2. С. 5–19.

Петр четвертый // *Вечерний Ленинград*. 8 июня 1991 г.

Тимченко. Это есть оскорбление памяти Петра Великого! // *Смена*. 26 июня 1991 г.

Шевчук, С. Михаил Шемякин о себе и о государе / С. Шевчук // *Вечерний Ленинград*. 7 июня 1991 г.

Urry, J. *The Tourist Gaze*. 2nd edition / J. Urry. Sage Publications, 2002.

ABSTRACT

The article explores tourist practices linked to the consumption of monuments and landmarks. The urban monuments of the pre-Soviet and Soviet periods proposed to their consumers such practices as bringing flowers, going round the monument and taking pictures from a distance. Post-Soviet monuments form a new environment which 'teach' tourists how to deal with them. New urban sculpture influences new ways of taking pictures (tourists imitate a monument's pose or find their own place in the scenery, as a statue's 'natural' counterpart) and new practices of interacting with landmarks (throwing coins and touching/rubbing prominent parts of a sculpture). All these practices are used to construct a connection between a tourist and the city he or she is visiting.

Keywords: Post-Soviet monuments, amateur photography, tourist snapshots.

ГОРОДСКОЕ ПУГАЛО: ТЕЛО В ЛАТВИЙСКОЙ УЛИЧНОЙ РЕКЛАМЕ

Тема данной статьи – репрезентация тела в городской среде Риги. Основное внимание здесь уделяется социальной рекламе, чей феномен интересен тем, что в большинстве случаев она представляет мертвое, больное или покалеченное тело. Статья посвящена рассмотрению этого явления, а также сопоставлению его с коммерческой городской рекламой.

Ключевые слова: городские исследования, тело, социальная и коммерческая реклама, капитализм, социология повседневности.

Город не сводится к планировке и архитектурным достопримечательностям, он также является телами, которые и создают это пространство и его осваивают. Город формирует тело, как и, наоборот, тело формирует город, который является отражением, проекцией и продуктом тел. Вместе они «производят друг друга как формы гиперреального»: «Город сделан и превращен в симулякр тела, а тело, в свою очередь, трансформировано и урбанизировано как определенное столичное тело»¹.

Городское пространство напрямую связано с формированием и освоением телесных практик. Это место культурной обработки тел, которые изменяются под воздействием, например, масс-медиа и искусства. На уровне репрезентации тело заново выявляется, но тело как культурный продукт также трансформирует и выявляет городской ландшафт согласно демографическим, экономическим или психо-

¹ Grosz, E. *Bodies-Cities* / E. Grosz // *The Blackwell City Reader*. UK, 2002. P. 296.

логическим нуждам². Структура города обеспечивает поток информации, доступ к товарам и обслуживанию, а также социальный комфорт (например, в случае изоляции маргиналов). Это свидетельствует о том, что город является местоположением для производства и циркуляции власти³. Власть, в свою очередь, заявляет о себе через образы, которые помещаются в городской контекст, – витрины магазинов, щиты социальной и коммерческой рекламы. Особенную роль в городской рекламе играют телесные образы, которые задумываются либо как образцы для подражания, либо как примеры для наставления и поучения.

Современный город уже непредставим без плакатов, раскрашенных брендмауэров, вывесок и витрин, без них он как будто теряет свое «лицо». Реклама является неотъемлемой частью городского пейзажа, его приметой. Она служит ориентации в пространстве, задает представление о городе и представление горожанина о себе. Реклама формирует идентичность человека, связанную с потреблением определенных товаров. Ведь она предлагает не столько купить продукт, сколько приобрести вместе с ним образ жизни, который представляет. Но реклама не только реагирует на общественный спрос, она его вырабатывает, убеждая в необходимости потребления. Городское пространство является идеальным полем для этих целей, – обращение идет сразу ко всему населению, максимально охватывая потенциальных покупателей. Собранная вся вместе уличная реклама являет ярмарку идентичностей, которые можно приобрести посредством того или иного товара. Безусловно, эта формируемая рекламой идентичность имеет непостоянный характер, – вместе со сменой плакатов один продукт уступает место следующему, наподобие смены модной коллекции. Единство остается в одном – в ориентации горожанина на потребление.

Социальная реклама также использует уличную среду как наиболее эффективную в своем воздействии на население. Тем более неожиданно то, что в большинстве случаев она представляет мертвое,

² Grosz, E. *Bodies-Cities*. P. 301.

³ *Ibid.* P. 302.

больное или покалеченное тело. Рассмотрению этого явления, а также его сопоставлению с коммерческой городской рекламой посвящена эта статья.

Материалом для данного исследования послужили несколько десятков кампаний за последнее время (начиная с 2004 г.), в которых присутствовали изображения мертвых или покалеченных тел. Безусловно, они не обнаруживают себя в каждом городском плакате, но их регулярное появление в течение долгого периода позволяет говорить об определенной тенденции. Среди агентств, использующих эти образы, можно выделить Zoom, – оно является основным «поставщиком» подобной рекламы, но далеко не единственным.

МЕРТВЫЕ ПЕШЕХОДЫ: ТЕЛО В СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЕ

Масштабное появление социальных кампаний начинается после вступления Латвии в Евросоюз в 2004 г. и связано, видимо, с попыткой улучшить показатели общественного благополучия согласно новым директивам. Статистика действительно довольно печальная. Так, прибалтийские страны занимают лидирующее положение в Европе по количеству самоубийств и количеству жертв ДТП. Софинансирование европейскими структурами региональных проектов во многом объясняет такое количество социальной рекламы на улицах Риги.

Одной из первых в ряду самых шокирующих и запоминающихся стала кампания Управления безопасности дорожного движения (CSDD, 2004–2007 гг., агентство *Bates / RedCell*), предупреждавшая о необходимости быть осторожным на дорогах. Предусмотрели три варианта плакатов: для горожан, сельских жителей и автомобилистов. На городских плакатах были запечатлены трупы, лежащие в ряд на асфальте и накрытые сверху простынями. Слоган этой социальной рекламы гласил: «Смотри, куда идешь», провозглашая тем самым новые правила городского поведения, противоположные принципу фланирования, запрещающие бездумно и бесцельно гулять, зевая по сторонам. Более того, реклама оспаривала

презумпцию невиновности пешехода, переворачивая привычную ситуацию, в результате чего виновной становилась жертва. Плакат для сельской местности провозглашал «Лучше быть заметным, чем покойным» – и для сравнения предлагал две фотографии: улыбающегося человека со светоотражателями и его труп (без светоотражателей) на земле. Автомобилистам адресовался плакат со спиной человека, идущего в темноте, – со слоганом «Берегись темных людишек». В рамках кампании был сделан также телевизионный ролик, в котором пешеход перебегает дорогу на красный свет. Клип подробно показывал столкновение человека с машиной, после чего камера снимала с точки зрения сбитого пешехода обступивших его прохожих, кровь на руке, приезд скорой и в конце – как тело накрывают тряпкой.

Агентство Zoom подхватило эстафету, продолжив «аварийную» тематику социальной кампанией, направленной против пьянства за рулем – «Пей. Катайся. Присоединяйся» (в рекламе принимали участие реальные жертвы ДТП, ставшие инвалидами, 2005–2006 гг.). Этот слоган присутствовал и на уличных плакатах, где были запечатлены люди в инвалидных колясках⁴. Реклама не только запугивала перспективой остаться покалеченным, но также угрожала тюремной расправой. Был создан специальный сайт – <http://www.pievienojies.lv>, который подробно рассказывает об условиях тюремного заключения и даже дает небольшой жаргонный словарь, перевод русского тюремного сленга на латышский язык.

Следующей в ряду рекламных «страшилок» явилась кампания, призывающая носить с собой светоотражатели, дабы пешеходы стали заметны для водителей в вечернее и ночное время (исполнитель – агентство Zoom, 2006–2007 гг.). Реклама, финансируемая дорожным управлением, изображала трупы людей (в том числе и детей), погибших

⁴ Проблемам инвалидов была посвящена также другая реклама этого агентства, где речь шла о том, что городское пространство не приспособлено для инвалидов, ограничивая возможности их передвижения. И опять на этом примере мы сталкиваемся с демонстрацией покалеченного тела, к которому окружающая среда оказывается враждебна.

в автокатастрофах⁵. Плакаты с этими фотографиями были развешаны в городе (в основном на трассах и на остановках общественного транспорта). По телевидению транслировались клипы, где «мертвецы» шли вдоль дороги и рассказывали истории о том, что они были невидимы и поэтому попали в аварию – и убедительно просили не винить в этом трагическом происшествии водителя. Этот же текст воспроизводился в печатном виде на очередных плакатах, которыми был наполнен город. Любопытно, что это не единственный случай рекламы, где фигурируют «послания» с того света и свидетельства загробной жизни. Очередной эпопеей стали плакаты с призывом: «Без светоотражателей ты станешь ангелом». Это воззвание было написано и на фигурках с крыльшками, вырезанных из картона и обклеенных блестящим материалом. Они также были расставлены на улицах города, вокзальных помещениях (ноябрь, декабрь 2007 г.). Таким образом, в «дорожных» кампаниях были использованы самые разнообразные сюжеты, связанные со смертью: сам момент умирания (столкновение с машиной), похороны, могила, потустороннее существование.

Тело, представленное в социальной рекламе, – это тело общественное и локальное, в отличие от тела в коммерческой рекламе, чаще всего лишенной конкретики местных реалий и отсылающей к воображаемому. Именно это общественное тело, репрезентируемое городской социальной рекламой, оказывается подверженным травмам, болезням и смерти. Ярким примером телесной репрезентации общественной травмы может послужить следующая реклама. К празднованию 85-й годовщины Латвийской Республики по городу были вывешены плакаты со слоганом «Латвия – это мы!». Они представляли крупный фрагмент лица, большую часть которого занимал глаз с расходящимися от него морщинами. Рядом с ними, повторяя их изгибы, были напечатаны обрывки фраз. В одном варианте, где было изображено старческое лицо, текст в виде морщинок гласил: «Были плохие времена и хорошие», «Дети и внуки», «Песни моего народа», «Тот факт, что

⁵ Хотя эти фотографии являлись инсценировкой, они производили эффект реально случившейся катастрофы.

сегодня мы свободны», «Мою семью забрали, и я была беспомощна», «У нас было 15 минут упаковать наше имущество». На молодом лице были напечатаны следующие фразы: «Я бы не охарактеризовал Латвию как безопасное место», «Тебе необязательно все время декларировать свою любовь к Латвии в пабе», «Когда меня расстраивают люди, я обращаюсь к природе». Этот пример хорошо иллюстрирует то, как исторический и социальный опыт инкорпорирован в тело, – репрессии, нестабильность в обществе репрезентируют себя посредством телесных деформаций, в данном случае морщин.

Показательна также социальная реклама, призывающая к уплате налогов (сентябрь 2007 г.), на примере которой мы видим, как образ больного тела представляет общество. Плакат изображает пациента на операционном столе со скальпелем в руках, готового в следующую секунду вспороть себе живот. Не заплатите налоги – будете оперировать себя сами, – говорит реклама. Здесь мы сталкиваемся с фактически суицидальными устремлениями в обществе, каждый член которого должен быть готов к подобному «харакири» на больничной койке. Дополнительной иллюстрацией к этим уличным плакатам могут послужить рекламные клипы. Так, ролик агентства Zoom осуждает покупку нелегальных дисков, представляя латвийское государство, в чью казну не поступает доход от продаж, в виде умирающего больного.

Посмотрим на другие примеры. С репрезентацией покаленного (мертвого) тела связана реклама, направленная против насилия в семье и самоубийств (весна 2005 г.): на городских плакатах были изображены залитые «кровью» части тела. Образ латвийской семьи (в данной кампании фигурировали ребенок, женщина, мужчина) здесь передан как виктимный, подверженный насилию и смерти.

В социальной рекламе, направленной против секс-туризма (кампания «Останови секс-терроризм!», июнь 2007 г.), женское местное тело представлено какprostituируемое, искалеченное интуристами. Плакаты изображали резиновую куклу с деформированным большим ртом, черной полосой, наклеенной на место глаз, и с взрывчаткой в руке (пор-

трет секс-террориста давался отдельно и был составлен по принципу мозаики из разных лиц). Характерно также неприятие данной рекламы общественностью – принимались неоднократные попытки сорвать ее со стендов, что говорит об отождествлении этого протитуируемого тела с местным телом и об узнавании себя в «зеркале» этих плакатов. Интересно, что обилие порнографических изображений женщин на вывесках и витринах стриптиз-клубов, сексуальных образов коммерческой рекламы не вызывают такой реакции населения, так как последние чаще всего лишены негативных коннотаций и представляют не местное тело, а отсылают к идеальному или желанному телу, абстрагированному от национальных или социальных референций.

ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ: ТЕЛО В КОММЕРЧЕСКОЙ РЕКЛАМЕ

В то время как культура по всему свету становится более однородной, цель современного маркетинга – выдать многообразие товаров за многообразие идентичностей, – актуальна не «продажа Америки миру», а рыночный «винегрет», где представлены разные социальные группы, а национальные особенности выступают по принципу «фестиваля кухни народов мира»⁶. На самом деле этот характер рекламы оказывается псевдонациональным и служит маскировкой для действий, чуть ли не противоположных заявленному. Об этом пишет Наоми Кляйн: «Транснациональные корпорации с самыми раскрученными брэндами могут сколько угодно говорить о многообразии, но зримый результат их деятельности – это армия подростков-клонов, стройными рядами – “единообразно”, как говорят маркетологи, – марширующая в глобальный супермаркет. Вопреки избранному ими полиэтническому имиджу, глобализация как следствие свободного рынка в многообразии не нуждается. Наоборот, национальные обычаи, местные брэнды, отчетливо выраженные региональные вкусы – ее враги. В ее структуре

⁶ Кляйн, Н. NO LOGO. Люди против брэндов / Н. Кляйн. М., 2003. С. 164.

становится все меньше обособленных организаций и групп, а контролируют они все большую долю мирового ландшафта»⁷. В латвийской коммерческой рекламе разные этнические группы фактически не представлены. Она предлагает потребителю небольшой арсенал имиджевых ролей, активно эксплуатируя при этом телесные образы. Благодаря этому реклама приобретает большую убедительность, помогая человеку себя идентифицировать с товаром и задавая модель для внешнего облика и поведения.

В коммерческой рекламе человеческая фигура чаще всего предстает на нейтральном фоне, являя собой аппликацию, оторванную от социальных реалий. Люди изображаются парящими в воздухе, в другом варианте – в совершенно фантастической обстановке. Соответственно горожанам предлагается уподобиться героям этой рекламы, уйти от местных реалий, купив тот или иной продукт. Чтобы помочь покупателю окончательно абстрагироваться от окружающей действительности, реклама идет на ухищрения, пытаясь выйти из одномерного пространства. Так, остановки общественного транспорта были превращены в подобие гардероба (рекламная кампания стирального порошка Ariel, август 2006 г.). Перед зрителем открывалось содержимое огромного шкафа – опрятная одежда, элегантная мужская и женская обувь, детские игрушки. Тут же среди полок виртуального шкафа висела зеркальная пленка, чтобы прохожий мог не только представить, но и непосредственно увидеть себя в этой шикарной обстановке, примерить на себя «костюм», точнее, роль хозяйки (хозяина), и почувствовать радость обладания данными вещами.

Впрочем, коммерческая реклама также прибегает к образам, внушающим ужас или страх. Примером может послужить реклама магазина одежды Sky&More (сентябрь, 2007 г.), где на голых ветках дерева на фоне мрачного, затянутого тучами неба была развешана яркая одежда. Эти картинки, напоминающие чем-то кадры из фильма ужасов и вызывающие ассоциации с привидениями, сопровождал слоган «Красочная сторона осени». Человеческое тело в данной рекламе отсутствует, его подразуме-

⁷ Кляйн, Н. NO LOGO. С. 177.

вают оголенные ветки, выступающие из платья или свитера, производящие довольно отпугивающий эффект. Взамен реального тела дается одежда – «подлинное» тело, благодаря которому покупателем обретаются цвет и жизнь. На этом примере мы видим, как образы ужаса внутри коммерческой рекламы соприсутствуют прекрасным вещам и агитируют в пользу последних.

Эфемерность тела подчеркивает реклама торгового центра Domina (март 2007 г.), где тело женщины, опять-таки рассеченное (!) напополам, оказывается полым внутри, и оттуда, из зияющего отверстия, вылетают бабочки. В другом варианте была показана трепанированная голова девушки, из которой выпархивали яркие птицы. Эта реклама подыгрывает желаниям анорексичек максимально приблизиться к состоянию «невесомости», то есть иметь полое тело, как у манекена, который является образчиком идеала, примером для подражания.

«Ожившим» манекенам посвящена реклама другого торгового центра – Galerija Centrs (июль 2007 г.), где манекены разбивают витрину супермаркета и выходят на улицу. Здесь мы наблюдаем встречное движение – манекены выходят на улицу, а люди спешат в торговый центр, чтобы стать такими же манекенами. Вообще, витрина и ее соотношение с улицей (мы можем рассматривать коммерческую рекламу также в качестве своеобразной витрины) играют ключевую роль в «городе аттракционов, в хореографии и пространственной организации города потребления»⁸.

Рекламные коммерческие щиты и витрины магазинов предлагают альтернативу действительности, которую описывает социальная реклама. Также городское пространство соотносится с супермаркетом, который представляет идеальный город со своим центром, напоминающим площадь с расходящимися лучами «проспектов». Супермаркет имитирует городскую структуру с его запутанностью «улиц», яркими светящимися витринами магазинов внутри торгового центра, которые перемежаются с кафе и ресторанами. Идеальная чистота и благоприятный ми-

⁸ Highmore, B. *Cityscapes: Cultural Readings in the Material and Symbolic City* / B. Highmore. UK, 2005. P. 46.

кроклимат, отсутствие обшарпанных брендмауэров, бомжей, а также автомобильного движения, мешающего фланированию, превращает супермаркет в воплотившуюся утопию, где потребитель окружен лишь красивыми вещами и идеальными телами манекенов и глянцевого фотомоделей.

Любопытное пересечение социальной и коммерческой рекламы представляет кампания по продвижению пластиковых карточек, автором которой выступает все то же агентство Zoom (август 2005 г.), а заказчиком – BankServiss. В кампании участвуют реальные воры, делящиеся своим опытом по части краж. Карманники либо убеждают публику, как неудобно пользоваться карточками (то пин-код забудешь, то банкомат надо искать, то карточки не везде берут), либо делятся своим опытом ограблений. Эти герои клипов, в общем-то, забавные персонажи, не лишённые юмора и обаяния, которые мы ощущаем на себе во время просмотра роликов, на городских плакатах производят ужасающее впечатление.

Лица воров представлены в черно-белом виде (в одном случае – с замазанными глазами, чтобы сложно было идентифицировать человека) и напоминают протокольные фотографии, снимки, сделанные для опознания трупов. Здесь коммерческая реклама мимикрирует под социальную. Благодаря использованию «отталкивающего» тела люмпена или криминала происходит агитация за иное, идеальное тело, обладающее другим классовым признаком. В чем-то похожий случай из зарубежной практики: агентство GoGORILLA Media наняло бомжей для своего промоушена. Бездомные были расставлены около офисов рекламных агентств, в руках у них были транспаранты, объясняющие ту огромную ошибку, которая привела их к самым серьезным последствиям.

Местному населению перманентно внушают необходимость приобретения совершенного и прекрасного тела, демонстрируемого в коммерческой рекламе. Желая приблизиться к определенным стандартам, ты усиливаешь заботу о своем теле, но также приближаешься к этому совершенному телу благодаря следованию определенным правилам, установленным миром капитала. Пытаясь отделаться от наглых физиономий криминалов и стать причастным

другому миру, а значит, и к другому телу, ты начинаешь приобретать кредитные карточки. Таким образом, происходит пропаганда буржуазных ценностей, которая противопоставляется местной социальной действительности. Показательна в этом отношении реклама магазина Dressman с перечеркнутой пролетарской символикой и слоганом: «Работай в другой день!» Еще одной иллюстрацией может послужить реклама, демонстрирующая, как при помощи вкладов в латвийский сбербанк на лице разглаживаются морщины и появляется улыбка. Таким образом, денежные инвестиции становятся инвестициями в тело, гарантирующими привлекательность и успех.

Ярким примером тому, как коммерческая реклама использует приемы социальной, является еще одна кампания, призывающая пользоваться пластиковыми карточками взамен наличных денег, в обиходе называемых еще «чистыми», что рекламные плакаты и пытались опровергнуть (июнь 2006 г.). С огромных черно-белых фотографий прохожих пугали снятые крупным планом руки, пораженные грибок, изуродованные болезнью и внушительным слоем грязи. На одной из них красовалась татуировка, которая явно маркировала классовую принадлежность этого неудобного тела. Слоган предупреждал: «Твои деньги были в разных руках. Лучше не знать, в каких». Устрашая горожан заразой, исходящей от тела люмпена, плакаты взамен предлагали пластиковые карточки, способные обеспечить определенную дистанцию от него и гарантировать чистоту. Этот пример еще раз иллюстрирует то, как посредством телесных образов производится иерархия социальных классов, в которой, чтобы оторваться от «низа» общественной лестницы, необходимо потреблять блага капитализма и следовать его заветам.

ОТКУДА Взялись ТРУПЫ?

Бесспорно, все эти проблемы, явленные нам в образчиках социальной рекламы, существуют – и пьянство за рулем, и домашнее насилие, и то, что городские власти игнорируют проблемы инвалидов, и большое количество аварий на дорогах – факты на-

лицо. Безусловно, данные проблемы требуют решения и привлечения к ним внимания общественности. Вопрос в другом – почему преимущественно во всех случаях рекламное сообщение конструируется с помощью поврежденного, покалеченного или мертвого человеческого тела?

Чем же можно объяснить такой характер социальной рекламы, явно отдающей некрофилией? Причин, на мой взгляд, тут несколько. В принципе, тема смерти или насилия появилась в рекламе далеко не сегодня (можем вспомнить здесь шокирующую рекламу United Colours of Benetton, успешную статью классикой). Эта тенденция в последнее время только растет, свидетельствуя о том, что зрителя сегодня мало чем можно удивить. Люди пресыщены образами, и рекламщики из кожи лезут вон, чтобы картинка осталась в памяти и оказалась замеченной. Так, творческое кредо Zoom – «Мы ненавидим рекламу, поэтому ее делаем» – говорит само за себя: агентство старается избегать банальных, избитых рекламных приемов. Даже снимая ролик о самых обыденных вещах, Zoom умудряется найти в нем место картинам смерти, болезни или разрушения. Что говорить тогда о кампании, финансировавшейся дорожным управлением, – здесь обошлись не одним трупом!

Шокирующий характер социальной рекламы можно отчасти объяснить нехваткой в латвийском обществе глобальных событий. Он указывает на жажду События, обеспечивающего вовлеченность в глобальный мировой процесс на уровне того, что происходит в мировых столицах и «горячих точках планеты», что обычно и представляют первые полосы крупнейших газет, иллюстрирующие ужасы войны, терактов, стихийных бедствий и т.д. Эти снимки дают возможность почувствовать себя в «горячей» точке, тем самым актуализируя место, а вместе с ним и обывателя в глобальном мировом пространстве. По сути своей подобные фотографии в социальной рекламе имитируют газетное сообщение. Если же проводить дальнейшие аналогии с масс-медиа, то можно сказать, что город наполняется разными образами по принципу телевидения и газет, где реклама перемежается сводками но-

востей. Маклюэн пишет о том, что реклама – лучшая часть газеты или журнала, потому что она представляет хорошие новости, противопоставленные сводкам новостей: «Реклама – это новости. У нее одна беда – это всегда хорошие новости. Чтобы компенсировать этот недостаток и продать хорошие новости, надобно иметь множество новостей плохих. (...) Как уже отмечалось, настоящие новости – это плохие новости, о чем свидетельствует любая газета с тех пор, как появилась печать. Наводнения, пожары и иные общественные бедствия на суше, на море и в небесах в качестве новостей превосходят всякого рода индивидуальные ужасы и зверства. Напротив, реклама должна звонко и отчетливо выкрикивать свое послание счастья, дабы уравновесить пронзительную силу плохих новостей»⁹. В нашей ситуации это противопоставление работает в рамках оппозиции коммерческой и социальной рекламы. Именно последняя взяла на себя функцию «плохих новостей».

Следует также обратить внимание на подчеркнутую «реальность» изображения. Характерно, что в большинстве случаев социальная реклама использует в качестве своего средства именно фотографию как «доказательство» реальности происходящего, для пущей убедительности. Ведь одно дело, когда перед нами рисунок или картина, другое – фотографии «трупов». Фотографическое изображение в социальной рекламе дается «без прикрас», свойственных коммерческой гламурной фотографии, которая как раз-таки стремится нивелировать реальность, создавая идеальную картинку. В этом ключе социальная реклама противостоит коммерческой, трактуя последнюю как иллюзионистскую и нереальную.

Заметим, что посредством социальной рекламы также выражают себя деструктивные устремления в обществе: благодаря выплеску подобных фотографий в городское пространство происходит замена реальных трупов и крови их образами. Объяснение в нашем случае подсказывает психоанализ – постоянное появление образов мертвых и покалеченных тел симптоматично, свидетельствует о конфликте в обществе, говорит о наличии травмы, упрятанной в

⁹ Маклюэн, Г.М. Понимание Медиа: Внешние расширения человека / Г.М. Маклюэн. М., 2003. С. 238.

коллективное бессознательное. Возможная причина такой деструктивности – заостренное неравенство в обществе, которое среди прочего сказывается в растущем числе правонарушений в развитом мире, например в разбивании машин или витрин, в погромах и поджогах магазинов¹⁰. Рассмотрим этот момент подробнее.

Город эпохи глобализации является отчасти денационализированным пространством, местом притязаний глобального капитала, использующего его для организации потребления¹¹. Современный город – центр транснациональных корпораций, место концентрации экономической власти, площадка для утверждения капитала. Такое перераспределение экономических сил ведет к определенным противоречиям, выражающим себя в городском пространстве: развитие бизнес-центров, с одной стороны и запустение малообеспеченных районов – с другой. В общественной же сфере выделение транснационального капитала приводит к чувству беспомощности среди местных игроков, поскольку традиционные национальные предприятия находятся в определенном упадке¹².

В свою очередь, эта неуравновешенность в распределении сил и власти выражает себя в серии конфликтов, которые являются локальным ответом на процесс глобализации: «Мы видим здесь интересное соотношение между высокой концентрацией корпоративной власти и высокой концентрацией “других”. Большинство городов в высокоразвитых странах – территория, где сложность глобализации принимает конкретные, локализованные формы. Эти локализованные формы – то, чем глобализация является. Мы можем думать о городах также как о местах противоречия интернационализации капитала и более общо, как о стратегической территории для целой серии конфликтов и противоречий»¹³. Напряжение, которое существует между глобализацией и национальным проектом, отчасти может объяснить

¹⁰ Sassen, S. From globalization and its discontents / S. Sassen // The Blackwell City Reader. UK, 2002. P. 169.

¹¹ Ibid. P. 162.

¹² Ibid. P. 166.

¹³ Ibid. P. 164.

появление на улицах города отдельных социальных плакатов. В них подчас можно усмотреть протест, привлечение внимания к локальным проблемам. Если присутствие «других» игнорируется коммерческой рекламой, то в социальной рекламе эти «другие» репрезентируются посредством мертвых, покалеченных тел. Социальная реклама прежде всего ориентирована на жителей, представляет их и отсылает к местным реалиям. В то же время коммерческая реклама, хоть и обращена к местному населению, чаще всего представляет воображаемый мир. Согласно этому социальная и коммерческая реклама существуют в связке как «реальное» и «идеальное». В этом месте обнажается конфликт локального и глобального: изувеченное или мертвое общественное тело противостоит красивому, лощеному телу коммерческой рекламы, которая чаще всего не представляет местных людей и их реалии, а отсылает к атопическому глобальному телу консьюмеризма. Впрочем, нередко идеальное тело наделяется конкретно западными характеристиками, как в случае с рекламой учебы и работы за границей (исполнитель: агентство Zoom, 2004 г.). На плакате были нарисованы в двух вариантах человеческие мозги. В первом они были «золотыми», испускающими сияние. Зрителю предлагалось сделать правильный выбор – уехать за границу, чтобы его мозги не засохли и не потускнели, что и демонстрировалось во втором случае.

Власть капитала в городском пространстве прослеживается не только на уровне инвестиций, она утверждает себя также посредством городской рекламы. Коммерческая реклама насаждает идеологию консьюмеризма, эксплуатируя телесные образы. Капитализация тела совершается путем формирования желания, которое направляется на потребление. Существует несколько способов взаимодействия этой рекламы с телом. В одном случае она показывает эротизированное тело, должное репрезентировать тот или иной продукт, в другом случае пытается уничтожить реальность тела, заменяя его реальностью одежды (ветки мертвого дерева взамен человеческой плоти, полое тело людей-манекенов). Наконец, она представляет тело люмпена или криминала в негативном ключе, чтобы напугать потреби-

теля и тем самым заставить его покупать или пользоваться иными капиталистическими благами (например, кредитными карточками). Роль социальной рекламы более противоречива. На первый взгляд кажется, что ее образы противоположны коммерческим картинкам. Изображения мертвых и покалеченных тел можно было бы воспринять как выпад против гламурных снимков, которыми переполнены страницы журналов и городские витрины. Визуальный ряд социальной рекламы как будто бы старается разрушить привлекательный вид витрин и вывесок. Но в итоге получается, что социальная реклама, показывая социальное тело с явной негативной окраской, подыгрывает коммерческой, так как при сравнении происходит «естественный» выбор в пользу гламурного тела.

На рижский случай городской рекламы можно также взглянуть с иной точки зрения. Многие исследователи (в частности, Филипп Арьес в «Человеке перед лицом смерти») писали о том, что современное общество пытается изгнать из своего мира смерть, болезнь, старость. В мире капитала их существование игнорируется, ведь, покупая ту или иную вещь, ты продлеваешь свою молодость, приобретаешь благополучие, фетиш, который должен защитить тебя от житейских невзгод. Эквивалентом жизни становится капитал. Каким же образом в мире потребления становится возможным появление образов смерти? Бодрийяр отмечает, что современная культура является культурой смерти, а города сегодня выполняют функцию кладбищ¹⁴. Из ин-

¹⁴ «Смерть — это антиобщественное, неисправимо отклоняющееся поведение. Мертвым больше не отводится никакого места, никакого пространства/времени, им не найти пристанища, их теперь отбрасывают в радикальную у-топию — даже не скапливают в кладбищенской ограде, а развеивают в дым. Но мы ведь знаем, что означают такие ненаходимые места: раз больше нет фабрики, значит труд теперь повсюду, — раз больше нет тюрьмы, значит изоляция и заточение повсеместны в социальном пространстве/времени, — раз больше нет приюта для умалишенных, значит, психологический и терапевтический контроль стал всеобщим и заурядным явлением, — раз нет больше школы, значит, все социальные процессы насквозь пропитались дисциплиной и педагогическим вос-

дивидуального страха смерти, которым мы обязаны протестантизму, появилась попытка обуздать смерть путем накопления и материального производства. В результате накопления ценностей, а прежде всего времени как ценности, когда «в бесконечности времени преобразуется бесконечность капитала, вечность производственной системы, для которой нет больше обратимости обмена/дара, а есть только необратимость количественного роста», наступает невозможность символического обмена со смертью¹⁵. Это приводит, в свою очередь, к тому, что смерть становится объектом постоянного влечения: «Стоит исчезнуть амбивалентности жизни и смерти, стоит исчезнуть символической обратимости смерти, и мы вступаем в процесс накопления жизни как ценности – но одновременно и в сферу производства, эквивалентного смерти. Смерть ежечасно становится предметом извращенного желания»¹⁶.

Влечение к смерти, характерное для нашей культуры, реализует себя через образы смерти и разрушения. С ними мы и сталкиваемся в социальной рекламе. Эти образы – продукт коллективного бессознательного – оборотная сторона потребления, его изнанка. Образы смерти работают в паре с коммерческой рекламой, дополняя друг друга наподобие инь-ян, как Эрос и Танатос: отпугивая, социальная реклама обращает покупателя к гламурным картинкам коммерческой рекламы, призванным защитить потребителя от смерти.

Социальная реклама является также продуктом власти, которая с помощью визуальных образов создает тела и управляет ими. Усиление социальной ра-

питанием, – раз нет больше капитала (и его марксистской критики), значит, закон ценности перешел во всевозможные формы саморегулирующегося послезития, и т.д. Раз нет больше кладбища, значит, его функцию выполняют все современные города в целом – это мертвые города и города смерти. А поскольку операциональный столичный город является и завершенной формой культуры в целом, то, значит, и вся наша культура является просто культурой смерти» (Бодрийяр, Ж. Символический обмен и смерть / Ж. Бодрийяр. М., 2000. С. 234).

¹⁵ Бодрийяр, Ж. Символический обмен и смерть / Ж. Бодрийяр. М., 2000. С. 263.

¹⁶ Там же. С. 264–265.

боты свидетельствует об усилении надзора над телами, – ими становится более сложно управлять по причине урбанизации¹⁷. Во время круглого стола «Капитализм и лишение свободы» 1972 г. Фуко отмечал следующее: «Социальная работа является частью более крупного механизма, механизма надзора-исправления, столетие за столетием непрестанно охватывающим новые области. Направлять за индивидами, их исправлять (в обоих смыслах этого слова) означает наказывать и воспитывать их»¹⁸. С мнением Фуко соглашаются и другие участники дискуссии. Так, социолог Ж. Донзело высказывает мнение, что «взятие на попечение есть захват власти, ведущий к экспроприации всех возможных способов обретения слаженной коллективной жизни; это на самом деле намеренное несоответствие заявленной цели: установление крупномасштабного контроля и надзор называют стимулированием социальности!»¹⁹.

Контролирование тел властью в социальной рекламе проявляется через продуцирование в городском пространстве картин смерти. Тем самым происходит манипуляция телами и, как ее следствие, ограничение их свободы, запрет действий. Люди должны стать «видимыми», а общество «прозрачным». В качестве метафоры светоотражатели могут встать в один ряд с камерами наблюдения и прослушивающими устройствами. Страх власти, что тело станет невидимым, а значит, неподвластным контролю, явлен в рекламе дорожного управления, где жертва виновна в нарушении общественного порядка. Власть не может принять версию несчастного случая, понимая его как покушение или вредительство. Об этом говорит Бодрийяр: «Итак, наша рационалистическая культура сильнее какой-либо иной страдает коллективной паранойей. Что бы ни случилось, малейший беспорядок, катастрофа, землетрясение, рухнувший

¹⁷ «Круглый стол» (1972): капитализм и лишение свободы (беседа М. Фуко, Ж.-М. Доменака, Ж. Донзело, Ж. Жюлиара, П. Мейера, Р. Пюше, П. Тибо, Ж.-Р. Треантона, П. Вирилио) // Фуко, М. Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и интервью. Ч. 2. М., 2005. С. 20.

¹⁸ Там же. С. 26.

¹⁹ Там же. С. 18.

дом, непогода – все это чье-то покушение: ведь должен же за это кто-нибудь отвечать. Поэтому интересен не столько рост самого вредительства, терроризма и бандитизма, сколько тот факт, что все происходящее интерпретируют в этом смысле. Несчастный случай или нет? Вопрос неразрешим. Да он и неважен, поскольку категория Несчастливого Случая, анализируемая Октавио Пасом, слилась с категорией Покушения. И в рациональной системе так и должно быть: случайность может быть отнесена только на счет чьей-то человеческой воли, а потому любая неполадка расценивается как порча – или, в политическом контексте, как покушение на общественный порядок. И это действительно так: природная катастрофа представляет опасность для установленного порядка не только из-за вызываемого ею реального расстройств, но и потому, что она наносит удар всякой полновластной «рациональности» – в том числе и политической. Поэтому на землетрясение отвечают осадным положением (в Никарагуа), поэтому на месте катастроф разворачиваются силы порядка (при катастрофе в Эрменонвиле их собралось больше, чем при какой-нибудь демонстрации). Неизвестно ведь, до чего дойдет разбушевавшееся из-за несчастного случая или катастрофы «влечение к смерти» и не обернется ли оно вдруг против политического строя»²⁰.

Но не только социальная реклама является частью механизма контроля власти, то же самое мы можем отнести и к коммерческой рекламе. Начиная с 1960-х гг., полагает Фуко, власть над телом приобрела иные формы, когда стало понятно, что контроль над сексуальностью может смягчиться: «Тело стало ставкой в борьбе между детьми и родителями, между ребенком и инстанциями контроля. Бунт сексуального тела является противодействием подобному внедрению. И как же отвечает власть? Прежде всего экономической (и, может быть, даже идеологической) эксплуатацией эротизации, начиная от всяких средств для загара и вплоть до порнофильмов... В самом ответе на бунт тела вы находите новую инвестицию, которая теперь фигурирует

²⁰ Бодрийяр, Ж. Символический обмен и смерть. С. 287–288.

не в виде контроля-подавления, а в виде контроля-стимуляции: «Оголяйся... но будь худощавым, красивым, загорелым!»²¹. Посредством коммерческой рекламы власть утверждает новые нормы. Этот диктат новых телесных стандартов в рекламе есть механизм управления власти телами. Если социальная реклама производит запреты и ограничения, то коммерческая реклама производит желание и направляет его в нужное русло – на потребление. И именно благодаря следованию этому новому телесному канону, диктуемому рекламой, становится возможным обладание своим телом: «Владение своим телом, осознание своего тела могло быть достигнуто лишь вследствие инвестирования в тело власти: гимнастика, упражнения, развитие мускулатуры, нагота, восторги перед прекрасным телом... – все это выстраивается в цепочку, ведущую к желанию обретения собственного тела посредством упорной, настойчивой, кропотливой работы, которую власть осуществляет над телом детей, солдат, над телом, обладающим хорошим здоровьем»²².

Тело – это не просто тело, оно нагружается всевозможными социальными смыслами, через тело говорит идеология. И именно так выражает себя буржуазия. В свое время Ролан Барт писал о том, что в современном мире буржуазия опознается плохо как политический и идеологический факт, но она остается непримирима в вопросе о ценностях. Буржуазия – «социальный класс, не желающий быть названным», она подвергает свой статус настоящему «разыменованию» – понятия «буржуа», «капитализм», «пролетариат» теряют свой смысл²³. Буржуазия не называет себя, но определяет себя через ценности, которые не в последнюю очередь выражает посредством тела (забота о теле, согласно Фуко, является характерной для буржуазии).

Подведем итоги. Феномен социальной городской рекламы представляет собой многослойное явление, затрагивающее разные стороны общественной

²¹ Фуко, М. Власть и тело. / М. Фуко // Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и интервью. М., 2002. С. 163.

²² Там же. С. 162.

²³ Барт, Р. Мифологии / Р. Барт. М., 2000. С. 265.

жизни. Эксплуатация образов смерти в городской рекламе объясняется следующими причинами:

1) появление образов смерти актуализирует городское пространство в глобальном мире, сообщая ему экзистенциальную напряженность; 2) через картины смерти находят выражение деструктивные общественные устремления. Мертвые, больные тела, репрезентирующие местное население, на фоне идеальных тел коммерческой рекламы в отдельных случаях являются свидетельствами социального неравенства в глобальном мире и конфликта, который имеет место в латвийском обществе, находящимся между глобализацией и национальным проектом (так, плакаты, направленные против секс-туризма, обозначают угрозу, исходящую со стороны запада); 3) посредством фотографий трупов и инвалидов выражает себя подсознательное влечение к смерти, которое является характерным для современной культуры в целом; 4) социальная реклама является одним из механизмов управления властью телами. При помощи угрозы смерти, внушения страха обществом манипуляция населением становится более эффективной; 5) социальная реклама работает в связке с коммерческой рекламой. Так, негативные образы социальной рекламы вызывают отторжение и направляют зрителя к гламурным образам коммерческой рекламы, обеспечивая поток потребления. С этой же целью коммерческая реклама прибегает к приемам социальной рекламы. Тело, репрезентируемое в социальной рекламе, связанное с темой смерти, болезни или насилия, представляет прежде всего тело маргинальное, которое также является «локальным» телом. Феномен «социального тела» противостоит телу в коммерческой рекламе, которая репрезентирует лощеное, перфектное, идеальное, буржуазное тело. Эти два полюса находятся в тесной связи друг с другом как тело, репрезентирующее социальную действительность, от которого нужно оттолкнуться и максимально приблизиться к желанному идеалу.

Не случайно также, что для этих рекламных кампаний выбрана городская среда – как одна из наиболее эффективных в своем воздействии на тело. Город постоянно оставляет свой след на телесности субъ-

екта. Одним из рычагов этого влияния является городская реклама, которая регулирует поведение тел в городском пространстве, направляет их или задает модель для подражания.

Несмотря на то что город сам по себе является местом сосредоточения и циркуляции власти, в социальной рекламе Риги его сопровождают скорее негативные коннотации. Здесь он фигурирует как враждебное, деструктивное место, связанное с проблемами и смертью, – люди умирают на дорогах, карманники воруют кошельки, инвалиды ограничены в своем перемещении. Город таит в себе опасность – «Думай, куда идешь». После супермаркета самое безопасное место – это твой дом, что, собственно, демонстрирует реклама нового жилья и кредитования, связанного с ним. Интересный пример представляет реклама Vestabalt. Homes (того же агентства Zoom), убедительно показывающая, что их квартира гораздо комфортабельнее нашего собственного тела. Она даже заменяет тело, которому мы больше не можем доверять как неспособному обеспечить то, чего мы хотим. Реклама нас убеждает, что в утробе матери мало места, после смерти – еще меньше, единственное, что нам остается, – пространство своих апартаментов. Поэтому даже обладание идеальным телом не может принести должного удовлетворения. Помимо всего прочего идеальное тело нуждается во второй своей оболочке – в одежде, а затем в идеальной квартире. Впрочем, насыщение и удовлетворение вообще невозможно в этих координатах, – желания здесь только умножают друг друга, умножая скорбь по невозможному идеалу. Городское пространство таит опасность, и на замену ему приходит пространство торгового центра, который становится городом будущего, воплощенной утопией.

ВМЕСТО ПОСТСКРИПТУМА.

ЛАТВИЯ КАК ЕС и P.S. ПРОСТРАНСТВО

С начала независимости Латвия пытается освободиться от следов советского прошлого. В городском пространстве это выражается в сносе построек послевоенного периода (здание Политеха, Дома печати), заброшенности и маргинальном положении

бывших культурных и административных центров. Если же здание снести невозможно, поскольку оно представляет архитектурную или материальную ценность, то остается его переименовать. Так, музей красных латышских стрелков превращается в музей оккупации, а здание ЦК Компартии Латвии – во Всемирный торговый центр.

Вступление страны в ЕС ознаменовало большие перемены в общественной и политической жизни. Среди них можно назвать доступ к европейским фондам, усиление роли международных корпораций, производственный лимит, безвизовый режим и право на работу во многих европейских странах и, как следствие этого, – массовый отъезд людей за границу, развитие интуризма и как побочного явления – секс-индустрии.

Итак, социалистический союз сменил союз капиталистический, а в латвийском политическом лексиконе «левая» направленность до сих пор определяется по национальному признаку, обозначая партии, ориентированные на русскоязычных. Смена ценностных установок выражает себя в постройках, маркирующих капиталистическую идеологию (прежде всего супермаркеты и бизнес-центры), которые являются местом сосредоточения новой власти. При вступлении в Европейский союз появилась задача соответствия латвийского пространства стандартам ЕС, начиная от благоустроенности дорог и заканчивая общими ожиданиями респектабельности городской среды. Но соответствие предполагает не только городское пространство, но и его население. Тут в силу вступает социальная реклама, которая с помощью визуальных репрессий стремится организовать население. Насилие этих кампаний хорошо иллюстрирует один из последних телевизионных роликов (2007 г.), где происходит операция захвата военными на танках людей без светоотражателей.

Что касается результатов проведенных рекламных кампаний, то они оказались достаточно сомнительными. Так, например, в случае с ДТП огромное количество устрашающих плакатов и роликов, а также ужесточение законов в 2005 г. дало эффект лишь на очень короткое время, вскоре все вернулось к прежней тенденции, и количество аварий продол-

жает возрастать. (И это несмотря на то, что половина городского населения уже использует светоотражатели в качестве оберега или даже модного аксессуара!) Причину неутешительной статистики видят в том, что водители все чаще водят машину в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а это, в свою очередь, связывается с отсутствием у людей «социального оптимизма», который городские «страшилки» явно не повышают. Можно себе представить, какое впечатление в стране с высоким показателем самоубийств производят на население плакаты с трупами – да еще на фоне социальных неурядиц и нехватки солнечных дней в году!

Латвия (а прежде всего, ее столица – ведь именно большие города играют первую скрипку в глобальной экономике) моделируется как капиталистическое пространство, и ее общество хотят видеть также соответствующим определенным нормам и представлениям. Страна стремится к избавлению от травматичного советского опыта, а вступление в ЕС и НАТО помогает совершить инверсию и сменить знаки на противоположные. Ситуация осложняется тем, что в ЕС начинают видеть угрозу национальному проекту и количество евроскептиков растет. Латвию как «P.S.» (постсоветское, постсоциалистическое) пространство характеризуют противоречия между советским прошлым, стандартами ЕС и национальными ожиданиями. Эти противоречия выплескиваются на улицы Риги, выражая себя как в характере застройки, в соотношении старых и новых городских доминант, так и в рекламе. «Мертвецы» свидетельствуют о конфликте в обществе, но и предвещают исход этой неравной битвы, – местное тело умирает на латвийских дорогах, чтобы стать глобальным и совершенным. Так как социальная реклама лишена позитивных образов, человек обращается к коммерческим плакатам, предлагающим свой рецепт счастья и удовольствия. Оказавшись в тисках между двумя идентичностями – быть мертвым или потреблять, – рижский прохожий выбирает второе.

ABSTRACT

The topic of this article is the representation of the body in the Riga city environment. We focus on social advertising that most often shows the body as dead, ailing or maimed. We study this phenomenon and compare it to commercial advertising in the city.

Keywords: urban studies, the body, social and commercial advertising, capitalism, the sociology of everyday life.

МИНСК – ГОРОД ПОБЕДИВШЕГО ГЛАМУРА

В статье показывается значимость понятия «гламур» для теоретического анализа минского городского ландшафта как специфической «поверхности» или «экрана». Гламур – это не только жизненный стиль городского населения, но и особая стратегия власти, используемая при управлении социальными объектами и политическими практиками в столице Беларуси.

Ключевые слова: гламур; городской ландшафт; стратегия власти; жизненный стиль; экран.

Можно только догадываться,
как нас лепят ближайшие пространства.
Длина коридора, высота ступенек,
структура повседневного ландшафта.
В. Курицын

Некоторые эксперты утверждают,
что в современном обществе
нет идеологии, поскольку она
не сформулирована явным образом.
Но это заблуждение. Идеологией
анонимной диктатуры является гламур.
В. Пелевин

ЧИСТОТА/ПУСТОТА

В книге М. Гладуэлла «Переломный момент» [1] описывается ситуация борьбы с преступностью, захлестнувшей Нью-Йорк в 80-е гг. прошлого века. Странники решительных мер по наведению порядка в городе начали свою антикриминальную кампанию, как ни странно, не с борьбы против преступников, но с удаления «граффити» со стен и замены разбитых

окон в неблагополучных кварталах. Поначалу это вызывало недоумение: неужели нет более важных дел, нежели наведение чистоты? Однако такой ход себя полностью оправдал — оказалось, что именно подобные «мелочи» выступают в качестве симптома социального неблагополучия и даже служат своеобразными «сигналами» для запуска программы антисоциальных действий и криминального поведения у субъектов, к этому склонных. И лишь удалив эти знаки криминальной активности, можно было надеяться на общий успех затеянного мероприятия.

Похоже, минские власти и градостроительные службы взяли на вооружение именно эту, «профилактически ориентированную» стратегию. Поддержание правопорядка организовано прежде всего как «борьба за чистоту», то есть профилактика по недопущению самой возможности загрязнения территории, как попытка упредить любое стремление к избыточности и хаосу. Такая стратегия, не мудрствуя лукаво, реализуется по принципу «кабы чего не вышло»: не выставлять на улицах лотки, киоски, биотуалеты и прочие объекты, которые могут выступать в качестве источников загрязнения. Кроме того, не разрешать собираться группами, дабы не возникало стихийное желание мусорить и нарушать правопорядок. В идеале следовало бы полностью очистить все улицы от транспорта и людей как потенциальных нарушителей чистоты и правопорядка и сосредоточить все усилия на поддержании ПУСТОТЫ городского пространства (тождественность городской чистоты пространственной пустотности отмечалась уже неоднократно). Но пока такой возможности у власти еще нет, поэтому ей приходится идти на жертвы и время от времени устраивать для народа массовые празднества, торжества и гулянья, неизбежно выливающиеся в агрессивное замусоривание центральной части города.

Однако то, что заполняет пустоту во время праздников (ларьки, биотуалеты, торговые точки), с завидным постоянством исчезает на следующий же день — видимо, исходя из соображений гуманизма: чтобы народ не привыкал к легко доступным удовольствиям, не расслаблялся, но держал себя «в черном теле», следовал самодисциплине и был го-

тов к мобилизации своих ресурсов терпения в ожидании следующего «праздника жизни». Идеальное воплощение порядка требует воздержания и умеренности во всем, самоограничения и аскетизма, обратной стороной которых являются нежелание мириться с бытовыми неудобствами в общественных местах — так, для удовлетворения своих (малых) нужд жители вынуждены обращаться в массовое бегство по центральным дворам, в подворотни и закоулки. Исход из дисциплины и «побег в карнавал» становится закономерным итогом политики воздержания, с неизбежностью приводя к гигантским горам мусора после любого праздника. В таких случаях мы сталкиваемся с инверсивным воплощением принципа «чисто не там, где убирают, — не там, где не мусорят»: у нас именно убирают, и убирают весьма оперативно после любых мероприятий в центре — ярмарок, празднования дней Города, Республики и пр. Организация и масштаб уборочных работ, при котором удаляются любые подозрительные объекты, наводят на мысль о том, что здесь разворачивается скорее не уборка, а «зачистка»: стерилизация городской среды постоянно поддерживается на том уровне, когда чистота с легкостью превращается в пустоту. Так что минская чистота — результат не уборки, а именно «зачистки», т.е. тотального «наведения порядка» на фоне тщательного обустройства ландшафта, из которого должно быть исключено все случайное, сингулярное и спонтанное.

Таким образом, мы идем в данном случае по пути Нью-Йорка, но усугубляем ситуацию, стирая с поверхности города знаки всякой социальной активности, парадоксально трактуемые как признак («признак») антисоциальности, удаляя из городского ландшафта любые следы социальных девиаций, расцениваемых как «криминальный симптом». При этом сохранение и поддержание чистоты, в свою очередь, может рассматриваться как симптом торжества власти в деле по поддержанию режима дисциплины и правопорядка. Однако в отличие от Нью-Йорка поддержание чистоты в нашем городе направлено не на криминальные или антисоциальные элементы, а на все общество в целом. Тотальная чистота/пустота минских улиц — это отчетливо вы-

раженный сигнал или message, послание, обращенное к населению, требующее совершенно однозначной трактовки: «У нас все в порядке!» И тем, кто хочет воспользоваться ситуацией и надеется найти «рыбку в мутной воде», тут ловить нечего — никакой «мути» мы не допустим!

В такой версии организация усилий по поддержанию чистоты в городе синхронистична и даже синонимична политике по поддержке правопорядка во всем государстве. Чистота становится в итоге еще одним, дополнительным стратегическим ресурсом власти, который она использует для поддержания выгодного ей порядка, находя при этом полное взаимопонимание и поддержку у населения. Ее поддерживает и продолжает идея борьбы с политикой как некоторой сферой деятельности, неразрывно связанной с финансовыми махинациями, нечистоплотностью политиков и вообще отождествляемой с «грязью». Соответственно, чистота столичных улиц есть сигнал, информирующий всех нас о том, что политика исключена, поскольку никакая «грязь» не допустима (вспомним весьма характерные доводы в пользу сноса палаточного городка на Октябрьской площади после президентских выборов в марте 2006 г.). Очищение улиц суть зачистка всего социокультурного пространства, в первую очередь политического и медийного поля, что, в свою очередь, подразумевает и «чистоту помыслов» всего белорусского народа. Однако это может означать только одно — чистота как пустота сама становится угрозой для политики и нормального, полноценного функционирования государства. Ситуация становится обратной по отношению к той, что представлена у М. Дуглас [3] применительно к традиционным обществам, но охотно воспроизводимой и в нашем: чистота превращается в опасность, символ тотальности власти, укоренившейся на этом пространстве.

СТИЛИЗАЦИЯ/СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Меры по поддержанию чистоты дополняются и усиливаются заботой о сохранении «единства стиля» городской жизни, что подразумевает и единую политику по градостроению и централизованному разви-

тию городской инфраструктуры, городских служб и коммунальных хозяйств, деятельность которых и приводит к созданию городского пространства, выстроенного под единый стандарт, лишенный функционально обусловленного разнообразия. Такая позиция становится совершенно очевидна в сравнении с другими столицами (особенно соседних регионов): там власть старается прежде всего удовлетворить не всегда видимые глазу (во всяком случае, внешнего наблюдателя) потребности населения в финансовой и гражданской автономии, не пытаясь нивелировать все различия и «причесать» всех под одну гребенку, но допуская избирательный подход в выстраивании социального пространства. В итоге возникает эффект «лоскутного одеяла», вызванный неравномерностью распределения ресурсов (строительных, финансовых, административных) и их инвестирования в различные городские зоны: жилые кварталы, промышленные предприятия, административные здания. Иногда проскакивают противоречия в планах застройки (особенно характерные для старого центра где-нибудь в Вильнюсе или Киеве), способные вызвать шок у неподготовленного туриста, когда совершенно обветшавший, подлежащий сносу дом может соседствовать с помпезной или сверкающей в стиле *hi-tech* резиденцией крупного банка. Площадь покрытия города государственной опекой может спорадически сжиматься или расширяться, иногда сокращаясь до минимума или охватывая все по максимуму, а порой способна «забывать» о своем долге долгие годы и даже десятилетия, оставляя без внимания целые районы. В Минске же торжествует единообразие, соответствие «высоким стандартам» стиля, который и должен определять, по мнению власти, лицо города.

Иногда это лицо искажается гримасой удушья, когда забота о красоте становится слишком навязчивой и убивает саму красоту и естественность. Это касается, в первую очередь, городских парков и вообще любых «зеленых зон» города, где природа загоняется в столь узкие рамки эстетической размерности, что вместо отдохновения для души горожанина служит дополнительным напоминанием о торжестве города самим фактом своего жалкого суще-

ствования (как это произошло с когда-то «диким» Парком Челюскинцев). А иногда случаются стилистические «ляпы», некоторые из которых достаточно оперативно устраняются, а другие сохраняются, оправдываясь своей функциональной необходимостью. Так случилось с гигантскими фонарями, увенчанными сверкающими дисками «летающих тарелок», простоявшими какое-то время на улице Ленина возле Национального художественного музея и в итоге замененными на более удачные псевдогазовые фонари в духе позапрошлого века. А вот громоздкие навесы над подземными переходами центрального проспекта, явно выбивающиеся из сталинского стиля, заменить так и не удалось, хотя, по идее, такого рода отклонения или искажения в орнаменте городской застройки недопустимы, тем более — в центре.

Однако соблюдение чистоты стиля — лишь внешняя сторона медали. Обратной ее стороной становится катастрофическая нехватка публичных мест, которые позволяли бы сегментировать население по имущественному статусу и финансовым возможностям. Пространство возможностей слишком однородно и гомогенно — все должны быть «как все», терпеть одинаковое неудобство и получать стандартную порцию удовольствий. Даже если у каждого имеется свой собственный ресурс возможностей (потенциал которых совершенно неоднороден), возможности его реализации все равно сводятся к минимуму ввиду нехватки точек, где удовлетворялись бы индивидуальные потребности (театры, клубы, рестораны, дискотеки, бары, фитнес-центры и пр.). В итоге нерастроченная энергия выплескивается на улицу, где и торжествует «вечный праздник». Так возникает «город голода», где неспособность насытить пустоту, вечная нехватка возможностей и эйфория безответственности — все сливается воедино [4].

Некуда пойти — иди на улицу, негде показать модный наряд — надевай и демонстрируй на площадях. Только у нас можно увидеть прямо на улице столь умопомрачительные и вызывающе сексуальные наряды, которые девушки в других столицах одевают лишь в места, недоступные массовым взглядам и осуждающим оценкам. Мини-юбки и декольте

открывают мужскому взору гораздо больше, чем он мог бы рассчитывать, превращая интимность в открытость и создавая иллюзию доступности, «визуальной проницаемости» (т.е. доступности для зрительного осязания, «ощупывания взглядом»), что вводит иностранцев в полуобморочное восторженно-эйфорическое состояние. Тем самым формируется гламурный образ публичной жизни и соответствующий стиль поведения, превращающийся в привычку быть всегда на виду и привлекать к себе всеобщее внимание. «Девушки с обложки» шагнули на площади и проспекты, готовые впитывать телом взгляды окружающих, чтобы подтвердить свои притязания на значимость.

Однако эпатаж как норма жизни отрицает сам себя: если норма постоянно отвергается, то это становится делом вполне заурядным. Карнавал превращается в повседневную рутину и требует радикальной подзарядки через альтернативы, которые не могут реализоваться в социуме и расцениваются как вызывающее поведение и антисоциальные тенденции (пьянство, разврат, преступность). Так складываются парадоксальные условия формирования «белорусского образа жизни», при котором границы между нормой и ее отрицанием становятся достаточно условны. Нормы могут декларироваться и даже опираться на институциональную поддержку, но сила их однозначности неизбежно будет ослаблена разнообразием стилей в повседневной жизни горожан. Строгая иерархия социального порядка воплощается в жесткой организации структуры публичного пространства, но не может повлиять на моральные принципы и нормы поведения, которые остаются достаточно «вольными». Однако не нужно обольщаться — свобода нашего выбора определена именно теми возможностями и вариантами, которые позволяют нам наиболее органично вписаться в уже сформировавшийся социальный климат и урбанистический ландшафт.

Таким образом, поддержание единства стиля городской жизненной среды становится приоритетом столичных властей и находит отклик у самих горожан. Их коллективные усилия нацелены на устранение всего случайного, сумбурного, дезорганизован-

ного, чтобы привести все к единому знаменателю, навести «блеск» и поддержать «глянец» на должном уровне. Это и есть ГЛАМУР, который можно определить как стиль выстраивания жизненных практик, при котором его сущностные черты («глубина») отступают на второй план, а точнее — поглощаются «поверхностью», когда «внешнее» растворяет в себе «внутреннее». Политика тотального гламура подразумевает перенос свойств среды проживания (города и его атмосферы) на самих горожан с целью их мобилизации — так возникает стратегия тотальной гламуризации населения, которое стремится «не отстать от моды», приняв за норму в качестве образца для подражания модели образа жизни из глянцевого журналов.

ГЛАМУР/ГЛЯНЕЦ

Стратегия, ориентированная на превращение Минска в «гламурный рай», стала применяться властью сравнительно недавно — после наступления нового тысячелетия, когда была осознана (хотя и со значительным опозданием по сравнению с нашими соседями в Прибалтике, России и Украине) необходимость радикальной модернизации городской среды. Начались постройки важнейших точек городской активности (торговой, транспортной, административной), стали активно внедряться дизайнерские проекты по трансформации городского ландшафта (как в центре города, так и на его окраинах). Однако необходимость тотальной модернизации существующих архитектурных объектов ввиду отсутствия финансовых возможностей по-прежнему подменяется лакировкой их поверхности, «наведением блеска», сопоставимым с «отводом глаз» (или «пусканием пыли в глаза», что более близко к строительным и реставрационным реалиям). Поэтому косметический ремонт (но вовсе не капитальный) становится знаменем нашего времени и применяется во всех сферах социальной жизни. Не нужно менять инфраструктуру — достаточно «запустить завод». Не нужно строить новое здание — достаточно обновить старое. Сдирается штукатурка и шпаклевка, замазываются

трещины и выбоины, наносится новая краска — и готов «новый» объект социального восхищения.

Следующий ход — реставрационные и строительные работы трансформируются в практики нивелирования (шлифовки или «полирования») социальных поверхностей. При этом гламурные стратегии реализуются в четырех планах: 1) *медийном* (обложки глянцевого журналов, концерты звезд белорусской эстрады, выпуски новостей, транслируемые по экранам на улицах в сопровождении мерцающих неоновых вывесок и ярко освещенных рекламных щитов), осуществляющем массовое производство идеализированных (но также и стереотипизированных) нормативных образцов для подражания населения; 2) *поведенческом*, где под влиянием масс-медийных образцов формируется жизненный стиль в социальной практике на повседневном уровне ее реализации (стиле одежды, манере поведения, образе жизни в целом); 3) *архитектурном*, определяющем нашу «среду обитания» и проживания (помпезные фасады псевдосталинских административных зданий и «стеклобетон» бизнес-центров, поверхности тротуаров на улицах и площадях, отделанных декоративной плиткой, зеркальный блеск витрин модных магазинов); 4) в *ментальном* ландшафте, который можно представить в виде когнитивной карты, т.е. образа города, который сложился в коллективных представлениях горожан. Этот образ может конфликтовать с имиджем, предлагаемым СМИ, а может поддерживаться им. В случае с Минском мы имеем дело почти с полным совпадением экранного (плакатного) образа с его ментальной проекцией в массовом сознании. Горожане охотно поддерживают имидж Минска как «самого чистого города» Европы и гордятся этим. Тем самым гламурная политика построения городского пространства с успехом реализуется не только властями, но и самими жителями, большинство из которых борется за чистоту, поддерживает конституционный правопорядок или хотя бы стремится «не отстать от моды».

Несмотря на все различия, функционально обусловленные спецификой уровней реализации, все эти стратегии объединяет одна общая черта — их стремление к тотальной нивелировке и устранению глу-

бинных различий в содержательном плане, вообще устранению любой глубины, исключению контекста и привлечению внимания только к поверхности, как если бы глубины не существовало в принципе. Поэтому гламур можно понимать как практику приведения поверхностей (ландшафтных, архитектурных, ментальных и телесных) в идеально гладкое состояние, что позволяет отождествить его с «глянцем», т.е. абсолютно гладкой (отполированной до зеркального блеска) поверхностью. «Культурный слой» гламурно-глянцевой поверхности придает стилистическое единообразие городскому пространству, столь необходимое для его идентификации — блеск опознается и расценивается как легитимный повод для гордости минчан.

Между тем глянec выступает для гламура в качестве идеала (идеализированного образа), который во всей возможной полноте реализуется, пожалуй, лишь в масс-медиа — на обложках модных журналов и экранах телевизоров. В другой социальной практике совершенства такого рода зеркальной поверхности достичь редко удается, поскольку мешает «сопротивление материала» — изношенность металлоконструкций, неоднородность ткани одежды, инерция стереотипов мышления и привычек, нехватка культурного и технологического потенциала. Поэтому полноценная стратегия гламуризации может полностью реализоваться лишь в виртуальной среде (мультимедийном мире образов) и складывается как «экранный политика».

ЭКРАН/ФИЛЬТР

Глянцевая поверхность минского ландшафта отражается во множестве экранов, бесконечно транслирующих гламурные образы, лакирующие действительность. Наземные экраны, особенно на центральных площадях, выполняют информационно-пропагандистскую функцию, транслируя новостные программы ОНТ. По ним передают «только хорошие новости» в соответствии с доминирующей информационной политикой, что укладывается в мерцающий искусственно поддерживаемый образ благополучия и обеспечивает его смысловую насыщен-

ность. Телеэфир должен обосновывать претензию правящего режима на всеобъемлющую истощенность и самодостаточность в бесконечном режиме повторов и самоцитирования. Однако большая часть экранов не транслирует ТВ и потому стыдливо упрятана под землю, привлекая внимание пассажиров на станциях минского метрополитена и используя для коммерческих и развлекательных целей, обрушивая на пассажиров потоки объявлений и забавляя их мультяшками. Тем самым экраны дезориентируют наш взгляд, маскируя состояние всей инфраструктуры, — само их наличие должно свидетельствовать о высоком уровне технологических достижений, но упирается при этом в катастрофическую нехватку качественного контента (коммерческой рекламы).

Интересно, что в Москве рекламные плакаты и билборды вывешивают на стенах прямо в туннелях метро, напротив платформы, привлекая внимание всех находящихся на ней пассажиров. В Минске предложили другое решение и стали использовать *проекционную технологию* — на центральных станциях (таких, как Октябрьская) с помощью специального оборудования изображение проецируется по обе стороны от платформы прямо на стены тоннеля, которые выступают уже в качестве не щита, но ЭКРАНА. Тем самым удалось сохранить стены в неприкосновенности, более того — для полноценной проекции стала необходима достаточно ровная (в идеале — совершенно гладкая) поверхность стены, лишенная каких бы то ни было трещин, бугров или вмятин. Последовательное выполнение этих условий позволяет расширить сферу применения данной технологии и использовать в качестве экрана не только стены тоннеля и станций метрополитена, но и фасады зданий снаружи, подсвечиваемые специальными прожекторами, и даже ночное небо, расцвеченное лазерной иллюминацией и вспышками салюта. В результате применения такого рода политики «наведения марафета» и тотальной «косметизации» действительности вся поверхность Минска и даже небо над ним превращается в экран — поверхность без всякого смыслового содержания, но готовую для передачи любых сообщений. В этом смысле экран выступает как *«гламо-фильтр»* — идеальное

воплощение гламура, информационное орудие и инструмент по удалению глубины, используемый затем для гламуризации массовой аудитории.

ПРОСВЕЩЕНИЕ/ПРОСВЕТЛЕНИЕ

Вершиной ст(ер)илизационной политики минских властей по наведению глянца на экранной поверхности городского ландшафта стало завершение строительства здания национальной библиотеки, которое может рассматриваться как «восьмое чудо света» («света» в буквальном смысле, как «освещения») — восьмое по счету наряду с автовокзалом «Восточный» и железнодорожным вокзалом, городской ратушей, линией метро западного направления, футбольным манежем, торговым центром «Столица» на Площади Незалежности/Ленина и отелем «Европа». Завершение строительства библиотеки позволяет говорить об окончательной победе дизайн-проекта по гламуризации городского пространства и его жителей, поэтому рассмотрим его более подробно.

Помимо основных функций — накопления и предоставления книжной информации — изначально планировалось использование библиотеки также в качестве ресурса для проведения праздничных мероприятий: делалась ставка на наличие колоссальных площадей общей поверхности фасада здания и их приспособления для иллюминации в темное время суток. Именно в ночное время можно в наибольшей степени оценить возможности динамической иллюминации на здании. Рябь цветовых узоров создает аэродинамический эффект «улета от реальности», восприятие световых бликов и пятен до «мельтешения в глазах» гарантирует нам незабываемые ощущения. В процессе созерцания публика словно впадает в транс и в измененном состоянии сознания ощущает мгновенное просветление. Посредством *освещения* переход от *просвещения* к *просветлению* совершается молниеносно и не нуждается ни в каком оправдании или обосновании.

Каким образом это происходит? Сама конструкция здания предполагает доступность круговому обзору, причем со стороны бывшего проспекта Ско-

рины структура «алмаза» совершенно проницаема снаружи, для взгляда внешнего наблюдателя, мгновенно пронзающего прозрачные стены библиотеки и проникающего в самую «суть вещей», минуя книгохранилища и накопительные фонды. При этом мы видим не сами внутренние помещения библиотеки, но ее строительный каркас, который как будто «просвечивает» сквозь покрытие и создает впечатление незавершенности, принципиальной неполноты, вечное продолжение строительных работ: бесцветные бетонные стены с проемами-бойницами словно проступают сквозь глянцево-лакированную поверхность корпуса. Даже темнота не в силах скрыть этот эффект «обнаженной структуры», демонстративно выпяченной наружу: глубина выдавливает поверхность, но та питывает глубину в себя и лишает ее смысла.

Так парадоксальным образом окончание строительства здания (точнее — монтаж на нем оборудования для световых эффектов) сразу же сделало саму библиотеку совершенно не нужной именно в качестве библиотеки. Поверхность убила глубину, здание погребло в себе книги, превратив их в устаревший хлам — миллионы тонн бесполезной для власти макулатуры. Единственная функция, для которой библиотека сейчас становится пригодна, — создание зрелища, светового шоу в гражданско-патриотическом духе для празднично шатающихся зевак и жителей микрорайона «Восток». И именно посредством созерцания иллюминации в виде гигантского государственного флага народ приобщается, по замыслу властей, к ценностям национального самосознания, которое создается как результат визуального восприятия световых эффектов. Таким образом, новое поколение посетителей библиотеки будет осознавать себя уже не ЧИТАТЕЛЯМИ, но ЗРИТЕЛЯМИ — в полном соответствии с требованиями общества спектакля по Ги Дебору. Собственно, экран городского ландшафта, который увенчался зрелищем библиотеки, и предназначен для постоянной трансляции грандиозного спектакля, который есть «средоточие нереальности реального общества. Во всех своих частных формах, будь то информация или пропаганда, реклама или непосредственное потребление развлечений, спектакль конституирует наличную модель пре-

обладающего в обществе образа жизни. Он есть повсеместное утверждение выбора, уже осуществленного в производстве, и его последующее применение. Аналогично этому, форма и содержание спектакля служат тотальным оправданием условий и целей существующей системы» [2: 12].

УПАКОВКА/МАСКА

Таким образом, западноевропейский проект глобального Просвещения окончательно исчерпывает себя в Минске. Он завершается как отказ от последовательного приобщения народных масс к благам образования («обучения грамоте»), переходя к мгновенной победоносной атаке — вспышке «сатори», *просветлению* и *причащению* к знанию, не требующему никакого вербального и языкового выражения. Завершение строительства библиотеки стало последним штрихом в установлении режима «гламурной диктатуры», основанной на стремлении к гипертехнологическому образу городской среды и населения, всегда стремящегося поддержать «последний писк» моды. Hi-tech-дизайн, повсеместно распространяющийся на микро- и макроуровнях организации поверхностей, растекается прозрачно-глянцевой оболочкой, обволакивая любые объекты в городском ландшафте толстым слоем гламура. Мы возьмем в нем, как сонные мухи, а затем застываем, становясь безразличными к любым действиям власти — будь то снос архитектурных памятников или переименование центральных проспектов. Гламур не опровергает глубину — он просто снимает с повестки дня сам вопрос о ней. Он не подвергает ее сомнению, но замещает ее и делает ненужной, функционально бессмысленной. Поверхность как бы «впитывается» в глубину и становится ею, превращаясь в «культурный слой», который, в свою очередь, постепенно истончается и, по мере увеличения слоя гламура, становится совершенно условным.

Дизайн (т.е. оформление, «упаковка») выступает здесь как замещение «экзистенции», претендуя на выполнение ее роли. Он обеспечивает работу «гламо-фильтра» как мегамашины по бесконечному производству образов и проекций, мерцаю-

щих на поверхности городского ландшафта и создающих иллюзию глубины. Однако блики на поверхности ослепляют нас и лишают возможности проникновения внутрь. Более того, они изначально отказывают нам в праве на глубину. Все ограничено лишь трансформацией внешних форм — линией горизонта, ландшафтом поверхности, контурами тела, дизайном покрытия. Человек в этом ландшафте есть лишь пустая оболочка без смысла и содержания, и единственной его защитой от вирусов внешнего влияния становится МАСКА — социальная роль под слоем косметики.

Теперь мы можем смело утверждать (в минском контексте): поверхность и есть глубина — в соответствии с толщиной слоя гламура. Внешнее суть внутреннее, а внешность равна видимости. Именно видимость создает нашу внешность (то есть внешнюю оболочку), поэтому, выходя на улицу, мы всегда должны хорошо выглядеть. Границы публичности становятся мерилom ответственности: «Казаться, чтобы быть, и быть, чтобы казаться!» — нашим образом жизни становится девиз французских манекенщиц. Однако не всем дано быть моделями, которые могут профессионально носить гламурные маски, постоянно отделяя их от собственного «Я». Мы пока не способны четко провести эту столь значимую границу между «личным» и «коллективным», «своим» и «чужим», «гражданским» и «государственным». Это свидетельствует об определенной незрелости или незавершенности личностного статуса индивида и нашей сильной зависимости от окружающих. Мы еще не самодостаточны и всегда действуем с оглядкой на других — «А что люди скажут?» Защитой от давления извне становится закрепление внешней оболочки и создание спасительного имиджа «гламурной девочки» или «модного мальчика», сохраняющего нашу индивидуальность в неприкосновенности. Однако по большому счету сохранять пока нечего. И это подтверждается исследованием коллективных представлений минчан и форм их визуализации, о чем пойдет речь далее.

Воля/ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Для изучения коллективных представлений минчан о своем городе вполне достаточно обратиться к визуальному материалу, доступному для всеобщего пользования после проведения фотоконкурса «Незнакомый Минск» на сайте «Минских телевизионных информационных сетей» mtis.vu с 20 ноября по 10 декабря 2007 г. совместно с телеканалом «National Geographic Channel» [5]. По условиям конкурса любителям и профессионалам-фотографам предлагалось разместить на сайте те снимки, которые бы (по их мнению) представляли Минск с необычной точки зрения, открывали бы неожиданные стороны в давно знакомых и уже привычных объектах городского ландшафта, а также предъявляли бы публике какие-то новые объекты. Одним словом, требовался свежий взгляд на новые или привычные вещи, которые удалось бы представить в новом, непривычном ракурсе — такова была ВОЛЯ организаторов этого масштабного конкурса, выдвинувших свои требования в качестве условия для появления соответствующих ПРЕДСТАВЛЕНИЙ. И такие представления (фоторепрезентации Минска) не замедлили появиться в большом количестве. Но насколько они соответствовали воле? В этом мы и попытаемся разобраться в дальнейшем.

Как сообщили устроители, на конкурс поступило большое количество фотографий (365), сортировка которых потребовала значительных усилий и дополнительного времени, в результате чего начало голосования было отложено на несколько дней. В конечном счете все фотографии, присланные на конкурс, были сгруппированы в шесть основных разделов («галерей»), которые с некоторой долей условности были обозначены следующим образом: *исторический Минск* (фото старого города, архитектурных и скульптурных памятников и достопримечательностей), *Минск современный* (новые или относительно новые районы и кварталы, преимущественно спальные), *жители Минска*, *Свислочь и водные каналы*, *зеленые зоны* в черте города, а также *ночной Минск*.

Несмотря на столь большое количество фотографий и достаточное разнообразие представлений

ных на них объектов, все они поддаются классификации на основе выделения нескольких категорий, обозначающих отношение самого наблюдателя (зрителя-фотографа) к фотографируемому объекту. Ракурс видения задает специфический способ репрезентации объекта и соответствующую позицию самого субъекта, чей взгляд и конституирует представленный, зафиксированный, а иногда и обработанный в PhotoShop цифровой материал, организует его в уникальное смысловое и стилистическое единство, из которого и складывается затем достаточно целостный образ города.

Если взять за основу именно РАКУРС СЪЕМКИ как главное и необходимое условие для возможности репрезентации, то на этом базисе возможно выделение совершенно других групп и разделов фотографий, участвующих в конкурсе. Это будет альтернативный подход в обобщении собранного материала и предложенной организаторами классификации, отталкивающийся не от *тематической*, но *перспективистской* направленности фотографий. Главным для нас становится не то, ЧТО запечатлено на фото, но то, КАК это сделано, т.е. важна сама *техника исполнения* снимка при фиксации изображения для последующего конструирования образа. И тогда выделяются следующие группы фотоснимков:

1) фотографии хорошо знакомых объектов, популярных среди непрофессиональных любителей панорамных и пейзажных фотографий (природных и архитектурных элементов городского ландшафта, известных как среди горожан, так и среди гостей столицы, в основном по открыткам, картинам и «телезарисовкам») — как правило, это Троицкое предместье, Святодухов Кафедральный собор на Немиге, Костел св. Симона и Елены («Красный костел»), остров Слез, панорама реки Свислочь в районе парка Горького, Октябрьская площадь и пр., а также некоторые новые сооружения, уже успевшие стать популярными среди горожан и рассматривающиеся ими в качестве знаковых объектов репрезентации (вокзал, новая национальная библиотека) (см. фото 7, 14, 49, 62, 76, 106, 113, 250, 348, 108, 138, 158 и др. — *здесь и далее фото представлены на CD*). Эти фото не удовлетворяют условиям конкурса и не

должны были участвовать в голосовании, однако организаторы не обратили на это внимания;

2) фотографии тех же известных объектов, но реализованные в необычном, нетривиальном ракурсе — то, что, собственно, и требовалось от участников конкурса и что можно считать программным минимумом для всех желающих получить призы (см. фото 2, 28, 31, 83, 115, 192, 157, 356, 351 и др.). Сюда же можно отнести ряд фотографий, обработанных в PhotoShop, что придает неожиданный эффект привычному изображению (см. фото 120, 145 и др.);

3) фотографии, на которых удалось запечатлеть необычные ситуации, малоизвестные или вовсе неизвестные большинству горожан объекты, представшие в необычном ракурсе, с неординарной точки зрения — расплывчатые, отфильтрованные, асимметричные, акцентирующие внимание на детали и т.п. (см. фото 1, 36, 54, 66, 71, 124, 125, 208, 292, 294, 297, 323, 296 и др.);

4) фотографии, не имеющие признаков соотносительности именно с Минском и потому автоматически выпадающие из конкурса, поскольку они могли быть сделаны где угодно (см. фото 30, 50, 90, 93, 100, 134, 149, 160, 352).

Также отдельно можно выделить группу фотографий, которые пытаются заглянуть «под маску» уже оформившегося имиджа Минска, отказаться от сформировавшихся в СМИ и закрепившихся в массовом сознании визуальных стереотипов. Эти фотографии с нестандартных позиций обнажают «разрывы» и «пробелы» в исторически сложившихся пластах коллективных представлений и имиджей, фиксируя переход от уцелевших уникальных исторических построек к их разрушению или реставрации, нивелирующей их оригинальность и самобытность. Они фиксируют ту грань или *линию перехода* (см. фото 25, 29, 64, 112, 129, 164 и особенно — 223) от старого к новому, от Минска исторического к Минску современному и симулятивно-постмодерному, где о подлинности и аутентичности можно забыть, а нашему взгляду остаются доступны только нивелированные глянцевые поверхности зданий из стекла и гранита.

Эти фотографии попадают в промежуточную зону, «нейтральную территорию» между привыч-

ными представлениями и классификациями, визуализирующими те штампы и клише, которые организаторы конкурса и предложили в качестве основания для рубрикации всех фотографий. В самом деле, как обозначить фотографию и «присвоить» себе позицию фотографа через ее номинацию, если его взгляд не панорамный, а точечный и «скользит» между традиционными категориями или сквозь догматические оппозиции (история — современность, природа — культура, день — ночь и т.д.). Что делать, если эта позиция вообще не поддается четкой фиксации и позволяет ухватить сразу несколько нестандартных деталей здания, специфических черт ландшафта, «странных» характеристик быта и нравов «простого народа» и т.д.? Неоднозначность, многомерность, дискретность видения — вот что подрывает догматизм визуальных икон, бесконечно воспроизводимых и тиражируемых в качестве источника дохода, наращивания символического и политического капитала «идейно выдержанных» полиграфических изданий, художников-самоучек и официальных СМИ.

К сожалению, таких творческих находок слишком мало, чтобы говорить о наличии какой-либо своеобразной тенденции или неординарного отношения к окружающему у большинства горожан. Подавляющий перевес остается именно за стереотипно воспроизводимыми визуальными шаблонами, традиционными «фотооткрытками», столь же далекими от каких-либо откровений, как от Минска далеко до Рио. И это, увы, подтверждает успех работы масс-медиа, планомерно навязывающих свою *волю* в формировании глянцево-лакированного *представления* о Минске в массовом сознании.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гладуэлл, М. Переломный момент: как незначительные изменения приводят к глобальным переменам / М. Гладуэлл М., 2006.
2. Дебор, Г. Общество спектакля / Г. Дебор. М., 1999.
3. Дуглас, М. Чистота и опасность / М. Дуглас. М., 2000.

4. Никто.жж.ство. Салют тебе, Праздник Голода!
<http://n-europe.eu/content/index.php?p=2146>
5. Фотоконкурс <http://www.mtis.by/photos/>

ABSTRACT

The article reveals the significant role of the term glamour for theoretical analyses of the Minsk city landscape as a specific type of surface or screen. In this instance, glamour is not just a particular lifestyle of the city population, but a special strategy of power used in the capital of Belarus for the governing of social objects and political practices.

Keywords: glamour, city landscape, strategy of power, lifestyle, screen.

«ЧЕЙ ЭТО ГОРОД?» ВИЗУАЛЬНАЯ РИТОРИКА ДЕМОКРАТИИ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ ГОРОЖАН

Во многих исследованиях трансформаций постсоветского городского пространства есть сожаления об утрате публичного пространства в силу возрастающей неоллиберальной приватизации, соединенной с авторитаризмом. Двусмысленным итогом политического развития Восточной Европы и России в последние два десятилетия явился их невольный вклад в повсеместное разочарование в демократии. Многие жители этих стран колеблются между желанием быть гражданами подлинных демократий и влиять на решение важных местных и национальных вопросов и их повседневными аполитическими проблемами. Что получится, если побудить людей к упражнению их демократического воображения в ходе придумывания новых объектов public art для родного города? Посредством исследования конкретного «кейса» автор предполагает, что в работах дизайнеров-любителей проявились различные варианты воображения и идеи о коллективности и демократии. Автор приходит к выводу, что, вопреки настораживающим политическим тенденциям, можно говорить о своеобразном упорстве демократического воображения.

Ключевые слова: демократия, воображаемое, public art, диалектика реализованного и нереализованного, городское планирование, тактики горожан.

Осенью 2003 г. мне довелось участвовать в своеобразном полевом исследовании, предпринятом международной междисциплинарной группой под названием «Пространство транзита». Группа — «Коллег» — базировалась в Баухаусе, но отправилась в автобусное путешествие от Дессау до Москвы и обратно, чтобы осмыслить так называемый транспорт-

ный коридор «Берлин — Москва». Коридор ведет с запада на восток, и вместе с ним перемещаются потоки не только товаров, но и идей, желаний, символов и идентичностей, традиционно уже ассоциируемые с глобализацией. Как глобальные тенденции проявляются в таможенных Бреста, публичном пространстве Минска, микрорайонах Смоленска, интригах вокруг футбола в Москве — нас интересовали эти и подобные вопросы. Задача заключалась в том, чтобы, совместив традиции урбанистической антропологии и визуальные репрезентации, подготовить выставку об этом транспортном коридоре как эмблеме постсоциалистических перемен, совершающихся под влиянием глобализации. Выставка впоследствии была показана на архитектурных биеннале в Тайване и Китае, а также в Польше.

Частью нашей исследовательской программы было посещение официальных лиц и беседы с главными архитекторами, мэрами, высокопоставленными чиновниками, отвечающими за архитектуру и инфраструктуру в городах и вокруг них. В этих встречах участвовало две группы профессионалов, сталкивалось как минимум два мировоззрения. Одно было задано недавно полученным университетским образованием и структурировано знакомством с самыми успешными, громкими архитектурными проектами, дизайнерскими разработками, ключевыми понятиями *cultural studies* и новой урбанистики. Другое вытекало из нескольких десятков лет практического опыта работы, сопряженной с постоянными ограничениями — политическими, финансовыми, административными. Гости и хозяева представляли различные профессиональные миры: мир искусства и архитектуры и мир принятия решений, которые, понятно, время от времени пересекаются. Столкновение на этих встречах молодых людей, дерзких, любопытных, талантливых, и зрелых игроков городской политики показалось мне символическим для интересной мне проблемы — противоречий и коллизий, связанных с искусством открытых пространств.

Украшение и символизация городского пространства на основе создания мемориалов и монументов, так называемой уличной мебели и публичной скульптуры, интригует многих. Не случайно монументам в

частности и public art в целом посвящаются и коллективные монографии, и конференции. Одна из причин этого интереса — парадокс: к уже существующей интенсивной материальности городской жизни в ходе украшения города создаются новые дополнения, часто невыразительные, но устанавливаемые, увы, навечно. Это порождает различные реакции — сознательные и бессознательные, дружественные и враждебные, что для целей public art существенно. Многослоиность смысла его хороших образцов раскрепощает воображение и бросает вызов представлениям горожан — тех, кто, торопясь по своим неотложным делам, как правило, и внимания-то не обращают на новые и старые «гарниры» к архитектурным «бифштекам» (если воспользоваться метафорой знаменитой художницы, давно работающей в этом жанре, Барбары Крюгер).

ДИАЛЕКТИКА РЕАЛИЗОВАННОГО И НЕРЕАЛИЗОВАННОГО

В кабинете главного архитектора Минска мы увидели запыленные модели нереализованных (и слава богу!) монументов и скульптурных объектов, неизбежно выполненных в тяжеловесной стилистике позднего социализма, прославляют они спортивные достижения или комсомольский задор (ил. 1, 2)¹. Эти модели побудили к размышлениям о сложной игре *намерений и действий*, вовлеченных в процессы политических и социальных перемен: *что осуществляется, а что остается нереализованным*. Это противопоставление реализованного/нереализованного я хочу двинуть немного дальше и сказать, что если модерность понимается как незаконченный проект, демократия — как нереализованный (так, в частности, симптоматично называлась одна из последних ежегодных художественных выставок «Документа»), а коммунизм — как потерпевший крах, то кажется, что не так уж много остается того, на чем общество могло основывать свои собственные жизнеутверждающие образы. Причем я говорю не только о стра-

¹ Здесь и далее ссылка на иллюстрации, представленные на CD.

нах бывшего Восточного блока, но и о западных обществах.

Одно из последствий этого конца утопий — нарастающая чувствительность в отношении *культурной* политики и *культурных* измерений возникающего нового мирового порядка. Среди множества этих *культурных* измерений меня особенно интересует визуальная риторика демократии. Здесь интересен контраст между изобилием, очевидностью и избитостью словесной демократической риторики и амбивалентностью визуальных воплощений демократии. Чем более интенсивно идеи и реалии демократии критикуются, тем более трудно их визуализировать. Если визуальную риторику демократии понимать, не без доли тавтологии, как визуальные средства продвижения ценностей демократии, то нетрудно видеть, что сегодня она в упадке. Считается, что проект модерности породил и коммунизм, и социальную демократию. Модерность предполагает возможность общества, прозрачного для самого себя, что находит выражение в зданиях и пространствах, воплощающих идеи ясности и прозрачности, доступности и открытости, восходящие к Просвещению. Но не слишком ли часто от доступных и открытых мест (публичных мест, как их еще называют) веет холодом и невыразительностью? Более того, если что-то *выглядит* открытым и доступным, всегда ли оно таковым *является*? В этом отношении показателен пример так называемых квазипубличных мест, окружающих здания корпораций в больших городах.

В трудах французских философов, разработавших теорию так называемой «радикальной демократии» — Шанталь Муфф, Клода Лефора, Эрнесто Лакло — подчеркивается одна принципиальная сложность, изначально, так сказать, встроенная в проект демократии, а именно: демократия, настаивают они, бесосновна. В отличие, скажем, от монархии она не может предъявить миру впечатляющие основания своей легитимности — божественные истоки власти монарха — помазанника Божиего. Демократия, понимаем мы сегодня с опозданием, есть прежде всего система принятия решений, в которую реально или потенциально вовлечен каждый, входящий в данный политический организм. По одной из кон-

курирующих концепций демократии, это означает, что *каждый* должен сам участвовать в принятии решения, что решение в итоге возникает из широко развернутой дискуссии. По другой — это значит, что каждый должен быть в состоянии выбирать между предложениями или представителями, облеченными его доверием. В любом случае, идея народовластия исключает единоличное принятие решений.

Искусство открытых пространств с демократией тесно связано как минимум по двум причинам. Во-первых, оно и воплощает визуальную риторику демократии наиболее общепринятым способом. Во-вторых, суть демократии образуют дебаты, и процессы, предшествующие возведению новых объектов, демонстрируют в одних случаях эффективность и отлаженность работы демократических механизмов или полное отсутствие таковых — в других. Объекты в Манчестере или Бостоне устанавливаются в результате пусть сложных, но систематических *переговоров* между городскими властями и кураторами, потенциальными спонсорами и представителями городской общественности. Во многих других и, увы, преобладающих на постсоветском пространстве случаях решения о возведении новых объектов искусства в городском пространстве принимаются чисто кулуарно.

Одна из сложностей, сопряженных с идеей демократии, состоит в том, что, наделяя одинаковой ценностью мнение каждого, она предполагает мнение невежды столь же значимым, сколь и мнение знающего человека. Кажется, что именно этим соображением и обусловлен характер принятия решений городскими властями, когда дело доходит до того, кому бы еще установить памятник (я вернусь к этому позднее). Однако знающих людей (или позиционирующих себя как знающие) тоже часто не привлекают к принятиям решений.

Усиливающееся понимание сложной природы модерности помогло избавиться от ее упрощенной картины как синонимичной с «прогрессом», «публичной сферой», «активизмом» и «оптимизмом». А торжество постмодерности принесло с собой не только повсеместное усвоение логики рынка, но и приравнивание рынка и демократии. Но, когда чи-

таешь, что знаменитый архитектор Рэм Кулхас недавно провозгласил, что «шопинг — это последняя оставшаяся форма общественной деятельности»², что-то мешает с этим с восторгом согласиться. Образ мужчин и женщин, интеллигентно беседующих в общественном месте, неподалеку от интересного художественного объекта, мне очень дорог: в каком-то смысле он и воплощает идеи Юргена Хабермаса и Ханны Арендт о публичной сфере и публичном пространстве. Публика — регулятивный идеал демократической формы правления, норма и принцип, во имя которого возможна критика демократических институтов, центральная категория либерально-демократической теории. Другое дело, что пространство и время, в которых процессы обсуждения и убеждения друг друга равными людьми (а в этом и состоит существо публичной сферы по Хабермасу) в принципе возможны, сегодня неумолимо съезживаются. Среди причин такого съезживания философы называют, во-первых, колонизацию публичного пространства технико-административной логикой³, во-вторых, исчезновение общего социального основания (того, что Кант в «Третьей критике» называет *«здравый смысл»*), с помощью которого можно судить о происходящем⁴; в-третьих, невозможность достижения консенсуса в эпоху, когда все метанарративы, будь это марксистский или либеральный, утратили свою легитимность⁵; и в-четвертых, общий конформизм постмодерной культуры.

МНЕНИЯ ГОРОДСКОЙ ПУБЛИКИ И РЕШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Сегодня грустно думать, что революционная энергия населения больших городов России и Вос-

² Chung, C.J. Harvard Design School Guide to Shopping / C.J. Chung [et al.]. Cologne, 2001, quote on inside of front cover.

³ Benhabib, S. Critique, Norm, Utopia / S. Benhabib. NY, 1986. Chapter. 7.

⁴ Lyotard, J.-F. Just Gaming / J.-F. Lyotard; trans. Wlad Godzich. Minneapolis, 1985. P. 14.

⁵ Lyotard, J.-F. The Postmodern Condition / J.-F. Lyotard // A Report on Knowledge. 1984.

точной Европы постепенно рассеялась в никуда. Прагматичные горожане политически *разочарованы*: преследуя свои индивидуальные интересы, они вспоминают собственные романтические ожидания и надежды конца 1980 – начала 1990-х гг. не без иронии. Городские площади, многолюдные во времена митингов перестройки, сегодня пустынные, зато универмаги многолюдны. Потенциал свободы городов, претерпевающих сложно сочетающиеся рыночные и административные реформы, – вот что интересно для анализа. По словам Ги Дебора, «если история города есть история свободы, то это также и история тирании – история государственных администраций. Город исторически служил полем битвы за свободу, пока безуспешной. Город – фокус истории, потому что он воплощает и концентрацию социальной власти – что делает возможным исторические начинания – и память о прошлом»⁶.

Эти рассуждения мне кажутся очень важными вообще и, в частности, для моего подхода к public art. Он отличается от того, что делают историки искусства, тем, что я исхожу не из тех смыслов, которые можно прочесть в том или ином художественном объекте, но сталкиваю или сопоставляю там, где это возможно, с одной стороны, программы и взгляды планировщиков и, с другой стороны, ожидания зрителей-горожан. Другими словами, мне интересно сопоставление взглядов и решений всех тех, кто профессионально вовлечен в процессы городского развития («имаджинеры», их иногда сегодня называют) и взглядов «снизу» на структуру города и то, чем город украшен. Поэтому отчасти этот проект относится к такой дисциплине, как исследование аудитории и теория рецепции⁷.

⁶ Debord, G. *The Society of the Spectacle* / G. Debord. Paris, 1967. Chapter 7.

⁷ Abercrombie, N. *Audiences* / N. Abercrombie, B. Longhurst. London, 1998; Bird, S.E. *The Audience in Everyday Life. Living in Media World* / S.E. Bird. NY, 2003. О городских публиках см. мою статью: “Between Refeudalization and New Cultural Politics: the 300th Anniversary of St.Petersburg” // Martina Loew et al. (eds.) *Negotiating Urban Conflicts*. Verlag, 2006. P. 155–167.

Сбор мнений людей о городе, о монументах и памятных местах наталкивается на ряд сложностей. Во-первых, даже хорошо формулирующему свои мысли человеку не так-то легко произнести развернутое суждение в отношении вещей, которые требуют некоторого знакомства с художественными условностями, с социальным и политическим контекстом, в котором работы фигурируют. Показательно, что комментаторы культурной жизни, к примеру в Англии, с удивлением констатируют, что круг почитателей сложного искусства и посетителей галерей увеличивается. И сегодня уверенные суждения, положим, о Люсиане Фрейде можно услышать из уст людей, которых пять лет назад в галереях было увидеть маловероятно. У нас происходит обратное: на фоне нарастающего упрощения культуры, всячески усугубляемого правительством, стимулов для рефлексии своего городского окружения люди получают очень мало и высказываться смущаются. Необходимо также отметить последствия жизни в перенасыщенном масс-медиа мире, одно из которых состоит в том, что социальное взаимодействие в целом по нарастающей делается все более и более фрагментированным. По этой причине, кроме проведения обычной полевой работы в Минске, Питере и Берлине, я использовала и другую, назовем это громко, стратегию.

СТУДЕНТЫ — АВТОРЫ ВООБРАЖАЕМЫХ ПРОЕКТОВ PUBLIC ART

В качестве итоговой работы по моему курсу «Искусство городских пространств» в Европейском гуманитарном университете в Минске студенты писали (и рисовали) о воображаемых проектах public art для родного города. Работа их воображения заставила меня переосмыслить мое собственное понимание феномена постсоветских городов, в частности, того, каким образом эти города становятся воплощением «официального» воображения, согласно которому города не только должны быть симметрично упорядочены, но и призваны символизировать ключевые ценности и притязания властей. Работа сту-

дентов в этом курсе начиналась с активного насыщения их материалом, ознакомления их со «случаями» успешных и проблематичных объектов public art в Штатах и Австралии, Венгрии и Москве. Главное, что отличает их работы, — то, что их переживания и оценки *существующих* мест и объектов тесно переплетены с представлениями о том, какими места и объекты *должны* быть. Их социальное положение и опыт в качестве горожан отражаются в суждениях о зданиях и монументах, но в них проявляется и их способность «представлять то, чего нет, видеть что-то, чего нет», если следовать определению воображаемого, данному Корнелиусом Касториадисом⁸. Обратившись к тому, что этим людям кажется *возможным* там, где они обитают, мы можем получить доступ к связи между коллективными утопиями и индивидуальными фантазиями, между индивидуальным воображением и идеями, лежащими в основе социального воображения нашей эры.

АМБИВАЛЕНТНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ВОЕННОМУ ПРОШЛОМУ

Обращусь теперь к нескольким студенческим эссе. Для меня остается открытым вопрос о том, власти ли Минска преуспели в развитии в людях одержимости историей или дело в том, что прошлое республики настолько травматично, что до сих пор обуславливает преобладающую призму, сквозь которую люди смотрят на происходящее.

В городе увековечены партизанское движение и Великая Отечественная война в целом. Пяти тысячам заключенных в минском гетто, убитых 2 марта 1942 г., посвящена «Яма», — достойный мемориал, особенно скульптурная группа, созданная Эльзой Поллак (той, что спроектировала Яд Вашем в Иерусалиме) (ил. 3).

Именно сложностям увековечивания прошлого было посвящено немало написанных студентами работ. Вот один из самых выразительных проектов:

⁸ Castoriadis, C. Logic, Imagination, Reflection / C. Castoriadis. Anthony Elliott and Stephen Frosh, eds. // Psychoanalysis in Contexts: Path Between Theory and Modern Culture. London, 1995. P. 16–35.

«В качестве своего проекта я бы представила мемориал, посвященный Великой Отечественной войне. Я его себе представляю в виде декоративной мельницы (в натуральную величину). Крылья мельницы в форме свастики. Сама мельница белая, легкая. Воздушная, даже слишком белая, свастика — черная. Часовой механизм должен работать со скрипом, который бы перебивался и иногда заглушался человеческими стонами. Под мельницей на черно-зеленой травке лежали бы ошлифованные камни, разукрашенные под черепа. Можно было бы пустить рядом небольшой черный ручеек. Также рядом поставить мегафон, из которого доносилась бы песня “Лили Марлен” на общем фоне (лающей) немецкой речи».

Сколько иронии заключается в том, что девушка живет в стране, где слово «немец» до сих пор имеет pejоративный смысл, и в то же время она принадлежит к очень пестрому молодому поколению, часть представителей которого — верующие (о чем я еще скажу), тогда как другие воспитаны, за неимением лучшего слова, в постмодернистском духе. Это не значит, что их жизнь проходит под девизом «Anything goes!» nowadays. Скорее, для поколения, к которому девушка принадлежит, очень проблематична надежда на искупление. Мы не должны забывать, что для постмодерной культуры также характерна визуальная увлеченность трансгрессивным и возвышенным, увлеченность, которая неизбежно вступает в конфликт с нормативными, этическими пределами художественных поисков и воображения. Многочисленные образы разрушения мира, хаотичного, грязного, апокалиптического мира боли и смерти, образы человеческой конечности, упадка и обнищания, образы, выполненные так, что в них нет и намека на искупление, — есть ощущение, что мы достигли здесь какого-то предела. Замысел автора проекта также связан с растущим безразличием общественности к катастрофам и трагическим событиям, происшедшим в XX в. Автор рассчитывает на эстетику шока, но также и осознает иронию истории: спроси почти любого в сегодняшней Беларуси, согласился ли бы он перебраться в Германию, и ответ будет положительным.

ТАКТИКИ ГОРОЖАН

Способы освоения пространства, которые мы наблюдаем в Минске, это, конечно же, *тактики*, описанные Мишелем де Серто. Жители используют доступное пространство иногда наивно, иногда – с фигой в кармане. Интенции и действия властей нацелены на упорядочивание пространства, на управление жителями, побуждая их реагировать на архитектуру предсказуемым образом. А люди, в своих жестах и отношениях, в своих маршрутах и обходных путях, стремятся управления ими избежать. Тактики, согласно одному из комментаторов де Серто, – это «ставка на время, адаптивный процесс, основанный не на уравнивании власти (доминирование против сопротивления, локальные культуры против доминирующих глобальных и т.д.), но на отсутствии власти. Тактики – оружие слабых»⁹. Но случай Минска показывает, что даже простые повседневные права могут быть у людей отобраны: не сиди на постаментах монументов, не лежи на траве в парке и т.д. Я хотела бы дать один пример таких тактик, состоящих в очень амбивалентном использовании конкретного места.

Мы все знаем, что возложение цветов к памятникам и фотографирование на их фоне – значимая часть ритуала свадьбы (ил. 4). Если в советские времена цветы возлагались Неизвестному солдату и Ленину, то теперь чем новее монумент – тем лучше. К примеру, у нас в Екатеринбурге цветы возлагаются отцам-основателям города и участникам локальных войн. Иногда группа возбужденных людей на месте оплакивания вызывает у постороннего наблюдателя сложные чувства. В Минске есть мемориал, который называется Остров слез, посвященный солдатам, погибшим в Афганистане. Он выполнен с использованием христианских мотивов (часовня) (ил. 5), установлены также гранитные камни, символизирующие отдельные места боев. Одна из образующих мемориал фигур называется «Ангел скорби» – крылатая

⁹ Craig, M. Relics, Places and Unwritten Geographies in the Work of Michel de Certeau (1925–86) / M. Craig; Mike Crang and Nigel Thrift, eds. // Thinking Space. L., 2000. P. 150.

фигура выше человеческого роста с опущенной головой (ил.6). Среди молодых людей Минска широко распространено поверье, что если невеста коснется причинного места ангела (хотя понятно, что это оксюморон), то в семье родится мальчик. Вот объяснение, которое дает этому обычаю одна из студенток (профессионально вовлеченная в свадебный бизнес и поэтому рассуждающая со знанием дела):

«Перегруженное официозными памятниками пространство советского города оставляло молодоженам небольшой выбор памятных мест, которые они хотели бы увековечить на свадебных фотографиях... Однако, по мере ослабления памяти о войне, посещение подобных памятников превращается лишь в традицию, не нагруженную для нынешнего поколения никакими смыслами. Все это происходит от того, что современное пространство Минска не наполнено действительно интересными произведениями public art, которые молодожены хотели бы зафиксировать рядом с собой. Таким образом, мы получаем ритуалы и памятники, или несущие в себе дополнительное значение, или абсолютно его поменявшие».

ТРАВМЫ МОНУМЕНТАЛЬНОСТИ

Много уже написано об «упадке публичного пространства» и в западных, и в не-западных городах. Уничтожение улиц, уличных рынков как часть процесса обновления, появление закрытых пространств и районов обычно объясняются приватизацией городского пространства и его инфраструктуры — иногда приватизацией даже городского правительства. Но случай Минска побуждает нас задаться вопросом, который урбанист Рэй Пал сформулировал очень просто «Чей город?»¹⁰. Он представляет собой крайний случай приватизации городской политики, но также и государства одним человеком, чье имя немедленно всплывает, как только ты начинаешь с местными обсуждать городскую жизнь: президент Лукашенко.

В Минске много общественных мест, но их использование строго регулируется властями. Если кому-то придет в голову посидеть на ступенях Дворца респу-

¹⁰ Pahl, R. *Whose City?* / R. Pahl. Harmondsworth, 1975.

блики или у подножия какого-то монумента, к нему обязательно подойдет милиционер. Граффити запрещено. Даже стены заброшенных домов должны оставаться чистыми. Весь город, кажется, задуман так, что на него следует смотреть из окна машины, в безопасном удалении от деталей повседневной жизни, от переживаний и нужд людей (ил.7). Это побуждает вспомнить хайдеггеровское «мир как картина», абстрактный объективированный мир, произведенный субъектом модерности. Модель визуальной репрезентации «со зрителем на вершине конуса видения»¹¹ находит устрашающее выражение в крайностях *монументальной* традиции городского планирования, которая, начавшись с Османа в середине XIX в., «возникла вновь в XX в. в некоторых странных и плохо подходящих местах», среди которых историк городского планирования Питер Холл называет гитлеровскую Германию и сталинскую Россию. Он характеризует монументальную традицию как «символическую, выражающую пышность, власть и престиж, глухую — даже враждебную — по отношению ко всем широким социальным целям»¹².

Область притяжения решений в сегодняшнем урбанизме проблематична именно потому, что социально-демократические идеи перераспределения должны были уступить дорогу частным капиталовложениям. Тем не менее возникает ощущение, что в Минске взгляд самого Лукашенко воплощен в городском планировании, в огромных, пустынных площадях, созданных, кажется, исключительно в целях демонстрации военной мощи, и в новых помпезных проектах, которые только начинают воплощаться. Этот взгляд находит свое выражение в недостатке перекрестков, что вынуждает пешехода долго идти, чтобы пересечь улицу. Столица Беларуси, вопреки всей заботе о народе, о чем Лукашенко неустанно повторяет, несет следы драм, случившихся на минских улицах. Монументальное городское пространство может оказаться просто опасным для повседневных удоволь-

¹¹ Burgin, V. In/Different Spaces: Place and Memory in Visual Culture / V. Burgin. Berkeley, 1996. P. 39.

¹² Hall, P. Cities of Tomorrow. An Intellectual History of Urban Planning and Design in the Twentieth Century / P. Hall. Oxford, 1988. P. 9.

ствий публики. Я имею в виду комбинацию бетонных просторов и преследования выгоды, когда по нарастающей коммерциализирующийся отдых горожан происходит в огромном, дегуманизованном столичном пространстве. Пространство, отмеченное недостатком уличных переходов, остановочных комплексов, маленьких магазинов (всех тех мест, куда ты обычно бежишь, чтобы укрыться от дождя), соединяется с агрессивными усилиями торговцев и рекламных агентств, нацеленными прежде всего на молодежь как наиболее важную категорию потребителей. Тенденции позднего капитализма (к примеру, продвижение потребления пива как ключевого компонента желательного жизненного стиля) овеществляются посреди советской помпезной и бездушной застройки.

30 мая 1999 года. Это был один из «гибридных» праздников, характерных для новых времен. С одной стороны, это была Троица, которую белорусы активно празднуют. С другой стороны, одна из торгующих пивом компаний, «Оливария», провозгласила День пива. Семь огромных бочек, по девятьсот литров каждая, были выложены на улице Машерова, что в центре Минска. Табачная компания «Магна» объявила, что каждому, собравшему десять пустых сигаретных пачек, в подарок — стакан пива. Радиостанция «Мир» на местном стадионе организовала концерт. Словом, собрались толпы и толпы молодых людей. Тепло. Много пива. Весенний вечер. Внезапная, очень сильная гроза, сопровождающаяся градом. Все эти сотни молодых людей и девушек, хохоча и визжа, ринулись в единственное доступное убежище — длинный подземный переход, ведущий к станции метро «Немига». В считанные минуты те, кто вбежали туда первыми, в основном девушки на каблуках, были подмяты под себя все напирающей толпой, не подозревающей, как стремительно радость и возбуждение превращаются в трагедию. В этот день погибло 53 человека.

Внезапная нелепая смерть стольких молодых людей была, конечно, шоком. Сразу на месте трагедии возник импровизированный мемориал — цветы и свечи. Фотографии погибших и слова соболезнования. Кто-то оставил надписи прямо на стенах пере-

хода: «Настя! Сегодня мы сдали наш первый экзамен. Без тебя»; «Сергея! Командир дал нами увольнительную, а ты умер. Мы похороним тебя во Христе, где все идет по плану!», «Моя Беларусь скорбит. Молодые покидают этот мир». Некоторые пытались осмыслить то, что произошло. Эта станция метро называется «Немига» по названию реки, которая некогда в этом месте текла, пока ее не заключили в бетонный тоннель, когда началось строительство метро. Народные объяснения трагедии связывали ее с упрямым, мистическим характером реки. Люди повторяли, что само место — проклятое, что так за себя отомстила поработанная река и что это лишь одно из множества несчастий, которые на этом месте происходят.

Решение вопроса о том, кому проектировать и возводить памятник погибшим, было принято кулуарно. За сорок дней был возведен мемориал, в котором, безусловно, видно намерение скульптора сделать его максимально символичным. Элементы замысла количественно соответствовали событию. Сорок роз символизировали молодых женщин, тринадцать тюльпанов — молодых людей, сломанные стебли — их преждевременную смерть. В художественном беспорядке они разбросаны по отполированным ступеням из красного гранита, ведущим в метро.

Тот факт, что мимо мемориала (который, возможно, оправданно, был установлен на месте трагедии) течет нескончаемый людской поток, рождает нелегкие чувства (ряд студентов отмечали в своих работах, что души умерших, как они думают, постоянно потревожены) (ил.8, 9). Здесь возникает вопрос о непростых отношениях между общественной травмой и частным оплакиванием. Когда власти, допустим даже, из лучших побуждений, устанавливают эстетически не бесспорную скульптурную группу, рядом с которой теперь должны происходить общественные церемонии, родственники и друзья вынуждены выражать свои чувства рядом с объектом, с которым они не в состоянии установить эмоциональную связь. Это тормозит работу памяти и эмоции блокирует. В результате родственники погибших намерены искать на западе источники помощи, чтобы

на этом месте построить часовню, которая им кажется более подходящим способом увековечивания. Но пойдя их *дети* в тот день в церковь, а не на рок-концерт, скорее всего, они остались бы в живых, поскольку были бы вдалеке от роковой толпы.

Разрушение традиционной системы культурных кодов, размывание различий, непростая смесь языческих, христианских, националистических и социалистических верований делает постсоветские субъективности достаточно пестрым образованием. Места, подобные Немиге в Минске, насыщенные негативными воспоминаниями, привлекают внимание людей (один из студентов даже пишет, что Немига из-за этого стала главной достопримечательностью Минска). Но большинство в своих рефлексиях озабочены тем, что представления друзей и родителей о том, как должна быть увековечена память близких, властями игнорируются. К примеру, одна из студенток предлагает создать мемориал в виде ступенек.

«Необходимо полностью реконструировать подземный переход: новый дизайн должен кардинально изменить образ перехода. Следует убрать мемориальную доску, а вместо этого недалеко от станции соорудить памятник жертвам трагедии. Мне он представляется в виде ступенек. 53 ступеньки – 53 жертвы. На каждой ступеньке – имена погибших, цветы и свеча, с которой капает воск (и как символ скорби, и как капли дождя, из-за которых случилась эта беда). Сбоку должна быть табличка с кратким изложением того, каким образом погибли эти люди. Ведь со временем людская память забывает о событиях и просто рефлексивно люди подходят к памятнику, кладут цветы. Завершенность памятнику могут придать посаженные вокруг деревья. Пусть их будет немного, но они будут символом жизни».

ПАРКИ КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ МЕСТО

«Они будут символом жизни», – я заимствую эту фразу студентки, чтобы перейти теперь к менее болезненным проблемам. Деревья и кусты, скамейки и другая мебель для парков, газоны и садовая скульптура – многие студенты кажутся просто одержимыми парками. Вот один из проектов:

«Учитывая общую обстановку в нашем городе, мне бы хотелось сделать ее, по возможности, более яркой и радостной. Хотя бы парки... Может быть, многие заметят в данном проекте лишь момент удобства и пользы, но, на мой взгляд, он требует определенного творческого вмешательства. Я вижу его следующим образом: нужно заменить однотипные и надоевшие всем лавочки на сооружения, которые будут выполнять те же функции, но выглядеть они будут иначе, то есть сделать их в виде всевозможных овощей, фруктов, ягод. Они должны повторять точные формы фруктов и т.д., но быть как бы “накусанными”, я имею в виду, что какая-то часть должна отсутствовать – там и будут находиться места для сидения. Новые “лавочки-фрукты” должны быть обязательно мягкими и удобными. Их внешний вид (яркий, красочный и т.д.) должен радовать взгляд отдыхающих, а не вызывать скуку и удрученность, как обычные скамейки нашего города. Также прекрасным дополнением будут столики и фонтаны в таком же виде. Получается, что зеленый парк с зелеными газонами и деревьями будет наполнен желтыми бананами, оранжевыми апельсинами, красной клубникой, спелым арбузом, вишней, яблоком и т.д. В таком парке с удовольствием будут гулять дети с родителями, и молодежи будет приятно провести время».

Прочитав в первый раз этот (и многие другие проекты), я подумала, что, придуманные совсем молодыми людьми, они могли бы быть чуть более амбициозными, претендующими на большее как с интеллектуальной, так и «воображенной» точки зрения. Когда читаешь о дельфине, символизирующем покой и мир, стоящем в центре фонтана (в свою очередь, стоящем в центре парка), или об уж совсем языческой идее установить на центральной площади города «дерево желаний» (на которое люди бы прикрепляли свои пожелания по части городского благоустройства, а городские власти, периодически дерево посещая, брали бы эти пожелания на вооружение), невольно начинаешь думать о закрепощающем, ограничивающем воздействии, которое этот серый, тяжелый, бетонный, монументальный город оказывает на людское воображение. Скамейки в форме бананов? Как-то это мелко...

Однако если вспомнить скульптурные проекты, успешно реализованные, то эти наивные и невзыскательные идеи начинают выглядеть по-другому.

Осенью 2003 г. на Потсдамер-платц в Берлине были установлены огромные, подсвеченные изнутри пластиковые розы художника Сергея Александра Дотта (ил.10, 11). Их биоморфность, правдоподобие, мягкий свет, льющийся изнутри по вечерам, удачно смягчали постмодернистскую формальность площади. Другой пример: в скульптурном парке Миннеаполиса на огромном зеленом газоне установлена огромная конструкция Класа Ольденбурга и Гузи Ван Бругген «Ложка и вишня», изображающая, понятно, вишню, покоящуюся в гигантской, поставленной так сказать на попа, ложке (ил. 12).

Девушка, предложившая пир фруктовых красок, похоже, права. Такие комбинации биоморфности, цвета и зелени довольно удачно работают. Если у Ольденбурга в его структуре какая-то функциональность совершенно отсутствует, и огромная вишня на огромной ложке разве что побуждают по-другому думать о повседневных вещах, то в предложенном молодым дизайнером-любителем проекте именно комбинация цвета, формы и функции работает и как признание красоты повседневных вещей, и как приращение праздника в повседневность.

Конечно, параллели, которые я провожу между студенческими проектами и существующими объектами, могут показаться кому-то чересчур отдаленными. Но эта увлеченность ряда студентов визуально приятными проектами показывает, что их поиск, так сказать, позитивной городской эстетики совпадает с растущим интересом архитекторов и застройщиков на Западе к обогащению жизни простых людей на основе возврата изготавливаемых объектов к правдоподобию, повествовательности и чувственности — принципам, которые отвечают нужде людей в психологическом и физическом комфорте в большей степени, нежели отсылающие лишь сами к себе аскетические минималистские объекты и пустынные пространства.

Если продумать еще более серьезно, что же лежит в основе этих лишь по видимости наивных предложений, мы можем в них увидеть «проявления других способов мышления», которые определяются как «пробелы в синтаксисе, создаваемом законом места», если воспользоваться метафорой Мишеля де

Серто¹³. Я имею в виду, что проекты могут быть прочитаны и иначе. Их можно связать с *нефореализовавшимися (или не полностью реализованными)* идеями городского планирования, которые возникли в те времена, когда социализм был чистой теорией. Тезис, который я хочу провести, — в том, что, хотя почти повсеместно в XX в. возобладала *авторитарная* линия планирования (обитатели города активного участия в принятии решений не принимали почти никогда), все же намечалась и противоположная линия — в воображении, в проектах и манифестах архитекторов и планировщиков.

Эту, «прогрессивную», как ее, может быть, слишком прямолинейно называет Питер Холл, линию мышления можно найти в анархизме, повлиявшем на идеи о городе-саде Эбенезера Ховарда, в идеях жилища Фрэнка Ллойда Райта и в так называемом *community design* движении, имевшем место в Штатах и в Англии в 1970-е и 1980-е гг.

Особенно сильно то, о чем пишут минские студенты, напоминает об идеях Раймонда Анвина и Барри Паркера (Raymond Unwin and Barry Parker), основателях английского движения городов-садов. В 1902 г. Анвин писал¹⁴:

«Никто, кажется, не понимает, что сотни тысяч женщин проводят основную часть жизни, не имея перед своим взором ничего лучше, нежели жуткое зрелище этих задних дворов, убогое уродство которых не смягчено проблеском свежей зелени весной или падающим листом осенью».

Определенно, это тот факт, что большинство студентов живет в бездушных спальнях районах, побуждает их мечтать о мире и покое парков. По одной оценке, из 32 миллионов квадратных метров жилья, образующих жилищный фонд Минска, 20 миллионов — бетонные панельные дома. Понятно, что этот тип застройки устарел и что в результате централизованного городского планирования большинство микрорайонов выглядят монотонными и моно-

¹³ Certeau, M. De. *The Writing of History* / M. de Certeau. New York, 1988. P. 94.

¹⁴ Unwin, R. *Cottage Homes and Common Sense (Fabian Tract No.109)* / R. Unwin. London, 1902. Цит. по: Hall, P., *Cities of Tomorrow*. P. 98.

литными. Но непростая комбинация существующей строительной индустрии и огромная нужда в квартирах побуждает городские власти думать не столько о качестве, сколько о количестве квартир и микрорайонов. Серые многоэтажки и безликие микрорайоны, которые сегодня с энтузиазмом критикуются как наиболее очевидное зеркало советского режима, часто действительно выглядят депрессивно. Но в этих распространенных наблюдениях недостает социального анализа, выполненного на основе реалистической социальной теории и демократической политической теории. Я имею в виду, что для большой доли обитателей постсоветского городского пространства возможность переехать из хрущевок хотя бы в такие многоэтажные башни остается мечтой всей жизни.

В критике советской массовой застройки часто упускается из виду, что еще в 1903 г. (год спустя после того, как Анвин опубликовал манифест, посвященный городу-саду) критик архитектуры Карл Шеффер заявил, что именно униформность, одинаковость отвечает нуждам демократического общества. Раз демократия продвигает универсальные потребности, им должны соответствовать универсальные планы квартир. Он писал: «От потребности общества в одинаковых (униформных) планах квартир проистекает художественное требование свести все здания к одному типу — и арендная плата здесь ключевой момент — к единой форме»¹⁵. «Арендная плата здесь ключевой момент» — этот тезис не надо забывать, когда мы имеем дело с подавляющим большинством наших граждан, которые жилищной собственностью «как бы» владеют — и продолжают платить квартплату.

С начала XX в. две эти линии мысли, прогрессивная и авторитарная, начали свое сосуществование, и на огромной территории, занятой сегодня постсоветскими городами, свое воплощение нашла только одна из них. Однако «прогрессивисты» разработали тип мышления, который не должен быть за-

¹⁵ Scheffer, Karl. *Away to Style* / K. Scheffer. *Berliner Architekturwet.* 5. 1903. P. 295, as quoted in: Vittorio Magnano Lampugnani. *Berlin Modernism and the Architecture of the Metropolis* // T. Riley, B. Bergdoll (eds.). *Mies in Berlin.* The Museum of Modern Art. NY, 2001. P. 38.

быт и в наши прагматичные времена. Холл подчеркивает, что идентификация сторонников прогрессивного планирования с теми, для кого они проектировали свои пространства и здания, была столь сильной, что они продумывали мельчайшие нюансы этой воображаемой жизни. Так, Анвин был убежден¹⁶:

«В открытых пространствах не должны быть забыты также и дети. Всегда должны быть предусмотрены скамейка или низкое сиденье, годящиеся для их коротких ног, на покрытых травой участках должны быть установлены качели, для игрушечных кораблей – пруды, песочницы же должны поддерживаться в достаточной чистоте».

Посмотрим теперь на один из студенческих проектов, поразивших меня своим сходством с идеями, родившимися в иное время и в иных обстоятельствах.

«На днях, гуляя вдоль проспекта Ф. Скорины, я обратила внимание на детский парк им. М. Горького. Сейчас, пока еще не успели зазеленеть деревья, если смотреть, находясь через дорогу на противоположной стороне, очень хорошо просматривается одинокая скульптура Горького и бросается в глаза полное отсутствие каких бы то ни было объектов в парке. Ничего не говорит о том, что это детский парк, кроме малочисленных аттракционов в его глубине. Поэтому объекты public art, мне кажется, не просто “развеселят” парк, но и в некоторой мере создадут его. В качестве таковых могут выступить скульптурные объекты (если принять во внимание, как любима статуя Максима Горького – дети постоянно лезут на скамейку – посидеть рядом с ним). Можно было бы установить, например, скамейки с сидящими на них сказочными и мультяшными персонажами или те же скамейки сделать в форме подходящих персонажей (например, рыбок или удава). Основным принципом при выборе персонажей, организующим пространство парка, мне кажется, должен стать принцип демократизма, под которым я имею в виду привлечение самых разных персонажей, а не только героев русских сказок и мультфильмов. А для этого кажется целесообразным провести исследование по поводу предпочтений современной детской и подростковой публики, в большинстве своем ориентированных на потребление телевизионной продук-

¹⁶ Unwin, R. *Town Planning in Practice: An Introduction to the Art of Designing Cities and Suburbs* / R. Unwin. London, 1920, as quoted in: Hall, P. *Cities of Tomorrow*. P. 101.

ции, демонстрирующей «западных» персонажей. Можно было бы также обратить внимание на кусты и некоторые деревья, подстричь их необычным образом... Или попробовать совместить скульптуры и живую растительность так, чтобы они представляли некую целостность — например, какой-нибудь подглядывающий персонаж. Еще одна идея связана с перформансами, которые, мне кажется, вызовут огромный интерес у детской публики, в отличие от традиционных представлений, которые не допускают или ограничивают участие публики. В качестве заказчика могли бы выступать как общественные фонды, так и правительственные организации».

Озабоченность студентки тем, что, собственно, в детском парке должно иметь место и происходить, характерным образом связана с демократическим принципом. «Мессидж», который в этом проекте можно услышать, достаточно прост: «Ради бога, спросите самих людей, детей и тинэйджеров, нужна ли им скульптура Горького в их парке. Возможно, если вы их спросите об этом и других вещах достаточно *рано*, они вырастут в большей степени сориентированными на город и общее благо людьми и голосовать будут более ответственно».

Особенно радует то, что в ряде проектов студенты думают о том, как местную общественность вовлечь и побудить людей размышлять над тем, что происходит, установив такие объекты, которые бы удивляли и побуждали бы к какому-то с ним взаимодействию. Приведу еще две характерные выдержки:

«Парки, мне кажется, являются теми зонами, где должен происходить уход от сферы формальности, официоза, здесь должна находить свое полное воплощение идея «пространства для нас, создаваемого нами», где всегда есть место полету фантазии, непредсказуемым эффектам, некой незавершенности. Традиционно парки города Минска представляют собой четко ограниченные пространства, с сетью правильно пересекающихся дорожек, с ровно подстриженными газонами, цементными (кое-где деревянными) лавочками. Во всем этом снова легко прочитывается милостивый жест государства: это место отведено под парк, мы окультурили его для вас. Мой проект не столько концептуален, это не некое конструктивное решение в духе «парк будущего». Все, что я пока предлагаю, это проекты в области флористики и, возможно, кое-какие решения относительно парковой скульптуры.

Принципиальным в моих задумках является коллективное участие публики во всех этих проектах. Организовывается конкурс среди профессиональных флористов/художников или любителей, которые воплощают в жизнь свои проекты стрижки деревьев в форме каких-то необычных фигур, устройства стилизованных газонов, клумб. Впоследствии по решению специально избранного жюри либо зрительского голосования часть этих проектов остается «жить» в парке».

И еще одна:

«Парк должен быть не очень большим и располагаться недалеко от центра города. Причем идеальным местом его расположения было бы то пространство, через которое каждый день, а не только по выходным, проходило большое количество людей, идя на работу, учебу, в магазин, библиотеку. Специфика данного парка будет заключаться в том, что при его создании и возведении в нем каких-либо зданий, скамеечек, качелей для детей и т.д. это все будет выполнено в максимально светлых тонах. В таком же плане будут выложены дорожки парка. Приходящим в парк людям будут по их желанию выдаваться (бесплатно) мелки, краски, баллончики, чтобы они сами на свой вкус разрисовывали абсолютно все, имеющееся в парке. Таким образом, парк станет не только носителем художественного творчества разных направлений: от детских рисунков до граффити, но также хранителем определенного пласта культурного развития горожан. Я отдаю себе отчет в том, что парк будет украшен не только произведениями искусства, но и словами ненормативной лексики. Но мне кажется, что и это будет являться определенным показателем как уровня культурного развития, так и уровня саморазвития людей. Таким образом, данный парк будет являться отражением интересов людей, проживающих в городе. Пусть даже в такой символической форме, но они сами сделают его таким, каким захотят видеть».

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ

Как показывает случай Минска, сверхполитизация городского пространства объединена с растущим желанием его жителей деполитизировать его, видеть среди установленных монументов и разбитых мест отдыха *«что-то, что имело бы более легкий смысл»*, как выразился один из студентов. Мои

дизайнеры-любители оказываются зрителями, которые одновременно нацелены в двух направлениях. С одной стороны, они готовы участвовать в городской политике, они видят потенциал public art в мобилизации политических пристрастий и заботы людей, так сказать, об общем благе. С другой стороны, они считают, что такое искусство может сообщить им достоинство без того, чтобы пытаться их политически мобилизовать. Иными словами, они видят себя как достойные получать удовольствие от созерцаемых работ.

В то же время проекты студентов побуждают задаться целой совокупностью достаточно общих вопросов. Не будем забывать, что вся городская застройка, включая и объекты public art, создана с участием выпускников институтов архитектуры, факультетов городского планирования и анализируется и интерпретируется выпускниками факультетов истории искусства, социологии, философии, культурологии. Как бунтарские поползновения и критические настроения чьей-то молодости превращаются впоследствии в послушное участие в политизированных процессах городского развития? С моей точки зрения, университетские преподаватели (и я себя из их числа не исключаю) недостаточно принимают во внимание последствия нарастающих конформизма и фрагментации политических интересов. Они до сих пор, кажется, убеждены, что учат либо будущих политических активистов, либо теоретиков, тогда как в действительности наши студенты все активнее стремятся к тому, чтобы быть просто успешными людьми. Есть ли вообще сегодня место и время, находясь в которых имеет смысл критиковать и анализировать властные процессы в городском пространстве и художественно их репрезентировать? Может быть, более мудрым решением молодого художника будет забыть об «интервенционистских» стратегиях и предпочесть более позитивные и умиротворяющие? Те, кто только что закончили вузы, — насколько для них значима борьба со старыми и новыми способами «угнетения», если налицо их готовность пополнить ряды «экспертов» и войти в те или иные бюрократические структуры? Имеет ли смысл думать о нашем собственном (тех, кто профессионально оста-

ется в высшем образовании и в академических институтах) участии в производстве и воспроизводстве отношений культурного и социального неравенства? Ведь идея академических свобод сегодня вспоминается с иронией, а логика «эффективности» захватила и нас. Как поощрять экспериментирование, как остаться чувствительными к новым импульсам и уменьшить конформизм студентов и их готовность на рабочем месте предвосхищать вкусы «статусных», как их сегодня называют?

Это вопросы, которые не дают покоя, но я тем не менее надеюсь, что скоро в постсоветском пространстве возникнут впечатляющие визуализации (и в общем смысле дискуссий, и в конкретном смысле монументов и произведений искусства) того, что можно назвать упорством демократического воображения.

ABSTRACT

Many studies of the transformations of the post-Soviet urban space tend to lament the loss of public space due to increasing neoliberal privatization combined with authoritarianism. The ambivalent outcome of the politics of eastern European countries and Russia over the last two decades has been their inadvertent contribution to what seems to be a widespread disappointment in democracy. Many inhabitants of the eastern European countries oscillate between their wish to be citizens of a truly democratic country and to have their say on important local and national matters, and their everyday apolitical concerns. What would it mean to prompt people to exercise their democratic imagination by suggesting designing new objects of public art for their city? Via a case study, the author suggests that different imaginings and ideas about collectivity and democracy run through the many projects designed by the amateurs. In seeking to understand these different imaginings, the author suggests that, in spite of the discouraging political tendencies, there is what might be called persistence of democratic imagination.

Keywords: democracy, imagined, public art, the dialectics of the realised and unrealised, urban planning, the tactics of city-dwellers.

**ЗА ПРЕДЕЛАМИ
P.S. ГОРОДА?**

РЕЗИДЕНТНАЯ СУБУРБАНИЗАЦИЯ В ПОСТКОММУНИСТИЧЕСКОЙ ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ, ЕЕ КОРНИ И ТРАДИЦИИ¹

Анализируется один из самых ярких феноменов современной урбанизации в Чешской Республике. В рамках исследования случаев в отдельных брненских (второй большой город в ЧР) резидентных субурбиях текст показывает важные перемены, которые происходят в ЧР в постсоциалистический период. Структуральные изменения на политическом и экономическом уровнях ярко проявляются в социальной обыденности, влияют на выбор жилья, отношений и образа жизни граждан. Противоположность города и провинции, несмотря на их сложное определение, отражается в восприятии лиц, в их интерпретации жизни на «границе» между двумя различными и постоянно приближающимися друг к другу районами. Урбанизация в своих субурбанных проявлениях, с одной стороны, играет роль в пространственном росте города и перемещении «городских» жителей в периферийные провинциальные районы и, с другой стороны, также в переходе на городскую систему тех регионов, которые были раньше руральными, и в изменении образа жизни исконных жителей. В первой части текст теоретически занимается проблематикой урбанизации и субурбанизации, далее он описывает специфические признаки социалистического планирования резидентных регионов в Чешской Республике и его досоциалистические корни, проблематику микрорай-

¹ Текст является частью исследовательского проекта Института по исследованию репродукции и интеграции общества (<http://ivris.fss.muni.cz/>), поддержанным исследовательским планом Министерства образования, молодежи и спорта — MSM0021622408. Это также составная часть исследовательского проекта «Индивидуализация способа жизни в перспективе, касающейся окружающей среды» (403/07/0804), поддержанного Грантовым агентством ЧР.

онов и последующее постсоциалистическое развитие резидентного жилья в периферийных районах города. Текст включает презентация качественного исследования случаев в брненском регионе.

Ключевые слова: резидентная субурбанизация, соседство, индивидуализация, социальное взаимодействие, история урбанизации, Чешская Республика, Брно.

ДЕВИЗ:

«Наверно, необходимо вот это старое хорошее забросить, пусть умирает, но медленно, не надо никаких резких перемен, не надо разрыва или еще чего... добиться этого очень трудно, да, то есть мы сказали себе, что мы не будем спасать это старое красивое, то, что здесь есть, но мы должны повлиять на то новое, что сюда придет, чтобы оно было красивым» (мэр, переехал в село в 2000 г.).

К ПРОБЛЕМАТИКЕ СУБУРБАНИЗАЦИИ И СИТУАЦИИ В СЕГОДНЯШНЕЙ ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Субурбанные резидентные зоны в постсоциалистических странах выбирают в качестве жилья все больше людей. Резкое развитие этих зон тесно связано с переходными процессами, которые произошли на политическом, экономическом и социальном уровнях. Строгое планирование бывшего коммунистического режима перешло в неуправляемое или мало ограничиваемое развитие периферийных районов. Наряду с рабочей миграцией из руральных регионов в города можно заметить также популярный тренд ухода жителей из внутренних городов и микрорайонных кварталов в новые субурбии. Несмотря на то что концептуальной основой исследования субурбий являются понятия, разработанные прежде всего американской социологией и антропологией, само развитие постсоциалистических городов имеет свои яркие специфические признаки (Andrusz, Harloe, Szelenyi, 1996). Различный опыт центрально-европейских и восточноевропейских стран связан с их развитием в период социализма, который, хотя и имел немало общих черт и истоков, повлиял на

разные регионы по-разному. Это не только (не)способность региональных правительств противостоять влиянию советского планирования, но также досоциалистические корни территориального и городского планирования, архитектурное творчество и традиции, индустриализация и урбанизация разных уровней. Разное развитие территориальной деконцентрации можно увидеть например, в Чехии (Sýkora / Сикора, 2005; Sýkora / Сикора, Ouředníček / Оуржедничек, 2006), Венгрии (Timár, Váradi, 2001), Польше (Kotus, 2006), Эстонии (Kontuly, Tammaru, 2006) или бывшем НДР (Nuissl, Rink, 2005).

В Чешской Республике периферийные районы городов быстро развиваются в середине 1990-х гг., процесс кульминирует около 2000 г., но он все еще не закончен. Территория сегодняшней Чешской Республики традиционно сравнительно густо населена. К относительно густой сети средневековых городов в период индустриальной революции наряду с уже развитыми промышленными центрами прибавились новые — например, такие, как Острава или же Брно. Благодаря традиционно крупному текстильному и стекольному производству, угледобыче и с ней связанному металлургическому и машинному производству чешские, моравские и силезийские страны с точки зрения промышленности были наиболее развитыми регионами бывшей Габсбургской империи. Этим объясняется и высокая степень урбанизации данного региона, представленная своеобразием урбанизма и архитектуры прогрессивных чешских, моравских и силезийских городов. Что касается развития брненской агломерации, то наряду с промышленным прогрессом были затронуты вопросы политического плана. Так называемое «великое Брно» возникло при основании первой республики за счет присоединения окружающих деревень (и даже двух небольших городов), что являлось реакцией на политический перевес немецкоговорящего населения (Кица / Куча, 2000). Благодаря этому современные резидентные субурбии строятся скорее, чем на «пустом месте» (это характерно прежде всего для новых промышленных и коммерческих зон), вблизи уже застроенных местностей. Однако из-за этого процесса своеобразно развиваются периферийные регионы,

исходная застройка деревенского плана, и, несмотря на функциональное и административное присоединение к городу, села сохранили свою руральную основу и деревенский колорит. Таким образом, за последние десять лет на периферии Брно образуется новая среда, которую мы можем обозначить как пограничную — *liminal space* (Sennett, 2004), в которой сталкиваются различные группы людей, отличающиеся образом жизни, отношением к месту, краю, связью с внутренним городом и т.д.

Резидентная субурбанизация тесно связана с переменами внутреннего города, специфичность новых построенных помещений и сообществ наилучшим образом вырисовывается в сравнении с представлениями о городе и городском образе жизни. Как замечает в своей работе о специфическом виде «укрепленных субурбий» (так называемые *gated communities*) Setha Low, «понимание этой пространственной формы, ее исторического и культурного контекста и выбора жителей жить здесь дает нам возможность посмотреть на центральный город с другой, часто пренебрегаемой, важной точки зрения» (Low, 2001)². Следовательно, обратим внимание на концепт субурбанизации и на свойства этих регионов, упоминавшиеся чаще всего в сравнении с характеристиками внутреннего города. В современной истории городов отражается развитие общества, современность может быть также охарактеризована при помощи одновременно проходящих процессов эмансипации и дисциплинации (Wagner / Вагнер, 1993). На город можно также смотреть как на среду, где много потенциальных факторов, которые вытягивают индивидуума из предестинации социального статуса и позволяют сделать селективный личный выбор в сфере личных и профессиональных от-

² Субурбанизационные процессы или же исключение некоторых групп из участия в этом сравнительно роскошном жилье указывают не только на перемены внутреннего города, но и на изменения на общественном уровне — в США субурбии являются примером расового расчленения, в Эстонии отсутствие русскоязычных граждан опять же указывает, что изменилось в их положении в обществе, и т.д. Примером в ЧР может послужить неучастие чешских цыган в субурбанизационных процессах (его очень трудно документировать).

ношений, а также дают свободу анонимного пространства и креативную инициативу, которую предоставляет распространение городской среды и существование разных групп. Однако на городское пространство можно смотреть также как на отчужденное, потенциально опасное и посягающее, расслоенное, фрагментаризованное и обособленное по отношению к специфичным группам, маргинализирующее и также явно загрязненное. Город отличается высокой «плотностью» независимо от того, имеем ли мы в виду плотность застройки с точки зрения урбанизации или же «сгущение» социальных отношений и встреч. Типичной определяемой противоположностью города является провинция. Она характеризуется прежде всего связью с сельскохозяйственным производством, но также и другими видами социальных связей, взаимным личным знакомством и взаимосвязью жителей, ежедневным разделением. Здесь можно выделить две точки зрения. На макроуровне города более неоднородны, чем провинция. Здесь живет и взаимодействует большее количество разных групп — профессиональных, образовательных, культурных, религиозных, этнических, тогда как провинция из-за небольшой территории считается однородной, и отличаются друг от друга скорее отдельные регионы. С другой стороны, с точки зрения социальных сплетений, картина может быть совершенно противоположной — небольшая провинциальная местность из-за физической близости людей позволяет поддерживать гетерогенные социальные отношения вопреки различию социальных слоев, а когда в городе строятся отношения — используется селективный выбор исходя из подобия. Поэтому возможно, что связи, возникшие таким образом, являются крайне однородными, они не включают в себя отличающиеся лица и группы, потому как жизнь в городе устроена так, как мы ее описали, и она позволяет уклониться от них (Bernard / Бернард, 2006). Субурбанные зоны могут быть (в Чешской Республике) именно по этим причинам рассмотрены как пограничные пространства и могут быть примером не прямой урбанизации (Ouředníček / Оуредничек, 2002). В этом случае расширяется не только городская застройка, но прежде всего город-

ской образ жизни в регионах, которые раньше были городскими, а также в регионах провинциальных и руральных. Субурбии бывают чаще всего характеризованы низкой плотностью застроенности, крайним положением по отношению к центру (городу), внутренней монофункциональностью и внешней функциональной зависимостью от центра (города) или от возможной другой субурбанной области (коммерческой, административной, производственной) (Baldassare, 1992; Bruegmann, 2006; в чешском контексте Hnilička / Гниличка, 2005).

В Чешской Республике в связи с развитием субурбий можно выделить два вида факторов. К наиболее известным push-факторам (ускоренное перемещение жителей из центральных и микрорайонных городов) принадлежат прежде всего повышение цен на квартиры и дома в центральных районах городов (например, старые субурбанные застройки со времен первой республики, которые отличаются высоким качеством жилья в стиле городов-садов) и возрастающее неблагополучие окружающей среды в городах из-за преступности или увеличения количества индивидуального автомобильного транспорта. Сюда также относится доступность ипотечных кредитов широкому кругу среднего класса и, прежде всего, изменение образа жизни и представлений об идеальном жилье³. К известным pull-факторам в первую очередь принадлежат дешевые и доступные земельные участки (приобретенные в основном вследствие приватизации старых хозяйственных усадеб и после этого извлеченные из исходного ведомства), которые привлекают не только индивидуальных строителей, но и девелоперские компании. На начальных этапах субурбанизации также притягивала нулевая или очень маленькая регуляция планирования по-

³ Данные презентательного расследования «Отношения опрашиваемых лиц к жилью» в 2003 г. зафиксировали предпочтение недвижимости в частной собственности как законное основание пользования квартирой (85,9%) и предпочтение коттеджа (71,5%). Наряду с порядком предпочтений идеального оборудования дома (сад, гараж, терраса, большая ванная, большая кухня и бассейн) данные косвенно указывают на привлекательность жилья в субурбанных районах (Sunega, 2003).

стройки со стороны городов и сел, сравнительно чистая окружающая среда и небольшое расстояние от города, не в последнюю очередь стремление муниципалитетов этих сел привлечь инвестиции и новых налогоплательщиков в постройку (Puldová / Пулдова, Ouředníček / Оуржедничек, 2006; Hnilička / Гниличка, 2005; Horská / Горска, Maur / Маур, Musil / Мусил, 2002; Cílek / Цилек, Vaše / Баше, 2005).

С точки зрения теоретической перспективы субурбии рассматриваются как выражение индивидуализации, так же как проявление поиска «потерянного» сообщества, тогда как теория индивидуализации и более современного общества скорее указывает на парадоксальную сторону резидентной субурбанизации – в несвязанной, глобализированной, текучей и неопределенной современности (Bauman / Бауман, 2004), которая помимо прочего отличается значительной переменой социальных отношений. На ослабление семейных связей (Beck, Beck-Gernheim, 2003) влияет стремление закрепить свое существование в большом «семейном» коттедже и в одном районе, что является одной из zombie-категорий Бека (Librová / Либрова, 2007), то есть категорий опустошенных или нефункциональных, которые, несмотря на приведенные содержания, условия и учреждения, высоко ценятся благодаря своим исходным значениям и формам. Таким образом, в субурбанизированных районах образуются агрегаты совершенно новых лиц, новых резидентов, которые уживаются друг с другом и по вышеприведенным причинам подсоединяются к существующим селам как минимум на административном и местном политическом уровне.

Для определения содружеств, образованных таким образом, чаще всего используются такие понятия, как община или соседство, которые в своей классической форме исходят из вышеприведенной концептуальной двойственности города и провинции. Ее выражением является, например, дихотомия *Gemeinschaft* и *Gesellschaft* Тенниеса. Традиционно трактованная община отличается пространственной близостью, сильными эмоциональными связями и прочной связью индивидуума с обществом, которое в большой степени определяет его судьбу. В

этой традиционной и локальной трактовке общины и соседство в какой-то степени действительно совпадают. Определенный идеал соседской общности был всегда связан с провинциальной жизнью и руральной средой, которая, например, по представлениям XIX в. символизировала чистую форму общности отношений, не обремененных проблемами современного общества. Однако в результате модернизационного процесса эти связи менялись. Самым основным изменением в понимании природы общины является нарушение ее пространственного определения, локальной сущности. Например, появляются группы интересов (институционально закрепленные), которые поддерживают население в различных сферах деятельности или проблемах (пенсионеры, матери-одиночки, гей и лесбийские общины, безработные, бездомные и т.д.). В связи с этим часто говорится об «общине без места» (Gottdiener, Hutchison, 2006), «безместной урбанной сфере» (*non space urban realm*) или «общине без близости» (*community without propriquity*) (Paddison, 2001). Такими типами общин занимаются прежде всего теоретики социальных сетей (например, Wellman, 1979; Lupi, Musterd 2006), и те авторы, которые исследуют влияние новых технологий на общественные отношения (например, Castells) или вопросы идентичности (*imaginated communities* – Benedict Anderson (Anderson, 1991)).

В связи с этим соседство можно в современном обществе воспринимать в первую очередь как местно характеризованное сообщество, в котором степень интеграции индивидуума в группу явно ниже, чем в общине. На отношения, которые строятся между людьми, влияет нужда пользоваться общими (физическими) помещениями. Однако по этим причинам социальное расстояние все еще сравнительно большое (в отличие от дружеских связей), природа связей в значительной степени инструментальна или формальна. Соответственно, если община является примером общности Тенниеса, соседство, наоборот, можно трактовать как общественную группу. Однако нетрудно представить себе, что в рамках соседских отношений возникают также связи, которые имеют общинную натуру. Наоборот, действующие местные общины характеризуются помимо про-

чего также действующими соседскими отношениями (Paddison, 2001).

ДОВОЕННЫЕ КОРНИ МИКРОРАЙОННОГО ЖИЛЬЯ В ЧЕХОСЛОВАКИИ, ЕГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ФОРМА

На архитектуру и урбанизм междувоенной Чехословакии повлиял так называемый современный авангард, содержащий в своих концепциях социальные вопросы и предлагающий их решение⁴. Одной из основных задач становится обеспечение приличным жильем для широких слоев населения. Как своего рода стандарт, но не только. Создание городской жилищной среды – инструмент образования лучшего общества. Решением является сравнительно широкий спектр видов жилья, начиная с коттеджных кварталов, исходящих из концепта города-сада, кончая малометражными квартирами в проектах «жилье для бедных». Впрочем, символ чехословацкого междувоенного урбанизма – функционалистический город Злин Томаша Бати – является примером тому, как основатели города «заботятся» о жизни его жителей вплоть до малейших деталей. Бати построил для своих сотрудников стандартизированные коттеджи, больницу, школы, кинотеатр и дом культуры, торговый дом и рынок, просто все, что представляло в свое время высокий уровень жизни. Для учеников и студентов своих школ он построил интернаты. Молодой человек, будучи, в принципе, еще ребенком, вступал в образовательную систему Бати и имел ясное видение жизни, которая вся пройдет в этой большой производственной корпорации, при этом обеспечится жизненный комфорт. Даже в теории левого авангарда, занимающегося скорее темой квартирных домов с малометражными квартирами, появляется тема обеспечения услуг населению. Некоторые архитекторы занимались теорией коллективного жилья и разработкой так называемых «кольдомов». Их целью было «новое устройство жизни»

⁴ Чешские основатели общались, например, с LeCorbusierem (см., напр., Janáček, Šlapeta, 2004), на территории ЧСР творили также такие видные архитекторы, как Mies van der Rohe, Loos, Mendelsohn и др. Например, на постройку в Брно повлияла урбанистическая школа Wagnera.

(ср., напр., Miljutin / Милютин, 1931) и видов жилья. Ядром этого переустройства является уравнение прав города и провинции, мужчин и женщин. На основе этого возникла мысль коллективного образования детей, больших «заводских» кухонь и общих столовых, библиотек, читальных залов и всех услуг. Данная эта концепция заботы о населении является своеобразным сочетанием коллективистических и индивидуалистических стремлений. Иначе говоря, речь идет о специфических господствующих механизмах, которые обеспечивают контроль над обществом и индивидуумом. Основу этой власти хорошо описывает Мишель Фуко, когда размышляет над ролью пастушеской власти в современном обществе. Он не отрицает, что церковные формы пастушеской власти начиная с XVIII в. значительно ослаблены, однако он утверждает, что в новой форме они распространились в нецерковных сферах общества. Примером такой формы пастушеской власти может послужить современное государство (Foucault, 1996).

После Второй мировой войны было необходимо построить новые квартиры во всей Европе, и постройка новых микрорайонов квартирных домов казалась более эффективным решением, чем постройка коттеджных кварталов. Это также считалось наиболее приемлемым в Чехословакии, где несколько раз была выдвинута идея о коллективном жилье. Однако форма кооперативов была не доработана и не отвечала советским моделям, в основе которых лежала перемена общественного устройства и постепенное растворение семьи в обществе — или же достижение коллективизации с помощью этой индивидуализации. Прокламированной целью коллективных домов должно было быть прежде всего облегчение работы в домохозяйстве, хотя это в общем означало освобождение женщин-домохозяек. Форма домов не достигала совершенства, которое описывал Карел Тейге: «Однако желаемые коллективные дома вели бы этот передел, чтобы абсолютно все хозяйственные элементы жилья были централизованы, коллективизированы и индустриализированы, поэтому формулой этой наименьшей индивидуальной квартиры была бы спальная кабина» (Teige, 1930 по: Archiweb. cz, 2007). Мысль о коллективных домах

была в конце концов отброшена, и символом коммунистического урбанизма стали так называемые большие жилые комплексы, широко известные микрорайоны. Проблематикой микрорайонов в чешской социологии прежде всего занимался Иржи Мусил (1985), (Horská / Горска, Maur / Маур, Musil / Мусил, 2002).

Причины, по которым социалистическая версия коллективного жилья оказалась непроходной, объясняют помимо прочего выводы исследований жизни в микрорайонах, проведенные Мусилом и его коллегами. Исследования Мусила показали, что и в городской среде действует большая семья, что в городе мы являемся не только изолированными индивидуумами, которых влечет за собой поток. Также оказалось, что коллективные услуги, организованные или же только рекламированные социалистической идеологией, не могут заменить услуги, оказываемые в рамках семейных или дружеских отношений. Исследование более старых микрорайонов показывало, например, тенденцию родственников жителей переезжать в один район. В микрорайонах даже дружеские связи были значительными (хотя они не достигли густоты связей в коттеджных кварталах). Сравнительно сильной была вспомогательная функция. Люди присматривают друг другу за детьми или помогают друг другу, но они меньше здороваются и знают друг друга (более подробно об этом см.: Horská / Горска, Maur / Маур, Musil / Мусил 2002: 284–297; Musil / Мусил, 1985). Что касается нашего исследования, то очень интересно, что на основании результатов работы Мусила соседство в новых жилищных комплексах можно характеризовать так: несмотря на то что люди меньше знают друг друга и друг о друге, здесь не исчезает готовность помочь друг другу в случае необходимости. В качестве примера можно привести образующиеся общества молодых матерей (Horská / Горска, Maur / Маур, Musil / Мусил, 2002: 290–297).

По мнению Мусила, постройка микрорайонов была в первую очередь вопросом сочетания урбанизма и идеологии — соблюдения принципов социалистической культуры в соединении с современными способами постройки. Развитие строительных технологий вело даже к тому, что урбанисты и архитек-

торы стали скорее подвеской всего промышленного механизма. Функционализм, который был почти исключительным выразительным способом довоенного левого авангарда, заменил социалистический реализм. Если символом междувоенного чешского (чехословацкого) урбанизма был Злин, то символом послевоенной постройки стал североморавский регион. В связи с обновлением угледобычи в Остравском крае нужно было решить две проблемы — отсутствие рабочей силы и недостаток квартир. Поэтому был основан и самый молодой город Чешской Республики — Гавиржов. Это современный микрорайон, предназначенный для работников тяжелой промышленности, развивающейся после войны. Данный микрорайон был призван заменить традиционное жилье в шахтерских и рабочих колониях. Предполагалось, что возможность получить новую квартиру привлечет работников со всех уголков республики.

Слабым местом первого этапа послевоенной постройки микрорайонов являлся также тот факт, что она не была достаточно интенсивной, а служила лишь дополнением индустриализации, которая выступала основным звеном коммунистической экономики в ЧСР. Как отмечает Мусил (2002: 280–281), результатом стал жилищный кризис, наступивший сравнительно быстро, последствием которого было принятие документа «Участие населения в решении жилищной проблемы» на заседании ЦК КСС в 1959 г. На практике этот план означал создание жилищных кооперативов. Таким образом, часть расходов государства взвалилась на плечи граждан. После того как Хрущев раскритиковал сталинскую архитектуру, также изменилось мнение насчет архитектуры как таковой и стандарта самого жилья. Историзирующая форма зданий перестала использоваться, и оборудование квартир постепенно улучшалось. Однако это также парадоксально означало ухудшение урбанистического решения микрорайонов, постепенно исчезли внутренние комплексы и нежилые помещения для услуг, расположенных на первых этажах в стиле социалистического реализма. С конца 1960-х гг. постройка опять поднималась и в 1970-х гг. достигла своей послевоенной вершины.

Мусил подытоживает (2002: 280–281) подход социалистического планирования к вопросам жилищной политики и принципов жилья следующим образом: потому как обеспечение жильем в значительной мере является компонентом общественного потребления, квартиры не могут быть товаром с экономической точки зрения. Целью государства является обеспечить подходящее жилье для как можно большей группы жителей и в то же время регулировать возможные различия — между жильем отдельных классов, социальных слоев, в отдельных регионах и т.д.⁵ В распределении квартир играли значительную роль списки. Приоритет автоматически имели семьи работников новых заводов, представители рабочего класса, молодые семьи с детьми, семьи сотрудников важных общественных организаций и жителей домов, которые сносили из-за перестройки, постройки новых путей и т.д. Потому как государство финансировало саму постройку, особое значение придавалось ее экономичности. Неким заклинанием стала стандартизация и массовость, на практике — использование промышленных узлов и сборных деталей. Продуктом огромных бюрократических организаций, соблюдающих эти принципы, была так называемая массовая квартирная постройка, которая в значительной мере была источником наиболее типичных проблем, связанных с жизнью в (социалистических) микрорайонах: монофункциональность, необорудованность, недостаток рабочих мест. Как утверждает Мусил (2002), парадоксально наибольшей проблемой микрорайона является то, что он малгородской.

СОВРЕМЕННОСТЬ РЕЗИДЕНТНОЙ СУБУРБАНИЗАЦИИ — БРЕНЕНСКИЙ КРАЙ

Впоследствии, после революции в 1989 г., новый средний класс, находящий новый жизненный стиль, решил перейти из центров городов и микрорайонов в новые предместья. Следует заметить, что этот вид миграции меняет структуру населенных пунктов и с точки зрения социодемографических характеристик

⁵ Например, просторные «буржуазные» квартиры были в старой застройке разделены так, чтобы площадь отвечала действующим таблицам.

жителей. Новые, приходящие жители являются носителями высшего общественного статуса, высшей доходной категории и часто также более высокого образования (Šerák / Чермак, 2005).

Качественное исследование проходило в трех населенных пунктах — брненских городских районах, присоединенных к городу на последних этапах его расширения. Как сообщают наши коммуникационные партнеры, эти районы имеют вплоть до 1990-х гг. провинциальную природу, несмотря на то что они представляют городские части. После 1995 г. здесь началась выразительная строительная деятельность, поэтому за последние 10 лет численность населения этих регионов повысилась примерно на 150–200%. Сейчас это касается населенных пунктов с примерно 500–3000 жителями с вероятным дальнейшим ростом. Нашими коммуникационными партнерами являются мэры этих городских районов, далее лица, активно участвующие в жизни района, новые жители районов, живущие в новостройке, и так называемые коренные жители⁶. На основании интервью, направленных на «life history» (Seidman, 1998), изучался их прошлый и настоящий ежедневный опыт и интерпретация жизни в районе, его перемен. Нас интересует, что мотивирует жителей, почему они переезжают в этот регион или что их здесь держит, разные виды формальных и неформальных связей и обстоятельств их возникновения и возможного прекращения. Первые контакты были установлены в регионах посредством мэров районов, которые зарекомендовали себя как хорошо информированные «gatekeepers» для получения других контактов и основной информации о жизни района. Для того чтобы приобрести следующих коммуникационных партнеров, использовался «метод снежка». Преимуществом этого метода является процесс, наступающий после установления социальных связей и отношений. Его минусом является возможное исключение некоторых ключевых партнеров, неактивных жителей и т.д., интерпретации которых важны для понимания жизни в районе. Дополнение материала будет вопросом дальнейшего исследования, ко-

⁶ В первом этапе исследования (июль — декабрь 2006) было проведено 12 интервью.

торое мы будем проводить в этих районах. Настоящие результаты скорее являются предварительным исследованием, и его верность за счет дальнейшего изучения может быть изменена. Следующие данные исходят из местной печати, документов муниципалитетов, исторических изданий и т.д.

Все исследованные городские районы находятся на северо-западной и северной окраинах города, который является популярным резидентным районом. Брно в этом случае сталкивается с Драгунской возвышенностью, и предместье лежит в долинах среди лесов. Два района находятся вблизи курортной плотины. Город Брно характеризуется определенной пространственной полярностью (например, Steinführerová / Штайнфюрерова, 2003). В то время как упомянутый северо-западный район используется для жилья и отдыха и благодаря ценной окружающей среде, холмистому и облесенному краю здесь развитие проходило наиболее интенсивно, юго-восточный район Брно в настоящее время затронула промышленная и коммерческая субурбанизация, несмотря на то что в этих регионах начинается реализация строительства (прежде всего благодаря более дешевым участкам и не такой престижной среде, на которую повлияла экстенсивная сельскохозяйственная продукция и близость упомянутых производственных предприятий).

Учитывая то, что мы в вводных главах сказали о городе и городском образе жизни, можно наши районы обозначить передельными или же граничными. Граничные они с точки зрения того, как люди воспринимают пространство и каким образом они в нем передвигаются, а также с точки зрения столкновения разных групп. Пространство отдельных районов воспринимается прежде всего как периферийное, однако оно значительно меняется в связи с расширением, а также естественной модификацией поколений и изменением жизненных стилей, которое нельзя приписывать только приходу новых жителей. Большинство коренных жителей прочно связаны с внутренним городом, где, например расположено место их работы. Аналитически можно различать коренных и новых жителей (обозначаются как «наплыв»), интервью подтверждают это восприятие. Однако они

подтверждают также его неоднозначность. Например, мужчина, который переехал в село во время его развития, где-то в 2000 г., рассказывает: «Знаете, моя мама, семья из Ржечковиц, из старых Ржечковиц⁷, поэтому девяносто процентов оржешиняков ходило с моей мамой или моими тетками в школу, хотя я представляю наплыв [...] у меня здесь новый дом, но я как-то связан с этими людьми посредством семьи». Участник является активным гражданином и настоящим мэром. Он ищет свои корни, и это основная черта, по которой можно отличить коренных и новых жителей. Это не проживание в доме в старой части района, но общая история отношений и связей, которая и является отличительной чертой коренных жителей, пограничной группы. Этот пример показывает, что интеграция в районе успешна, но стремление найти корни, назвать их показывает, что человек знает о некомплексности своих связей. Их вербализация, поиск и нахождение являются одним из важных этапов интеграции, которая проходит на нескольких уровнях. Наиболее глубоким уровнем является **общая история**, общие корни нескольких поколений, которые связывают человека с местом. В следующем слое мы находим впечатления с детства, школу, игры, как это показывает опыт молодой жительницы Жебетина (переезд в село в 1985 г.): «Многие мои друзья, с которыми я проводила больше всего времени, мои лучшие друзья родом отсюда [...], и я пошла в 3 класс [...] на этой улице мы с ними познакомились, потом мы пошли в школу в Быстры, и мы опять были вместе». Последним слоем, который с точки зрения сосуществования обеих групп самый значительный, является разделение ежедневности. Это воспринимается и оценивается не только на основании соблюдения городского вежливого невнимания Гоффмана. Несоблюдение этих правил, а также их изучение ограничивает вторую группу лиц — новых жителей. «С этими людьми ты не знакомишься, чувствуешь себя чужим. Сначала меня шокировало, что люди приходили на остановку и здоровались. Я была в шоке, потому что в городе нормаль-

⁷ Изначально традиционное село, сегодня также микрорайон на северной окраине Брно.

⁸ Имеется в виду средняя школа.

ный человек, придя на остановку, молчит, и мне это нравилось. Там ты ни с кем не знаком, в автобусе все здороваются, все знают друг друга, и ты чувствуешь себя чужим» (жительница Оржешина, переехала в село в 2000 г.).

Это не значит, что данные люди не могут быть интегрированы в соседских отношениях, но разделение (символических понятий, ценностей, впечатлений и т.д.) проходит ежедневно и разделение истории для них в принципе недоступно или же они сами отказываются от нее (они не хотят «вмешиваться» в старые споры, они их не понимают). Типичным примером отличающихся правил неформального общения является приветствие и несколько вежливых фраз. Этот момент в восприятии лиц постоянно повторяется, со стороны коренных жителей это неприличие и неуважение, со стороны новых жителей это новое правило контакта, которое они чаще всего принимают (жительница Жебетина, переезд в 2003 г.): *«Эти коренные все жаловались на новых, что те, с квартирных домов, не здороваются с ними, они привыкли в деревне постоянно здороваться, да, но я, правда, когда сюда приехала, так всегда со всеми здоровалась, потому что знаю, что здесь так положено»*. В связи с этим можно обозначить **узловые точки интеграции**. Это однозначно общественные места, используемые обеими группами, — автобусные остановки, места, где гуляют с собаками, детские площадки. В связи с этим перечислением неудивительно, что установление связи часто происходит между женщинами: *«Мы гуляем по Жебетину, здороваемся, болтаем, а папы стоят и не знают друг друга, да, так что, конечно, жаль, ты частенько останавливаешься [...] ну, познакомишь их, а они все равно стоят и смотрят»*.

В этом случае «мамы» знакомы благодаря клубу по интересам, в котором общая программа (тренировка, рисование, присматривание за детьми, детский карнавал и т.д.). Это типичный пример «снизу» выходящей «grass roots» деятельности, которую поддерживает село. Он указывает (1) на **перемены пространства и восприятие опасности**. Вот как женщины описывают первый импульс к созданию клуба: *«Когда я туда переехала, я видела, как там дети*

просто бегают... и мамы там стоят и смотрят, чтобы их не задавила машина, это просто прогулка под стрессом». Создавая клуб, «мамы» заметили разный подход обеих групп на уровне образа жизни (2): «Там видно, что они привыкли работать в огороде, у них полно работы, и к таким вещам они не привыкли и у них нет времени, я это чувствую. [...] просто эти люди живут в селе иначе [...] работают в огороде, у них огромные огороды, так что у них все время полно работы, или у них животные и вот [...] тренировку вела одна мама, так она говорила, что никто не будет ходить, собирают урожай, так что это сработало только зимой и тогда еще был сильный мороз». Типичным для периферии является связь со средой — на ритм жизни все еще влияет природа, времена года. Новым элементом, который внесли «мамы», является, с одной стороны, образ жизни, не связанный с такой зависимостью, и прежде всего стремление удовлетворить свои нужды (отсутствие услуг и безопасность детей) институциональным путем (3). Вместо «традиционного» соседского присмотра за детьми в садах и лесах они формально решили свою неудовлетворительную ситуацию.

Другим примером типичной деятельности в исследованных местах являются пиры. В то время как клуб является примером деятельности, направленной на улучшение услуг, пиры представляют деятельность, направленную на укрепление местной идентичности, и их осуществляют коренные жители. Также интересно, что это обновляемая традиция, которая не была нарушена коммунистическим строем⁹, однако забытая в послевоенное время, но сейчас опять восстанавливаемая. Традиционным пирам предшествует так называемых «розмариночек» или же «сборы на пиры», во время которого старший помощник и коллектив молодых людей в национальных костюмах ходят по селу и собирают деньги на пир. Этот важный момент указывает на то, какие жители связаны с жизнью села. Опыт старших по-

⁹ Он парадоксально поддерживал такую деятельность на культурном уровне и объяснял ее на уровне национальной культуры, но устранял религиозный элемент (связь с паломничеством и т.д.).

мощников¹⁰ таков: *«Перед пиром мы приглашаем людей, у нас розмариночки, ходим по домам, приглашаем их и они нам за это дают деньги, за эти розмариночки, конечно, коренные знают, в чем дело, и дают немалые деньги, а когда мы идем наверх и мы не любим туда ходить, в эти новые дома, там либо никого нет дома, либо не открывают дверь, и мы видим, что они стоят у окна и все равно не открывают»* (коренной житель, старший помощник, Книнички). Важно также место прохождения деятельности исследуемых групп – пиры, освящение сельского флага или, например, публичная тренировка пожарников-добровольцев проходят на сельской площади. Они могут быть примером **символического контроля общественного пространства** в селе (Low, 1996), и новые жители являются в большинстве случаев зрителями, но не организаторами или участниками. Восприятие различий между общественным и частным пространством также отмечается у обеих групп, исходя как минимум из его разной охраны (например, по традиции жители участвуют в уборке своей улицы или тротуара, несмотря на то что он сельский, в новых домах эта уборка входит в обязанности села, представляя собой технические услуги).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Текст ознакомил с проблематикой субурбанизации в сегодняшней Чешской Республике. Процесс расширения городов мы исследовали и в связи с его развитием и теоретическим подходом в современных социологических теориях, и в связи с пониманием двойственности города и провинции. На вид постсоциалистических городов, включая Брно, значительно повлияли способы социалистического планирования, которое само часто пыталось найти и находило свои корни в довоенном урбанистическом и архитектурном авангарде. Следовательно, настоящие процессы, проходящие в городах, нельзя исследовать, не считаясь с их прошлым. В качественном исследовании мы приводим скорее положительные примеры интеграции коренных и новых жителей брненских резидентных субурбий, так как сатурация на-

¹⁰ Организаторов пиров.

ших коммуникационных партнеров недостаточно теоретична (действующие лица конфликтных ситуаций и споров в этом случае сложно включить в исследование), а также отдельные районы, в сегодняшнее время сравнительно непроблемные. Остается ряд других интересных и опорных тем — например, влияние старения населения, связанное с вопросами перемен жизни людей, у которых вырастают и уходят взрослеющие дети (так называемые *empty-nesters*), как проявляются неожиданные изменения на правительственном уровне местной политики и распределение финансов (группы жителей значительно отличаются друг от друга из-за требований и с точки зрения описанных стилей, а также из-за разного технического состояния старых и новых построенных частей села и т.д.). Изучение интеграционных процессов внутри этих сел, взаимосвязи, найденные решения конфликтов и удовлетворение требований различных групп граждан являются основанием последующего исследования в селах и может быть полезным материалом для исследования других сел.

ЛИТЕРАТУРА

1. Anderson, B.R. O'G. 1991. *Imagined communities: reflections on the origin and spread of nationalism.* / B.R. Anderson. London: Verso.
2. Andrusz, G.; Harloe, M.; Szelenyi, I. (Eds.) 1996. *Cities after Socialism: Urban and Regional Change in Post-Socialist Societies.* / G. Andrusz, M. Harloe, I. Szelenyi. (Eds.) Oxford: Blackwell.
3. Archiweb.cz 2007. «Karel Teige: Minimální byt a kolektivní dům». / «Карел Тейге: Минимальная квартира и коллективный дом». *Интернетный музей чешской архитектуры.* (Zlonský, O. / Злонский, О. 1997–2006. *Archiweb.cz о архитектуре в Чехии и в мире..*) [online], [cit. 8.8.2007] Доступно на <<http://www.archiweb.cz/news.php?action=show&id=2952&type=17>>.
4. Baldassare, M. 1992. «Suburban communities». *Annual Review of Sociology* 18: 475–494.
5. Bauman, Z. / Бауманн, З. 2004. *Individualizovaná společnost.* / *Индивидуализированное общество.* Praha: Mladá Fronta.
6. Beck. U.; Beck-Gernsheim, E. 2003. *Individualization: Institutionalized Individualism and its Social and Political Consequences.* London: SAGE Publications.

7. Bernard, J. / Бернанд, Й. 2006. «Sociální integrace přistěhovalců z velkoměsta na vesnici v České republice a v Rakousku». / «Социальная интеграция иммигрантов из мегаполисов в селе в Чешской Республике и в Австрии». *Sociologický časopis / Социологический журнал* (42) 4: 741–760.

8. Bruegmann, R. 2006. *Sprawl: a compact history*. Chicago: University Chicago Press.

9. Cílek, V.; Vaše, M. / Цилек, В.; Баше, М. 2005. *Suburbanizace pražského okolí: dopady na sociální prostředí a krajinu. / Субурбанизация пражских окрестностей: воздействие на социальную среду и край*. [online] Сообщение для уездного правления Чешского края. Прага. [cit. 14.8.2007] Доступно на <<http://www.vesteckazvonicka.cz/files/active/0/Suburbanizace%20pra%C5%B5esk%C3%A9ho%20okol%C3%AD..pdf>>

10. Čermák, Z. / Чермак, З. 2005. “Migrace a suburbanizační procesy v České republice.” / “Миграция и субурбанизационные процессы в Чешской Республике.”. *Demografie / Демография* 47: 169-176.

11. Foucault, M. 1996. *Myšlení vnějšku. / Мышления внешности*. Praha: Herman a synové

12. Gottdiener, M.; Hutchison, R. 2006. *The new urban sociology*. Boulder, Colo.: Westview Press.

13. Hnilička, P. / Гниличка, П. 2005. *Sídelní kaše: Otázka k suburbanní výstavbě rodinných domů. / Столичная каша: Вопросы субурбанной постройки коттеджей*. Brno: ERA.

14. Horská, P.; Maur, E.; Musil, J. / Горска, П.; Маур, Й.; Мусил, Й. 2002. *Zrod velkoměsta: Urbanizace českých zemí a Evropa. / Рождение мегаполиса: Урбанизация чешских стран и Европа*. Praha, Litomyšl: Paseka.

15. Janáček, V.; Šlapeta, V. / Яначек, В.; Шлапета, В. 2004. *Stavební kniha 2004. Český funkcionalismus. / Строительная книга 2004. Чешский функционализм*. Brno: ExpoData.

16. Kontuly, T.; Tammaru, T. 2006. „Population Subgroups Responsible for New Urbanization and Suburbanization in Estonia.“ *European Urban and Regional Studies* 13(4): 319–336.

17. Kotus, J. 2006. „Changes in the spatial structure of a large Polish city – The case of Poznan.“ *Cities*, 23(5): 364–381.

18. Kuča, K. / Куча, К. 2000. *Brno: vývoj města, předměstí a přirojených vesnic. / Брно: развитие города, предместья и присоединенных сел*. Praha: Baset.

19. Librová, H. / Либрова, Г. 2007. *Prezentace pracovní skupině projektu „Individualizace životního způsobu v environmentální perspektivě.“ / Презентация проекта „Индивидуализация*

лизация образа жизни в перспективе, касающейся окружающей среды.“ Fakulta sociálních studií MU / Факультет социальных наук, Институт им. Масарика, Brno, 3.4.2007.

20. Low, S. M. 1996. „The Anthropology of Cities: Imagining and Therizing the City.“ *Annual Review of Anthropology* 25: 383–409.

21. Low, S. M. 2001. «The Edge and the Center: Gated Communities and the Discourse of Urban Fear». *American Anthropologist* 103 (1): 45–58.

22. Lupi, T.; Musterd, S. 2006. «The Suburban “Community Question”». *Urban Studies* 43(4): 801–817.

23. Miljutin, N. A. / Милютин, Н. А. 1931. *Socgorod: otázky stavby socialistických měst; základy racionelního plánování nových sídlišť v SSSR. / Соцгород: вопросы постройки социалистических городов; основы рационального планирования новых микрорайонов в СССР*. Praha: Knihovna Levé fronty.

24. Musil, J. a kol. / Мусил, Й. И кол. 1985. *Lidé a sídliště. / Люди и микрорайон*. Praha: Nakladatelství Svoboda.

25. Nuissl, N.; Rink, D. 2005. «The “production” of urban sprawl in eastern Germany as a phenomenon of post-socialist transformation». *Cities*, 22(2): 123–134.

26. Ouředníček, M. / Оуржедничек, М. 2002. «Suburbanizace v kontextu urbanizačního procesu». / «Субурбанизация в контексте урбанизационного процесса». In Sýkora, L. / Сикора, Л. (Ed.) *Suburbanizace a její sociální ekonomické a ekologické důsledky. / Субурбанизация и ее социальные и экологические последствия*. Praha: Ústav pro ekopolitiku / Прага: Институт экополитики. 39–54.

27. Paddison, R. 2001. *Handbook of Urban Studies*. London: SAGE.

28. Puldová, P.; Ouředníček, M. / Пулдова, П.; Оуржедничек, М. 2006. «Změny sociálního prostředí v zázemí Prahy jako důsledek procesu suburbanizace». / «Перемены социальной среды в тылу Праги как следствие процесса субурбанизации». In Ouředníček, M. / Оуржедничек, М. (ed.) *Sociální geografie pražského městského regionu. / Социальная география пражского городского региона*. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, / Прага: Карлов университет в Праге, Факультет естественных наук, Кафедра социальной географии и регионального развития, s. 96–113.

29. Seidman, I. 1998. *Interviewing as Qualitative Research. A Guide for Research in Education and the Social Sciences*. New York: Teachers College Press.

30. Sennett, R. 2004. «The City as an Open System». [online] *Levehume international symposium 2004: The Resurgent*

City, Themed Session: The habitable city. [cit. 10.8.2007] Доступно на <<http://www.lse.ac.uk/collections/resurgentCity/Papers/richardsonennett.pdf>>.

31. Steinführerová, A. / Штайнфюрерова, А. 2003. „Sociálně prostorové struktury mezi setrvalostí a změnou. Historický a současný pohled na Brno.“ / „Социальные пространственные структуры между длительностью и переменой. Исторический и современный взгляд на Брно.“ *Sociologický časopis 39 / Социологический журнал 39 (2): 169–192.*

32. Sunega, P. / Сунега, П. 2003. «Představy o budoucím stěhování, ideálním bydlení». / «Представление о будущем переезде, идеальном жилье». [online] Презентация результатов исследования *Postoje k bydlení v ČR 2001/ Отношение к жилью в ЧР 2001* [cit. 13.8.2007] Доступно на <http://seb.soc.cas.cz/postoje2001/prezentace/seb_sunega_idealnibydeni.pdf>.

33. Sýkora, L. / Сикора, Л. 2005. «Czech Republic». In van Kempen; Vermeulen, M; Baan, A. (Eds.) *Urban Issues and Urban Policies in the New EU Countries*. Aldershot: Ashgate.

34. Sýkora, L.; Ouředníček, M. / Сикора, Л.; Оуржедничек, М. 2006. «Sprawling post-communist metropolis: commercial and residential suburbanisation in Prague and Brno, the Czech Republic». In: Dijst, M., Razin, E., Vazquez, C. (eds): *Employment Deconcentration in European Metropolitan Areas: Market Forces versus Planning Regulations*. – forthcoming, available at <<http://www.natur.cuni.cz/~slamak/gacr/selma.pdf>>.

35. Timár, J.; Váradi, M. M. 2001. «The Uneven Development of Suburbanization during Transition in Hungary». *European Urban and Regional Studies 8(4): 349–360.*

36. Wagner, P. 1993. *A Sociology of Modernity. Liberty and Discipline*. London, New York: Routledge.

37. Wellman, B. 1979. «The community question: intimate networks of East Yorkers». *American Journal of Sociology 84*, pp. 1201–1231.

ABSTRACT

The text deals with one of the most distinctive phenomena amongst current urbanization processes in the Czech Republic – the suburbanisation process. The case study of chosen residential suburbs of the city of Brno illustrates important transformations connected with the post-socialist situation of the Czech Republic. Structural changes on the political and economical levels impact on everyday questions of lifestyles and housing dramatically. Irrespective of the difficulties of definition, the polarity of city and country appears in the

perception of the participants involved, in their interpretation of life “on the border” between two different areas that are edging towards each other all the time. Suburbanisation partly implies the spatial spread of the city and the migration of “urban” inhabitants into edge/rural areas, and partly the displacement of these rural areas and their inhabitants confronted with the urban way of life. The first part of the text is focused on the theoretical question of the processes of urbanisation and suburbanisation in the Czech context, further we describe the specifics of the socialist planning of residential areas and its roots in the avant-garde urban tradition of the First Czechoslovak Republic (1918–1938). Then we deal with the question of living in prefab blocks of flats after WWII and the post-socialist residential development of peripheral parts of the city. The last part of the text offers preliminary conclusions of the case study of selected Brno suburbs.

Keywords: residential suburbanisation, neighbourhood, individualisation, social interaction, urban history, Czech Republic, Brno.

ОТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА К ЭКОЛОГИИ: ДЕРЕВЕНСКИЕ ОТВЕТЫ НОВЫМ ФОРМАМ ПРОИЗВОДСТВА

В статье проанализирована реакция сельских жителей Польши на продвижение экологической политики хозяйствования. Когда экологические дискурсы в сочетании со структурными изменениями сельского хозяйства приходят в сельскую местность, деревенские жители вынуждены переопределять самих себя в рамках ограниченного набора возможностей. Многочисленное сельское население Польши, которое в советское время не подверглось полной коллективизации, сегодня стало объектом интенсивных исследований и прославления их экологических практик и аутентичного образа жизни. В то же время это же сельское население было бременем для Польши, когда страна старалась получить все выгоды от полного членства в ЕС. Я анализирую переструктурирование сельской местности, в которой все меньшее количество людей занимается фермерским хозяйством и все больше вовлечено в экотуризм. Я уделяю особое внимание как проблемам, так и ресурсам, которые используют сельские жители в ситуации, когда они оказываются изолированными под влиянием экологов в рамках традиционной саморепрезентации.

Ключевые слова: экология, сельская местность, крестьянин, Польша, создание образа.

Крах государственного социализма вызвал революционные изменения в производстве как в сельских, так и в городских районах. Последствия этих изменений в городах были более очевидны, однако воздействие их на образ жизни деревни оказалось также, если не более, глубоким. Сельская постсоциалистическая Европа присоединилась к глобальному сельскохозяйственному рынку в момент его кризиса.

Согласно общепринятому убеждению, сельская экономика не может существовать только за счет производства продуктов питания, особенно в постсоциалистической Европе с ее многочисленным сельским населением. Таким образом, официальными и неофициальными средствами сельские жители должны были быть мотивированы переоценить свой капитал, а сельскую местность, как и повсюду, необходимо было превратить в место отдыха и экологии. Эти изменения могут казаться экономически оправданными в контексте современного капитализма. Тем не менее какова логика сельских жителей, когда они включаются в подобное переопределение сельской местности? И каковы последствия этих экономических изменений для их идентичности?

Эти вопросы особенно драматичны для посткоммунистической Польши, где «проблема» сельского хозяйства (другими словами, существование значительного количества небольших убыточных ферм) была одним из камней преткновения для включения Польши в состав Европейского союза. Считая особенности аграрной политики ЕС одним из вариантов создания новой экономики сельской местности, ее можно определить как «экологическую». В этой статье анализируются практические последствия определения региона как «экологического» на примере Подлясья, расположенного в северо-восточной части Польши. Каковы результаты осознания местными жителями себя как акторов в экономике экотуризма и защиты окружающей среды?

Даже в советские времена Подлясье считалось отстающим регионом со слишком большим количеством мелких ферм. Но с 1990-х гг., когда экологи (имеются в виду биологи и активисты движения за охрану окружающей среды) «сохранили» редкую природу Подлясья в национальных парках и других охраняемых территориях, возникла целая группа наименований этого региона, сопровождающих изменение его статуса: «*Zielone Płuca Polski*» (Зеленые легкие Польши), «*Kraina Żubr*» (Страна зубров), «*Euroregion Puszcza Białowieska*» (Еврорегион Беловежской пуши) и иногда даже «*najczystszej region Polski*» (чистейший регион Польши). Этот ребрендинг придал новое значение старым лесам и бо-

лотам, что оставило в тени репрезентацию Подлясья как непродуктивных сельскохозяйственных земель. В настоящее время северо-восток Польши широко признан как место для путешествий любителей природы и, таким образом, район «эко-развития». Хотя и не полностью избавившись от прежних ассоциаций, Подлясье стало «экологическим» регионом, и это определение стало частью производства нового типа сельского жителя.

Бесчисленные попытки изменить взгляды сельского населения заканчивались разочарованием для реформаторов. Романтические проекты строительства государства в XIX в. основывались на связи крестьян с землей как способе обоснования и продвижения современной нации. В советский период любые проявления упорной привязанности крестьян к старым формам производства были признаком людей, скорее верных роду и семье, чем международным целям социализма. Крестьянство считалось частью отсталого и средневекового периода человеческой истории, который вскоре будет преодолен пролетаризацией крестьянства в коллективных хозяйствах. Социализм выделил крестьян как класс, способный быть в авангарде по причине своей многочисленности и уязвимости перед капитализмом в начале XX в.

В отличие от других социалистических стран, «уникальный путь к социализму» Польши не начался с успешной коллективизации фермерских хозяйств, таким образом провалив социалистические цели государства¹. В регионе Подлясья небольшое количество фермеров, переживших индустриализацию и модернизацию XX в., стало основой для продвижения экологических программ. Польский «крестьянин» из поговорок, отвергший коммунизм, был способен сейчас пройти необходимые ступени социальной эволюции и стать предпринимателем. Сельское население в Подлясье было разнородным, когда продвижение политики экоразвития потребовало от него воплотить идею традиционного крестьянства

¹ Кэрл Нейдженгаст (Carol Nagengast) (1991) дает наиболее полную картину истории сельского хозяйства в Польше. См. также: Buchowski and Conte, 2001; Kieniewicz, 1969; Davies, 1982; Hobsbawm 1962.

для восстановления географического и социального пространства Подлясья в идеалах экологов. Три короткие истории, приведенные ниже, представляют голос сельского Подлясья, демонстрируют, как экологические политики производят субъектов и что их производство также важно, как и материальное производство.

Грязь и экологическое богатство

Постоянные экономические неудачи Подлясья стали использоваться для объяснения его экологического богатства. Старые дубы Беловежской пуши и торфяники Бьебржского болота, два национальных парка избежали участи топора и осушения только по недосмотру социалистической модернизации. Учитывая, что многие сельские жители Подлясья связывали эти биологические атрибуты с недоразвитостью, неудивительно, что люди описывали свой мир как приближающийся к упадку, печальный, обременяющий и фрустрирующий.

Крестьянское прошлое, прославляемое экологами, вызывало стыд у местных жителей. Оно привязывало их к деградировавшему месту, отделяя от других достоинств, которые они видели. Когда структура рынка ЕС потребовала объединения фермерских хозяйств и сокращения числа фермеров в Польше, у поляков-горожан сформировалось двойственное отношение к сельским жителям, которые вели себя слишком «по-крестьянски». Другими словами, национальная фрустрация, связанная с занимаемой низкой позицией в европейской культурной иерархии «развитых» и «недоразвитых», создала систему ценностей, подчеркивающую необходимость интеллектуального управления сельскими жителями в их новой роли экологических предпринимателей. Таким образом, фигура традиционного сельского собственника требовала значительной доработки со стороны экологов, чиновников и туристов. Сельские жители воспользовались преимуществами новых экономических возможностей, используя образ самих себя как новый тип валюты. Иногда они делали это очень неохотно, а иногда с большим чувством к возможностям, предлагаемым им.

«Ты ведь не собираешься писать о всей этой грязи?» — спросил меня Марек, фермер 35 лет, во время нашей прогулки к краю дороги, глядя, как его коровы переплывают реку, чтобы пастись на общественной земле Бьебржского национального парка. Это был странный вопрос, особенно учитывая, что переплывание коров получило официальное название «*Szczśliwy krowy Brzostowego*» (счастливые коровы Бржостово), придуманное Ареком, приветливым польским экологом из Всемирного фонда дикой природы.

Бьебржский национальный парк способствовал туристическим поездкам в деревню, поэтому экологи убедили местных жителей, что древняя «традиция» «свободных» и «счастливых» коров — это то, с помощью чего простые жители смогут получить доходы и гордость за свою деревню. Подобное продвижение парка, включенное в видео для посетителя Национального парка, обычно привлекает около десятка туристов ежедневно с апреля по август. Туристы приезжают на арендованных автобусах на день, проводят ночь в *agroturystyka* Конопки, ночлег и завтрак — в непривлекательном трехэтажном доме, сделанном из некрашенных шлакобетонных блоков и без цветов в саду. Они платят небольшую сумму 70-летнему Конопке и его жене, чтобы постоять позади огороженной веревкой грязи, рядом с коровником, и посмотреть, как он доит своих коров. Каждому туристу предлагается по очереди сдавить вымя под насмешливым взглядом Конопки. Молоко затем добавляется в растворимый кофе, который предлагается выпить, стоя на высоком берегу реки, в еще большей грязи, пока стадо коров плывет по реке. На другом берегу коровы пасутся на лугах, поддерживая траву невысокой, оптимальной для размножения птиц.

Закупка в 2005 г. оборудования для доения сократила туристический поток к Конопке. Однако туристы, особенно наблюдатели птиц, все равно приезжали в деревню, и каждое хозяйство построило наблюдательные башни для них (один золотый, чтобы осмотреть небольшие просторы). Марек гордился своими коровами, потому что это были датские молочные коровы. Только два десятилетия назад у

каждого фермера была польская красная корова, которая давала меньше молока. Каждый гордился своими новыми коровами, «традиционно» переплывающими в Бржостово, но обеспокоенность Марека грязью нашла отклик и у других людей.

Элемент предательства, который обученный в американской системе антрополог может представить и не представить внешнему миру, имеет огромную значимость². Я стал понимать, почему экологи и жители деревень Бржостово могли согласиться с наименованием коров «счастливыми». Несмотря на многочисленные беды, пережитые сельскими жителями, они с экологами разделяли надежды на то, что такая стратегия поможет преодолеть разрыв между бедностью и достатком, отчаянием и процветанием. Репрезентация сельской жизни стала главным символом кампании по сохранению редких видов природы в национальных парках. Для публичного взгляда туристические брошюры и Интернет-сайты представляли работающие тела, сгребаящие сено в стога, фигуру, ведущую запряженную лошадь на выпас на рассвете, другими словами, практики, вышедшие из употребления в сельском хозяйстве ЕС³. То же, что видела я, — это места, борющиеся за то, чтобы остаться на плаву.

Зачастую остатки кружевных штор развевались из разбитых окон пустых домов, которые стояли рядом с новыми цементными сооружениями, часто

² Дима Канефф (Deema Kaneff) (2004:17) полагает, что постсоветские граждане отличаются повышенной чувствительностью к западным репрезентациям Восточной Европы. Они осведомлены о тех способах, с помощью которых западные европейцы могут неадекватно репрезентировать жизнь во время социализма.

³ Государственная идеология социализма проявлялась в деревнях преобладанием зрелищных фольклорных представлений над традицией. Особенно в регионах, где существовали колхозы (в большой степени не в Подлясье), их репрезентировали как сообщества, которые отвернулись от прежних крестьянских связей. Подобные репрезентации предполагали другую модель производства в отличие от экологических практик. Хорошее обсуждение того, как идея крестьянства используется современными социальными проектами, см.: Leonard and Kaneff, 2002.

некрашеными, выглядевшими подделкой. Эти конструкции возвышались над заброшенными домами, но, вместо того чтобы создавать ощущение будущего прогресса, здания давали ложную надежду: так выглядит огромная начальная школа в ситуации, когда количество детей в деревне сокращается. В новых домах больше комнат, чем может быть занято стареющими семьями.

Присоединяясь к обеспокоенности людей грязью и задаваясь вопросом, является ли бедность результатом структурных изменений в польской сельской местности, я интересовался тем, как деревенская жизнь репрезентируется для экологических целей. Как вовлеченность в экологические проекты создает пространство для идентичности, которое может быть использовано нацией и аутсайдерами, возможно, в тех направлениях, о которых писал антрополог Майкл Херзфельд, говоря о создании традиции в Греции. В Греции традиция и ее презентация туристам предполагает, что существуют классы граждан, маркированные традиционными, которые играют важную роль в официальном дискурсе для ЕС. Существование традиций в настоящем символизирует сохранение древних практик, связанных с политиками тела, в которых тяжелое бремя возлагается на людей, призванных быть носителями традиций. В Греции, описанной Херзфельдом, только образованные классы могли избежать суеверий и отсталости, чтобы править нацией, тогда как ремесленники несли бремя производства традиции (Herzfeld, 1987, 2005; см. также Hobsbawn and Ranger, 1992). Модернизация греческой европейской нации нуждалась в крестьянах или, по меньшей мере, в фигуре крестьянина, которая была бы свидетельством сохранения коллективных норм. В этом смысле крестьянство в Греции должно было оставаться вневременным, мифическим, чтобы предотвратить появление этого класса в истории любым другим образом (Herzfeld, 1987:40–45).

В значительной мере маргинальность, свидетелем которой я был, связана с подобной идеализацией традиции в сельской местности, которая никогда не была отделена от глубоких культурных и исторических значений. Поскольку сельское хозяйство не

подверглось всеобщей коллективизации в советский период, после 1989 г. 38% всего населения Польши составляли сельские жители. Уменьшение их количества стало целью реформ сразу же после 1989 г. Поляки-горожане, включая экологов, хотели, чтобы деревенские жители сохраняли традиции и стерли исторические условия, создавшие политики различий между городским и сельским в Польше. Другими словами, экологи хотели, чтобы «крестьяне» присоединились к современной нации, приложив предпринимательский подход к их традиционным практикам и самопрезентации.

Субсидируя традиционное сельское хозяйство в районе национальных парков, небольшой фонд ЕС действовал в тандеме с идеализацией деревни поляками-горожанами. Но в значительной степени структура рынка ЕС посылала более сильное сообщение, которое должно было быть принято польскими сельскими регионами в одностороннем порядке: консолидировать и постепенно ликвидировать малое фермерство. ЕС предоставило 25% субсидий, выделенных фермерам Германии, Франции и других «развитых» стран. Польские фермеры смогут получить полную сумму субсидий, когда их официальное число сравняется с количеством фермеров в других странах (приблизительно 5% населения в сравнении с 18% в Польше).

Таким образом, представление деревенской жизни в контексте экологического развития региона требовало проникновения в образ жизни людей, выступающих «за» и «против»: как сельские и городские жители представляют себя в отношении друг к другу и как случайность их отношений создает идентичности. Конечно, мои информанты принципиально не соглашались с сущностью сохранения природы и развития. Они направили меня к главной проблеме: что существует глубокое и стыдливое смущение, ассоциирующееся с деревней и деревенским происхождением. Поэтому мне необходимо было исследовать публичные и частные истории идеализированного и мрачного изображения деревенской жизни, чтобы составить что-то узнаваемое и полезное для них.

Важно подчеркнуть, что бедность не определяет предел отчаянья в сельской местности. Люди зарабатывают деньги с помощью субсидий ЕС, сельского хозяйства, туризма, работы в продуктовых магазинах, плотничества или других предприятий. Фрустрацию, с которой я сталкивался, испытывали как маргинальные в своем сообществе люди, так и те, кто имел финансовую стабильность и благополучие. Другими словами, реальный доход не притупляет переживаемое негодование. Отчаянье разлито в коллективном сознании. Внешний мир может угрожать им в любой момент не потому, что сельские жители, чтобы выжить, должны контактировать с ним, а скорее, потому, что политика развития национальных парков выглядит так, как если бы главное — это оставить сельских жителей на их месте, месте, ассоциирующемся к крестьянским прошлым, в то время как другие приезжают и выбирают в деревне то, что они хотят и в чем нуждаются. В этом страхе и фрустрации, связанной с трансформациями, сельские жители создают свои идентичности.

ПУБЛИЧНЫЕ И ЧАСТНЫЕ ЛИЦА

Бьебржский национальный парк способствует тому, чтобы туристы посещали многие из сотен деревень, расположенных в границах парка. В Липск, одну из деревень в дальней северо-восточной части болот, вблизи белорусской границы, приезжают, чтобы посмотреть на мастерские народного промысла. Скромное количество туристов — несколько сотен в год. В этих мастерских они могут расписать яйца, купить деревянные кубки, наблюдать за работой ткачих. Молодежь деревни, под руководством группы охраны окружающей среды, сделала фильм о Липске, который я нахожу трогательным и забавным. В двадцатиминутном видео пожилые жители демонстрируют неугомонной молодежи, как, например, ковать дверные замки или прясть шерсть «постарому». Посмотрев этот фильм на конгрессе по сохранению и защите культурного наследия болот, я приехал в Липск. С помощью туристического гида я договорился изучить ткачество у женщины шестидесяти лет, Здзиславы.

В мой приезд в феврале 2006 г. мы с Здзиславой обсуждали этот фильм. Я отметил его как лестное изображение жителей Липска. Здзислава не согласилась со мной, указав, что в фильме показаны только «старики», и впоследствии сказала: «Это все — шоу, делает ли кто-либо так на самом деле? Если они хотят видеть это, тогда им следует делать это». Она сказала мне что-то подобное месяцем раньше, когда я впервые приехал к ней с туристическим гидом. За свежее испеченными булочками и свекольным соком, предложенными жестом «традиционного» гостеприимства, я ошибочно приняла этот комментарий по поводу «делания» как то, что она хочет серьезного студента. Когда я предложила вернуться на две недели, чтобы изучить ее ремесло, она зажглась энтузиазмом, но когда я приехала во второй раз, ее настроение изменилось в первый же день занятий. Она часто напоминала мне, что ткачество — «устаревший» труд и что деньги были ее единственной мотивацией.

Во время занятий она выражала свое недовольство последствиями 16-летнего периода трансформаций. Оставшись вдовой с сыном-алкоголиком, «который не делает ничего, только пьет каждый день в течение последних 15 лет своей жизни», она вынуждена одна ухаживать за 5 гектарами ржи, большим участком с овощами, курами и свиньей во времена, когда государство более не покупает ничего из того, что производят фермеры. «У нас нет работы здесь в Липске, только неоплачиваемая работа (что в буквальном переводе звучит как: здесь нет недостатка в работе, только недостаток в оплате “*nie ma bezrobocie tylko bezplatnosc*”). Я делаю это (ткачество), потому что я вынуждена, — сказала она, указав наверх, где жил ее сын, — но это скучный, устаревший труд». Традиции тяготили ее так же, как и структурные изменения, произошедшие в регионе.

Когда она говорила о проблемах своего сына, она также выразила обеспокоенность тем, что азиатские мужчины занимают рабочие места, ранее принадлежавшие полякам. Такая история о серии контрабандистских операций, позволивших мужчинам из Северной Кореи нелегально устроиться на известном в стране судостроительном заводе в Гданьске, об-

щепринято ассоциировавшаяся с рождением антикоммунистического профсоюза Солидарность, привлекла большое внимание польских медиа. Этим азиатским мужчинам, акцентировала она, не хватает физической силы для работы. В ее рассказе была очевидна тревога за последствия международной трудовой миграции. Наш разговор продолжился обсуждением возможностей зарабатывать деньги в сфере экотуризма, и мои вопросы спровоцировали у Здзиславы живое описание возможных угроз, сопутствующих новой экономике, предложенной Липску, — экотуризму.

Она рассказала об одинокой женщине, приехавшей в Липск и попросившей ночлега. Никто еще не предоставлял таких услуг в Липске, но туристку направили к другой одинокой женщине, которая обдумывала начать работать в сфере экотуризма. Хозяйка заметила, что Адамово яблоко этой женщины выделялось, и позвонила в полицию, которая *проверила* (Здзислава жестами рук намекнула на определенную физическую проверку). Туристка оказалась мужчиной, одетым в женскую одежду и сбежавшим из города.

Рассказав эту историю, она отметила, что, действительно, нужно стараться, чтобы развлекать туристов, так как здесь немного развлечений для них. Она сказала мне, что им необходимы костры и еда, и кто-то, чтобы проводить время с ними, не упомянув тот факт, что многие туристы приезжают на болота скорее, чтобы наблюдать птиц, а не проводить время в доме хозяйки. Рассказ о мужчине, замаскированном под женщину, был способом определения границ ее мира, в котором такие правонарушения могут быть эффективно устранены законом. Она понимала, что деньги текут в ее мир сказочным путем, под видом туристов-трансвеститов. Интересно также: рассказывая эти истории, не проявляла ли она власть принять или отвергнуть предлагаемую экономику?

В сотрудничестве между экологами и сельскими жителями именно местные жители были вынуждены определить границы их мира, чтобы участвовать в экологических проектах посредством практик, тесно связанных с крестьянским прошлым и без всяких га-

рантий, сможет ли эта сфера деятельности что-то предложить им. В отличие от прошлого, когда социалистическое государство не могло контролировать сельскохозяйственное производство частных землевладельцев, сельские жители теперь были вынуждены следовать таким «стародавним» практикам, как ткачество или традиционное фермерство вблизи национального парка, которым они владеют (частная земля составляла 40% Бьебржского национального парка, учрежденного в 1993 г.). В то же время они должны были быть готовы к постоянно возрастающей конкуренции между фермерами при увеличении масштабов своего производства. Очевидно, «экологическая экономика» не может гарантировать действительные возможности для продолжения традиций, когда-то ассоциировавшихся с «образом жизни».

Здзислава была явно против того, чтобы быть привязанной к тому месту и времени, когда кто-то тклет ковры не для шоу, а в силу необходимости. Сейчас экономика требовала от нее чего-то другого, когда она не могла рассчитывать на материальное производство. Реальные или воображаемые опасения, высказываемые Здзиславой, отвечали актуальной проблеме, состоявшей в том, что ее семья не была включена в группу счастливых «современных» фермеров, получивших субсидии ЕС; что-то невообразимое встретит ее у двери.

Экологи зачастую интерпретируют поведение сельских жителей как иррациональное. «Ментальностью крестьянина» объясняется медленный прогресс экологических проектов. В классическом исследовании мотивации крестьян, русский экономист Чаянов обосновывает идею о том, что крестьяне препятствуют модернизации. Крестьянский способ производства в значительной степени полагается на семью и на деревню как единицу производства. Деревенские жители сопротивляются давлению государства, чтобы сохранить автономию, характерную для деревни, и, поступая так, остаются изолированными и отсталыми. Новые формы сельскохозяйственного производства, экологические проекты и продвижение устойчивого развития имеют двойственные последствия для сельских жителей. Экологические проекты требуют от них изменить ментальность, но

не практики работы на земле. Многие из этих практик уже устарели в последние два десятилетия, но живут в социальной истории и памяти. То, что экологи предполагают как последствие, — это включение сельских жителей в информационную экономику, где их образы — такая же важная составляющая, как и практики работы на земле. Некоторые из сельских жителей понимают требования информационной экономики лучше других.

УПРАВЛЕНИЕ ИМИДЖЕМ: ЧЕЛОВЕК ЛЕСА

«Почему человек должен искать работу, когда он может жить бесплатно за счет леса?» — сказал мне Жигмунт. Во времена социализма Жигмунт сменил ряд работ, которые он не выносил. После окончания технической школы лесных материалов он работал лакировщиком мебели на государственном лесоперерабатывающем заводе в Хайновке. Служба в армии забросила его к немецкой границе. Как и у всех жителей Подлясья, принадлежащих к рабочим/крестьянам, семейная ферма, расположенная рядом с известным национальным парком «Беловежская пуща», последним первобытным лесом в Европе, занимала большую часть его выходных дней. Длинные, тонкие ноги Жигмунта и его высокий рост подарили ему насмешливое прозвище *bocian*, аист. Но было также имя, которое он дал сам себе “*czlowiek lasu*” (человек леса).

Во многом Жигмунт воплощал в себе квинтэссенцию традиционного сельского жителя в воображении туриста. Он казался им неуловимым обитателем леса, который также является исключительным типом крестьянина, избегающего ловушек нового времени. В отличие от более предприимчивых членов своего сообщества, Жигмунт не использовал возможности своего проживания для того, чтобы предоставлять услуги ночлега и завтрака, и не учился тому, чтобы быть туристическим гидом. Также он не претендовал на субсидии ЕС, которые заставляют фермеров или уходить на пенсию, или увеличивать объемы производства. К слову, Жигмунт, как и большинство его соседей, продал коров и свиней несколько лет назад. Фермерство предполагало слиш-

ком много работы и не было прибыльным. Он хотел, чтобы я поверил, что он живет только за счет даров леса. «Я могу прожить целую зиму за счет тех грибов, которые я продаю гостиницам каждую осень». Он уточнил: «6 килограмм лисичек, собрать которые занимает 2 часа, плюс 11 км пути до Хайновки, — это 29 злотых за килограмм (10\$), посчитай-ка все это».

Жигмунт бесплатно проводил людей по лесу. Он показывал мне фотографии себя, позирующего с туристами, многие из которых останавливались в пансионе, в нескольких домах ниже по улице, собственности, выкупленной предпринимателем из Варшавы, чтобы обслуживать иностранных туристов.

Я никогда не видел, как Жигмунт ест, и иногда это беспокоило меня, поскольку его долговязое и тощее тело нуждалось в питании. С выпивкой дело обстояло по-другому. Было так много поводов пить в деревне: потерянная любовь, отсутствие подходящей женщины. Нулевые температуры делали необходимой согревающую силу самогона (*bimber*), домашнего зернового алкогольного напитка, особенно когда дом сделан только из досок, без всякого изоляционного материала. Но Жигмунт не был обычным деревенским алкоголиком. Его имя звучало во множестве фильмов, включая появление на канале польского Discovery и в показанном за пределами Польши фильме «Reality Shock». Кинорежиссер из Берлина, Станислав Муча, оценил талант Жигмунта, приехав в Беловежскую пуцу весной 2004 г. снимать пародийную комедию о расширении ЕС. Тот, кого нашли камеры в новой Европе, был Жигмунт, одетый в костюм (взятый взаймы у съемочной команды), поджигающий взрывчатку на главной улице в деревне и рассказывающий свои сокровенные знания о лесе.

Соседи высказывались по поводу актерского таланта Жигмунта. «Этот парень полон дерьма, — сказала мне Али, мелкий производитель керамических бизонов. — Люди платят ему за то, чтобы он говорил в фильме то, что он никогда не сказал бы». Она имела в виду другое знаменитое появление Жигмунта — на канале Discovery в эпизоде о вреде лесозаготовок в Беловежской пуце. Жигмунт был в роли самого себя, деревенского жителя, знающего старый

лес, рядом с журналистом Томеком, известным сторонником кампании по сохранению лесов. Ножами они чистили грибы, сидя на лавочке, как будто бы их застали за повседневной работой, и обсуждали вырубку самых больших деревьев Беловежи. Жигмунт пересказал мне свой текст в интервью: «Все говорят “*пуща*” (старинный лес). Что же, я помню этот старинный лес. Это было 40 лет назад. Тогда это была *пуща*. И лес, может быть, все еще существует, в том смысле, что он здесь есть, но это не *пуща*, потому что он зависит от людей. Лесник сеет его. Он сажит несколько сосен там, несколько елей там, но *пуща* — это дикий (*dziki roznący las*) лес».

У Жигмунта был талант преподнесения информации таким образом, что это позволяло ему получить доступ к социальному окружению, недостижимому для его соседей. Понятие спектакля Ги Дебора (1967) позволяет понять, как Жигмунт и другие сельские жители могут реконструировать свой образ традиционных крестьян. Дебор писал, что все, участвующее в «современных» способах производства, является частью мира, в котором разделены реальность и образ реальности. В этой системе все когда-либо существующее может быть поглощено самим образом прошлого опыта. Спектакль скрывает современные социальные отношения, такие как классовые и этнические различия, и акцентирует значимость простой видимости. Образ, который экологи увидели в Жигмунте, был «дикий человек», свободный и бедный.

Отношения Жигмунта с журналистом Томеком и его невестой Антонией, испанским биологом, были сложными. Далее будет проиллюстрировано, как Жигмунт использует свою маргинальность, чтобы добиться определенного положения в обществе. Томек писал для одной известной ежедневной газеты и был ведущим еженедельной программы о жизни животных на польском канале Discovery. Томек и Антония недовольно ворчали, когда говорили о Жигмунте. Они построили высокий забор. Для того чтобы попасть за него, нужен был ключ, но, несмотря на убеждения Томека и Антонии, Жигмунт проводил большую часть недели с ними. Он помогал Антонии разместить оборудование для ее диссертации

в лесу и выполнял рутинную работу в их дворе. По дороге в Хайновку в их Тойоте SUV 2006 г. Антония объясняла мне, что Жигмунт — свободный человек. «Он счастлив, потому что он не должен беспокоиться о материальных благах».

Каковы были экономические возможности Жигмунта, кроме использования своего образа?

Деревня Буды находится в 10 км от главной деревни Беловежи и является воротами в Беловежский национальный парк. Эта область была когда-то местом развитого фермерства, здесь также жили люди, работавшие лесниками в государственном лесничестве. После сокращения государственного лесничества и укрупнения сельского хозяйства некоторым пришлось искать новые способы выживания. В настоящее время около 55 мужчин в возрасте 55 лет работают нелегально и без всякой социальной защиты на владельцев частных лесопилок в деревне. Все они одиноки. Женщины брачного возраста уехали в города. Шесть хозяйств предлагают услуги для туристов, но двое из этих домов — лесопилки, что концентрирует достаток в малом количестве рук в деревне. Большинство из 100 жителей деревни — пенсионеры. Когда умирают старые жители, горожане скупают землю, чтобы построить домики для отдыха.

В этих условиях Жигмунт осознавал свои возможности. Серьезный ревматический артрит его правой руки сделал его негодным для работы на лесопилке. Нескладное телосложение и репутация алкоголика сделали маловероятным успех его кандидатуры как сотрудника пансионата. Но сложно сказать, насколько сильным было его желание действительно жить свободным в лесах, как он утверждал. «Я могу сказать только: я никогда не жалел, что я вернулся сюда (после его работы на немецкой границе 25 лет назад). Я работал в разных условиях, но ты видишь, я встретился с Томеком, который мой хороший друг (*przyjaciol*) и любит те же вещи, что и я. Мы не ходим в лес, чтобы браконьерствовать. Мы идем туда с камерой. Мы фотографируем, и позже эти фотографии, вы увидите, появляются в статьях. *Gazeta Wyborcza* (польская ведущая ежедневная газета), многие люди знают меня там как человека, ко-

торый был рожден в лесу и должен умереть там. И я даже *хочу* умереть в лесу!».

Но мне интересно, насколько недостаток материального благополучия провоцировал его алкоголизм и, далее, интерес к нему людей, использующих его как «человека леса» в фильмах с экологической тематикой. Томек сказал мне, что Жигмунту платили 20 злотых за каждое появление в шоу Томека, это около 7\$, на которые Жигмунт мог купить 4 бутылки пива. Томек признался, что он частенько давал Жигмунту денег как его настоящий «*przyjaciol*» (близкий друг). И хотя Жигмунт хвастался, что получил 30 000 злотых за свое участие в фильме *Reality Shock*, который был участником фестивалей в Праге и Берлине, но через два года после выхода этого фильма Жигмунту даже не была прислана его копия. Томек считал, что Жигмунт был полон иллюзий по поводу *реальности*. «Он пропил бы все это, если бы у него было столько. Мы бы не видели Жигмунта месяцами».

Жигмунт был озадачен тем, что другие люди говорят о нем. И вместо того чтобы принять позицию других жителей деревни о нем, Жигмунт старался познакомить меня с перечнем своих достоинств, что позволило мне понять, почему Антония и Томек, так же как Станислав Муча и другие, поддерживали Жигмунта.

Например, Жигмунт увидел собаку Томека у магазина, и он знал, что собака не может быть здесь, так как Томека и Антонии не было в городе, поэтому он пошел к их дому, где остановился редактор *Gazeta Wyborcza*. Жигмунт рассказывал:

«Я сильно кричал, но никто не вышел из ворот. Поэтому я позволил себе зайти в дом, и «*Bombelka*» (зенитка), ее звали так, потому что это была круглая женщина, вышла из кухни. Шкафчик со спиртными напитками Томека был открыт. Стекло в шкафчике разбито, в ванной течет вода и уже переливается на пол. Конечно, я стал убирать все это. Я привел в порядок эту женщину и сказал ей уйти. Я убрал в доме и поехал в Хайновку, чтобы купить стекло для Томека. Позже, когда Томек вернулся, я рассказал ему, что случилось, и он позвонил этой женщине по громкой связи. Она не знала, что я слышу. Он спросил ее, что случилось, и она обвинила меня во всем. К счастью

для меня, *Pani Prezes* (Госпожа Президент, жена деревенского сборщика налогов) ранее подтвердила мою историю, поэтому Томек знал, что действительно случилось. И Томек стал ругать эту женщину по телефону».

Жигмунт рассказывал мне эту историю с необычайной серьезностью, без всякой тени бахвальства. Жигмунт конструировал свою надежность и социальный капитал в этой истории. Он как-то получил доступ к дому Антони и Томека, хотя они жаловались мне, что он проводил у них слишком много времени и что Жигмунт врывался пьяным и пытался заставить редактора пить с ним. Он создал сеть социальных связей, которую многие из его соседей не имели. Но его соседи не завидовали ему, потому что он оставался бедным алкоголиком, который нес бремя коллективной репрезентации деревни. Был ли Жигмунт таким негодяем, как многие говорили? Говоря о бедности Жигмунта и его проблемах с алкоголем, могут ли они разрушить его гордую самоидентификацию как «человека леса», который сделал очень много для сохранения природы и появления своей деревни на карте национальных и международных медиа?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Что же следует из представленных случаев? Переход к капиталистической системе принес изменения, которые поставили под сомнение возможное значение понятия свободного капиталистического рынка. Сельские жители северо-восточной части Польши были поставлены перед необходимостью занять свое место в глобальной системе отношений, в которой их позиция внешне предопределена. Городские элиты, заинтересованные в защите окружающей среды, решили, что деятельность деревень Подлясья будет экологической. Сельские жители были вынуждены оставить логику экономической рациональности, следуя которой они могут соревноваться как современные фермеры или переехать в города и не заниматься фермерством. Экология репрезентирует высокий моральный порядок, в котором деревенские жители охраняют природу и аутентич-

ный, традиционный образ жизни. Ирония заключается в том, что мотивация их участия в этом высоком моральном порядке была тем не менее экономической необходимостью, рожденной в результате осознания того, что они не могут участвовать на равных в современном капиталистическом рынке. Их возможности ограничены попытками поймать некоторые из потоков капитала, циркулирующего на поле, недоступном для них, с помощью представления самих себя как традиционалистов. Переход к капитализму на северо-востоке Польши был примером тому, как можно маневрировать на новом экономическом ландшафте, сложность которого состоит в том, чтобы, создавая спектакль, получить социальный, если не экономический капитал.

Например, у Жигмунта не хватало ресурсов, чтобы продолжить участие в новой «экологической» экономике в более приемлемой форме. Он преуспевал с помощью создания своего образа как «свободного человека леса» и действовал как человек, хорошо знакомый с кругом новой элиты — артистов и экологов, которые стекались к лесу. Но тем не менее, честно говоря, он и не жил за счет леса, и не был частью культурной элиты.

Жигмунт выстраивал свой социальный капитал в деревне как стратегию выживания. Хотя это еще не приносило ему финансовой стабильности, он приобрел статус знаменитости, так что люди в разных городах Европы и Польши узнавали его в фильмах. Жигмунт говорил, что он хотел быть «человеком леса» и не мог воплотить этот образ в социалистический период, по крайней мере как известный человек леса. Экономика экотуризма нуждалась в «человеке леса». Роль «человека леса» так, как это делал Жигмунт, креативный алкоголик со склонностью привлекать и поддерживать доверие и внимание посторонних людей, служила как целям экологов типа Томека и Антонию, так и воображению туристов, находивших типаж Жигмунта в «последнем первобытном лесу» Европы.

Исполнение роли следования традиции может быть способом сопротивления силам, которые дестабилизовали сельскую жизнь, но только в той сте-

пени, в которой деревенские жители, действительно, подрывают навязываемые им образы⁴. Здзислава, Марек, семья Конопка и Жирмунт в определенной степени участвуют в «экологических» проектах, но не получают всех возможных выгод от этой новой экономики. Соппротивление деревенских жителей городским реформаторам состоит в завладении способами репрезентации и в разнообразном преломлении способов следования традиции.

Для одних людей, таких как ткачиха, отсутствие контроля над созданием образа, например, при производстве фильма или над стратегией экологов конструировать ручной труд как «экологичный» переживается как оскорбление. Здзислава репрезентирует себя как высокопрофессиональная ткачиха, которая понимает международные тенденции на рынке труда и непредсказуемость туристического рынка.

Таким образом, деревенские жители, переживая реальные изменения собственной позиции, связанные со структурной перестройкой польской сельской местности, не всегда отвергают экологический дизайн для своего места жительства, не всегда и принимают его. Сельские жители пробуют возможности участия в этой экономике, играя своей идентичностью. Экологические проекты, такие как национальные парки, экотуризм и экологические сельскохозяйственные субсидии, привязывают сельских жителей к их месту, по крайней мере на уровне репрезентации, в то же время новая современность ЕС маячит впереди, обещая доступ к миру больших воз-

⁴ Идея сопротивления основана на теориях власти. Например, понятие «управляемости» у Фуко раскрывается через комплексные отношения, возникающие посредством взаимовлияния субъектов (1984). Зачастую исследователи экологических политик используют это понятие для анализа того, как люди управляют собственной жизнью в ответ на неолиберальные схемы развития (Agrawal, 2003). Тем не менее для понимания того, как люди позиционируют себя, можно использовать разнообразные подходы, включая Scott (1985), или посредством более широких социоэкономических теорий развития, таких, Nester (1999). Для целей данной статьи я только лишь наметил основные нарративы, которые схватывают возникающие способы принятия и отвержения новых субъективностей.

возможностей за пределами их местности. Когда жители играют под прикрытием традиционных образов, как делает Жигмунт, они могут стать пародией, чудаками, которые привлекают съемочные команды, находящиеся в поисках аутентичного, или они могут стать партнерами. Но как показывает данная статья, это не означает, что сельские жители не активны в игре с этими репрезентациями. Практические последствия создания экологического региона неотделимы от последствий структурных преобразований польских сельских районов со стороны ЕС. Как люди распределяют свои «традиционные» роли в ответ на эти изменения, тесно связано с их пониманием того, что они приобретут или потеряют, участвуя в производстве образов — процессе, о котором сейчас сельские жители гораздо более осведомлены и к которому гораздо более чувствительны, чем городские или экологические элиты зачастую думают или способны признать.

ЛИТЕРАТУРА

Agrawal, Arjun. 2003. "Environmentality: Technologies of government and the making of subjects." York Centre for Asian Research, Asian Environment Series.

Buchowski, Michal and Edouard Conte and Carol Nagengast. 2001. *Poland beyond Communism: Transition in Critical Perspective*. Memphis: University of Memphis.

Davies, Norman. 1982. *God's Playground a History of Poland Volume II*. Oxford: Oxford University Press.

Debord, Guy. 1968. *Society of the Spectacle*. Detroit: Black and Red.

Foucault, Michel. 1984. *The History of Sexuality, Volume 2: The Use of Pleasure*. New York: Vintage.

Hechter, Michael. 1999. *Internal Colonialism: The Celtic Fringe in British National Development*. New Brunswick: Transaction.

Herzfeld, Michael. 1987. *Anthropology Through the Looking-Glass: Critical Ethnography in the Margins of Europe*. Cambridge: Cambridge University Press.

Hobsbawm, Eric. 1962. *The Age of Revolution, 1789-1848*. New York: New American Library.

Kieniewicz, Stefan. 1969. *The Emancipation of the Polish Peasantry*. Chicago: University of Chicago Press.

Kaneff, Deema. 2004. *Who Owns the Past?: The Politics of Time in a 'Model' Bulgarian Village*. New York: Berghahn.

Leonard, Pamela and Deema Kaneff. 2002. *Post-socialist Peasant?: Rural and Urban Constructions of Identity in Eastern Europe, East Asia and the former Soviet Union*. New York: Palgrave.

Nagengast, Carol 1991. *Reluctant Socialists, Rural Entrepreneurs: Class, Culture, and the Polish State*. Boulder: Westview.

Scott, James. 1998. *Seeing like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition have Failed*. New Haven: Yale University Press.

ABSTRACT

This article explores how Polish rural inhabitants react to the impositions of ecological promotions. When ecological discourses enter the countryside in tandem with structural changes for agriculture, rural people selectively choose how to reinvent themselves given a limited range of possibilities. Poland's large rural population, which was never collectivized during socialist modernity, has become the focus of intense celebration and scrutiny for their ecological practices and authentic ways of life in the present. At the same time the large rural population has also been a burden for Poland as the nation seeks to gain full membership benefits from the EU. I analyze the reframing of the countryside as fewer people farmed and more people participated in an ecotourist economy. I pay close attention to the cultural laments as well as cultural resources rural people employ when they are cocooned by ecologists into representations of their traditional selves.

Keywords: ecology, village, peasant, Poland, image management.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПАТРИАРХАЛЬНОМ УКЛАДЕ ЖИЗНИ В СЕВЕРНОЙ АЛБАНИИ

Может показаться излишним комментировать тот факт, что стремительные изменения, произошедшие в Албании в последнее столетие, связаны с переходом от традиционной (сельскохозяйственной) экономики через период жесткого коммунизма к падению последнего. Последствия этих резких и внезапных изменений видны на все еще преобладающем патриархальном укладе общества Северной Албании. Несмотря на некоторую степень признания этих изменений, существует осязаемое сопротивление им. Патриархальная система настолько глубоко укоренилась в обществе, что новые свободы посткоммунистической эры воспринимаются, особенно в сельской местности, как угроза и вызывают откат к традиционным ценностям.

Ключевые слова: Албания, патриархат, гендерные роли.

Берит Беккер, антрополог из Норвегии, в посмертно опубликованной работе (Basker, 2003) отметила, что «албанское общество» считается одним из наиболее патриархальных в мире». Далее, она описывает «патриархальный треугольник», выделяя социальные признаки, лежащие в его основе: а) определение родства по мужской линии, б) экзогамия внутри деревни и в) наследование по мужской линии (Basker, 2003: 228). Исследование Беккер проводилось в 1970-х гг. и было описано в 1980-х. Оно было сфокусировано на албанской деревне Косово (в то время зарубежные антропологи не имели возможности проводить исследования в Албании).

Несмотря на то что политическая ситуация в Албании во второй половине XX столетия была совсем

другой, традиционная жизнь в этих районах почти не изменилась. Во времена коммунистической диктатуры (1945–1991) жителям Албании запрещено было покидать страну, за исключением случаев насильственной миграции. Насильственная миграция происходила в случае, когда в каком-либо регионе страны ощущалась нехватка рабочей силы или, что было куда страшнее, если один человек или вся семья объявлялись врагами народа, и заключалась в том, что рабочие отправлялись в ссылку в отдаленные села или в один из тюремных лагерей. Многие подверглись преследованиям за свои религиозные и политические убеждения. Даже переезд в другой город был возможен только с разрешения правительства. Известен случай, когда женщине по обычаю того времени было запрещено видеться с мужем, арестованным за политические взгляды, и ей даже пришлось отречься от него. Одинокая женщина не могла выжить и поэтому взяла на себя роль мужчины и стала носить мужское платье¹.

Тем не менее система образования за этот период очень изменилась, в результате предпринятых шагов уровень безграмотности снизился с 95% (перед Второй мировой войной) до 5% к моменту падения коммунизма. Более того, учителя пользовались уважением, а ликвидация безграмотности среди взрослого населения была практически всеобщей благодаря вечерним курсам. Экономический кризис и другие разрушительные изменения, наступившие после падения коммунизма, создали ситуацию, когда учителя больше не могли жить на свою зарплату, которая осталась прежней при высоком уровне инфляции и взлете цен. Две трети сельского населения переехали в города или даже за границу. К 1993 г. 5000 учителей покинули страну (de Waal, 2005: 193). При этом многие дети больше не могли посещать школы: в сельской местности дорога в школу (обычно пешком) могла быть опасной; кроме того, помощь детей часто требовалась в хозяйстве. Дети не ходили в школу также из-за постоянных случаев кровной вражды. Не по карману многим стали школьные учебники, заново издаваемые каждый год. Во вре-

¹ То есть дала обет безбрачия, явление, которое мы рассмотрим позже.

мена правления Бериши (в конце 1930-х — начале 1940-х гг.), когда Албания пережила короткий период роста национального движения, 40-летнему режиму Ходжи в школьных учебниках выделялась всего одна страница, а в 1997 г., когда к власти пришла Социалистическая партия, учебники по истории снова подверглись пересмотру (de Waal, 2005: 191).

В Албании связи между родственниками, даже дальними, всегда были очень крепкими, а честь семьи играла важнейшую роль. Новые технологии, в особенности мобильная связь, изменили традиции общения, когда очень долгие приветствия, например: «Как твои дела? Как отец? Как твой брат? Как работа? Как твои сыновья? Как твоя семья?» пришлось сокращать из-за высокой стоимости разговоров. Мобильная связь опередила в распространении обычную телефонную связь в стране, где при коммунизме только один из тысячи обладал домашним телефоном. Сейчас более 70% населения использует личные средства связи (данные на 2004 г. показывают, что более трети населения пользуется мобильными телефонами).

ГЕНДЕРНЫЕ РОЛИ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРУДА

«Канун» Лека Дукагини («Kanun» of Lek Dukagjini) — свод устных законов, появившийся в XV веке, — был записан Штефаном Гжечовым (Shtjefën Gjeçov) всего столетие назад. Эти законы, по которым жители Северной Албании жили несколько веков, дают подробное описание жесткого гендерного разделения труда, существовавшего в североалбанских Альпах. Традиционно мужская работа — это тяжелый ручной труд (колка дров, косьба, сбор урожая, защита дома и хозяйства), ведение разговора с гостем, угощение гостя табаком или выпивкой, принятие серьезных решений, представление семьи вне дома, защита чести дома и семьи.

Традиционные обязанности женщины заключаются в воспитании детей, приготовлении еды, уборке дома, уходе за мужчинами в доме и за гостями (в том числе омовении ноги), обеспечении водой и поддержании огня, уходе за животными и продаже молочной продукции на рынке, обработке и сохране-

нии продуктов питания, обработке шерсти и ткачестве, стирке и починке одежды, пошиве одежды для всей семьи, для приданого и на продажу, вышивании. Кроме того, им приходилось брать на себя мужскую работу во времена междуусобиц или страды, и зачастую параллельно с выполнением описанных занятий они еще пряли или вязали. Таким образом, каждый занимал свое место в сложной иерархии, построенной на гендерных отношениях, и действовал так, как это ожидалось в обществе.

Де Вааль с удивлением обнаружила, что в албанских учебниках по гражданскому воспитанию за 6-й класс рассматривается «Канун». Более того, многие выпускники выступали за сохранение «Кануна» в учебниках. По ее мнению, и «Канун», и все другие проявления религии, обсуждение которых было запрещено во времена коммунизма, сохранились благодаря тому, что обычно все три поколения одной семьи жили рядом. Автор обнаружила свидетельства того, что девушки в области Мирдита поддерживают законы «Кануна» в том, что касается договоренного замужества, причем они не обязательно происходят из *фанатичных* (очень традиционных) семей; они считают, что эта традиция стоит на страже их чести. Де Вааль даже сталкивалась с тем, что девушек, вышедших замуж в конце 1980-х без формальной договоренности между семьями, считали опозоренными. Де Вааль также отмечает, что на одной из свадеб, где ей довелось присутствовать, тамада совершенно открыто вел список точных сумм, подаренных каждым гостем, в соответствии с запутанной подробной системой ценностей «Кануна».

Городское население адаптируется к изменениям довольно быстро, тогда как затрудненный доступ в горные деревни Северной Албании обуславливает очень медленное развитие в этих районах. Существуют данные, подтверждающие усиление традиционных ценностей в посткоммунистическом обществе, например, сельские кооперативы больше не привлекают женщин к работе вне дома. Образование, особенно в сельской местности, пришло в упадок под влиянием нескольких факторов: крайне низкая зарплата учителей, миграция образованных людей как в города, так и за границу, а также участвовавшие

случаи похищения девушек. Кроме того, родителям необходима помощь детей в хозяйстве. Со снижением уровня образования повышается доверие к традиционным ценностям. Кровная месть, подогреваемая бедностью, нехватка ресурсов и в особенности нерешенные вопросы владения землей тоже заставляют все чаще обращаться к вековым законам «Кануна» (запрещенного при коммунизме). Все эти факторы приводят к тому, что женщины возвращаются к традиционной роли прислуги, а недостаток образования усугубляет ситуацию, не позволяя им покидать семью своего мужа, даже если муж уезжает на поиски работы и лишь изредка и ненадолго возвращается домой.

С другой стороны, некоторые городские привычки быстро проникли в общество, например, сейчас нет ничего удивительного в том, что девушки носят джинсы даже в деревнях. Тем не менее девушки не должны ни в коем случае находиться вне дома без сопровождения, поскольку это может породить слухи или сомнения в их невинности. Такой обычай является нормой в сельских районах, однако не так строго соблюдается в городах. Недавно мне довелось наблюдать, как молодая жена приехала навестить свою семью в деревне Сеси (Thethi) на две недели. Все это время она носила джинсы. Однако, собираясь назад, молодая жена, согласно традициям одеваться как можно изящнее в первые годы замужества, в ярко-розовом платье до щиколоток и со щедрым макияжем на лице, села в старый фургон, который должен был отвезти ее назад к мужу. Такой внешний вид она посчитала подходящим для возвращения к мужу и его семье в город Шкодер (в 7 часах езды по пыльной дороге).

Резкий переход от самого строгого коммунистического режима в Европе к «демократии» вызвал собой сильные противоречия. Они выражаются в такой, например, картине: мужчина на осле везет спутниковую тарелку в свою горную деревню, где канал MTV — это что-то инородное, с учетом того, что в регионе нет водопровода, а путь в туалет проходит через отару овец.

Городскую жизнь, особенно в столице Тиране, от трудностей сельской жизни отделяют ка-

жется, сотни лет. Тирана — относительно молодая, но стремительно превратившаяся в мегаполис столица, процветающая благодаря международным организациям, в которых работает множество граждан страны и еще многие рассчитывают получить выгоду благодаря им. Миграция из сельских районов привела к удвоению количества жителей Тираны в последние десять лет XX в. Большинство таких мигрантов строят дома на неплодородной земле, без разрешения, и поэтому без канализации, электричества и прочих удобств цивилизации.

Всего за несколько лет массово производимая одежда перестала быть серой и однородной. Несмотря на зарплату всего 30\$ в месяц в первые годы после падения коммунизма, мода довольно быстро захватила молодежь столицы. Они следовали веяниям Запада, отбрасывая вековые традиции своей родины.

Тем не менее в результате резких перемен, произошедших в начале 1990-х, многие женщины оказались снова в роли обычных домохозяек, без права выхода на работу. Как бы то ни было, возможность устройства на работу для женщин снизилась во много раз в 1990-е гг.² В Северной Албании возобновились случаи кровной мести, причем некоторые из них имели корни 50-летней давности. Традиции переживали периоды упадка, однако еще никогда случаи, когда женщины возглавляли хозяйство, не были так редки. Кровная месть затрагивала целые семьи и даже деревни, зачастую ее вызывали споры относительно землевладения, поскольку четкого управления перераспределением земель не существовало после того, как государство от них отказалось (в 1991 г.).

Возможно, именно эти противоречия в обществе способствовали возвращению к патриархальному укладу в Северной Албании; даже если мужчины уезжали в города или за границу в поисках работы, это возлагало еще большую ответственность на женщин, которые оставались заботиться о детях, стариках и хозяйстве.

² Nixon, N. Absence of Gender: Albania's National Strategy on Migration / N.Nixon // Albanian Journal of Politics. Vol. II. 2006. P. 44.

Тем не менее сейчас — в начале XXI в. — роль женщины претерпевает серьезные изменения. Международное влияние очень заметно в Тиране, столице Албании, и возрастает даже на севере — в городе Шкодер. Однако, как утверждают албанские социологи Инес Мурзаку (Ines Murzaku) и Зюхди Дервиши (Zyhdi Dervishi), «положение женщины стало еще более хрупким под влиянием противоречий традиционной, коммунистической и “западной” систем ценностей» (Muzaka and Dervishi, 2002: 8). Они также утверждают, что жизнь женщины сейчас сложнее, чем во времена коммунизма; «в современной Албании большинство взрослого населения, в особенности девушки, рассматривают замужество как основную цель в жизни... и... видят главную цель замужества в рождении детей» (Muzaka and Dervishi, 2003: 231). Кроме того, «многие албанские женщины продолжают жить с мужьями, которые жестоко с ними обращаются, из-за боязни публичного осуждения», «в албанском обществе существуют проявления дискриминации по отношению к разведенным женщинам. В Албании для мужчины считается тяжелым оскорблением, если его жена подала на развод» (Murzaku and Dervishi, 2002: 9–10).

За последние десять лет в Северной Албании все более возрастает роль мужчины в качестве главы семьи вследствие крушения идеи коммунизма. Ситуация не менялась веками, но, как ни странно, несмотря на строительство коммунизма, очень мало что изменилось в традиционном сельском укладе жизни за эти пятьдесят лет, с учетом осознанной необходимости в том, чтобы во главе семьи находился мужчина.

СЕКСУАЛЬНОСТЬ

В таких обществах о сексуальности приходится говорить с позиций, совершенно незнакомых современным представителям Запада. В сельской местности Северной Албании сексуальная активность женщины рассматривается исключительно как детородная функция. Западный интерес к сексуальности и вера в ее универсальность здесь оценивались бы как сильное преувеличение и даже заикленность. Сек-

суальная активность строго ограничена семейной жизнью. Если мальчиков в семье всячески балуют, то девочек постоянно охраняют/сопровождают, с тем чтобы они блюли честь семьи; им запрещено общаться с мальчиками в период полового созревания, поскольку девочка «не способна сохранять целомудренность» (Prifti, 1975: 112). Йан Витакер (Ian Whitaker) сообщает, что жители Северной Албании «похоже, очень сдержанны во внешнем выражении сексуальных переживаний... несомненно, целомудрие — это одно из ключевых понятий в цепи прав, составляющей идеал семейной чести, на котором базируется кровная месть» (Prifti 1989: 199).

Если женщина-одиночка родит ребенка (что является крайне редким случаем), она будет скрывать это, отдав его на воспитание родственника, или (что намного менее вероятно) попытается эмигрировать. Если женщина рождает ребенка вне брака, она навлекает на свою семью такой позор, что зачастую отец и братья считают себя обязанными убить такую мать³. Как выяснилось во время войны в Косово 1999 г., то же самое применимо к женщине, которая забеременела в результате изнасилования. Некоторые из таких жертв изнасилования были убиты собственными мужьями, другие покончили жизнь самоубийством, очень немногие из них получили прощение семьи. Такое же отношение ждет девушку, если она имела сексуальную связь до брака, даже если пара собиралась пожениться или девушку принудили к такой связи⁴. Хотя это основная цель феминистского движения на Западе, еще более важно для Албании прийти к пониманию того, что ново-

³ Это покажется преувеличением, но довольно распространено и в других частях света. Например, Сюзанна Голденберг в своем отчете «Crime puts Iraqi women under house arrest», (The Guardian, 11 Oct., 2003) провела анализ силы «чести» и обнаружила «50 подозрительных смертей женщин за последний месяц, как жертв насилия, так и жертв “убийств чести”».

⁴ Когда я выступала международным юридическим свидетелем-экспертом, мне представилась возможность ознакомиться с несколькими случаями, когда албанских девушек похищали и заставляли заниматься проституцией, и из-за страшных последствий в случае их возвращения домой им было предоставлено убежище на Западе.

брачная хотела бы основать свою собственную семейную ячейку, вырваться из цепей традиций, тогда как обычно молодую жену привозят в дом к родителям мужа и требуют от нее выполнения роли прислуги. Существует достаточно сильное неприятие чуждой молодежи, пытающейся вырваться из дома, поскольку это противоречит традициям заботы о старших и продолжению семейственности.

Несмотря на массовую миграцию мужчин, считается обычным то, что ближайший родственник мужского пола возглавляет семью, оставшуюся без главы, если только нет женщины, которая готова взять на себя эту роль. Обычно такие женщины становятся «давшими обет безбрачия», то есть переходят от исполнения бесправной женской роли к осуществлению полномочий, связанных с реализацией юридических и культурных прав.

В некоторых обстоятельствах этот статус может быть юридически обоснован. По законам «Кануна» женщины не могут наследовать, часто им даже не дают имен; от рождения их называют «дочерью такого-то», а выйдя замуж, они сначала становятся *нусе*, затем «молодой женой такого-то», «женой такого-то» и, наконец, «матерью такого-то» (Hasluck, 1981: 33). Высокий процент мужчин умирает от ранней насильственной смерти в результате кровной мести; Карлтон Кун в своих исследованиях по Северной Албании 1920-х гг. приводит данные о 30% мужчин, погибших в результате кровной мести (Coop, 1950). Несмотря на то что кровная месть была остановлена во время коммунистического периода, она с новой силой вспыхнула в 1990-х гг.⁵

В традиционно патриархальном обществе Южных Балкан долгое время существовала возможность представить мужского наследника в случае, когда такового не существовало: девушка или женщина или ее родители еще при рождении объявляли, что она стала мужчиной. В этом случае женщина начинает одеваться как мальчик/мужчина, исполняет

⁵ Например, в переводе статьи из «Дела» — «Honor Killing Makes a Comeback», Guardian (14 Aug. 1996) — словенский журналист Б. Джолис указывает, что в ней участвовало до 50 000 человек, и 5000 из них были убиты к 1996 г.

мужские обязанности и общается как мужчина. В этот момент она дает обет безбрачия и больше никогда не может вернуться к своему полу. Таким образом обеспечивается наследование в семье. Такой способ также открывает возможность девушке отказаться от брака с мужчиной, который был выбран ей в супруги. «Давшие обет безбрачия» до сих пор живут в Северной Албании⁶.

Патриархальное общество в Албании предоставляет лазейку женщинам на случай необходимости вести хозяйство, тогда как обычно у них нет прав владеть собственностью или возглавлять семью. Несмотря на то что законы в Албании позволяют женщине владеть собственностью, женщины отдаленных северных районов могут не знать об этом, а если и знают, то не осмелятся, да и не сумеют, отстаивать свои права. Однако если они возьмут на себя роль мужчины («давшие обет безбрачия», как их называют), то могут носить мужскую одежду, общаться с мужчинами и таким образом полностью воспринимаются как мужчины в патриархальном обществе. Такие «мужчины» все еще встречаются, но вестернизация непременно повлияет на принятие подобных решений в будущем. Потребовались годы, чтобы найти хотя бы одного человека в Тиране, который имел бы понятие о «давших обет безбрачия», еще меньше людей верит в то, что такой «пережиток» все еще существует в их стране.

Утверждается, что такие традиции, как обет безбрачия во имя образа жизни мужчины, а также следование всем предписаниям «Кануна», уже давно забыты. Тем удивительнее было обнаружить по возвращении в Албанию в начале 1990-х многочисленные случаи, когда «давшие обет безбрачия» были полностью признаны обществом Северной Албании,

⁶ На смежной территории Западного Косова также проживают «давщие обет безбрачия». В книге «Women Who Become Men: Albanian Sworn Virgins» («Женщины, ставшие мужчинами: обет безбрачия в Албании») времен войны в Косово (когда были убиты или пропали без вести 11000 мужчин) высказано предположение о том, что это может вызвать возрождение такой традиции в прилегающей к Албании области, отличающейся патриархальностью. Этому есть свидетельства, но они еще не изучены.

причем жители этого региона не имели представления о том, насколько уникально это явление.

Несколько авторов книг о путешествиях, посещавших эту область в XIX и XX вв. до Второй мировой войны, отмечали явление «давших обет безбрачия» и детально их описывали (Gordon, J. and C.J., 1927: 238–39; Newman, 1936: 260–61; Durham, 1928: 194, 211). Среди них были и такие известные люди, как лорд Байрон и Эдвард Лир (1988). Все эти писатели упоминали «Канун», и многие из них — «Албанских дев» (Allcock and Young, 1991; Duka, 1994; Lane, 1923; Meta, 1987). Дикеманн описывает их как «транс-сексуальных индивидуумов, которые генетически являются женщинами, ставшими социально мужчинами, живущими мужской жизнью... обычно они принимают пожизненный обет безбрачия, когда становятся мужчинами» (1997: 248).

Иан Витакер писал на тему «давших обет безбрачия», но мог сослаться лишь на опубликованные источники. Его сенсационный заголовок: «A Sack for Carrying Things: the Traditional Role of Women in Northern Albanian Society» («Мешок для переноски: традиционная роль женщины в обществе Северной Албании») широко цитировался, привлекая внимание к предмету (Whitaker, 1981: 146–56). Этот известный отрывок, конечно, относится к статье 29 «Кануна» Лека Дукагини: «Женщина — это мешок, который должен приносить пользу все то время, пока она живет в доме своего мужа» (Gjeçov, 1989: 38), другими словами, это утроба, которая приносит сыновей мужу, но у нее самой нет никаких прав, даже в отношении собственных детей.

Отношение же к «давшим обет безбрачия» полностью противоположное — они весьма уважаемы в своей мужской роли. Это явление поддерживает строгую патриархальную систему, все еще существующую в Северной Албании, при том что дает возможность женщине вести более свободную жизнь. Эта легальная смена пола предоставляет доступ к власти и социальному контролю внутри сообщества. Если женщине необходимо возглавить хозяйство, она дает обет безбрачия и принимает на себя эту роль. Однако клятву ни в коем случае невозможно взять назад. Обычно клятва произносится в присутствии

24 свидетелей и обязывает «давшую обет безбрачия» вести целомудренную жизнь мужчины, хотя обряд клятвы сейчас редко соблюдается. Такой вариант также доступен любой женщине, которая хочет отказаться от договоренного замужества без того, чтобы нанести оскорбление, которое могло бы привести к кровной мести.

Принятие любого решения возлагается на главу хозяйства (который должен быть мужчиной). Обязанности главы хозяйства отличаются от обязанностей других мужчин в семье. Он принимает все решения (даже в отношении покупок или обучения детей), он контролирует семью, принимая на себя ответственность за честь семьи, он представляет семью на собраниях деревни и распоряжается хозяйством. Если у мужчины нет сыновей, а есть только дочери, он может принять решение с рождения воспитывать одну из них, скорее всего младшую, как мужчину, с тем чтобы подготовить ее к необходимости возглавить хозяйство. Одна такая девушка по имени Меди была младшей из трех дочерей в семье, где не было сыновей. На момент моей встречи с ней ее отец был полицейским, вышедшим в отставку. Ее воспитывали как мальчика с того момента, как родители решили больше не рожать детей, но поскольку ее отец был все еще жив, она приняла на себя роль мальчика/мужчины, но могла стать во главе хозяйства только после смерти отца. Это дало ей куда лучшую подготовку по сравнению с теми девушками, которым пришлось взять на себя такую роль неожиданно, когда оказалось, что больше никто в семье не может быть лидером. Более того, Меди пошла по следам отца и уехала из родного города для того, чтобы учиться на полицейского в Тиране (в то время в Албании не было ни одной женщины-полицейского) (Young, 2002: 88–89).

«Давшие обет безбрачия» носят мужскую одежду, курят и употребляют алкоголь, иногда носят ножи и (или) пистолеты (чего не делают женщины) и принимают на себя обязательства по исполнению кровной мести. Они перенимают мужскую речь и манеры таким образом, чтобы их настоящая половая принадлежность не проявлялась. В обществе к ним относятся как к мужчинам, используя ме-

стоимения мужского рода как в разговоре с ними, так и при их упоминании. Режиссер Срджан Каранович утверждает, что «давшая обет безбрачия» является мужчиной не с точки зрения сексуальности, но с точки зрения социальной власти».

Взвешенный выбор стать мужчиной или превратить дочь в сына воспринимается как большая честь, и ее носитель получает статус и уважение. Здесь речь не идет об отрицании сексуальности, поскольку этот аспект не имеет значения. Что имеет значение — так это честь: быть мужчиной — почетно, тогда как женщина — это недочеловек. Такая почетная смена пола не для всех возможна, поскольку позволена только в тех случаях, когда это действительно необходимо, в основном если нет мужчины, который мог бы стать во главе семейства. Именно в этой области можно наблюдать изменения. В последние годы все больше проявляется размывание границ: некоторые женщины объявляют о своей независимости, одеваясь как мужчины. Анила из Сеси (Thethi) говорит, что это не только дает свободу передвижения по деревне, но и защищает от возможного похищения⁷.

Не следует путать понятия «давших обет безбрачия» и лесбиянства. Иан Витакер и Том Парфитт четко указывают на то, что подобные рассуждения находятся вне понимания в обществах, где живут «давшие обет безбрачия» (Young, 2001: 67 сноски 21 и 22). Французский режиссер Агнесс Берт говорит об этом в своем интервью с Хаки в своем фильме 2004 г. «Tu Seras un Homme, ma Fille» («Ты будешь мужчиной, дочь моя»). Точно так же Пашке в том же фильме находит подобную мысль неприемлемой. Мужской гомосексуализм был недопустим в Албании до 1995 г. (о женском даже речи не шло) и до сих пор воспринимается враждебно; сейчас в Тиране (и, возможно, не только в этом городе) гомосексуальность получает какое-то признание, но, конечно, не одобрение.

«Давшие обет безбрачия» получают большую свободу, так как могут выходить из дома, когда им нужно, общаться с мужчинами и даже путешествовать. Обладая такими правами, они полностью

⁷ В фильме «Pashke and Sofia», режиссер Karin Michalski, 2003 г.

принимают свои обязанности. В моей книге можно найти несколько случаев, когда женщины живут так на рубеже XXI в. (Young, 2001: 69–95)⁸.

По прошествии более десяти лет после падения коммунизма в современной Албании помимо хозяйств, возглавляемых «давшими обет безбрачия», наблюдается рост хозяйств, управляемых женщинами, но эти случаи не получают такого одобрения. Массовая эмиграция, в особенности среди мужчин, которые ищут работу за рубежом, очень повлияла на положение женщин. Это не обязательно привело к увеличению количества одиноких женщин или женщин, возглавляющих хозяйство. Они не только не станут нарушать традицию, но и могут стать жертвой похищения с целью продажи в Италию или другую страну в качестве проститутки. Именно из-за такой вполне реальной опасности многим девушкам заставляют посещать школу (Quin, 2003).

ЛУЛА

Первый раз я повстречался с Лулой в 1994 г. Когда мы пришли в гости к Луле и ее семье, нас пригласили в *оду* (*oda* — комната для принятия гостей мужского пола), где нас любезно приняли и угостили напитками племянницы Лулы. Лула выполняла все обязанности по ведению хозяйства в соответствии с возложенной на нее ролью. Лула показывала мне свои фотографии, где она выглядит как юноша: за рулем трактора или грузовика — она работала водителем с 14 лет — а также фотографии ее в мужском костюме в роли «свидетеля» на свадьбе. Было что-то твердое, агрессивное в ее позе, что бросалось в глаза мне — привычному к виду женщины в брюках. Эта черта казалась особенно гротескной на фоне довольно-таки сдержанного поведения женщин

⁸ После публикации книги «Women Who Become Men» («Женщины, ставшие мужчинами») вышло по крайней мере два фильма о жизни персонажей книги: один — снятый Associated Press «Roving Report № 134» («Блуждающий отчет № 134») в 2001 г.; другой — первый из серии фильмов «Taboo» («Табу») производства National Geographic Channel в 2002 г.

в деревне и их женской одежды — головных платков, длинных юбок и фартуков.

Лула была десятой в семье, где росло одиннадцать детей. После рождения семи дочерей у матери родились два мальчика-близнеца, один из которых вскоре умер. Петер, выживший сын, был совершенно избалован и не смог бы взять на себя обязанности единственного сына в семье с девятью дочерьми. Сколько она себя помнит, Лула всегда вела себя как мальчик. Она всегда знала, что не хочет замуж: «Ребенком я убежала каждый раз, когда слышала, что кто-то намерен просить моей руки». Становилось все более очевидным, что Петер не сможет стать главой хозяйства и представителем семьи на деревенских собраниях, «и в любом случае он меня воспринимал как старшего брата», говорит Лула. После смерти родителей, спустя год, как Петер женился, Лула взяла хозяйство в свои руки. Таким образом, она стала главой семьи, которая теперь увеличилась по крайней мере до 10 человек: сестра-инвалид (по этой причине не вышедшая замуж), брат, его жена и их десятеро детей (хотя на момент нашей встречи в 1994 г. только шестеро из них были живы). В это время, помимо управления небольшим земельным участком, она также руководила небольшим предприятием, используя собственный сварочный аппарат.

Когда я спросил у нее, насколько ей не хватает сексуальных отношений и собственных детей, она ответила, что не жалеет о своем выборе: «У меня бы этого все равно не было... а так у меня есть власть и большая семья». Она полностью отвергает возможное удовольствие от секса, высказывая мнение о том, что «пять минут удовольствия никак не компенсируют появление детей и беспорядок».

Работа всегда имела первостепенное значение в жизни Лулы, хотя она признает, что скучает по своим коллегам времен, когда она работала трактористом. Жена Петера подтвердила необходимость того, чтобы Лула возглавила хозяйство, и сказала: «Мне действительно показалась странной эта ситуация, когда я выходила замуж, но я быстро привыкла к ней, и теперь Лула для меня, как брат». Петер мало помогает семье, которая видит в Луле как

внешний источник дохода, так и человека, принимающего решения в семье. Лула занимается резкой соломы, севом и косьбой для того, чтобы производить корм для животных, который они продают.

В последующие годы я несколько раз навещал Лулу. Дети выросли и покидали дом: один из мальчиков уехал в Италию (в поисках работы), из-за массовой эмиграции молодежи стало трудно найти девочкам подходящих женихов. В мой визит к ней в 2001 г. Лула пожаловалась, что ее бизнес переживает тяжелые времена, и она старается найти работу, где только возможно.

ПАШКЕ

Пашке — «давшая обет безбрачия» из куда более отдаленной местности. Впервые я встретился с Пашке в 1993 г., она была первой «давшей обет безбрачия», которую я встретил за последние пятнадцать лет (Young, 2001: 77–79). В момент нашей первой встречи она управляла своим небольшим хозяйством, принадлежавшим ей и ее больному дяде. Она жила как мужчина уже несколько десятков лет; вела размеренную, скучную, простую жизнь. Хотя ей никогда не приходилось сталкиваться с другими женщинами, «давшими обет безбрачия», она знала об этой традиции и поняла, что это единственный выход из ситуации, когда ее дядя попал в больницу в Шкодер. Будучи одинокой женщиной, она не смогла бы навещать его. Она также знала, что традиция предполагает необратимую смену пола (она советовалась с теми, кто считал, что этот вариант требует серьезных раздумий, прежде чем принять решение). С момента, когда дядя вернулся, и до самой его смерти, она редко ездила в Шкодер из-за плохого транспортного сообщения. К старости она любила поездки между своим домом в великолепной долине Сеси (Thethi) и Шкодером. При коммунизме Сеси был более благополучным населенным пунктом, с поликлиникой, школой, куда было набрано десять классов начальной школы (сейчас в ней укомплектовано лишь три класса и работает один учитель). Пашке больше нравилось в оживленном Шкодере, где жили ее родственники и друзья. В районе

ее хорошо знают и уважают. На улице Пашке выглядит как мужчина и прохожий вряд ли найдет в ней что-то примечательное. Возможность путешествовать в одиночку — это еще один аспект ее мужской жизни.

По случайному стечению обстоятельств Пашке и Лула были набожными католичками, тогда как остальные исповедовали мусульманство.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заселенных албанцами землях (в Албании, на юге Черногории, в Косово и западной части Македонии) все еще присутствует традиционный уклад жизни. Несмотря на быстрое распространение западной культуры в крупных городах, она оказывает слабое влияние на отдаленные сельские районы, где женщине все еще не разрешается возглавлять хозяйство (если только она не объявит себя мужчиной). Как отмечает Альберт Дожа, «в обществе албанской деревни основной характеристикой положения женщины, а также единственной ее функцией, которая получает общественное одобрение, является способность к продолжению рода и материнству... албанский ребенок — это в первую очередь мальчик, который сменяет отца, получает наследство, гарантирует продолжение рода и славы предков» (Doja, 2005). В то же время в городах идеализируют западную культуру; молодежь стремится к большей свободе, нередко молодые пары, хотя и не афишируют этого, живут вместе до свадьбы, называя это «предварительным этапом, который позволяет поближе узнать человека, с которым собираешься связать свою жизнь» (Murzaku and Dervishi, 2003: 246–47). В свою очередь это приведет к большей терпимости касательно других видов нетрадиционных отношений, но пройдет еще много времени до тех пор, пока матери-одиночки будут восприниматься как норма в албанском обществе.

Шкодер — город, который находится всего в 120 км к северу от Тираны, — когда-то административный центр Османской империи, в отличие от Тираны сохраняет традиции, что в том числе проявляется в обращении к религии и религиозной тер-

пимости. Но даже здесь вам скажут, что удаляться в горы (50 км) небезопасно. Безусловно, дороги далеки от того, чтобы считаться безопасными: они не имеют покрытия и плохо обслуживаются, из-за снегов и паводков движение по ним прекращается на срок до полугода, также существует угроза камнепада во время таяния ледников. Добавьте сюда плохое состояние автомобильного транспорта и отсутствие до 1990 г. стажа вождения у водителей.

Итак, какие изменения коснулись положения женщин? Этот вопрос я задавала в своих беседах с восемнадцатью семьями летом 2005 и летом 2006 г., будучи руководителем группы этнографов, работавшей над проектом «Долина Шала»⁹. Подавляющее большинство ответили, что положение женщин значительно улучшилось: теперь им разрешено участвовать в беседах с мужчинами, а некоторым даже пить кофе вместе с мужчинами своей семьи в случаях, когда нужно развлекать гостей (тогда как обычай предписывает женщинам лишь приносить еду и кофе и тут же молча удаляться, а позже — ужинать тем, что останется).

Сила подчинения традициям в сельской местности и большое значение, придаваемое понятию чести, а также крайний дефицит возможностей уединения приводят к тому, что отклонения от обычаев весьма незначительны, а сексуальные отношения существуют лишь в рамках брака. В городах же изменения куда более очевидны.

ЛИТЕРАТУРА

Allcock, J. and Antonia Young, eds. 1991. *Black Lambs and Grey Falcons: women travellers in the Balkans*, Bradford: Bradford University Press; and 2000, Oxford and New York: Berghahn Publishers.

Backer, Berit, 2003. *Behind Stone Walls: changing household organization among the Albanians of Kosova*, edited by

⁹ Это археологическое исследование, которое проводилось в течение пяти лет в долине Сеси (Thethi) в Северной Албании под руководством профессора Майкла Галати (Michael Galaty) из Millsaps College, г. Джексон, штат Миссисипи, и было связано с первым национальным парком на Балканах.

Robert Elsie and Antonia Young. Pejë, Dukagjini Publishing House.

Bajraktarović, M., (1965-6), «The Problem of *Tobelije*», *Glasnik Etnografskog Museja*, Belgrade: Knjiga 28–29,

Bert, Agnés,. 2004. (Film) *Tu Seras un Homme, ma Fille* (You'll be a Man, my Daughter).

Coon, Carlton, 1950, *The Mountains of Giants: a racial and cultural study of the North Albanian mountain Ghegs*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University. Papers of the Peabody Museum, vol 23, no.3.

Doja, Albert, 2005, «Dreaming of fecundity in village society», in *Folklore*, vol. no.

De Waal, Clarissa. 2005. *Albania Today: A Portrait of Post-Communist Turbulence*. London: I.B.Tauris/The Centre for Albanian Studies.

Dickemann, Mildred, 1997. 'The Balkan Sworn Virgin: a traditional European Transperson' in Bullough, V. and B. and Elias, J., (ed.s), *Gender Blending*, Amherst, New York. Prometheus.

Duka, Valentina, 1994. 'Albania as viewed by English travellers of the nineteenth century' in *Bradford Studies on South Eastern Europe*, Occasional paper (2), University of Bradford, Bradford.

Durham, M. E, 1909, 1986, 1987. *High Albania*. London. Edward Arnold. Republished and edited by John Hodgson, London. Virago; Boston, Beacon Press.

Durham, M. E. 1928. *Some Tribal Origins, Laws and Customs of the Balkans*. London. George Allen and Unwin Ltd.

Filipović, Milenko S. 1982. 'Women as Heads of Villages and Groups Among the South Slavs and Certain Other Balkan Peoples' in E. A. Hammel et al., eds., *Among the People: Native Yugoslav Ethnography*, University of Michigan, Ann Arbor.

Gjeçov, Shtjefen, 1989. *Kanuni i Lekë Dukagjinit* (The Code of Lek Dukagjini). New York. Gjonlekaj Publishing Co.

Gjergji, Andromaqi, 1963. 'Gjurmë të matriarkatit në disa doke të dikurshmë të Jëtës familjare' (Traces of matriarchy in some former customs of family life). *Buletini i Universitetit të Tiranës (Shkenecat Shoqërore)* (2:284-292).

Goldenberg, Suzanne, 11 Oct. 2003. 'Crime puts Iraqi women under house arrest', *The Guardian*.

Gordon, J. and C. J., 1927. *Two Vagabonds in Albania*. New York. Dodd Mead. London. John Land, The Bodley Head.

Grémaux, René, 1989. 'Mannish women of the Balkan mountains' in J. Bremmer, ed. *From Sappho to de Sade: moments in the history of sexuality*. London: Routledge.

Grémaux, René, 1994. 'Woman becomes man in the Balkans in Gilbert Herdt, ed. *Third Sex, Third Gender*. New York: Zone Books.

Hasluck, Margaret, 1954. *The Unwritten Law in Albania*. Cambridge: Cambridge University Press. Reprinted Westport, Hyperion, 1981

Karanovic, Srdjan, 1991 . (film) *Virginia*, Yugoslavia.

Kaser, Karl, 1992. 'The origins of Balkan Patriarchy'. *Modern Greek Studies Yearbook* (8).

Kaser, Karl, 1994. 'Die Mannfrau in den patriarchalen Gesellschaften des Balkans und der Mythos vom Matriarchat' (Woman as honorary man in the patriarchal societies of the Balkans and the myth of matriarchy). *L'Homme Zeitschrift für Feministische Geschichtswissenschaft*. (5:1).

Lane, Rose Wilder, 1923. *Peaks of Shala*. London; New York: Harper & Bros.

Lear, Edward, 1988. *Journals of a Landscape Painter in Greece and Albania*. London: Hutchinson.

Mema, Shpëtim, 1987. *Albanica I, Albanica II*. Tirana: Biblioteka Kombetare, Sektori i Albanologjisë.

Michalski, Karin, 2003. *Pashke and Sofia* (film).

Murzaku, Ines A. and Dervishi, Zyhdi, 2003, 'Albanians' First Post-Communist Decade: values in transition: traditional or liberal?'. *East European Quarterly*, XXXVII, no. 2, pp. 231–56.

Murzaku, Ines A. and Dervishi, Zyhdi, 2002, 'Values in Transition: the divorce dilemma among Albanian women'. *Analysis of Current Events*, vol. 14, no. 2, pp. 8–11.

Newman, B., 1936. *Albanian Backdoor*. London. Jenkins.

Nicola Nixon, "Absence of Gender: Albania's National Strategy on Migration", *Albanian Journal of Politics*, vol. II, 2006, pp. 44-61.

Ortner, Sherry B. 'Gender Hegemonies' in *Making Gender: the politics and erotics of culture*. Boston. Beacon Press.

Prifti, Peter R. 1975. 'The Albanian Women's Struggle for Emancipation'. *Southeastern Europe*, vol. 2 part 2, p. 109-29.

Pritchett Post, Susan, 2000, *Women in Modern Albania*. Jefferson, North Carolina, McFarland.

Quin, David, compiler, Sept-Oct. 2003, 'Trading in Misery', *IWPR report*, republished in *Illyria* 1279-1282.

Whitaker, Ian, 1981. 'A sack for carrying things: the traditional role of women in northern Albanian society'. *Anthropological Quarterly*. (54).

Whitaker, Ian, 1989. 'Familial roles in the extended patrilineal kingroup in Northern Albania in J. G. Peristiany, ed. *Mediterranean Family Structures*. P. 195–203.

Young, Antonia, 2001, 2002, *Women Who Become Men: Albanian Sworn Virgins*, Oxford, New York: Berg.

ABSTRACT

It may seem trite to comment that changes have taken place in Albania due to the rapid transitions of the last century from a primarily rural economy, through the period of strict Communism to its sudden overthrow. The effects of these drastic and sudden changes are reflected in attitudes to the still prevailing patriarchal society of Northern Albania. There is considerable resistance to change, despite some degree of acceptance. However, patriarchy is a system so deeply entrenched in this society, that the new freedoms offered in the P-C era, particularly in the rural areas, pose such a threat that there is considerable reversion to traditional values.

Keywords: Albania, Patriarchy, Gender roles.

ПРЕСЛЕДУЕМЫЙ ДЕРЕВНЕЙ: ПЕЙЗАЖИ P.S. СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО КАПИТАЛИЗМА

Данная статья обращается к вопросу о сельской местности P.S. пространства в плане ее отношений с современными формами капитализма. В размышлениях над тем, каковы составляющие ландшафта Восточной Европы в отличие от Западной, существенную роль играет мысль о более выраженном сельском или менее развитом характере первой. Такой подход часто воспроизводится в городах P.S. региона, где деревня либо романтизируется, либо демонируется как место социальной деградации и политического консерватизма. В этой статье предпринята попытка изменить данный подход и рассмотреть изменения, происходящие в настоящее время с точки зрения сельской местности. Рассматриваемое с позиции деревни воздействие глобализации и движение к культурному капитализму создает новые отношения и сети ценностей, к которым должны приспособиться деревенские жители. Изменяющийся статус сельскохозяйственного производства и способов отношений с землей требует серьезной переоценки понятия ландшафта как такового и сущности деревни и города, а также отношений между ними. В статье утверждается, что в подходе к процессам урбанизации в P.S. регионе жизненно важную и сложную роль играет особая форма отношений между сельским и городским пространством.

Ключевые слова: сельская местность, деревня, капитализм, сельскохозяйственное производство, разобщенные отношения, качество жизни.

Пытаясь демифологизировать состояние современной России, фильм «4» (режиссер Илья Хржановский, сценарий Владимира Сорокина, 2004) дает

представление о доминирующих отношениях между городом и деревней. В начале фильма мы видим город, по улицам которого бродят бездомные собаки, где работа сведена до коррупции, проституции и мясной фирмы, производящей клонированных свиней, и где культурная индустрия баров и ночных клубов звенит пустотой. Героиня-проститутка отправляется назад в свою родную деревню — эпизод, когда она идет по грязи в яркой курточке и неподходящих туфельках вдоль заброшенных построек бывшей военной базы, снятый в длинных повторяющихся деталях и дезориентирующих кадрах крупного плана. Деревня, в которую она приезжает, еще более дистопична. Здесь кучка старух делает ужасных кукол из хлеба, который они пережевывают своими беззубыми ртами, затем напиваются в стельку, забавляясь в распутных оргиях, и прославляют смерть. Сельская местность предстает в виде постмилитаризированной разрухи и грязи, а деревня видится местом бессмысленной деятельности, консерватизма и насилия общества.

Польский фильм «Свадьба» («Wesele», режиссер Войцех Смажевски, 2004) акцентирует внимание на карикатурных последствиях попытки делать деньги в традиционной среде польской деревни. Оба фильма изображают процесс перехода к капитализму как к явлению, которое стало причиной кризиса в деревне. В обоих фильмах кризис кажется особенно серьезным, так как эта искаженная деревня предстает воплощением польскости («Свадьба» отсылает к одноименной классической польской пьесе Станислава Выспяньского) или российскости (старухи и извращенные народные мотивы в «4»). Поэтому, несмотря на всю кинематографичность, они тем не менее претендуют на то, чтобы показать прогнившее ядро ландшафтов Польши и России, которое скрыто от современных городских зрителей.

При этом они рискуют повторить довольно распространённое отношение к сельской местности в этом регионе: когда, с одной стороны, деревня — это суть национальной идентичности и залог спасения в период упадка (взгляд, присущий различным консервативным политическим и творческим силам и даже отчасти сельской социологии в своем наибо-

лее пафосном проявлении) либо, с другой стороны, прямо противоположное явление — та самая темная сила, которая препятствует нормальному социальному (т.е. европейскому) развитию¹. Действительно, и либералы, и новые левые солидарны относительно естественности города в построении соответствующих социальных моделей: для одних это город глобального предприятия, для других — город активистов и левых комитетов. За пределами же города таются темные силы популистского консерватизма и романтической мифологии. Более того, эти силы обладают достаточной мощностью, чтобы подорвать жизнь не только в сельской местности, но даже в городах. В Минске или Варшаве можно часто услышать мнение, что проблемы этих городов сегодня во многом связаны с отсутствием потомственной консолидированной городской элиты. Разруха Второй мировой войны привела к исчезновению городского населения, которое было заменено прибывшими деревенскими жителями, чуждыми утонченной городской культуры. В Польше это отчетливо проявляется в том, как СМИ используют определенные визуальные ассоциации с сельским происхождением популистского лидера партии *Samobrona*, чтобы бросить тень на его репутацию, или то, как к списку обвинений против президента Беларуси Александра Лукашенко прилагается тот факт, что он был председателем колхоза.

Обсуждаемые фильмы можно, таким образом, рассматривать как современную трактовку подхода,

¹ Например, В.И. Староверов ссылается на необходимость спасти деревню от дурных последствий либеральной модернизации как на необходимость спасти Россию, (Результаты либеральной модернизации российской деревни // Социологические исследования. 2004, № 12. С. 64–73, тогда как П.П. Великий рассматривает данную ситуацию как продукт трансгисторических особенностей российской деревни, столкнувшейся с освобождением, которое пришло с демократическими реформами, (Сельская действительность) // Социологические исследования. 1996, № 10. С. 35–43, а И.В. Гололобов рассматривает деревню как зону хаоса вне политики, Деревня как неполитическое сообщество: социальная (дез)организация мира собственных имен // Журнал социологии и социальной антропологии. 2005. Т. VIII. № 2. С. 40–54.

согласно которому проблемы P.S. ландшафта кроются в вечной экономической отсталости, отсылающей нас к временам Римской империи или, по крайней мере, к эпохе Просвещения, когда, согласно утверждению Ларри Вульфа (Larry Wolff), Западная Европа изобрела термин *Восточная Европа*, чтобы категоризировать своего менее развитого другого². Изображенная таким образом, сельская местность представляет недостатки процесса развития: как свидетельствуют успехи Запада, модернизировать имеет значение, а провалы Восточной Европы кроются в длительном отсутствии реформирования сельской местности. С этой точки зрения, новый капиталистический режим просто унаследовал борьбу, которую вел старый коммунистический режим по изменению и модернизации сельской местности через коллективизацию сельского хозяйства или просто схемы улучшения фермерского производства и сельских условий жизни.

Таким образом, хотя оба фильма интересны тем, что изобразили сельскую местность исходя из кризиса способов производства, их ужасные карикатуры деревенской жизни являются не чем иным, как проекциями. Кроме того, это проекции, которые не могут обнаружить собственные изъяны: эти фильмы не могут показать сельскую местность, какой она есть на самом деле, их будут смотреть не в деревне, а скорее на международных кинофестивалях, и даже сама работа над фильмом является столь же экономически нелогичной, как и работа по производству кукол, которой занимались старухи в фильме «4». Кино, или, скорее, СМИ индустрия, сами выступают активными агентами радикального развития города и сельской местности во всем мире: ни города, ни деревни не являются тем, чем они были.

Я не спорю, что между городом и деревней есть различия: как отмечают П. Леонард (Pamela Leonard) и Д. Канеф (Deema Kaneef), отличительной особенностью P.S. ландшафта являются чрезвычайно близкие отношения между городом и деревней и в то же время глубокое чувство разобщения³. Действи-

² Wolff, L. *Inventing Eastern Europe: the Map of Civilisation on the Map of the Enlightenment* / L. Wolff. Stanford, 1996.

³ П. Леонард и Д. Канеф представляют проблемы совре-

тельно, в эпоху глобальных городов чувство различия, создаваемое пребыванием в деревне данного региона, поразительно. Мой друг из деревни, до того как совершил самоубийство, хотел приехать к нам на мероприятие в Варшаве, но отказался от этой мысли, потому что для него было невозможно совершить поездку туда и обратно. Я не отрицаю трудности, расстояния или различия, отделяющие деревню от города, а скорее говорю о том, что отношения, производящие деревню и город как пространство, являются дизъюнктивными артикуляциями, — то, что Феликс Гваттари описывал как «трансверсальные (поперечные) отношения», другими словами, отношения причинной связи, при которой следствие имеет совершенно отличный от причины характер⁴.

Вместо того чтобы рассматривать кризис сельской местности как врожденную дисфункцию P.S. ландшафта, я предлагаю в этом эссе отнести к ракурсу, представляемому сельской местностью как к способному сказать многое о формах современного капитализма, затрагивающих территории этого региона. Вопрос в том, что случится, если мы применим принцип роста городских пространств, описанный Дэвидом Харви (David Harvey), к изменяющимся пространствам P.S. сельской местности:

«Когда физический и социальный ландшафт урбанизации сформирован исключительно согласно капиталистическим критериям, на пути будущего капиталистического развития оказывается давление. Это значит, что, хотя городские процессы при капитализме сформированы логикой обращения и накопления капитала, они в свою очередь создают условия накопления капитала на более поздних временных и пространственных этапах»⁵.

менной P.S. сельской местности и отношения капиталистических и коммунистических реформаторов к этому региону в "Introduction: Post-Socialist Peasant?" (*Post-Socialist Peasant? Rural and Urban Constructions of Identity in Eastern Europe, East Asia and the Former Soviet Union* / ed. Pamela Leonard and Deema Kaneff. Basingstoke; and New York, 2002. P. 1–43.

⁴ Феликс Гваттари раскрывает понятие трансверсальных отношений в *Psychanalyse et transversalité* (Paris, 1972), которые также являются центральной идеей в его совместной работе с Жилем Делезом.

⁵ D. Harvey, D. From Managerialism to Entrepreneurialism:

Хотя Харви говорит здесь о капиталистических городских пространствах, его позиция полезна для доказательства двухсторонних отношений: капитализм формирует ландшафт и сам ограничен в своем способе функционирования пространственными формами, которые он создает. Что бы это могло означать в случае столкновения процессов глобального капитализма и пространства P.S. сельской местности? Занимая эту позицию, я хочу оспорить довольно распространенное суждение как со стороны новых левых, так и неолиберальных политических сил, согласно которому экономическая отсталость является основой при рассмотрении P.S. города и P.S. ландшафта в целом. Мой вопрос скорее вот в чем: что сельская местность данного региона может нам рассказать об истории развития?

Жаль, что мое вмешательство будет скорее теоретическим по своей природе и ни в каком отношении не сможет полностью выявить то большое разнообразие деревень и сельских районов на обширной территории, которую мы обозначили как P.S. Это настоящая проблема не только потому, что географическое расположение важный элемент в моей аргументации и поэтому проблемы, стоящие перед казахскими деревнями, будут обязательно отличаться от тех, которые стоят перед деревнями в Польше, но также и потому, что детальный анализ конфигурации определенного пространства кажется жизненно важным для того, чтобы академическая работа что-то значила непосредственно для жителей этой местности. Также я не буду делать строгих различий между такими терминами, как деревня, сельская местность и деревенский (или большой город и городок), как не буду сосредотачиваться исключительно на сельской местности, поскольку меньше всего намерен с точностью описывать социальные структуры или функционирование современной деревни, а скорее использовать сельскую местность как отправную точку для того, чтобы рассмотреть современную динамику социального преобразования.

The Transformation in Urban Governance in Late Capitalism / D. Harvey. // Geografiska Annaler. Series B, Human Geography. Vol. 71, No. 1, The Roots of Geographical Change, 1973 to the Present. 1989. P. 3–17.

НАЧИНАЯ С ДЕРЕВНИ?

Польское периодическое издание «Деревня и Сельское хозяйство» за 1999 г. начинается с заявления о том, что сельские районы — очень разнообразны и поэтому были разделены Европейским союзом на четыре группы:

— быстроразвивающиеся области, расположенные близко к городским и туристическим центрам;

— деградирующие области, выживание и будущее развитие которых зависят от местного экономического разнообразия и стимулирования народного потенциала, т.е. в форме туризма, производства, ремесел и услуг и т.д.

— промежуточные области, традиционно связанные с сельским хозяйством, но с довольно хорошей инфраструктурой, предоставляющей относительно свободный доступ к городу;

— малонаселенные области или те, где наблюдаются тенденции к «вымиранию», где земля не возделывается, а минимальная занятость должна быть сохранена путем стимулирования развития туризма и лесоводства⁶.

Эта классификация удивительна тем, что практически ничего не говорит о сельской местности *per se*, но с чем она успешно справляется, так это с подчинением деревни городу исходя из таких параметров, как близость, инфраструктура или туризм. Это может показаться довольно современным этапом развития, но имеет связь с выводами, сделанными Эдвардом Соياً (Edward Soya) на основе археологических свидетельств самого раннего известного городского поселения — Иерихона. Соياً утверждает, что традиционная историческая картина развития от охотника-собирателя к индивидуальному фермеру, к деревне, к городу, к государству неточна. В Иерихоне есть свидетельства организованного городского разделения труда и социально-пространственной гражданской организации, так же как и отдаленной зоны сельскохозяйственного производства, датиру-

⁶ Marek Kłodziński M. Rural Development in Poland: Barriers and Priorities / M. Kłodziński, J. Wilkin // Village and Agriculture — Selected Papers, supplement to *Wieś i Rolnictwo*. №. 2 (103). 1999. P. 11–23 (p. 11).

емого приблизительно 8000 г. до н.э., время, которое предшествует любым известным сельским поселениям. Соя использует этот факт, чтобы утверждать, что технологические и социальные достижения стали возможны благодаря творческой энергии людей, скопившихся в городе, тому, что он называет синекизмом, и именно это сделало возможным сельское хозяйство:

«Это еще сильнее пошатнуло основы многих укоренившихся трактовок доисторической эпохи, особенно тех, которые подчеркивают развитие социальных производственных отношений, поскольку согласно им не сельскохозяйственный излишек являлся необходимым условием для появления городов, а именно *города были необходимы для создания сельскохозяйственного излишка*»⁷.

Это доказательство релевантно в случае с Восточной Европой, потому что предполагает, что сельские поселения всегда задумываются как зависящие, или в некотором смысле производные, от города, что нарушает линейное представление развития цивилизации от сельского хозяйства к городу. Возможно, поэтому история конкретных взаимосвязей между городом и деревней в этом регионе могла бы послужить плодотворным методом при рассмотрении процессов развития и сельских и городских здешних пространств.

Однако в классификации деревень, предложенной Европейским союзом, существенно то, что, в противоположность послевоенной модернизации в Западной и Восточной Европе, которая через субсидии сельского хозяйства Единой аграрной политики стран ЭЕС в Западной Европе или сельскохозяйственную индустриализацию, осуществляемую в коммунистических государствах, стремилась развивать сельскохозяйственное производство, здесь сельскохозяйственное производство ясно представлено как второстепенный вопрос. Это — молчаливое признание того, что, несмотря на совместные усилия послевоенного капитализма и коммунизма, традиционный способ производства сельской местности, земледелие, занимает незначительное место в современной структуре капитализма, все более тревожное

⁷ E. Soya, *E. Postmetropolis* / E. Soya. Oxford, 2000. P. 35.

признание, так как статистические данные за 2003 г. говорят о том, что лишь приблизительно 61,7% поляков живут в местах с более чем 10000 жителей, а расстояния, отделяющие российские деревни от городов, огромны⁸. Признание, однако, не удивительное, так как единственный сектор мировой экономики, который не извлек выгоды из либеральных реформ и экономического роста с 1980-х, — сельское хозяйство.

Если, например, в послевоенной Англии были свободные рынки и привоз товара для продажи в Лондоне был вопросом подлинной конкуренции среди производителей, то это давно уже не так. Три четверти продуктового рынка размером в 123 миллиарда фунтов стерлингов контролируется четырьмя сетями супермаркетов, которые заключают договор с поставщиками на производство товаров для них, требуя гарантий от производителя на непрерывную поставку качественных товаров — таким образом, поставщики вынуждены покупать у других производителей продукты, когда погодные условия лишают их урожая. Супермаркет диктует цену, решает, приемлемо ли качество, и может расторгнуть контракт по собственному желанию⁹.

Характерной чертой этого процесса была интернационализация продовольственного рынка, ставшая

⁸ Польская статистика см. Jałowiecki, B. *Zmiany społeczne zagospodarowanie przestrzenne* / B. Jałowiecki, *Globalny świat metropolii*. Warszawa, 2007. P. 83–103. Яловецки делает интересное замечание о низком проценте урбанизации в областях вокруг главных городов Польши. Сравнительный анализ территорий вокруг городов в P.S. регионе может оказаться эффективным проектом. Сравнивая коммунистический и капиталистический подходы к деревне, интересно рассмотреть позитивный тон исследования В.А. Артемова по развитию деревень в 1970-х и 1980-х гг. со зловещим тоном современной российской сельской социологии (*Динамика образа жизни сельского населения* // Социологические исследования. 1990. № 4. С. 65–74).

⁹ В Великобритании, супермаркеты были недавно подвержены ряду исследований и опросов относительно того, нарушают ли они требования по конкуренции: см. например: *Big four give shoppers good deal but suppliers suffering, says watchdog* or *“Supermarkets face new curbs* // *The Guardian*. 1.11.2007 and 30.04.2008.

возможной из-за дешевого транспорта и международной разницы в заработной плате, процесс, который изменил ландшафт для производителей в Великобритании, заставил иметь дело с конкуренцией дешевого иностранного продовольствия, и из P.S. региона, где увеличилась возможность экспорта. Хотя интернационализация дала новые возможности поставщикам, ее главным последствием было не создание конкурентного рынка, а усиление власти международных корпораций, которые лучше приспособлены к управлению расширенными поставочными сетями. Таким образом, несмотря на все проблемы, P.S. сельская местность обладает выгодными возможностями для международных деловых отношений, и в Польше иностранные супермаркеты поставляют товары так же дешево, как и местные рынки, хотя их доле на рынке еще очень далеко до уровня Великобритании. Эта ситуация, однако, развивается довольно быстро.

Такое развитие рынка существенно, так как демонстрирует, что в отношении к сельскохозяйственному производству данный этап не совсем корректно называть «капитализмом свободного рынка». Хотя с точки зрения потребителя появился большой выбор и скидки на товары, с точки зрения поставщика картина выглядит по-другому. Для поставщика на британском рынке сегодня выбор состоит в том, чтобы либо подчиниться требованиям супермаркетов с монополистической поставкой и продиктованным образцам производства, другими словами, выбрать тип отношений производителя-поставщика, обычно ассоциируемый с коммунизмом, либо попасть в сектор рыночного меньшинства. Это важно, поскольку проливает свет на смену индустриального капитализма постиндустриальным. Разрабатывая свою формулу по созданию богатства в индустриальных капиталистических обществах, Карл Маркс исключил землю, рассматривая ее подарком природы, прибыль с которой можно получить благодаря человеческому труду на ней¹⁰. Все же спад тяжелой промышленности в 1970-х и 1980-х гг. в пользу высокотехнологичных отраслей промышленности разрушил отношения

¹⁰ Marx, K. Capital / K. Marx. Vol.1, Chap. 7, available at www.marxists.org.

между сырьем, работой и стоимостью, поставив под вопрос то, как труд на земле может иметь рыночную стоимость. Этот вопрос относительно роли, которую земля и ее дары могут играть в новых формах ценности, как раз и решается на Р.С. сельском пространстве, так же как и в остальном мире.

Таким образом, причины растущей деградации социальной жизни в деревнях на Р.С. территории нужно рассматривать вместе с преобразованием мест городов в пределах обращения товаров и капитала мировой экономики. С точки зрения сельской местности ясно, что современное развитие рынка и общества, построенных на неуклонно растущей интеграции международных рынков в рамках глобализации, не предлагает деревенским производителям свободных рынков или более мощного голоса в демократических процессах. В Р.С. сельской местности не ясно, какое направление могли бы принять ответы на этот вопрос. В Польше сложная система национальных и международных дотаций и внутридеревенская смесь бартера, дружеских отношений и скуки, а в России широко распространенная практика разворовывания собственности колхоза — вот те перспективы, которые ставят под вопрос такие понятия, как рыночная экономика или либеральная демократия¹¹. Какие социальные формы могут из этого появиться?

ГОРОДА В ДЕРЕВНЕ

В то время как глобализация ослабляет зависимость городов от их непосредственных окрестностей в плане продуктов питания, преобразование городских пространств от города-производителя к городу-приманке в пределах глобального обращения капитала также имеет последствия, усиливающие влияние города на сельскую местность. Изменения, происходящие в африканских обществах, хорошо проанализированы С. АбдуМаликом (AbdouMaliq Simone):

¹¹ С.Г. Карнаухов, Н.А. Черемных проделывают детальный и тревожный отчет о гибели одной деревни в результате аграрных реформ: Аграрная реформа в одном селе // Социологические исследования. 2006 № 5. С. 59–65.

«Несмотря на то что сельские учреждения в значительной степени ориентировались на усиление конкретного взаимодействия среди акторов, с попытками минимизировать видимость различий в доступе к ресурсам и доходе, ощущение неравенства выросло. Это, возможно, не относится в такой степени к изменяющейся местной динамике, как к большему пониманию со стороны местных акторов и большему политическому и экономическому контексту, в котором они находятся. Процедурная демократизация большинства африканских обществ создала новые экономические системы в информационном потоке. В результате граждане намного более осведомлены о принципиальной несправедливости»¹².

Хотя приведенное высказывание описывает определенную ситуацию африканских деревень и является частью более широкого анализа моделей изменений в обсуждении ресурсов, которые связывают деревни и города в той части мира, описываемые Синомом общие тенденции также ценны при рассмотрении P.S. деревни. Поскольку в P.S. мире меняющиеся модели взаимодействия акторов на локальном уровне, другое оценивание возможностей и удовольствий сложно отличить от изменений в информационных потоках, которые меняют контекст для того, чтобы рассмотреть чье-то место в деревне. Действительно, новые экономические системы информационного потока также являются неотъемлемой частью сельского ландшафта P.S. региона; на самом деле, можно даже утверждать, что во многом они составляют этот ландшафт как таковой.

Это происходит не только из-за распространения телевизионных программ глобального масштаба, из-за просмотра «Санта-Барбары» в деревне к югу от Ярославля или «Последнего героя» в деревне около Могилева, не из-за всякого рода американских фильмов и польских новостных программ в польской деревне, не из-за распространения модных направлений в музыке и одежде (музыка деревни — электронная танцевальная, а не народная), но из-за того, куда эти телевизионные проявления помещают деревню в экономической иерархии, где господ-

¹² Simone, A. For the City Yet to Come: Changing African Life in Four Cities / A. Simone. Durham, , 2006. P. 183.

ствуется информация¹³. Когда, например, активист-организатор обновленного фестиваля-карнавала в польской деревне гордо описывал его как антиспонсорский, anti-Pepsi, антигородской, он выражал реальные амбиции по поводу фестиваля с точки зрения совместного действия (совместный дух, который по общим отзывам был потерян в следующем году, когда организация мероприятия улучшилась) и также нашел притягательный маркетинговый лозунг для деревенской специфики во время брэндинга городов. Интересно, что на следующий день после фестиваля его местные друзья фермеры высмеяли его за то, что он читал журнал «Фермер», и отпускали шуточки о его прогрессивности. Теперь его обязанность состоит в осеменении коров, следующий шаг вперед в иерархии знаний, требующий от него специального свидетельства и использования спермы, импортируемой из США и Нидерландов. Или: в прошлом году после неурожая фруктов в Польше из-за серьезных заморозков в мае, по телевидению было сделано заявление о компенсации из фондов, изысканных министром сельского хозяйства. В действительности эта компенсация оказалась кредитом, который стал возможен благодаря Европейскому союзу по благоприятным ставкам через местные банки. Этот кредит, который должен быть выплачен одновременно через 5 лет, таким образом, обязывает фермера производить в системе отношений, создаваемых СМИ и с вовлечением международного потока капитала.

Эти преобразования, созданные распространением информации, не стабильны. Культурные факторы могут играть совсем иную роль в разных микромирах: например, в Польше музыка техно, быстрый автомобиль и посещение церкви ни в коем случае не исключают друг друга. Такие преобразования не обязательно сближают город и деревню, так как в пределах этой реконфигурации деревня

¹³ А.Г. Эфендиев, И.А. Болотина заявляют, что в 80% деревенских домов, которые они исследовали, были холодильники и телевизоры: это считалось минимумом для существования. Современное российское село: на переломе эпох и реформ. Опыт институционального анализа // Мир России. 2002. Т. 11. № 4. С. 83–125.

находится в самом низу. Даже если об этом прямо не говорится, в мире телевидения деревня представлена как другой, странные крестьяне по отношению к лоснящимся городским представителям телевидения, даже когда телевидение, кажется, представляет этику угнетенных относительно извращений большого города и обращается к местным проблемам (местные программы почти всегда неизбежно страдают более низким качеством). Желания и информация возрастают, как и осознание ограниченности своего положения в рамках этих новых информационных иерархий. Мир глобализации — это мир подчинения местных обычаев и знаний тем, которые можно изучить или которыми можно торговать. Таким образом, телевидение, которое делает внешний мир ближе и играет такую большую роль в жизненном ритме сельских жителей, берет за это определенную цену, которой становится превосходство информационных сетей, из которых сельская местность исключена.

Дальнейшее подтверждение изменяющихся сетей, связывающих людей и ландшафт, можно найти в большом разнообразии проектов, реконфигурирующих сельскую местность в плане экологии и туризма. Это сложная проблема, так как, с одной стороны, они стремятся проложить путь экономического развития для сельских районов, возрождая использование земли и взаимоотношения с ней. Туристические доски объявлений в районах, где немного посетителей, а местные жители знают всю подноготную данной местности, или этнические фестивали, представляющие собой попытку развить специфику данного места параллельно конкурентоспособной логике, которая правит сегодня глобальными городами. Однако, как пишет Юнис Блавакунас в своей статье для этого сборника, такие проекты также влекут за собой революцию в логике и традициях работы в сельских районах, и могут поэтому рассматриваться как те, которые фиксируют положение деревни в пространственной иерархии, где доминирует город¹⁴.

¹⁴ Я очень обязан Юнис Блавакунас за ее чуткое и идейное исследование сельской местности на северо-востоке Польши.

Примером описываемых процессов служит рост музыкальных фестивалей на P.S. пространстве. Это феномен, детальное рассмотрение которого не может уместиться в рамки данной статьи, но который заслуживает изучения хотя бы потому, что самый масштабный летний фестиваль музыки в России, «Крылья», ставит себе целью в своих рекламных слоганах стать подлинным европейским музыкальным фестивалем. Это демонстрирует со стороны организаторов гиперосознание своего положения в медиа-ландшафте Европы, которая отрицает силу российской музыкальной индустрии. Музыкальные фестивали интересны именно потому, что они предлагают возможность создать новую картографию культурного ландшафта развлечений вне городских центров культурного предпринимательства. Однако, так как они часто проходят на природе недалеко от городов, не ясно, какого рода взаимодействие с местным населением эти фестивали осуществляют. Среди интересных примеров – фестиваль этнической музыки и искусства «Шешоры». Он берет свое название от деревни в Карпатах, где и проводился, продвигая возобновленный диалог с ландшафтом. Мероприятие было организовано из Киева и должно было переместиться в Центральную Украину после конфликта с местными жителями: название при этом осталось прежним, Шешоры, хотя фестиваль там больше не проходит. С другой стороны, характерными для еще одного фестиваля, «Космач», организованного местными жителями в еще одной Карпатской деревне, были конфликты музыкальных интересов¹⁵.

Другой значительной динамикой изменений в деревне характеризуется интернационализация рынков труда. В то время как трудовая миграция имеет длительную историю, конкретные группы, которые вовлечены в этот процесс, всегда эволюционируют. Какое-то время назад, например, в Польше было относительно просто найти чернорабочих, особенно украинцев, для работы на время уборки урожая, теперь – намного сложнее; это также относится и к польским рабочим на сельхозугодиях Восточной

¹⁵ Сайты фестивалей: <http://www.sheshory.org> и <http://www.my-kosmach.com.ua/fest-g.htm>

Германии. Теперь многие из тех, кто занят в сельскохозяйственном секторе Великобритании или других сельских отраслях промышленности типа выращивания цветов или деревьев для городского ландшафтного дизайна, — граждане Польши. Также меняется тип работы, которую сельские жители могут найти в городах. Эффект песочных часов в больших городах, то есть появление высоко- и низкооплачиваемой работы, влияет на тип работы, которую сельские жители могут найти в городах и тех местах, где им будет материально выгодно работать. Например, жизнь в семье в маленькой деревне на северо-востоке Польши организована так, чтобы жена или мать фермера сменялись каждые полгода, убирая квартиру в Мадриде.

Преобразования, описанные выше, подтверждают предчувствие Маркса, что, вопреки другим социальным системам, капитализм не только вторгнется в другие сферы, но также вызовет полное преобразование существующих социальных структур. Однако в отношении логики, которая вынуждает называть данный момент развития Восточной Европы «переходом», нет никакого намека на то, что у капитализма есть хоть какой-то рецепт по развитию сельской местности. На это обращает внимание Майкл Керни (Michael Kearney), когда подвергает сомнению основы, на которых построена концепция устойчивого развития:

«Не обязательно быть циником, чтобы увидеть в официальной поддержке устойчивого развития и экологической целесообразной технологии фактическое признание того, что вопрос сельской бедности в третьем мире будет решен. Нельзя поднять все народы до уровня комфорта богатых классов, и поэтому они должны приспособиться к условиям постоянной бедности таким образом, чтобы в экологическом, экономическом и политическом плане это не было разрушительным»¹⁶.

Керни пишет о том, что разговор об устойчивом развитии является молчаливым признанием того, что нарратив модернистского развития, который часто может казаться универсальным, начинает осозна-

¹⁶ Kearney, M. *Reconceptualizing the Peasantry* / M. Kearney. Boulder, 1996. P. 107.

вать свои границы. Если смотреть со стороны подчиненного, становится ясно, что экспансия капиталистической экономики непрерывно пополнялась «деградацией», или «отставанием», или «разобщенными» отношениями, то есть тесно связанными отношениями капиталистического и некапиталистического производства, что, казалось бы, взаимоисключаемо. Сложные модели миграции и традиции, отслеженные М. Керни, связывающие мексиканских индейцев с их миштекскими деревнями и со все более разнородными сообществами Калифорнии, или перемещения членов семьи между Мадридом и вышеупомянутой польской деревней указывают на то, что потенциал и плотность таких разобщенных отношений становится все более характерной особенностью.

Этот довод много значит для контекста P.S. ландшафта, потому что подвергает сомнению саму логику модернизации, на которой основано понятие Восточной Европы как менее современной. Если P.S. сельское пространство рассматривается скорее как фокальная точка для наблюдения разобщенных отношений капитализма и их производства в городах (как восточных, так и западных), тогда это может стать мощным элементом в подрыве либеральных и левых версий городской ностальгии как ограниченного взгляда на историю. Сложно предсказать, как эти разобщенные отношения будут развиваться: логика экологии и туризма поощряет сельских жителей стремиться превратить в капитал те элементы, которые ранее существовали вне капитала, в то время как гостеприимство и производство товаров для домашнего потребления, пожертвования и бартер продолжают существовать. Все же даже эти модели, возможно, менее существенны, чем огромное количество неожиданных ежедневных событий, более или менее явно создаваемых столкновением сельских традиций и потоков глобального капитализма.

ДЕРЕВНИ В ГОРОДЕ

Рядом с тем местом, где мы живем, есть магазин, примыкающий к участку земли, которая из-за различных сложностей с правами на собственность и строительство, не используется, и теперь вся за-

росла деревьями. Магазин продает фрукты, овощи и другие основные продовольственные товары, но наличие гипермаркета за один квартал делает этот магазин неконкурентоспособным. Летом по субботам, как только люди, работающие в этом магазине, заканчивали работу где-то в 2 часа дня, они выкатывали гриль, длинный стол, телевизор или музыку, выносили еду и напитки и веселились в квазиестественном месте, не принадлежащем ни им, ни обществу. И все это недалеко от центра Варшавы, где рынок недвижимости развивается ускоренными темпами. Ходят слухи, что на этом месте собираются построить гостиницу, но пока это только слухи.

Данный пример занят тем, что усложнения городского пространства сегодняшней Варшавы позволяют такие модели поведения, которые кажутся не соответствующими ожиданиям современных городов. К примеру, обычное дело увидеть людей на нашей улице, собирающихся вокруг ночного виноводочного магазина, точно так же, как и у сельского магазина, или то, как дети лазают по крышам и развалинам, как могли бы лазать по деревьям и сараям. Облагораживание баров на нашей улице не препятствует клиентам незаметно выйти в ближайшую подворотню и выпить водки, купленной в местном магазине, перед тем как вернуться в бар и потягивать более дорогое пиво. Наша улица из тех, где сложно оставаться неизвестным, — все тебя знают, любят вмешиваться в личные дела. И как только ты доберешься до конца улицы, вполне вероятно, что, немного побродив вдоль заросших берегов Вислы, столкнешься лицом к лицу с оленем, в то время как в другой стороне, у костра возле реки, могут спокойно сидеть какие-нибудь смельчаки, жарить сосиски и потягивать пиво, если только полицейские не успели их оштрафовать.

Я не собираюсь классифицировать модели поведения в деревне и городе или не принимать всерьез отсутствие городской инфраструктуры (отопление, вода), что также является характерной чертой этой старой части Варшавы и других городских пространств P.S. региона¹⁷. Скорее я пытаюсь сказать,

¹⁷ Низкий уровень инфраструктуры в городских областях России упомянут в статье Т.Г. Нефедовой и А.И. Трей-

что в городах, где фабричное производство больше не является доминирующим, вопрос взаимоотношений между природой и городом или между деревенскими и городскими формами сообщества следует переформулировать. Исходя из собственного опыта пребывания в различных городах этого региона, можно говорить о том, что такого рода отношения присущи многим P.S. городам в различных вариациях. И хотя Иван Селеньи (Ivan Szelenyi) рассматривал нехватку городской плотности как провал попытки социалистической урбанизации, однако наличие зеленых массивов между домами, городских пляжей, неиспользованных ландшафтов, местных торговцев, продающих фрукты и овощи с машин, может наоборот быть рассмотрено как постмодернистский городской плюс¹⁸.

Ясно, что капиталистическое жилищное строительство изменяет такое отношение к земле, и многие из мест между домами исчезают под новостройками, часто огороженного типа. Муниципальные планы развития города в основном большое внимание уделяют сохранению природы, но ценой игнорирования финансовых интересов застройщиков. Эти грандиозные схемы также игнорируют то, как земля уже используется людьми, часто незаконно. Но в настоящий момент земля в Варшаве и реализация планирования оказываются проблемой, и, что бы там ни было, остается много неоднозначно используемых мест.

ВНЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА

Возможности цифровых технологий изменить образ сообществ в сельской местности — это то, что

виша “Между городом и деревней”, (Мир России. 2002. № 4). Эта статья интересна исследованием разнообразия причин проникновения сельского в современные российские модели урбанизации.

¹⁸ Szelenyi, I. *Cities under Socialism – and After* / I. Szelenyi, *Cities after Socialism* // Gregory Andrusz, Michael Harloe, Ivan Szelenyi. Oxford. 1996. P. 286–318. Стоит отметить, что благодаря эффективной активности организации “Ja Wisla” (www.jawisla.pl) при поддержке либеральных газет экологические проблемы становятся важным фактором в дебатах о городском планировании Варшавы.

интересовало многих: от моей мамы, которая запустила веб-сайт нашей деревни в Англии (www.beestongroups.co.uk), до Лукашенко, который заявил, что обеспечит жителей белорусской деревни мобильными телефонами. Однако во время недавней поездки в польскую деревню я был удивлен, когда мне показали комнату с бесплатным доступом к 10 современным компьютерам и быстрым Интернетом. В последнем случае интересно то, как с его помощью демонстрируется то, что Европейский союз, финансировавший программу, непосредственно вмешивается в деревенское пространство Польши. Элизабет Данн (Elizabeth Dunn) убедительно написала о неоднозначной роли правил Европейского союза, которые, стандартизируя сельскохозяйственную деятельность, часто оказывали поддержку транснациональным корпорациям, а не небольшим местным предприятиям¹⁹. Подобным же образом, хотя обеспечение деревни технологиями заслуживает восхищения, инвестиции в деревенское интернет-кафе привязывают местных жителей к механизмам Европейского союза (фермер, занимающийся агротуризмом на севере Польши, сказал мне, что самая важная работа, которую он проделал за год, — это не подготовка почвы, а поиск в Интернете наиболее выгодных доступных субсидий, перед тем как решить, что выращивать), провозглашая технологическое будущее и игнорируя местную специфику.

Польская сельская местность особенно полагается на доход, исходящий извне: субсидии Европейского союза или туристический потенциал. Моменты, когда присутствие Европейского союза заметнее всего, — выдача субсидий фермерам, защита окружающей среды и развитие инфраструктуры (особенно дорог). Решения об использовании земли в сельской местности, принятые на европейском уровне, являются противоречивыми (проэкологическими, профермерскими и протранспортными) и ясно дают понять, что Восток вторичен по отношению к Западу: польские фермеры получают более низкие субсидии, чем фермеры в других частях Ев-

¹⁹ Dunn, E. Trojan Pig: Paradoxes of Food Safety Regulation / E. Dunn. *Environment and Planning A*. 2003. Vol. 35. № 8. P. 1493–1511.

ропы, и делают сельскую местность подвластной городу, так что даже экологические проблемы решаются исходя из глобальной логики (научная оценка редкости данной экосистемы на международном уровне), а не из потребностей или опыта местных жителей.

Сельская местность, вместо того чтобы быть островом, отделенным от политики, является, как это ни парадоксально, местом, где неспособность посткоммунистического польского государства проложить путь к созданию национального общества наиболее заметна. Не только сельская местность, но и вся страна в целом уязвима для потоков глобализации, в которой она абсолютно неконкурентоспособна. Просто в сельской местности это более очевидно, тогда как в Варшаве все выглядит так, будто город строит небоскребы.

В свой недавний визит в Москву я был поражен количеством рекламных щитов Мирового фонда дикой природы и Гринписа: международные организации, проводящие кампанию за сохранение земли как экологического ресурса, борются за место в переполненном рекламном ландшафте Москвы. Называя землю экологической, мы определяем ее как имеющую неэкономическую ценность и поэтому делаем тех, кто живет и работает на ней, уверенными в притоке субсидий извне. Переговоры по поводу поступающих средств на местном уровне становятся чрезвычайно важным делом, усиливая роль местных политических структур, за счет планирования на национальном уровне. Взаимодействие между местными политическими структурами, часто в сельских районах, основанных на традиционных способах организации сообщества, которые далеки от современных демократических моделей, и новые формы приобретения и распределения ресурсов, — важный вопрос, требующий дальнейшего исследования²⁰. Например, чтобы стать экологическим фермером, надо не столько уметь обращаться с землей, сколько уметь

²⁰ Обсуждение проблем по управлению ресурсами на местном уровне см. в: Depraz, S. *Paternalistic Countryside: the Hard Ways towards Local Democracy in the Rural Municipalities of Central Hungary* / S. *Paternalistic // Eastern European Countryside*. 2006. Vol. 12. P. 93–111.

принимать решения в сложных отношениях между природными и местными ресурсами и международными организациями.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Целью ряда вопросов, обсуждаемых в этой статье, было представить некоторые трудности и искажения, составляющие процесс формирования современной P.S. сельской местности. Моя главная мысль состоит в том, что изменения в организации сельской местности также важны как перспектива для рассмотрения преобразований, идущих в городском пространстве. И хотя разными способами, через СМИ и мобильность, деревня и город все же становятся ближе, существующие сегодня изменения не приводят к большей однородности между деревней и городом. Фактически новая глобальная игровая площадка, в которой задействованы города и деревни, характеризуется разобщенными отношениями, которые ставят под вопрос саму историю современности как нарративную движущую человеческую историю. Определенные пространственные контексты, где создаются такие отношения, предоставляют богатый материал для будущих городских исследований в этом регионе.

В недавно вышедшей статье П. Кауфманна (P. Kaufmann), З. Стагля (S. Stagl), К. Завалиньской (K. Zawalińska) и Е. Михалека (J. Michalek) обсуждались проблемы, возникшие в связи с определением качества жизни в сельской местности, и утверждается, что простого экономического критерия недостаточно, чтобы оценить то, как функционирует сельское сообщество²¹. Действительно, имея дело с P.S. деревней, таким пунктам, как смерть, увечья и алкоголизм, нужно уделять столько же внимания в системе оценивания качества жизни, как и продуктам, выращенным на своем участке, помощи сообщества, близким отношениям с природой или похлобному юмору. Все же звено, соединяющее в этой

²¹ Kaufmann, P. Measuring Quality of Life in Rural Europe – A Review of Conceptual Foundations / P. Kaufmann [et al.] // Eastern European Countryside. 2007. Vol. 13. P. 5-29.

статье разнообразные тропинки в деревенском и городском пейзажах, — мысль о том, что перспектива сельской местности ставит вопрос относительно качества жизни, каким и для кого оно могло бы быть при сегодняшних социально-экономических очертаниях P.S. ландшафта.

С точки зрения села ограничения возможностей рыночной экономики и либеральных демократических государств очевидны. Таким образом, методы, горизонты и средства для приобретения, оценивания и распределения ресурсов развиваются непредвиденными и иногда сложными для понимания путями, отслеживание и изучение которых также может пролить свет на функционирование городов.

ABSTRACT

This article addresses the question of the rural spaces in the P.S. region in terms of their relationship with the contemporary configuration of capitalism. For in thinking about what constitutes the landscape of Eastern Europe as distinct from that of Western Europe, the idea that the region is more rural, or less developed, plays a significant role. This optic is often repeated in the urban centres of the P.S. region where the village is either romanticised or demonised as a place of social degradation and political conservatism. This article seeks to modify this argument by taking the perspective of the countryside to consider the changes currently underway. Seen from the village, the impact of globalisation and the move to cultural capitalism are creating new relationships and networks of value to which village inhabitants are having to adjust. The changing status of agricultural production and of ways of relating to the land necessitate a profound re-evaluation of the concept of landscape itself and of the essence of both villages and cities, as well as the relations between the two. The article argues that in developing an approach to the processes of urbanisation in the P.S. region, the particular configuration of the relations between rural and urban space here plays a vital, evolving and multiple role.

Keywords: rural spaces, village, capitalism, agricultural production, disarticulated relations, quality of life.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ AUTHORS

Юнис Блаваскунас, PhD, преподаватель программы «Окружающая среда» кафедры социальных наук Университета штата Вашингтон.

Eunice Blavascunas, PhD, is the Social Science Environmental Teaching Fellow for the Program on the Environment at the University of Washington.

Ольга Блекледж, кандидат наук, преподаватель Европейского гуманитарного университета (Вильнюс), преподаватель кафедры Юнеско «Философия человеческого общения» Харьковского национального технического университета.

Olga Blackledge, PhD, is assistant professor at the European Humanities University and at the UNESCO Chair for Philosophy of Human Communication.

Ольга Бойцова, научный сотрудник Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН (Санкт-Петербург).

Olga Boitsova is Academic Assistant at Peter the Great Museum of Anthropology and Ethnography (Kunstkamera), Russian Academy of Sciences (St-Petersburg).

Бенжамин Коуп, PhD, преподаватель Европейского гуманитарного университета (Вильнюс), сотрудник Национальной галереи искусств «Захета», Варшава.

Benjamin Cope, PhD, is lecturer at the European Humanities University and works at Zachęta National Gallery of Arts, Warsaw.

Лудия Галчанова, аспирантка факультета социальных исследований Университета им. Масарика (Брно, Чехия).

Lucie Galčanová is a PhD student of sociology at the Faculty of Social Studies, Masaryk University in Brno, Czech Republic.

Артём Космарский, магистр социологии и социальной антропологии, аспирант Института стран Азии и Африки МГУ.

Artyom Kosmarski, MA in Sociology/Social Anthropology, is a graduate student at the Institute of Asian and African Studies (Moscow State University).

Екатерина Лавринец, PhD, преподаватель кафедры философии и политологии Вильнюсского технического университета, участник Лаборатории критического урбанизма при Европейском гуманитарном университете.

Jekaterina Lavrinec, PhD, is lecturer at Vilnius Technical University and member of Laboratory of Critical Urbanism at European Humanities University.

Сергей Любимов, MA, соискатель ученой степени PhD в Школе социальных наук Польской академии Наук, преподаватель Европейского гуманитарного университета (Вильнюс, Литва).

Siarhei Liubimau, MA, is a PhD candidate at Graduate School for Social Research, Polish Academy of Science and lecturer at European Humanities University.

Кульшат Медеуова, доктор философских наук, профессор Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева, г. Астана, Казахстан.

Kulshat Medeuova, PhD, is Associate Professor at L.N. Gumilyov Eurasian National University in Astana, Kazakhstan.

Нерийус Милерюс, PhD, *доцент* факультета философии Вильнюсского университета, Литва.

Nerijus Milerius, PhD, is Associate Professor at the Philosophy Faculty, Vilnius University, Lithuania.

Сергей Румянцев, кандидат социологических наук, научный сотрудник Института философии, социологии и права Национальной академии наук Азербайджана (НАНА); директор центра независимых социальных исследований «Новатор» (Баку).

Sergey Rumyansev, Candidate of the Sociological Sciences, is research fellow at the Institute of Philosophy, Sociology and Law at the Azerbaijan National Academy of Sciences and Director of the Center of Independent Social Research “Novator” (Baku).

Александр Сарна, кандидат наук, философ, перформер и медиа-аналитик. В настоящее время живет в Минске, преподает в БГУ.

Alexander Sarna, PhD, is a philosopher, performer and media-analyst. Currently lives in Minsk and teaches at the Belarusian State University.

Габриэлла Швитек, PhD, преподаватель Института истории искусств Варшавского университета и куратор в Национальной галерее искусств «Захета» (Варшава).

Gabriela Świtek, PhD, is Assistant Professor at the Institute of Art History, University of Warsaw and curator at the Zachęta National Gallery of Art.

Елена Трубина, доктор философских наук, профессор кафедры социальной философии Уральского государственного университета им. А.М. Горького, *Екатеринбург, Россия*.

Elena Trubina, PhD, is Professor of the Social Philosophy Department of the A.M. Gorky Ural State University, Ekaterinburg, Russia.

Барбора Вацкова, аспирантка факультета социальных исследований Университета им. Масарика (Брно, Чехия).

Barbora Vacková is a PhD student of sociology at the Faculty of Social Studies, Masaryk University in Brno, Czech Republic.

Екатерина Викулина, магистр истории искусств, художественный критик, фотограф. Преподает в Международном институте практической психологии (Рига).

Ekaterina Vikulina, MA (History of Art), art critic and photographer, lecturer at the International Higher School of Practical Psychology (Riga).

Антония Янг, почетный приглашенный научный сотрудник отделения исследований Юго-Восточной Европы факультета по исследованиям проблем мира в Университете Брэдфорда, председатель транснационального Парка мира Балкан.

Antonia Young is Honorary Visiting Research Fellow at the Research Unit in South East European Studies of the Dept. of Peace Studies, University of Bradford (UK) & Chairperson of the Cross Border Balkans Peace Park.

Оксана Запорожец, сотрудник исследовательской группы «Свободное мнение» (Самара, Россия), доцент кафедры социологии и политологии Самарского государ-

ственного университета, участник Лаборатории критического урбанизма (ЕГУ, Вильнюс).

Oksana Zaporozhets is a member of the research group “Free Opinion” (Samara, Russia), lecturer at the Department of Sociology and Political Studies at Samara State University, and member of the Laboratory of Critical Urbanism (EHU, Vilnius).

Елена Зимовина, кандидат исторических наук, доцент кафедры археологии, этнологии и отечественной истории Карагандинского государственного университета им. Е.А. Букетова, Казахстан.

Elena Zimovina, PhD, is Associate Professor at the Department of Archeology, Ethnology and Native History at Buketov Karaganda State University, Kazakhstan

Анна Желнина, МА, аспирантка Европейского университета в Санкт-Петербурге, преподаватель отделения социологии Государственного университета – Высшей школы экономики (Санкт-Петербургский филиал) и член Центра изучения Германии и Европы Санкт-Петербургского университета.

Anna Zhelnina, MA, is a PhD Student at the European University at St. Petersburg, lecturer at the Department of Sociology of the Petersburg Branch of the State University – Higher School of Economics and member of the Centre for German and European Studies, St.-Petersburg University.

Научное издание

Р.С. ЛАНДШАФТЫ:
ОПТИКИ ГОРОДСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Ответственный за выпуск *Л.А. Малевич*
Корректор *Е.В. Савицкая*
Компьютерная верстка *О.Э. Малевича*
Художник *А.М. Пигальская*

Ответственность за недостоверность фактов,
приведенных в текстах, несут авторы

Взгляды авторов могут не совпадать
с мнением издательства

Издательство
Европейского гуманитарного университета
г. Вильнюс, Литва
www.ehu.lt
e-mail: office@ehu.lt

Подписано в печать 17.12.2008 г. Формат 75x90^{1/32}.
Бумага офсетная. Гарнитура «Мысль».
Усл. печ. л. 22,5. Тираж 300 экз.

Отпечатано «Petro Ofsetas»
Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius